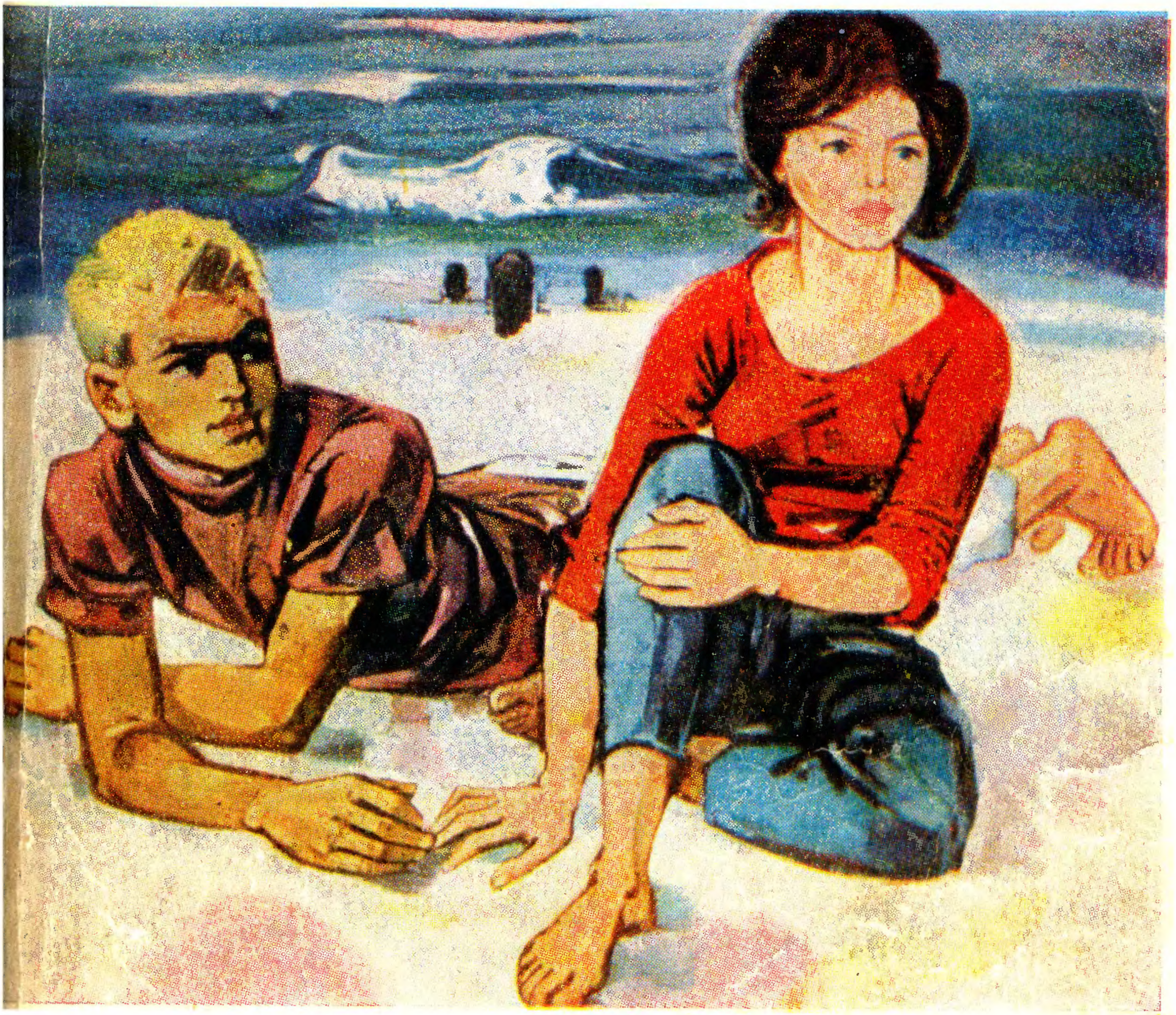


ИНОСТРАННАЯ литература

8

1962

СЕБАСТИАН САЛАСАР БОНДИ

ВСЕ ЭТО — МОЯ СТРАНА

Перевод с испанского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

Моя страна — я теперь понимаю — сладка и горька в то же время;
моя страна — это сильная страсть, это темная бездна,
это вечный источник,
где в броженье, в кипенье родятся народы и расы.
Моя страна — это ложе из острых шипов и горячих лобзаний,
это дол, где влачатся скорбящие толпы и высятся льдистые тени.
Моя страна — это сердце, в которое молот и заступ
врубались издревле,
непроходимая чаща, где свет бросается навзничь
с верхушек деревьев; это бесстрастные горные пики,
это пена морская, и ветер, и грохот потока,
и склоны цветущих нагорий.
Моя страна — металлический сад, кипящий в извечной плавке
под тысячью солнц, разрываемых туч грозовых чернотою,
моя страна — это пир опьяненных, и пыл гражданской войны,
и грохот многих сражений,
и пустынная тихость долин с их налитыми соком плодами.
Это трапеза голода, и пустая тарелка, протянутая
в неизвестность;
это храм для жестоких обрядов и радостный парк с детьми, огнями
и песней гитарной;
это бескрайные сумерки, это покинутый дом, и крик страданья,
прорезавший воздух,
и мирный брод, где жизнь справляет свое торжество ежечасно.
Моя страна — это темный склеп средь цветущих весен,
и внезапная тень, прочертившая чуждым своим силуэтом
пустынность покоя,
и по дороге бредущий старик, и где-то в глубинах —
едкий газ, выедающий очи, и грохот, глушащий всю музыку
шара земного.
Страна моя — это лавина из всех удовольствий,
это сверлящая молния, это расплата за то,
в чем не был виновен,
золотоносный сон с пробуждением в илистом мраке,
это день печали и день веселья, что в памяти нашей
давно уж смешались.

Это роскошная ткань и нагота в своем откровенном бесстыдстве,
это биение жизни и дуновение смерти, это мятежная вечность.
Страна моя — это предчувствие и воспоминанье,
беспощадное прошлое, волны падений и воскрешений грядущих;
моя страна — это страх мой, и гнев твой,
и чья-то безумная алчность,
и чья-то еще нищета, и прозябание многих, и сытость случайных;
это цепь и свобода, надежда и ужас, страданье и радость победы,
это кровь, что струится по улицам, бьется вдали
в берега горизонта
и возвращается вспять глухим, бесконечным приливом.
Моя страна — это женщина, мною любимая,
друг, заключаемый мною в объятья,
кто-то, тебя обжигающий злостью, и кто-то, тебе пожимающий руку;
страна моя — это окошко, откуда гляжу я на вечер,
спустившийся тихо на землю,
упадая на грудь мне печальной поэзией темных веток;
это вода, чтоб глаза поутру промывать
от нечистых ночных видений,
воздух, чтоб полной грудью вздохнуть, выходя из дому,
люди, что вместе со мною спешат к не имеющим смысла занятьям —
к работе, усталости, боли, безумью и думам проклятым,
к неверию, спешке, безделью, кафе и нечитаным книгам.
Страна моя — это уютный обеденный стол и любимые лица,
на которых сияет мое неустанное счастье,
это вкус сигареты, погасшей и снова зажженной, как новая вера,
и шерсть моей верной собаки, теплее, чем старая дружба.
Это само приключение жизни — и жертв, приносимых ей, распорядок.
Страна моя — это тюрьма и больница, таверна, и склад оружья,
и дом любимой;
страна моя — это поместья, посевы и сбор урожая;
страна моя — это бедность, и засуха, и наводненье;
страна моя — землетрясенье, и ливень, и буря.
Страна моя — это мир минералов, животных, растений,
мир недвижный, и гибкий, и быстротекущий;
мир надежный, и зыбкий, и непостоянный.
Страна моя — республиканская, аристократская, вечная;
страна моя — колыбель, и могила, и брачное ложе;
страна моя — индианка, и белая, и метиска;
она черна, желтолица и с медным оттенком кожи;
моя страна — золоченая, тусклая, полная света;
моя страна угрюма, нежна и бесстрастна.
Моя страна — это сахар, вольфрам и хлопок,
это снег, серебро и песок золотой прибрежья;
моя страна мягка и сурова, слаба и могуча, это ангел и дьявол;
моя страна неуклюжа, медлительна и прекрасна,
мала и огромна,
темна и полна света.
Моя страна —реальность и мечта-призрак,
моя страна агрессивна и полна любви к миру;
моя страна — это колокол,
это башня
и остров;
это ларец драгоценный,
и граур,
и гул неурядиц;

моя страна — это слезы отчаянья,
кризис, школа, порыв, искупленье,
это свет, преступленье, удар, катастрофа,
отреченье, и рана, и алое небо рассвета;
моя страна — это слава, бесславье, забвенье.
Моя страна — это наша,
моя и твоя,
и для всех,
и ничья,
и та, что у нас отымают.
Так возьми ее, крепче свяжи, обойми и вонзи, как кинжал,
в свое сердце,
пусть она убивает тебя, но и ты накажи ее новою болью,
и чело ей согрей поцелуем, как матери милой,
как ребенку, который родился усталым от жизни.
Ибо она существует, страна моя,
просто, и чисто,
и бесконечно, бескрайно она существует,
и любовь к ней становится песней, становится плачем,
ибо — я теперь понимаю — любовь к ней не знает предела.

■

МЫ СНОВА *уходим* В БОЙ...

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ВЬЕТНАМА

■

Перевод с вьетнамского
И. ЗИМОНИНОЙ
Под редакцией М. ТКАЧЕВА.

ВУ ТУ НАМ

Дом у дороги

У каждого есть воспоминания, связанные с каким-нибудь домом, который — мало ли почему — стал нам дорог. Я вот всегда вспоминаю дом под соломенной крышей, где прошло мое детство. Скаты ее, как два широких надежных крыла, бережно укрывавшие нас от дождя и зноя, я до сих пор еще вижу во сне.

Но не о нем я поведу речь. Мне хочется рассказать о доме, что стоит у дороги, в общем-то не отличающемся ничем от других таких же домов, в которые частенько заглядывали мы во время разъездов и походов.

Так уж случилось, что через семнадцать лет я вновь оказался близ деревушки Нган. А я думал, что не припомню уже те места и старую дорогу, по которой мы шли когда-то...

Вечером, поужинав в эвакопункте провинциального городка, я сел на велосипед и приналег на педали; надо было не позднее чем к полуночи добраться до кооператива Хыонг. Кооператив этот славился высокой производительностью труда, хорошей продукцией и боевыми подвигами.

Мне не везло. Несколько раз пришлось пережидать в лесу, пока пролетят американские самолеты. Ко всему еще, едва только стемнело, я понял, что надвигается гроза.

Сильный ветер дул прямо в лицо. И временами казалось, будто велосипед мой стоит на месте. Я изрядно устал, пот лил с меня в три ручья, а до небольшого бетонного моста через канал и спасительной будки у въезда на мост, где можно было укрыться от дождя, оставалось еще километра два.

Для меня все здесь связано было с давними воспоминаниями: щербатая каменистая дорога, по таким мы отшагали немало лет семнадцать назад, нежный, размытый далью рисунок изломанных гребней гор и привычные кокосовые пальмы — зеленые, сулящие прохладу...

Ветер все крепчал. По пробковому шлему забарабанили первые капли дождя. Плащ, словно парус, раздувался и хлопал за спиной. Пришлось сойти с велосипеда и вести его рядом с собой. Я был еще довольно далеко от моста, когда хлынул ливень. Вокруг сразу потемнело, ветер хлестал в лицо холодными, упругими струями. Низко наклонив голову, я еле шел сквозь стену воды. И тут у самой обочины увидел вышку — обычную небольшую вышку, с каких ведут наблюдение за «воздухом»,— и поспешил укрыться под ней. Вдруг я услышал смех, и звонкий девичий голос язвительно спросил:

— Куда это вы так торопитесь? Уж не янки ли гонятся за вами? Поднимайтесь сюда, пока не промокли насквозь. Спичек у вас нет, случайно?

Я вытер ладонью лицо и глянул вверх. На вышке стояла девушка с ружьем. К щеке ее прилипла прядь мокрых волос. Девушка, улыбаясь, смотрела на меня. Улыбка была насмешливой, но — и это меня подбодрило — сочувственной.

В ответ я тоже улыбнулся.

— Какая высокая сознательность! Тут ливень и тьма кромешная, а вы на посту. Разве кто полетит в такую погоду!

— Вы, наверно, из столицы, сразу видно приезжего,— снова улыбнулась девушка.— У нас тут янки повадились летать и по ночам и в дождь!

Луна на минуту выглянула из-за туч, и я разглядел все «имущество» на вышке — намокший от дождя красный флажок, барабан — в него били, объявляя тревогу,— бамбуковый стул и лежавшую на нем книжку.

— Вам нужны спички? — вспомнил я.

Девушка нагнулась и достала спрятанный в углу маленький сигнальный фонарь.

— Помогите зажечь мой «маяк». Машины уже идут,— она прислушалась. Я уловил только шум ветра.— Нужно следить за дорогой. Бывает, шоферы даже в такой дождь превышают скорость да еще зажигают фары.

И правда, вспыхнувшая молния выхватила из темноты два больших грузовика, крытых брезентом и замаскированных ветками.

Девушка почти по пояс высунулась с вышки, придирчиво осмотрела машины и, судя по всему, осталась довольна.

— Давайте спички...— сказала она.— Сегодня будет много машин.

После долгих стараний мне удалось наконец зажечь фонарь. Девушка повесила его на гвоздь, и я смог рассмотреть ее как следует. У нее была красивая высокая шея и по-детски круглое личико, нос тонкий, продолговатый и чуть вздернутый, какой редко увидишь в наших краях. А глаза, ласковые всезнающие глаза зрелой женщины, как-то не вязались со всем ее юным обликом.

Она тоже оглядела меня и вдруг строго сказала:

— Ну-ка, предъявите документы!

Я протянул командировочное удостоверение. Она внимательно его просмотрела, взглянула на меня, сверяя с фотографией, и улыбнулась:

— Извините, пожалуйста... Так вы из газеты!

Улыбка очень ее красила.

— Да, вот собрался в кооператив Хыонг,— ответил я.— Думал быть там сегодня ночью, но теперь не знаю, успею ли.

— Вам ехать еще тридцать девять километров. По такому дождю, да еще сегодня полно машин. Дорогу совсем развезло...

Заколебавшись, я поглядел на затянутое тучами небо.

— А как называются ваши места?

— Деревня Нган, волость Хоа-тан.

Нган в Хоа-тане... Давние воспоминания вдруг захлестнули меня...

— Нет ли у вас в деревне крестьян по фамилии Кай?

Девушка слегка нахмурила тонкие брови:

— Кай? Есть. У нас полно людей с этой фамилией. Вот один из них, когда янки впервые бомбили деревню, выскочил из дома чуть ли не нагишом и припустил в поле. А теперь он на самолеты и внимания не обращает, копается себе на пашне как ни в чем не бывало,— рассмеялась она и заговорила о другом: — Отдохните, а завтра вечером тронетесь дальше. У нас тоже найдется, о чем написать в газету.

Ее слова заглушил сильный удар грома. Мимо медленно ехала громадная машина, оставляя за собой глубокие колеи, заполненные водой.

— Ну, а деревня далеко? — поинтересовался я.

— Пойдемте покажу,— и, набросив полиэтиленовую накидку, девушка вышла на дорогу.— Идите прямо, потом сверните налево, вниз по тропинке, метров через сто увидите колодец во дворе. Это мой дом. Там сейчас ни души, можете спокойно сидеть и строчить свои статьи,— заключила она со смехом и, уловив мое замешательство, добавила: — Вы нас не стесните. Дети ночуют у моего отца. Я тоже пойду туда — справлять поминки по деду. Жаль, далеко и дождь как из ведра, некому будет вас проводить, а то б я и вас пригласила.

Я продолжал стоять в нерешительности, держа велосипед за руль.

— Идите, не стесняйтесь,— подбодрила меня девушка.— Если захотите есть, сварите рис, он в корзине под медным тазом. Там же, у очага, котелок и кувшин с соусом из креветок.

— Спасибо, большое спасибо...— я уже шел по дороге, ведя за собой велосипед.

— Толкните дверь посильней, там не заперто. Лампа на столе за чайником,— крикнула она мне вслед.

Отойдя шагов на десять, я снова услышал ее веселый голос:

— Не волнуйтесь, отдыхайте спокойно. Ваше удостоверение останется пока у меня!

Я вспомнил, что не забрал его. Ну что ж, если тебе доверяют целый дом...

Захожу во двор. Втаскиваю велосипед на крыльцо. Толкаю дверь. Так и есть, не заперто. Чиркаю спичкой и зажигаю лампу, которая и вправду оказалась на столе за чайником. Пулей пролетает мимо меня испуганный котенок, и наступает тишина. Только монотонно шумит дождь.

В доме еще стоит запах свежесрубленного дерева. Окно с деревянной решеткой, побеленные известкой стены. Вместо двери между двумя комнатами — зеленая занавеска. В первой комнате двухспальная кровать под белоснежным пологом, большой сундук. В углу плетенка для риса, накрытая медным тазом, кучка бататов и разные кухонные «орудия». Всюду видна заботливая хозяйская рука.

В другой комнате — тоже широкая лежанка под пологом, на подушке вышиты инициалы С. Л., у другой стены — односпальная кровать, вместо стола доска на низких ножках и два маленьких детских стульчика. Посередине новенький стол и стулья.

Я поднес лампу к висящим на стене грамотам:

«Нгуен Ван Лонгу, шоферу Транспортного управления провинции Н., передовику труда, 1964 г...»

«Нгуен Тхи Ван, ученице 1-го класса «Б» начальной школы Хоатана, за хорошую учебу...»

«Чан Тхи Суан, помощнице бригадира и командиру взвода женского ополчения деревни Нган, за высокие показатели в труде и в бою...»

Все три грамоты, взятые в отполированные бамбуковые рамки, висят рядом. Под ними за стеклом фотография: Суан — теперь я знал имя девушки — снята с высоким улыбающимся мужчиной, из этаких большеглазых, большеротых, густобровых мужчин — все они, как правило, весельчаки с душой нараспашку. Впереди них, прижавшись друг к другу, улыбаются две девчонки. Под фотографией надпись: «Чем чаще думаю о Тебе, тем больше забочусь о Детях...» Подпись не очень ясная, но разобрать все же можно — Чан Тхи Суан.

...С лампой в руках я стоял перед фотографией. На дворе по-прежнему шел дождь. Время от времени в его монотонный плеск вливались гудки автомобилей и чьи-то громкие голоса.

Значит, Суан замужем. Мужа ее зовут Лонг, и он шофер. На вид он старше ее лет на десять. Девочки, наверно, его — от первого брака. Суан слишком уж молода, а в том, что дети его, сомневаться не приходилось — сходство, как говорят, налицо...

Я вышел на крыльцо. Из-за туч показалась луна. Под маленьким водопадом, сбегающим с крыши, я смыл дорожную грязь, вернулся в дом и, присев у стола, закурил.

Кто-то заскребся в дверь.

— Это я, Ви...— ответил на мой вопрос негромкий детский голос. Потом в дверь просунулся человечек, с головы до ног закутанный в нейлоновую накидку. Видны были только круглые черные глазенки, курносый нос и робко улыбающиеся губы: — Дяденька, помогите, пожалуйста...

Я снял с человечка накидку. Немудрено, что гостье — это оказалась девочка — понадобилась моя помощь. Она держала сведенными от натуги пальцами углы накидки и большую фарфоровую миску, накрытую крышкой. Освободившись от пут, девочка сразу затараторила:

— Моя тетя, ой нет, моя мама сказала, что у дедушки сегодня поминки по прадедушке... дедушка велел отнести дяде...

Я рассмеялся:

— Постой, постой... Чья ты дочка? И что велели тебе отнести?

— Я папина дочка и тетина тоже. Дедушка велел отнести вот это дяде журналисту — значит, вам. Здесь клейкий рис * и курица, кушайте, пожалуйста, на здоровье.

Привстав на цыпочки, она сняла крышку с миски, которую уже успела поставить на стол, повторила скороговоркой: «Кушайте, пожалуйста, на здоровье», прошмыгнула в соседнюю комнату и принесла оттуда пиалу и палочки для еды. Потом запричитала:

— Ой-ой, совсем позабыла,— достала из кармана сложенный вчетверо листок и протянула мне: — Вам тетя прислала записку. Вы кушайте и ложитесь спать, ладно? Тетя велела вам вскипятить чайник, если вдруг захочется пить.

«Товарищ журналист,— писала Суан,— я забыла сказать, что за кухней вырыто убежище. Оно плотно закрывается крышкой, дождь туда не проникнет. Обстановка сейчас очень напряженная. Янки нагнали кораблей к нашему берегу. Мы спешим на дежурство. Не беспокойтесь ни о чем, отдыхайте. Я непременно вернусь и провожу вас. Суан». Внизу была приписка: «Пожалуйста, напомните Ви, чтобы она перед сном вымыла ноги».

---

* Сорт риса с крупными зернами, при варке они разбухают и склеиваются крахмалистым белым соком.

А Ви стояла передо мной и глядела на меня во все глаза. Дотронувшись до моего пальца, она спросила:

— Это колечко из американского самолета? А кто вам его сделал? Мой папа тоже умеет делать такие колечки. Тете и сестрице Ван он уже привез кольца, а я еще маленькая, папа сказал, что подарит мне ожерелье... А вам нравятся самолетные колечки?

Я засмеялся и кивнул:

— Нравятся, очень нравятся...

— А почему вы не кушаете? Вы не голодный, да?

— Голодный. Сейчас поем.

— ...Мне тетя говорит: кто кушает курицу и не чистит потом зубы, у того зубы сломаются — все как есть. А у вас, когда вы были маленький, ломались зубы?.. А вы далеко живете? Вы, наверно, умеете стрелять? Мой дядя Тху скоро поедет стрелять в американцев!.. Знаете, мама моей подружки Ми часто наказывает ее. А моя тетя меня никогда не наказывает. Она говорит, что я послушная. А ваша мама вас наказывала? И вы как, плакали?

Мне все больше нравилась эта малышка. Не дожидаясь напоминаний, она взяла деревянные сандалии, стоявшие у кровати, и отправилась мыть ноги. Я опустил полог над ее кроватью. Мы долго еще разговаривали, пока она не уснула, сложив колечком розовые губы.

Лежа на просторной кровати под высоким пологом здесь, в этом, как я понял, счастливом доме, я будто прокручивал старую пленку — воспоминания о давно прошедших днях.

Деревня Нган в Хоа-тане семнадцать лет назад... Тогда меня прямо на марше скрутила лихорадка, и я отлеживался здесь у крестьянина, которого все звали Каем. Мне и Шаню, нашему ротному санитару, пришлось довольствоваться рваной циновкой, брошенной поверх соломы. Семья Кая была очень бедной, голько детишками бог их не обидел. Жена его все порывалась уступить нам единственную бамбуковую лежанку. Но как я мог это допустить: на дворе стояли холода, а она всего два месяца как родила. Вот и порешили на том, что нам отдадут самую большую циновку — обычно на ней спал сам Кай с тремя старшими ребятишками. Вообще-то он редко ночевал дома — когда нанимался на приработки, когда дежурил или уходил с бригадой народных носильщиков *. Нередко он возвращался среди ночи и принимался чистить бататы, потом поднимал всех «закусить», сетуя, что не может ни угостить, ни уложить нас, как ему бы хотелось. И невесело шутил: «Ну, да вам на кровати было бы тесно, еще передеретесь, а на циновке вольготно». И добавлял обычно: «Ничего, это поначалу трудно, потом всего будет вдоволь. Вот выгоним врага, и все сразу наладится!»

Я вспомнил дом Кая, со всех сторон продуваемый ветром через бесчисленные дыры и щели, его семенящую походку, излюбленные шутки и жену, вечно хлопотавшую по дому. Дети были на попечении старшей девочки — шестилетней Хен. С малышом на руках, похожая на мышку с мышонком, целыми днями бродила она по деревне и вместе с оравой детворы кричала французским самолетам:

— Старуха, старуха, дам тебе в ухо!

«Старухами» прозвали французские самолеты. Тогда они тоже появлялись со стороны моря...

И вот опять я оказался в этих краях. И снова ночую в доме у дороги в той же самой деревне Нган, когда-то такой убогой и бедной. Да, ни людей, ни деревню теперь не узнать.

---

* В войну 1946—1954 гг. каждая деревня выделяла людей в отряды народных носильщиков, доставлявших на фронт рис, продовольствие и т. п.

Ви спокойно спала. Дождь кончился. То и дело слышались гудки автомашин. Барабан пробил тревогу, потом — отбой. Наверно, это Суан колотила в него, одна на своей вышке. Послышался гул реактивных самолетов и вскоре умолк в отдалении. Очень хотелось спать, веки точно свинцом налились. Я мысленно наметил план на завтра: поговорить с Суан, постараться разыскать Кая, набросать статью...

Временами пробуждаясь от дремоты, я слышал ровное дыхание Ви, спокойный рокот далекого моря и сигналы идущих по шоссе автомобилей. Барабан, стерегущий округу от ночных пиратов, напомнил мне барабаны, «колеблющие свет луны» *, и барабанную дробь, поднимавшую наших предков во времена Ле Лоя и Куанг Чунга...**

Проснулся я рано, но Ви уже не было. За стеной послышался звонкий голос Суан:

— Вымой чашки, Ви, напоим дядю журналиста чаем.

— А завтракать он не будет?

— Будет, будет, только у дедушки. Ты разве забыла: мы сегодня Тху провожаем в армию.

— Пойду разбужу дядю. А вдруг он уже голодный.

Суан засмеялась:

— Ну, уж не голоднее нашего папы! Постой, не буди его, пусть отоспится.

Я вышел на кухню. Суан поднялась мне навстречу:

— Как спали? Этой ночью самолетов было мало. А корабли уже ушли к югу.

В углу стояло прислоненное к стене ружье. Я взглянул в озорные глаза Суан.

— Уж вы извините,— сказала она.— Вчера после дежурства пришлось еще на переправе поработать, вот только вернулась. Вы почему не ужинали? Я же просила вас не стесняться. Попейте чаю, а завтракать будем у моего отца.

— Дедушка угостит вас вином...— пообещала Ви.

Мы с Ви, держась за руки, шли следом за Суан по дороге, посыпанной мелким песком. Нет, что ни говори, деревню было не узнать. Во все стороны, пересекаясь, разбегались каналы. Рядом с высокими стволами старых кокосовых пальм поднимались молодые и стройные деревья, уже отягощенные плодами. Возле покрытой мхом, почерневшей крыши диня*** светлела новенькая черепица — недавно отстроенный склад для семян. Во дворе диня, где сейчас сушили и веяли рис, вокруг громыхающей рисорушки о чем-то препирались старики.

Суан, поправив ремень винтовки, весело крикнула им:

— Вы так, поди, и барабан перекричите! Не заметите, как янки нагрянут!

— А чего нам бояться, раз у молодежи есть ружья! — улыбаясь беззубым ртом, повернулся к ней один из стариков, совсем лысый.

---

* Слова из известной антивоенной поэмы «Жалобы жены воина» (в переводе П. Антокольского — «Жалобы солдатки»), принадлежащей перу великой вьетнамской поэтессы Доан Тхи Дием, XVIII век.

** Ле Лой — национальный герой, возглавивший в XV веке победоносное восстание против захвативших страну полчищ китайской династии Мин. Основал королевскую династию Ле, просуществовавшую более трех столетий.

Куанг Чунг возглавил освободительное движение в XVIII в., был провозглашен императором. Нанес сокрушительное поражение вторгшимся во Вьетнам войскам китайской династии Цин.

*** Обязательное в каждой вьетнамской деревне строение — место общинных собраний.

Мы отошли уже довольно далеко, а у меня перед глазами все еще стояла ярко-зеленая молодая трава, пробивавшаяся на замшелой крыше диня, и бодрые старики у рисорушки.

Извилистая тропинка наконец привела нас к дому.

— Вот мы и пришли,— сказала Суан.

Ви, громко крича: «Дедушка, дедушка, дядя журналист пришел!» — помчалась вперед и отогнала собаку. Из дверей семенящей походкой вышел пожилой мужчина. Глаза его в припухших веках, небольшие уши, тихая и лукавая улыбка почему-то казались мне знакомыми. Я пожал ему руку. Недавно зацементированный бассейн для воды во дворе, новая черепица на крыше, да и сам дом укрепляли меня в моих догадках. Некоторое время я молча переводил взгляд с одного на другое. И тут во двор вышла жена хозяина. Взгляд ее, решительный и ясный — какие запоминаются на всю жизнь.— нельзя было не узнать... Я, словно пробудившись от сна, кинулся к хозяину и обнял его за плечи:

— Вы ведь Кай, верно? Я Ниен! Ниен, больной солдат, что когда-то лежал у вас... Вспомнили?

Он оторопел, потом порывисто обнял меня и закричал:

— Как же! Как же, помню! Мне да не вспомнить Ниена! Мы еще вас тогда уложили на рваную циновку! Мать, помнишь, мы потчевали его бататами... Ну, надо же! Ведь, почитай, двадцать лет прошло!

Хозяйка радостно улыбалась мне.

— Ниен, вы пришли как раз, когда родился Донг. И вам тогда было столько же лет, сколько ныне нашему Тху...— Она показала на рослого парня, который стоял рядом, держа за руку Ви,— а сейчас, гляжу, у вас уже седина... Но вы все такой же — худущий и легонький, прямо как девушка. Повстречай я вас где-нибудь, сразу бы признала.

Суан глядела на меня с удивлением и любопытством:

— Вы ведь спрашивали Кая! А моего отца все зовут Суаном!

Это был не завтрак, а целый пир: жареная утка, овощной суп на жирном бульоне, жареные креветки... Вот таких же креветок — плоских и мелких — я ел у них раньше. Хозяйка сама ловила их вершей...

Конечно, подали и вино. Кай все накладывал мне на тарелку лучшие куски и сокрушался:

— Эх, знал бы вчера, что «командировочный» — это вы, сразу забрал бы сюда!

Он познакомил меня со всеми: вот это Ван, старшая сестра Ви, переходит уже во второй класс, обе они — дочери Лонга, но ему, Каю, «все равно что родные», а рядом Тху — младший брат Суан, он закончил девять классов; это он сегодня уходит в армию...

— Его звали раньше Ок-старшóй,— наполняя чашку сына, говорил Кай.— Помните, вы всем им давали прозвища. Суан была Хен-большая. Я-то вообще был против того, чтоб она выходила за Лонга, а она мне: «Люблю его — и все дела...» И вот вышла. А Хен-малая, вы называли ее Ха, третий месяц как уехала на работу по молодежной путевке. Ок-меньшóй, вы звали его Донгом *... Ох, и холода же были тогда. Мать с ним на лежанке нежилась, а вас мы уложили на драную циновку... Ок-меньшóй — ему тогда было два месяца — сейчас уже в восьмом классе, он недавно уехал в гости к нашей родне. Да-а, вот так-то! Муж Кай, жена Кай, Хен-большая, Хен-малая, Ок-старшóй, Ок-меньшóй! Жизнь пошла другая, и имена нынче не те ** Мне-то не выпало в их годы есть досыта, да еще и учиться! Это ли не заслуга революции? Вы ешьте, ешьте. Янки сегодня что-то заспались, хорошо, дали нам хоть поесть спо-

---

* «Донг» — по-вьетнамски «зима».

** «Кай» — по-вьетнамски означает мелкий краб; «хен» и «ок» — моллюск и улитка; а «суан» — весна.

койно! Тху, сынок, ты ешь, наедайся. Армии нужны люди здоровые и крепкие.

Кай умолк ненадолго, потом положил на тарелки девочкам утиной печенки:

— Кушайте, внученьки, поправляйтесь. Жаль, нету вашего папы — все на работе да на работе; и ест и спит в дороге. Ну, да ничего, народ у нас хороший, везде примут, как дома...

Право же, это был один из лучших дней в моей жизни... Мы все вместе провожали в армию Тху и еще одиннадцать парней из деревни. И хотя в небе, не переставая, гудели американские самолеты, здесь, внизу, под сенью гигантских фикусов, церемониал проводов не был нарушен... Традиционный зеленый чай, ароматный дымок сигарет «Чыонг-шон» *, которые старики, закурив, отдают юношам. Так же как всюду, молоденькие девушки, прильнув друг к дружке, тихонько хихикают и не спускают глаз с новобранцев... Торжественная дробь пионерских барабанов, напутственные речи кадровых работников и предательски вздрагивающие глаза матерей, гордящихся сыновьями и с болью думающих о предстоящей разлуке...

Потом я вместе с Каем и со всей его семьей (в деревне фамилия их теперь значилась как Суан) отправился в поле. Кай боронил пашню, хозяйка его высаживала рисовую рассаду, а Суан с подругами хлопотала на опытном участке. Всякий раз, когда доносился гул американских самолетов, все на поле — люди и буйволы — замирали, словно неподвижные скульптурные группы. Когда они пролетали, все как ни в чем не бывало вновь принимались за дело. Вслед американцам летели угрозы, проклятья, насмешки. Особенно мне запомнилось одно «коллективное творение» Кая и его земляков:

Несчастный янки лезет «вверх» **,
Кряхтит с натуги он,
Но вдруг прямехонько летит
На землю кувырком!
Разбил башку, расквасил нос
И ободрал бока,
Ни дать, ни взять,
Ни дать, ни взять —
Свиные потроха!

А в полдень я видел, как женщины-ополченки, которыми командовала Суан, во время воздушной тревоги бежали с поля к бетонному мосту через канал и винтовочным огнем отражали атаки четырех американских самолетов, заходивших на мост. Янки не осмелились спуститься пониже и, побросав с высоты бомбы (при этом был ранен один буйвол), улетели.

Уже смеркалось, когда, закончив прощальный ужин и вручив мне «дорожный паек», хозяева вышли проводить меня до околицы. Девочки повисли на мне и ни за что не хотели отпускать. Суан, так и не успев переодеть забрызганное грязью платье, с ружьем за спиной и сигнальным фонарем в руке провожала меня и дальше — собственно, нам было по пути, она возвращалась на свой пост. Прощаясь с ней, я немного задержался. Мне было жаль, что день этот подходит к концу. Я вдруг вспомнил, что так и не успел спросить у нее о Лонге, «шофере Транспортного управления», с которым мне не довелось встретиться...

---

* Чыонг-шон (Долгие горы) — хребет, протянувшийся вдоль Индокитайского полуострова.

** Намек на американскую эскалацию войны во Вьетнаме.

По этой дороге шагал я семнадцать лет тому назад, а до меня шли по ней мои предки — поколение за поколением. И вот сейчас я иду по ней снова. И вместе со мной держат путь друзья: Суан, Тху... Суан была тогда такой же малышкой, как Ви. Это она ведь Хен-большая, с сестренкой на руках, как мышка с мышонком, бродила по деревне и кричала: «Старуха, старуха...» А теперь Суан гордо и мужественно сражается со сверхзвуковыми самолетами...

Я стоял и глядел на Суан при свете фонарика, подвешенного на вышке.

— Чуть не забыла! — спохватилась девушка.— Держите ваш пропуск.

Я взял у нее командировочное удостоверение. Хотелось сказать ей что-то по-настоящему теплое, душевное, важное. Но единственные, настоящие слова так и не нашлись...

И опять, словно отдыхавший на привале солдат, я выступаю в дорогу. Как в то далекое утро — по прохладной и мягкой траве на обочине. Они повсюду нежны и шелковисты — травы моей земли... Снова пойду, ступая след в след за теми, кто шли первыми. И сердце забьется радостно от того, что и я проторил свою малую тропку... Темными ночами и в дождливые, непогожие дни буду я замедлять шаг у придорожных домов, черпая в каждом щедрое человеческое тепло и силу на нелегком моем пути...

Огромная машина с ярко горящими фарами, тяжело гудя, приближалась к вышке. Я невольно посторонился. Суан, схватив флажок и фонарь, выскочила прямо на середину дороги. Шофер едва успел затормозить в нескольких шагах от нее. Гневный голос Суан прорывался сквозь шум мотора:

— Почему включены фары? Ты что, рехнулся?

Шофер высунул голову из кабины, блеснули в улыбке белые зубы:

— Вот шальная! Под колеса захотелось? Прошу прощения, не углядел, что есть дежурный!

Голос Суан немного смягчился:

— Вы разве не видите: американец повесил «фонарь»?

Я взглянул в ту сторону, куда показывала Суан. Километров за десять отсюда в небе висела на парашюте ракета, бросавшая зловещий, мертвенный свет.

Шофер тоже посмотрел туда, потом притворно вздохнул:

— Благодарю, товарищ дежурный, большое вам спасибо. Не сообщите ли, как вас зовут?..

Здесь-то я и распрощался с Суан. Меня подхватил и понес стремительный людской поток, хлынувший с наступлением темноты на дорогу. Тягачи с пушками, грузовики, автобусы, все с одним-единственным тусклым фонариком под передней осью,— укрытые свисающими ветками маскировки, воинские колонны на марше, вереницы велосипедов... Я прошел немного пешком, ведя велосипед рядом с собой, потом оглянулся в последний раз: сигнальный фонарь Суан казался отсюда крохотным кроваво-красным зрачком, а где-то еще дальше в ночи неясно белела крыша ее дома. На крыльце смутно желтела лампа. Наверно, сестренки смотрели свою новую книжку с картинками...

Непонятное волнение стиснуло вдруг мне сердце. Я представил себе их всех: Суан, Кая с женой, болтушку Ви и даже Лонга с его машиной, которых я и вовсе-то никогда не видал. И вокруг как будто повеяло теплом обжитого дома и пряным запахом свежесрубленных бревен.

Прощайте, дома, провожающие нас на бескрайних дорогах! Ночь, и мы снова уходим в бой...

ХОАЙ ВУ

Шелест пальмовых листьев

Может, любовь их и родилась в тот день, когда они подрывали мины на шоссе номер восемь.

Стояло ясное майское утро. Речные пальмы у озера Вам-ко-донг, не успевшие еще стряхнуть переливавшиеся на листьях последние капли росы, вдруг зашелестели и дрогнули от грохота, потрясшего небо и землю.

Хоа, пригнувшись, бежал по берегу, окаймлявшему рощу. Он оглянулся и крикнул едва поспевавшей за ним Сыонг:

— Уже недалеко, Сыонг! Пригнись пониже, а то заметят и откроют стрельбу!

— Подожди! Опять размотался шнур! — тяжело дыша, попросила Сыонг. По лицу ее катились крупные капли пота, волосы, серые от пыли, в беспорядке падали на лоб.

Хоа остановился, молча взял катушку и, опустившись на колени, стал наматывать шнур. Сыонг присела рядом, сняла с головы пеструю косынку и поправила волосы. Поглядев на дорогу, где клубился густой черный дым и суетились американские солдаты, она спросила:

— Отчего столько дыма, может, бензовоз подорвался?

— Наверно. Когда ты нажала кнопку, я был далеко от дороги. На бензовозе было полно американцев. Значит, худо-бедно, а еще десяток собак отправили к праотцам!

— Когда ты уйдешь на тот берег? — вдруг вспомнила Сыонг.

— Сперва провожу тебя, потом...— неуверенно ответил Хоа.

Взгляд его был прикован к мотку шнура, но он торопился, и шнур все время соскальзывал с катушки. Раньше Сыонг непременно посмеялась бы над его неловкостью, но сегодня она молчала, задумчиво наклонив голову. Время от времени она поднимала руку, обрывала два-три круглых листка гуайявы и, разорвав их на мелкие кусочки, выбрасывала. Потом тянулась за новыми листьями...

Хоа был партизаном из Ми-тхань-донга. Их волость входила в освобожденную зону. Вот уже год, как по соглашению о совместных действиях он и его друзья переправлялись на этот берег в Тан-фу и вместе со здешними партизанами врывались в стратегическую деревню, подрывали транспорт на шоссе, обстреливали поезда...

Так они и повстречались с Сыонг. Они были, как говорится, просто знакомы. Встречая ее, Хоа улыбался, но больше молчал. Оно и понятно: Сыонг ведь была очень хорошенькой, и Хоа всегда смущался. Да они почти никогда и не оставались наедине — вокруг всегда были ребята из отряда, а после боя сразу приходилось возвращаться на свой берег.

Сегодня они впервые оказались одни, и оба испытывали некоторую неловкость.

Хоа, смотав наконец шнур, положил его на краю траншеи, извивавшейся среди пальм.

— Ты там на шоссе, когда переодетая шла, была ну вылитая монахиня,— пошутил он.

— А ты совсем как преподобный монах из пагоды Каменной девы! — рассмеялась Сыонг.

Лицо ее, когда она смеялась, становилось еще красивее, щеки розовели, как персик, а глаза темнели и искрились, словно в них мерцали падающие звезды.

Сыонг украдкой покосилась на Хоа и встретила его пристальный взгляд.

— Ну, чего ты на меня уставился? — она покраснела.

Хоа пробормотал что-то и, смущенно улыбаясь, почесал затылок. Сыонг совершенно не узнавала его. Можно было подумать, что кто-то подменил спокойного и уверенного в себе Хоа, ставившего только что на шоссе мины. Но Сыонг каким-то сердечным чутьем угадала его состояние.

— У тебя на спине рубашка порвалась,— негромко сказала она.— Почему не попросишь кого-нибудь зашить?

— Мама бы зашила, но ее убило бомбой. А я... руки у меня корявые.

Слова эти болью отозвались в ее сердце. Ей стало жаль Хоа, такого одинокого в его маленьком бедном домишке на другом берегу реки. Она вспомнила вдруг своего отца, убитого совсем недавно,— он был такой же добрый, как Хоа, и еще он очень любил маму... Она отвернулась, низко склонив голову, и круглые плечи ее задрожали.

А над рекой опять застыла утренняя тишина. С тех пор как места эти стали бомбить днем и ночью, на реке не жужжали больше моторные лодки и разбегавшиеся от них волны больше не плескались о берег. Хоа слышал только плач Сыонг и тихий шелест пальмовых листьев.

Стиснув зубы, Хоа отбросил ветку, которой чертил что-то на песке, и резким движением встал на ноги. Посмотрев на дорогу, где клубился еще дым, он спустился к реке. Черпая пригоршнями прозрачную воду, умылся и крикнул кому-то:

— Эй, дрозд! Дроздушка!

Из-за пальм, стоявших в воде, показалась небольшая, накрытая тентом лодка, и в человеке, сидевшем на носу, Хоа узнал Хунга, командира своего отряда. Все точно, как сговорились... Уже восемь тридцать — пора возвращаться.

Он вернулся к траншее. Сыонг больше не плакала. Прислонясь спиной к пальме, она, глядя в зеркальце, поправляла прическу и тихонько напевала:

Ой, подружки, подружки,
мы проводим ребят через реку.
Ой, подружки, подружки,
провожаем мы их в дальний путь...

Хоа осторожно приблизился к ней. словно боялся, как бы шум шагов его не спугнул песню. Подождав, пока она допоет до конца, он присел рядом и улыбнулся:

— А ты, оказывается, певица! Да и песня сама хорошая. Жаль, я не знаю слов.

— Ну, беда невелика! Если хочешь, научу...

— Мне пора, Сыонг! — грустно прервал он ее и опять смущенно почесал затылок.

Сыонг сразу помрачнела. Черные бархатные глаза ее растерянно глядели на Хоа.

— Так быстро?

— Да, надо идти...

Он осторожно коснулся ее маленькой руки, и Сыонг не отняла ее.

— Сыонг, я тебя люблю. Очень люблю. Если ты согласна, поедем со мной, будем вместе работать и бороться... Лучше я умру, чем заставлю тебя страдать! — тихо сказал он.

Легким шелестом ветра показались Сыонг эти слова, ласковым и нежным, как шепот пальмовой рощи, сладостным и томным, как таинственное журчание реки в лунную ночь. Нет, она не сможет теперь жить без Хоа.

Так бы и слушала его без конца... Но Хоа замолчал, улыбнулся и снова поскреб затылок. Господи, какой же он робкий, не то что парни, которых она привыкла видеть на ярмарке,-- спесивые, как гуси.

Сыонг протянула руку и потрогала пуговицу на воротнике его рубашки, прикрученную сухим волокном ананасового листа. Подняв на него широко раскрытые глаза, ласковые, преданные и чуть затуманенные печалью, она сказала:

— Иди, вам нельзя задерживаться... Я тоже тебя люблю! Я буду тебя ждать... Да?

Хоа улыбнулся, кивнул ей и, подхватив винтовку, сбежал к реке.

Но с того самого утра Хоа не появлялся в Тан-фу, и Сыонг больше его не встречала.

Как-то утром дядюшка Тай, почтальон, встретил Сыонг у ворот.

— Тебе письмо! — улыбнулся он.

Удивленные глаза Сыонг стали совсем круглыми:

— От кого?

Почтальон открыл холщовую сумку, достал письмо и, держа его в руке, поддразнил Сыонг:

— Раз есть письмо, значит кто-то его написал. Сейчас прочитаем адрес, сразу небось вспомнишь. Та-ак: «От кого... Чан Ван Хоа, почтовый ящик 3842-С... Кому... Ле Тхи Сыонг, деревня Тан-куи-тхыонг, волость Тан-фу, уезд Дык-хоа, провинция...» Погоди, погоди, ну чего ты скачешь, как маленькая?

Но Сыонг не дала ему дочитать до конца, выхватила конверт и, не помня себя от радости, отбежала к банановому дереву, что росло неподалеку. Она прижала письмо к сердцу, по лицу ее побежали слезы:

— Хоа, любимый, ты помнишь обо мне! Смотри не забывай! Помнишь, в то утро ты так и не объяснил, что значит: «Лучше я умру, чем заставлю тебя страдать...»

Сыонг бережно вынула письмо из конверта, ей казалось, что, если листок разорвется, Хоа почувствует боль.

«Сыонг, дорогая,— писал Хоа,— у меня было очень мало времени перед уходом в Освободительную армию, и я не успел с тобой проститься. Но я все время думал о тебе. Я очень горжусь тем, что молодость свою посвятил — всю без остатка — служению родине. Вы там, дома, старайтесь вместе с друзьями шире развертывать партизанскую войну, хорошо?

У меня теперь в Ми-тхань-донге не осталось никого — ни семьи, ни близких, всех убили американцы. Но там есть Хунг, мой командир, и наши ребята из отряда. Ты, наверно, побываешь не раз на моем берегу и увидишься с ними. Я уверен, что вы еще лучше наладите обмен боевым опытом и укрепите нашу боевую дружбу.

Я очень тебя люблю и никогда не забуду. Желаю тебе здоровья, мужества и стойкости. Обязательно напиши мне и, если можно, пришли ту песенку: «Мы проводим ребят через реку» — помнишь, ты пела ее тогда. Чан Ван Хоа».

Кто знает, сколько раз перечитывала Сыонг письмо. Почтальон успел уже обойти деревню и вернуться на почту, а она все сидела на том же месте, задумчиво разглядывая лежавший у нее на коленях листок бумаги, исписанный аккуратными, с наклоном, фиолетовыми строчками.

Она не замечала птиц, клевавших ссыпанный во дворе рис, и не видела, как снова подошел почтальон. Только услыхав покашливание дя-

дюшки Тая, она вздрогнула, подняла голову и смущенно заулыбалась. Но дядюшка Тай уже не улыбался, как раньше. Открыв свою сумку, он шепнул:

— Письмо от Ба. Срочное!

Сыонг сразу поняла: поручение из отряда. Развернув записку, где сказано было: «Как получишь, явись немедленно ко мне», она быстро спрятала в карман письмо Хоа, забежала в дом за винтовкой и вышла со двора. Заглянув по дороге в ворота к соседям, она крикнула:

— Эй, Ман, присмотри за домом, ладно? К вечеру вернется мама, скажешь, что я ушла на задание. Пусть не ждет меня ужинать...

Противник собрался провести карательную операцию в деревне, где раньше жил Хоа. Этой ночью Сыонг должна была переправиться через реку, передать письмо командиру отряда и обсудить план совместных действий.

Ночь была безлунной. Небо казалось совершенно черным. Вода в реке Вам-ко-донг поднялась высоко, сильный ветер гнал по ней волны, и они гулко ударяли в борт лодки. Сыонг, осторожно загребая веслом, внимательно вглядывалась в темноту.

Лодка все ближе подходила к берегу. Сыонг почувствовала какое-то странное волнение. Сейчас она будет на родине Хоа. Вот так же, наверно, и он переправлялся на их берег. Какой же он все-таки глупый! Стеснялся попросить, чтобы ему залатали рубашку и пришили как следует пуговицу...

Вдруг в ночи послышался крик:

— Вьетконг! Огонь!

Из-за пальм ударили выстрелы. Огненные трассы пуль прорезали темноту. Одна... две... три моторки понеслись прямо на ее лодку.

«Заметили! Хотят взять живьем... Что ж, встречу их как полагается!» — лихорадочно думала Сыонг. Она скомкала письмо, давясь, проглотила его, положила винтовку на борт лодки и начала стрелять. Моторки сбавили скорость. Послышался громкий крик и всплеск упавшего в воду тела. «Так, одним меньше»,— усмехнулась Сыонг.

Но по ее лодке хлестнули пули, и в пробоины хлынула вода. Лодка качнулась, черпнула бортом и пошла ко дну.

Сыонг изо всех сил плыла обратно, к своему берегу. Стрельба не затихала. Еще минуты две-три, рассчитывала она, а там — берег, и пусть попробуют ее отыскать, ведь ей знаком каждый кустик, каждая тропка. Надо будет сразу найти траншею и оттуда открыть огонь по лодкам. Товарищи, конечно, услышав выстрелы, придут ей на помощь и вся эта свора, что гонится за ней, уляжется на речное дно.

Она плыла под водой довольно уже долго. Тело одеревенело, в ушах стоял шум, словно кто-то бил в большой барабан, нечем стало дышать. Как хотелось ей вдохнуть свежего воздуха, надышаться пряным ароматом, который ветер приносит к реке с плантаций сахарного тростника...

Она решила вынырнуть на секунду — только набрать воздуху и снова уйти под воду. Но едва голова ее поднялась над водой, как что-то с силой ударило ее в бок и тело пронзила чудовищная боль. «Ранило!» — успела подумать она и потеряла сознание.

...Тело ее долго, покачиваясь, плыло по реке, пока волны не прибили его к берегу. Пальмы, стоявшие в воде, склонили над ней свои широкие листья. Длинные черные волосы ее зацепились за лист и повисли на нем. В прозрачном воздухе раннего летнего утра волосы ее и этот зеленый лист единым отпечатком легли на воду.

Так и лежала Сыонг — тихая, добрая, спокойная. На лице ее темнели густые влажные брови. Глаза, блестящие и черные, в которых Хоа когда-то видел падающие звезды, были полуоткрыты...

Хоа узнал о ее смерти на марше, когда подразделение выходило к месту боев. Вообще-то он не получал новостей из дома. Эта, пожалуй, была первой...

По дороге все шли и шли к фронту воинские части. Медленно проплывали орудия. Подрагивали на солдатских шлемах маскировочные ветки и раскачивались перекроенные из мучных мешков рюкзаки. Топот множества ног, шелест зеленой маскировки, позвякиванье гильз в ящиках с патронами, веселый звон котелков разбудили лесную чащу.

— Эй, есть здесь кто из Бен-ката?

— У вас в Бен-кате небось все самое лучшее, экстра-класс! Одно мне там не понравилось!

— Это что же?

— Да ваши девочки!

Раздавшийся дружный смех оборвал чей-то голос:

— Потише, ребята! Потише!

Но шум начался снова.

— Ну-ка, ну-ка, что там за красотки?

— Сердце у них больно прыгучее. Никакого тебе постоянства!

— А ты докажи!

— Позвольте, как доказательство, тамошнюю частушку?

— Валяй!

— Хм, хм,— долго откашливается певец.

— Ну, ладно, не тяни! — кричит кто-то.

И вот уже звучит песня:

Бегут-шумят ручьи,
Идут-шумят дожди.
А я люблю двоих,
Жду, не дождуся их.

Все снова хохочут, потом чей-то голос просит:

— Дальше!..

Но частушек больше не слышно. Ребята дух не могут перевести от смеха. Один поперхнулся и никак не откашляется, другой утирает слезы, третий восторженно хлопает по своему пластмассовому шлему.

— Молодец, Хунг! Ну и выдал!

— Эй, Хунг, а сам-то ты откуда?

— Из Лонг-ана!

— Да, товарищ Хунг здорово раскритиковал вашу главную ударную силу!

Хоа шел в хвосте колонны. Он слышал раздававшиеся впереди шутки и смех и сам тоже смеялся, хотя не все мог разобрать. Но имя того, кто пел, он расслышал: Хунг из Лонг-ана.

«Какой Хунг? — сразу подумал он.— Уж не мой ли дружок Гремящая Бочка, что был в нашем отряде?

На привале, отпросившись у командира отделения, Хоа пробрался вперед. Вдруг один из бойцов бросился к нему и крепко обнял:

— Хоа, ты?

— Хунг...

Они снова обнялись, потом Хунг увлек его под дерево и рассказал все, что знал о Сыонг. Хоа долго молчал, а когда заговорил, голос его прерывался:

— Так это правда, Хунг? Ее убили?

Хунг кивнул и поглядел ему в глаза.

— В ту ночь мы слышали стрельбу на реке, и Сыонг не вернулась. Прошло десять дней, я должен был уже уходить, а ее все не было. Потом кто-то из наших утром плыл по реке и нашел косынку, зацепившуюся за

пальмовый лист. В уголке красными нитками вышиты буквы «Х» и «С». Я забрал ее, решил, что передам тебе, если увижу.

Хунг развязал вещмешок, вынул пестрый лоскут, Хоа осторожно взял его в руки, ярко-красные буквы «ХС» заплясали у него перед глазами. Хоа хорошо помнил эту косынку...

— Сыонг! — вырвался у него стон. Он попросил у Хунга сигарету, затянулся и крепко сжал руку друга:— Будем держаться, Хунг. Верь в меня... Ну, я пошел к своим.

В ту ночь, когда Хоа вместе со своим отделением штурмовал пост С., он повязал на шею косынку Сыонг.

Ночь была совсем темной. Четыре дота, чернеющие, как стога соломы, выплевывали красные струи огня.

Взрыв, и в первой линии проволочных заграждений—брешь. Взрывная волна толкает Хоа ко второй. Он снова закладывает взрывчатку — еще одна брешь. Хоа бросается дальше. За считанные минуты готов проход сквозь все пять рядов колючей проволоки.

Противник яростно отстреливается. Он ведет огонь отовсюду: из дотов, из траншей и укрытий. Гудя, кружатся в вышине самолеты. Но бойцам все же удается сломить сопротивление. Три дота уничтожены. Остается один — слева, в самом углу, у стены. Оттуда непрерывно бьет пулемет. Несколько бойцов падают.

— Товарищи, кто возьмется его обезвредить?

— Я!..

— Я!..

— Я!..

Быстрые, решительные голоса, тела, рванувшиеся вперед, в огневых вспышках разрывов.

Хоа, затянув покрепче узел на косынке, ползет, прижимая к себе взрывчатку. Когда пули свистят вокруг особенно часто, он прижимается к земле и замирает. Но едва выстрелы хоть немного стихают — поднимается и стрелой летит вперед.

Вот он уже у самого дота. Лай пулемета напоминает ему о смерти матери, о Сыонг... Он с силой швыряет взрывчатку в амбразуру дота и падает в оказавшийся рядом окоп. Воздух раздирает взрыв, страшные крики и грохот падающих камней.

Звучит сигнал победы. Хоа выбирается из окопа, стирает рукой грязь и пот со лба. Вспомнив о пестрой косынке, повязанной вокруг шеи, он бережно снимает ее и прижимает к щеке.

Старенькая, пропылившаяся косынка, кажется ему, хранит еще аромат арека* — им пахли в то утро волосы Сыонг.

Апрель 1966

---

* Арек — плод арековой пальмы, из него приготовляют бетель.

НГУЕН КИЕН

Баллада о детях

Нам в госпиталь принесли мальчика, обожженного напалмом. Он, как обычно здесь, в горах, пас на холме буйвола, у которого болталась на шее бамбуковая колотушка. Когда огонь охватил его тело, мальчик побежал по травянистому склону холма и прыгнул в ручей. Если б он лег на землю или в песок,— было бы лучше. Но он был еще слишком мал, чтоб знать об этом.

По долгу службы мне не раз приходилось объезжать воинские части, молодежные трудовые бригады и селения, расположенные в этом районе. То и дело попадались срубленные отесанные деревья, живые бамбуковые изгороди и печи для обжига кирпича или извести — безмолвные свидетели бывшей здесь ранее жизни...

Американцы проводят в этих местах войну на истребление. «Истребление» в буквальном смысле слова. И все же, пожалуй, людей тут больше, чем раньше. Наш госпиталь все время переезжает с места на место. А дороги бомбят днем и ночью, и они сильно разбиты. Но все равно поток людей и машин движется по ним к фронту.

Нам приходилось разворачивать свой госпиталь в горных пещерах; со сводов пещер свисали огромные сталактиты, и от чада керосиновых ламп скоро становились черными накомарники и белые медицинские халаты. Случалось нам размещаться и в убежищах и в землянках, где мы зимой страдали от заползавшего туда промозглого тумана, а летом — от дождей, ветра и грязи. Но мы не обращали внимания на все эти неудобства, когда перед нами были раненые, особенно — дети.

Вот этот мальчик... В его возрасте дети увлекаются веселыми, шумными играми, сидя на уроке, грызут ручку, оставляющую на передних зубах чернильный след. А он лежит, обожженный напалмом. К тому же еще есть симптомы отравления ядовитыми газами. Не задето у него только лицо, и оно бледнеет буквально на глазах.

Мы решили прибегнуть к самым срочным мерам и сделать все возможное, чтобы спасти ребенка. Единственная в госпитале девушка — младший лейтенант медицинской службы,— самая среди нас молодая, не отходит от мальчика. Она только что кончила институт по сокращенной программе — на войне нужны врачи. Мысли ее, должно быть, все еще заняты институтскими профессорами — светилами науки, подружками и друзьями, шумными столичными улицами и парками, кинотеатрами, пусть нелегкими, но веселыми воскресниками. Я завидую ее молодости. И не очень-то верю ее словам о том, что именно наш госпиталь и есть для нее настоящий институт, «университет жизни». Может, она считает нужным говорить так, раз я секретарь парторганизации и комиссар госпиталя. И все-таки я всегда рядом с ней у постели раненого, особенно если тяжелый случай.

Мальчик бредил почти весь день. К вечеру он пришел в себя и, увидав нас, сразу спросил:

— Дядя, я буду живой?

Девушка-врач посмотрела на меня. Понятно, отвечать нужно было мне. Я наклонился, положил руку мальчику на лоб:

— Дело пошло уже на поправку. Постарайся съесть что-нибудь и поспи...

В глубине души я не надеялся, что мальчик выживет. Но напряженно раскрытый маленький рот так жадно ловил каждое мое слово и глаза его горели таким огнем, что я как бы поддался их гипнозу. И... пове-

рил. Уверовал, что мальчик будет жить. Но сердце мое по-прежнему сжималось от боли.

Мне уже под пятьдесят, я начал свою «взрослую» жизнь в годину страшного голода, в сорок пятом, потом девять лет дрался с французами. Где только не довелось мне побывать и за какую я не брался работу! А сколько людей я перевидал... Но, по-моему, нет ничего тяжелее, чем встреча с ребенком в таких обстоятельствах.

Все в этом мире создается нашим — твоим, моим — потом и кровью. Но не будь на свете детей, что стало бы с нами и нашей жизнью. Дети приходят к нам беспомощными и обнаженными. Может быть, именно это делает их такими дорогими и необходимыми для нас...

Мне было восемнадцать, когда брат вовлек меня в подполье — мы готовили вооруженное восстание. Однажды я пошел в соседнее село на собрание ячейки. Вдоль дороги вереницей плелись люди. Нет, это были не люди, а груды тряпья, скелеты, жалкие сгорбленные тени. У перекрестка я увидел ребенка. Он сидел, прислонясь спиной к могильной насыпи; когда-то здесь похоронили нищего, и по обычаю прохожие бросали на нее горсть земли или оставляли мелкие монетки. Лицо ребенка, и без того желтоватое, в косых лучах заходящего солнца казалось совсем желтым. Только высокий выпуклый лобик с маленьким шрамом у виска говорил о том, что он был когда-то шалуном и непоседой...

Я остановился и спросил мальчика, где его родные. Но что он мог мне ответить? Он знал только одно — голод. Может быть, родные его упали где-нибудь на дороге, настигнутые смертью, или просто оставили его, чтобы он сам попытал счастья, а может, чтобы не видеть, как он будет угасать у них на глазах. Подобные случаи были тогда нередки.

— Уходи, уходи! — вдруг злобно забормотал мальчик. Он прогонял меня. Почему? Да просто, постояв возле него, я наверняка зашагал бы дальше, как и все другие, что останавливались, а потом уходили от него. Я-то понимал почему; но откуда ему было это понять. И все-таки слова его, обращенные, в общем-то, даже и не ко мне, запали в мое сердце, и долгое время спустя, сидя уже на собрании, я все еще слышал его обессилевший голос.

И мне казалось тогда, что этот малыш как-то связал мою судьбу со своею, с судьбой всех людей на земле.

На ячейке мне поручили в ближайший базарный день, пользуясь толчеей, обследовать подходы к зернохранилищу, стоявшему у въезда в селение. Я бродил по рынку. Голод притаился, но уже то тут, то там выпускал свои страшные когти.

Вдруг раздался чей-то вопль, и меня сразу же втянуло в людской водоворот, из которого я уже не мог выбраться. Гнались за девочкой, укравшей что-то съестное. Ее поймали у самых ворот зернохранилища. Если бы она отдала краденое, дело закончилось бы двумя-тремя подзатыльниками. Но девочка, крепко обхватив руками узелок, каталась по пыльной земле, ее били ногами, топтали. Черные волосы, длинные и жесткие, закрывали ее лицо, лишь изредка мелькали воспаленные глаза. Я бросился в толпу. Мне тоже досталось; впрочем, и я огрел кого-то разок-другой. Боль от ударов была нестерпимой, ведь мяса на мне не было, были одни лишь кости, покрытые тонкой кожей.

— Почему вы избиваете друг друга? — крикнул я.

— Мы голодны, вот и все...— отвечал чей-то злобный голос.

Девочка поднялась.

— Я тоже хочу есть! — сказала она.

Все сразу затихли. Люди, только что готовые разорвать друг друга, умолкли и насупились. Пользуясь этим, девочка выбралась из толпы и кинулась наутек. Откуда только взялись у нее силы, она летела, как стрела, и минуту спустя ее уже не было видно. Я подумал, что хорошо бы и

мне использовать этот случай — здесь собрался народ, а я много мог им сказать. Но пока я не имел на это права: если бы я «раскрылся», то не смог бы больше работать легально... Я посмотрел девочке вслед, путь ее был обозначен в пыли желтыми крошками жмыха.

Обойдя зернохранилище и понаблюдав за сторожевыми постами и сменой караулов, я вернулся.

Желтые крошки уже затерялись в пыли. Но мне чудилось, будто я все еще их вижу, и я не мог отделаться от странного ощущения, что если пойду по этому теперь уже стертому следу, то познаю сокровенные людские тайны. И потому я вовсе не удивился, когда снова встретил девочку сразу же за зернохранилищем. Рынок уже опустел, и я один шагал по дороге. Девочка шла впереди, совсем недалеко от меня. Это была она, ошибиться я не мог. Длинные жесткие волосы рассыпались по плечам, прикрывая рваную кофту, сквозь дыры виднелась темная, землистая спина, на которую только что обрушилось столько пинков и ударов.

Я негромко окликнул девочку. Она оглянулась и, ускорив шаг, пошла напрямик через поле, пустынное, белесое и раскаленное от солнца. Внезапно она остановилась. Я подошел и несмело тронул ее за плечо. Она не шевельнулась. В руках у нее был какой-то тяжелый узел. Нет, не узел. В грязные тряпки был завернут застывший в судорогах ребенок.

— Умер? — спросил я.

Девочка не ответила. Значит, умер. У ребенка был высокий выпуклый лоб и маленький шрам у виска.

— Как это случилось? — закричал я.

— Очень просто,— покачала головой девочка и, опустившись на землю, положила ребенка рядом. Я подумал, что никто ведь не заставлял ее подбирать малыша и вести за собой от самого перекрестка.

Я взял ее за руку — сухонькую, жесткую и горячую, как брусок раскаленного железа. У девочки был жар. Меня тоже лихорадило. Лихорадило и окрестные поля, заброшенные, пышущие жаром.

— Если бы не дала ему сразу весь жмых, он бы не умер...— тихо сказала девочка и подняла на меня воспаленные, прятавшиеся за упавшими на лоб жесткими черными волосами глаза. Она не плакала, и это было самое страшное. Она была как мать, жертвующая собой и умеющая все снести.

— Да нет же, маленькая,— начал я...

Ей первой открыл я план нападения на зернохранилище, и от нее эту новость вскоре узнали другие. Девочка слушала меня не дыша, от волнения на лбу у нее выступил пот и дрожали руки.

Я вспомнил ту девочку сегодня, когда в госпиталь к нам пришел отец ребенка, обожженного напалмом. Он стоял у постели сына, сгорбив широкую крепкую спину. На лбу у него тоже проступил пот, и руки его дрожали. Он внимательно следил за легкими и быстрыми движениями младшего лейтенанта, смотрел, как ловко она обращается со всеми этими шприцами, блестящими никелированными железками и ампулами, разложенными на прикрытом марлей маленьком медицинском подносе.

— Мы хотим сделать мальчику переливание крови,— сказал я.

Отец мальчика все смотрел на девушку, точно желая спросить: «Чьей крови?» Она поняла это.

— Несколько человек предложили дать мальчику свою кровь. Но у них не та группа крови. Группа 0 у меня...— несмело начала она.

Он не понимал, что значит кровь группы 0, он видел только розовые блики на нежных, чуть бледных щеках девушки, молодость которой так не вязалась со здешней обстановкой. Он хотел сказать что-то, но ему помешал чудовищный грохот и треск. Бомба разорвалась где-то совсем рядом, видимо у дороги, которую проложили недавно. Наше подземелье

заходило ходуном. Зазвенели инструменты и ампулы на подносе. Мы приступили к переливанию крови, а за дверями убежища видны были черно-красные клубы дыма, застилавшие голубое небо.

— Снова у нас! — коротко и просто, даже вроде бы равнодушно сказал отец. Потом он на минуту вышел и принес корзину, полную свежей зелени. Свежие овощи! Кто знает, сколько раз мы вскапывали землю и сажали овощи; но их неизменно губили бомбы — фугасные, зажигательные, химические. Бомбы были, можно сказать, опаснейшими вредителями нашего огорода. Клубням и семенам, которые мы сажали, приходилось расти в расщелинах между камней, пробиваться сквозь почву, нашпигованную осколками железа. Листья у нашей зелени бывали обычно пробиты мелкими точками, а жесткие стебельки похрустывали на зубах. И все-таки это была свежая зелень...

Я глядел на девушку. Пусть от всех нас примет корзину. Лучше всего это сделать ей.

— Спасибо вам...— растерянно поблагодарила она отца мальчика.

Но он, не дослушав ее, повернулся ко мне:

— Мать все хотела пойти вместе со мной, да я ее отговорил. Мне вы можете сказать все...

— Ребенок очень слаб,— сказал я,— но вы не отчаивайтесь...

Мне хотелось успокоить и подбодрить его. Но он сразу все понял и потом уже сам старался успокоить меня.

Я проводил его довольно далеко и, остановившись у подножья горы, долго еще глядел ему вслед. Но вот его фигура в последний раз показалась на тропинке, кажущейся отсюда извилистой тонкой нитью.

Косая фиолетовая тень наползала с гор на редкие наши холмы. Едва исчез силуэт человека, как необъятная ширь вечера преисполнилась какой-то таинственности... Я люблю природу. Она всегда наполняет меня чувством обновления и силы. Ощущение это у меня появилось, пожалуй, после побега из тюрьмы осенью пятидесятого года. Меня взяли тогда в одну из облав. Я был партийным работником в одной из волостей на Красной реке и временно поселился у командира тамошнего отряда партизан. Вокруг их деревни все заросло диким сахарным тростником. Противник не раз пытался его выжечь, но едва догорал огонь на одном краю поля, как на другом уже вновь щетинились молодые побеги. Командир отряда был молод и совсем недавно женился. Дом их сожгли, и от всего имущества осталась у них только огромная плоская корзина, в каких обычно просушивают рис. Где поставят, бывало, эту корзину, там и дом. Каким трогательным казалось мне их счастье — счастье, свернувшееся калачиком в корзине...

В тюрьме меня записали в разряд опасных. Шеф охранки, который допрашивал нас, был довольно еще молод. Разговаривать зря он не любил. Он молча смотрел на нас и бил, бил... Каждый удар хлыста, каждый укол докрасна раскаленного шила были приправлены его холодной, бешеной ненавистью. Следы пыток у меня до сих пор отзываются болью во всем теле. Особенно мне запомнилась одна из его «забав». Перепробовав все способы пыток, он вдруг заявлял: «Сегодня отдых. Пойдете купаться!» С нас срывали одежду и сгоняли в угол двора. Над головами у нас, покачиваясь, двигался непрерывно огромный бак из кровельного железа, приводимый в движение адской системой веревок; в самый неожиданный момент он переворачивался, и вся вода обрушивалась на нас. А бак снова начинал двигаться взад-вперед, и никто не знал, когда он наполнится и опрокинется снова. Наш палач с ухмылкой развлекался этим зрелищем.

После побега из тюрьмы я скрывался некоторое время в одной семье, на чердаке дома, стоявшего прямо на главной улице волостного центра. Помню, ночью, когда я уходил оттуда, меня охватило радостное

предчувствие встречи с природой. Но пейзаж партизанского края переменился, на всем лежала печать разрушения. На полях в рост человека поднялись сорные травы. Я продирался сквозь эти заросли, весь исколотый и исцарапанный колючками и острыми, жесткими листьями. Потом дорогу мне преградила какая-то яма — провал, заполненный водой. Сверху вода была подернута тонкой белой пленкой. Казалось, будто в нее с опрокинувшегося ночного неба упала луна. И я тоже провалился в эту топь и стал увязать в жидкой грязи, раздирая руками водоросли и плесень...

Уже под утро набрел я на партизанского командира, прежнего моего «квартирохозяина».

— О, господи, ты, наверно, голоден? Замерз? Небось устал? Пойдем ко мне! А мы недавно о тебе вспоминали...— улыбался он, засыпая меня вопросами. Я даже не ожидал, что он так обрадуется.

Знаменитая их корзина окончательно разорвалась и перекочевала за зеленую бамбуковую изгородь, окружавшую деревню. Одна половина ее валялась в яме, напоминавшей разверстую жабью пасть, другая — лежала на песке под навесом из пальмовых листьев. На нее падал прозрачный ласковый луч восходящего солнца. Я как завороженный глядел на нее. Вдруг послышался детский плач, громкий и требовательный. Жена моего друга вскочила.

— Малыш! — сообщила она мне как нечто само собой разумеющееся, о чем все давно уже знают.

Пока они хлопотали, стараясь приготовить угощение повкуснее, меня — будто для того, чтобы приглядывать за ребенком, который, кстати, крепко спал,— заставили лечь отдохнуть. Мне хотелось крепко обнять малыша, но я не смел дотронуться до него. Круглая головка его со стоявшими торчком волосиками напоминала маленькую тыкву. Он громко чмокал губами — может, искал во сне мамину грудь. А может быть, он уже видел сны? Вдруг мальчонка повернул голову и уткнулся мне в руку. Капля слюны, пахнувшей материнским молоком, прошла сквозь рукав рубахи, попала на едва просохшую рану.

С того дня сон ребенка для меня — святыня. Он — воплощение священного покоя, он рождает уверенность в наших сердцах, в сердцах людей, принадлежащих поколению, которое почти всю жизнь вынуждено противостоять жесточайшим испытаниям, выпавшим на долю родины.

Мальчик, обожженный напалмом, спал, приоткрыв рот; на зубах его виднелись следы фиолетовых чернил. Нам пришлось немало потрудиться, пока он уснул.

С вечера американцы непрерывно бомбили недавно проложенное неподалеку шоссе. Иногда они вешали осветительные ракеты. Они шли на большой высоте, не снижаясь, сбрасывали бомбы и уходили. Гул самолетов даже не был слышен из-за воя бомб и грохота разрывов. Это называлось «бомбежкой по заданным квадратам» и должно было парализовать всю округу.

Ожоги на теле мальчика начали подживать, но сердце и легкие были в плохом состоянии, пульс слабый, и дыхание неровное. Он все время задыхался. Лицо его то краснело, наливаясь кровью, то снова становилось иссиня-бледным. Тело напряженно вытягивалось в струну и потом медленно обмякало. Девушка уже несколько раз давала ему кислород...

Близилось утро, но после такой напряженной ночи невозможно было заснуть. Я подошел к постели мальчика. В тусклом свете фонаря, стоявшего у самой стены, я увидел нашу девушку. Она делала ему искусственное дыхание. Потом она наклонилась и, прижавшись к лицу

ребенка, стала вдувать ему воздух изо рта в рот. Я не слышал ее дыхания, видел только, как поднимались и опускались ее хрупкие плечи.

— Идите отдыхать! — сказал я.

Она, не отводя глаз от ребенка, прислушалась к неожиданно наступившей тишине.

— Товарищ комиссар,— голос ее звучал с трудом, словно что-то мешало ей говорить,— разрешите мне... разрешите, я скажу вам... Потому что вы для меня все равно что отец. Я очень люблю папу... В ту войну я была еще маленькой. Мы с мамой были в эвакуации. Я ничего не видела и не знала, кроме дорог в джунглях, узеньких улочек и ночной школы, где я училась. Мне очень жалко отца... он ведь на всех фронтах побывал, и теперь у него столько болезней — и желудок, и печень, и давление... Но у него такой трудный характер. Мы с друзьями шутили, и я негромко свистнула... ну что тут особенного, а отец целый час читал мне мораль... Я только теперь поняла... Я ведь еще молода, а у меня в жизни было уже столько счастья, и я должна сделать что-то такое...

— Товарищ младший лейтенант...— начал я, но вдруг где-то рядом загрохотал взрыв. Подпорки и стены убежища зашатались. Мальчик проснулся и крикнул испуганно:

— Мама! Мама, где ты?

Девушка-врач стремительно бросилась к ребенку, прикрыв его своим телом, и задула лампу. Но я успел заметить, как напряглось ее хорошенькое бледное лицо под врачебной шапочкой. Я разглядел даже легкий пушок у ее стиснутых губ, эта мелочь почему-то особенно врезалась в память. Я направился было к выходу, но в этот момент прямо надо мной сверкнуло ослепительное ярко-красное пламя, и я ощутил, как разверзлась вокруг нашего убежища земля, и меня ударило упругим горячим воздухом.

Я принял решение немедленно перевести отсюда раненых в более глубокие и надежные укрытия.

Легкораненые шли сами, поддерживая друг друга, по траншеям к подножью видневшегося впереди холма. Тяжелораненых мы на носилках, а то и прямо на спине перетаскивали в окопы, вырытые там, где раньше была живая бамбуковая изгородь и в земле сохранились еще тесно переплетенные корни. В небе ревели самолеты. Свистели бомбы и полыхали кроваво-красные вспышки разрывов. В селе начались пожары. Зловещее ночное небо раскалилось от огненного зарева. Земля опрокидывалась и уплывала из-под ног.

Вдруг прямо над нами загорелась осветительная ракета, бросив на землю призрачный зеленоватый свет. В одном из ходов сообщения прямо перед собой я увидел девочку. Ракета светила так ярко, что я разглядел даже черные пятна сажи на ее лице.

— Не ходите туда! — крикнула она.

— Почему? — я посадил на землю раненого, которого вел по окопу, и подошел к ней.

— В деревню нельзя, ее бомбят! Поворачивайте назад.

— Но...— начал было я.

— Нет! — настаивала девочка.— Вам надо идти обратно, а потом свернуть к нашей школе. Вы знаете дорогу?

— Знаю,— я взял ее за руку.— Ты тоже пойдешь с нами.

Я почти не видел ее лица, ракета уже погасла; но всякий раз, когда она открывала рот, в темноте белели маленькие зубы, и мне казалось, будто они перепачканы чернилами. По утрам из госпиталя было видно, как ребята с книжками в руках идут в школу. Может, и эта девочка тоже была среди них? Вспыхнула еще одна осветительная ракета. От светящегося пучка тянулись тонкие струйки белого дыма, похожие на маленькие слоистые облачка. Самолеты держались теперь очень высоко,

и слышен был только пронзительный свист бомб... Девочка быстро нагнулась, прижавшись к стенке окопа, и выдернула руку из моей ладони.

— Ты куда?

— Побегу в поле к маме. А то она еще начнет меня искать...

И она исчезла за поворотом траншеи.

Я повел раненого к школе. Мы шли быстро, но время от времени оборачивались, и один раз, всего только один раз, мы увидели где-то далеко фигурку девочки с развевающимися волосами, освещенную резким, до боли в глазах, светом ракеты. Наверно, траншея кончилась, и девочке пришлось бежать поверху.

Возле школы я встретил нашу девушку. Она тоже привела туда раненых. Сама она приняла такое решение или кто-то направил ее сюда? Заметив мой удивленный взгляд, она потупилась и вдруг произнесла скороговоркой, словно желая поскорее вытолкнуть из себя слова:

— Разрешите доложить, мальчик умер!

Я сразу не понял.

— Разрешите доложить,— повторила она.— При транспортировке у мальчика снова был приступ удушья...

Теперь я понял, но крикнул ей:

— Нет!

Из японской поэзии

Дзюн Таками

Дзюн Таками (1907—1965), поэт, прозаик, эссеист,— один из выдающихся представителей современной японской литературы. В его произведениях отразились целые этапы ее развития. Его личная судьба — это судьба того поколения японской интеллигенции, чьи идеалы, поиски и стремления были грубо растоптаны сапогами милитаристов.

Он пришел в литературу в середине двадцатых годов, когда по всей Японии многочисленные кружки молодых писателей искали новых путей в искусстве. Для многих эти поиски неразрывно сливались с революционной практикой. Среди этой молодежи был студент Дзюн Таками, участник движения за создание новой, «пролетарской» литературы.

В тридцатые годы, когда над Японией, так же как и над странами Западной Европы, сгустилась мрачная тень фашизма, Дзюн Таками, разделив участь десятков и сотен лучших людей Японии, прошел через аресты, тюремное заключение, допросы с пристрастием. В романе «Старые незабываемые друзья» (1936), принесшем первый успех молодому писателю, он рассказал о душевном надломе и ощущении тревоги, характерных для японской интеллигенции накануне второй мировой войны. Когда же война разразилась, Дзюн Таками, подобно многим другим писателям насильственно мобилизованный в армию, в так называемые «отряды пера», был отправлен в оккупированную японской армией Бирму, а затем в Центральный Китай.

Сборник «Из бездны смерти», отдельные стихотворения из которого помещены в этом номере,— может быть, самое удивительное и яркое из всего созданного Таками. Поэт писал эти стихи в течение двух с половиной лет, прикованный к постели смертельным недугом. Эти стихи — не только свидетельство необыкновенного мужества, подлинного торжества духа над плотью, но в первую очередь поэтические творения, тонко передающие бесконечную гамму человеческих чувств, от глубокой скорби до всепобеждающей радости жизни.

Этот сборник был отмечен в Японии одной из высших литературных премий в 1965 году, уже после смерти его автора. Глубоко национальный по духу, этот сборник принадлежит не только японской, но и мировой современной поэзии.

И. ЛЬВОВА

Здоровье молодости

Электричка подходит к станции Кавасаки,
На платформу, залитую блеском свежего утра,
Из вагонов хлынули пассажиры.
Часы пик.
Октябрьское утро.
И на другой платформе
Толпы школьников, бегущих на уроки,
И людей, торопящихся на службу.

Это жизнь переполнила платформу.
А я с той же самой платформы
Сегодня уезжаю в больницу.
У школьников, бегущих на уроки,
За плечами, как и у меня когда-то,
Болтаются старенькие ранцы.
Мне вспомнились школьные годы.
Потом я, окончив школу, работал на заводе в Кавасаки.
И сейчас я с любовью вспоминаю
Себя в то далекое время.
Эй, сонные парни там, на платформе!
Вы — это я когда-то.
Моя молодость переполнила платформу.
И мне хочется пожать ваши руки,
Не только потому, что вы мне близки.
О, молодые рабочие парни,
Бегущие через мост на работу,
Прощайте!
Мне, как видно, уже не придется встретиться с вами.
Я сейчас отправляюсь в больницу
На операцию по поводу рака.
И я рад, что встретил вас в такое утро.
Вы незнакомы мне, парни,
Но я счастлив, что вы здоровы.
Молодость всегда бодра.
Прощайте!
Пора. Уже подан состав на линию смерти.
Прощайте!
О, молодость!
Молодость всегда полна здоровья.
Прощай!
О, моя молодость!

У мечты есть кораблик

У мечты есть кораблик,
С белоснежным парусом кораблик —
Ах, ну до чего ж красиво!
Морем слезы разлились.
Дунул ветер, встали волны,
И прекрасный мой кораблик
На глазах на дно уходит.
Что мне делать? Я бессилен.

На границе жизни и смерти

Интересно, что там,
На границе жизни и смерти?
Вот, к примеру, государственные границы:
Во время войны я видел,
Когда пробирался сквозь джунгли,
Границу между Бирмой и Таиландом.
Но я не заметил отметок,
никаких пограничных линий.
И когда переплывал через экватор,
В этом месте не болтался бакен.
Было только темно-синее море
Густого, яркого цвета.
А на границе Бирмы и Таиланда
Было прекрасное небо,

И на небе радуга сияла
После проливного ливня.
Ну а на границе жизни и смерти
Тоже, может быть, радуга сияет,
Даже если все, что меня окружает,
И я сам —
Только дикие джунгли?

Классная доска

Белые занавески
В нашей больничной палате
Согревает вечернее солнце.
Палата похожа на класс.
Помню, когда я учился в школе,
Мой любимый учитель
(Он преподавал у нас английский),
Аккуратно вытерев доску
И зажав под мышкой учебник,
Сказал нам: «Друзья, до встречи!»
И когда он выходил из класса,
Лучи вечернего солнца
Коснулись его плеча.
Я хотел бы уйти из жизни,
Все стерев и сказав: «Ну, до встречи!»
Так же, как тогда мой учитель
Вышел после урока из класса.

Как Энку* резал изваянье Будды

Хочу писать стихи
Вот так же, как Энку резал изваянье Будды.
Хочу скулить в стихах, как Нана —
Собака, заболевшая нитчаткой.
Хочу, чтобы стихи цвели так ярко,
Как желтым цветом зацветает одуванчик.
Хочу писать стихи так безыскусно,
Как капельку помета вниз роняет
Летящая по небу птичка.
А иногда хочу кричать стихи так громко,
Как пароход гудит перед отплытьем.

Орган

Ранним летом
В вечерних сумерках
Где-то
Орган замолк.

И тотчас вдалеке
Залаяла собака.

Когда замолк орган,
Моя душа,
Что до сих пор так жадно
Смотрела сквозь стекло на мир,
Вдруг поднялась с окна
И возвратилась
В больное тело
На постели.

---

* Энку — знаменитый резчик по дереву, жил в феодальной Японии.

Потерянный барсук

Помнится, когда я был ребенком,
В городской погребок
С бутылкой
За сакэ приходил тануки *.
Я частенько встречал его по дороге,
И мы скоро стали друзьями.
А когда я стал взрослым,
Мой тануки исчез куда-то.

А когда тануки напивался,
Танцевал каппорэ тануки
И смешил меня, ребенка,
Обернувшись красивой девицей.
«Браво! Браво! — я хлопал в ладоши.—
Ты, наверно, обманешь и взрослых!
Ведь дурачить людей интересно?»
Но тануки вдруг стал серьезен
И сказал тогда мне, младенцу:
«Мальчик, ты говоришь неправду.
Я совсем не хочу обмана.
Ведь обманывать — это плохо.
Это только наша забава,
Наша маленькая, жалкая забава.

Мальчик, посмотри на эту вишню!
Ведь она цветет не для человека.
И, хотя ее жизнь — мученье,
В муках вишня цветы рождает.
Разве это не геройство, мальчик!
Посмотри, как на грязных ветках
Так красиво цветы расцветают.
Ну, не ловкое ли это превращенье?»

То, что говорил тогда тануки,
Мне, ребенку, было непонятно.
А теперь я все понимаю:
Тот тануки был тоже несчастен.
Да, теперь все стало понятно,
Но тануки исчез куда-то:
Некому сказать, что все я понял.
Да, тануки, потерянный мною,
Уже больше никогда не вернется.

Ночная вода

Темной ночью
Спокойная водная гладь
Вдруг вздымает волны
И на глазах разбухает все больше и больше.
Я понимаю: она рассержена чем-то,
Сверкая черным во мраке,
Гневается вода.

---

* Барсук, по-японски «тануки»,— сказочное существо, обладающее способностью превращаться в человека.

Тоска, что скопилась в сердце,
Вдруг обратилась в злобу.
Но и злоба не длилась долго.
Злоба бессильно погасла.

Волны, поднявшись, упали.
Водоворот исчезает бесследно,
И поверхность воды застывает.
И тогда на меня волною
Вдруг обрушивается тоска.
Я размышляю о жизни и смерти.
Вот она, та минута,
Когда, как нельзя яснее,
Понимаешь, что же такое
Истинная тоска.

О, жизнь, подобная волнам гнева!
Ее хрупкость, ее краткость, ее бурность!
О, вода беспросветной ночью,
Похожа ли смерть на тебя?

Голый берег

Пробуждение в тусклом рассвете
Мне напоминало мое рожденье,
    Нежеланное,
    Неблагословенное,
    Тайное рождение внебрачного ребенка.

Так пускай же и в час кончины
Я уйду из мира украдкой.
Лишь жена, единственный свидетель,
Будет кротко смотреть на меня.

Только море в эту тихую минуту
Бросится всем телом на берег
И, обрушивая бурные волны,
Зазвучит похоронным рыданьем.

Потому что в то зимнее утро
Только голый берег видел мое рожденье.
В это утро в черном Японском море
Бушевала дикая буря,
И косые снежные плети
Бичевали ревущие волны.

И, когда я умру, неизбежно,
Как и в день моего рожденья,
Грохот волн, словно бешеный топот,
Донесется, коснувшись подушки.

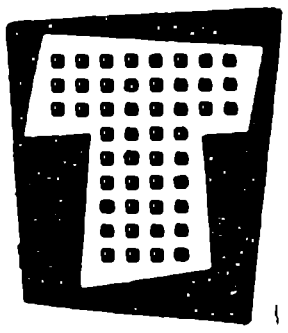
Перевод с японского *И. МОТОБРЫВЦЕВОЙ*

ДЖОН КВИРК

Победители БЕЗ ЛАВРОВ

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА



Тони Кэмпбелл, войдя в кабинет Дэвида, огляделся и с приятной улыбкой сказал:

— Не так уж плохо для отставного футболиста.

— У Джима всегда все было первого сорта,— ответил Дэвид.— Этот кабинет не только самый современный и наиболее богато обставленный, но и самый большой на нашем седьмом этаже. Вот этот простенок он отодвинул на несколько дюймов специально для того, чтобы его кабинет был больше, чем у Пирсона.— Дэвид улыбнулся.— Карл этого не знает.

Тони опустился в изящное кресло перед столом Дэвида и сказал:

— А события разворачиваются довольно быстро.

— То есть?

— По-моему, сейчас принимаются важные решения. Так мне кажется.

— Тони, завтра мне хотелось бы поговорить с вами полчаса. Утром вам удобно?

Тони улыбнулся.

— Наслаждаетесь, Дэвид?

Дэвид пожал плечами.

Тони продолжал улыбаться.

— Помните, когда мы летели в Лос-Анжелес, вы сказали, что Джим Паркер намерен выдвинуть вас в руководители службы производства. Но Джим умер, а вы все равно получили это назначение. Тогда же и вы, и я собирались стать членами совета, но в этом я вас опередил.

— Да.

— Хотите знать, как я проголосовал, когда вас выбирали?

— Нет.

— Ну, так и не скажу. Карл рассказывал вам, что было на совете, когда вы ушли? Дана назвал вашу кандидатуру, а Данкуорт тотчас и без оговорок поддержал ее. Мне показалось, что все было заранее подготовлено.

— Так показалось и Карлу.

— Это так и было?

— Нет.

— Не могу понять, куда клонит Дана. У меня такое ощущение, будто он уже видит себя президентом и подбирает себе сотрудников. Вы думаете, это возможно?

— Откуда мне знать?

— Скажу вам правду: раньше я был убежден, что они решили выбрать кого-то из молодых. Теперь я в этом не так уверен. Дана Олбрайт человек осведомленный. Может быть, ему известно что-то, чего мы не знаем.

— Может быть, у него просто хватило смелости заполнить собой вакуум.

— Возможно. Пока другие кандидаты мнутся и вежливо уступают друг другу дорогу, он нас всех обойдет. Вы видели Бэда Фолка? Он где-то здесь.

Окончание Начало см. в № 7.

— Видел. Незадолго до вашего прихода.

— Как складываются сейчас ваши отношения?

— Это надо спросить у него.

— Я знаю, вы не нуждаетесь в советах, Дэвид, но в отношении Бэда я хочу вас кое о чем предупредить. Взбираясь по лесенке успеха, старайтесь не запачкать ноги, чтобы, когда будете спускаться, не запачкать рук. Не исключено, что Бэд может довольно скоро стать вашим начальством.

— Или вы?

— Или я. Дэвид, я думаю, нам следует быть друзьями. Волею судеб мы вступаем в тесное общение. И встреча в Палм-Спрингс нас также сближает.

Дэвид и глазом не моргнул. Он сказал спокойно:

— Да, верно. Хотя у вас было две дамы, а у меня — одна.

— Дэвид...

— Что?

— Наверно, нам стоит поговорить в ближайшее время. Возможно, мне понадобится ваш совет. А пока — скажу откровенно: я хочу стать президентом. Я думаю, выбор будет сделан между мной и Бэдом Фолком. Но Олбрайт меня беспокоит.

Когда Бэд Фолк вошел в кабинет Дана Олбрайта, тот сказал:

— Знакомьтесь, Бэд. Это мистер Кермит. Вы, конечно, следите за его газетной колонкой. Разрешите, мистер Кермит, представить вам мистера Фолка, вице-президента корпорации и управляющего отделением по производству автомобилей «катлесс».

Пожимая руку газетчика, Бэд терялся в догадках. Они что же, решили дать Кермиту материал? Материал о новом президенте? Вряд ли. Кермит — не тот автор. Он специализируется на скандалах и сенсациях. Какое он может иметь отношение к «Нейшнл моторс»?

— Думаю, вам следует начать сначала, мистер Кермит,— сказал Дана.— И без предисловий.

Кермит резко спросил:

— Мистер Фолк, вы знаете полковника Уикершема?

Бэда словно вдруг разбил паралич. Он тихо ответил:

— Да, я знал майора Уикершема. По-видимому, это он и есть.

— Он вышел в отставку и работает сейчас в Вашингтоне агентом фирмы «Машин энд фаундри». Неделю назад он приходил к нашему вашингтонскому корреспонденту и просил пятьсот долларов за материал о вас.

— Продолжайте, мистер Кермит,— сказал Бэд.

— Ходят слухи, мистер Фолк, что вы станете новым президентом «Нейшнл моторс». Если это так, значит, сейчас лишь шаг отделяет вас от одного из важнейших постов в нашей стране, который позволит вам влиять на судьбу каждого американца...

— Обойдемся без патриотической болтовни,— сказал Бэд Фолк.— Переходите к делу.

Кермит мягко улыбнулся.

— Наша газета не так жестока, как вы, может быть, думаете. Суд ни разу не признал нас виновными в клевете. Мы всегда тщательно проверяем факты. Кроме того, у нас есть совесть, каким бы невероятным вам это утверждение ни показалось. Мы могли бы дождаться, когда вас выберут президентом, а потом опубликовать материал, но, подумав, решили опубликовать его сейчас, пока вы еще управляющий отделением «Катлесс».

— Мне известно, что́ вы можете напечатать.

— Я хотел бы услышать это от вас,— сказал Дана Олбрайт.

— Дана, во время второй мировой войны я был взят под подозрение, потому что некоторые из моих бывших приятелей, как оказалось, сочувствовали немцам. Моим делом занимался майор Уикершем, работавший тогда в службе безопасности. Меня уволили из действующей армии и перевели на нестроевую службу, назначив инженером танкового завода «Эмбасси», где моим начальником был Джим Паркер.— Бэд вздохнул.— Но обвинение, выдвинутое против меня, было голословным.

— Почему же голословным, мистер Фолк? — спросил Кермит.

— Потому что официального разбора моего дела не было. Майор Уикершем обещал подробно расследовать его, но не расследовал. Так все и осталось.

— Полковник Уикершем говорит, что вы тогда примирились с переводом на нестроевую службу. В тот момент вы не потребовали официального разбора.

— Верно. Это была ошибка.

— Мистер Кермит,— сказал Дана Олбрайт,— это дело пахнет очень дурно. Как это так — вы платите пятьсот долларов бывшему полковнику за подобную информацию? Что же это за свидетельские показания? Ведь вы можете испортить мистеру Фолку жизнь.

Кермит снова любезно улыбнулся:

— Что касается нас, то мы заплатили полковнику, и на этом наши взаимоотношения кончились. А вы можете подать на него в суд, мистер Фолк. Лично я думаю,

что дело вы выиграете. Мы же не приняли слов полковника на веру и обратились в архив.

— Но архивные материалы засекречены,— сказал Бэд.

— Что ж что засекречены. Мы каждый день печатаем секретные материалы. Не мы их засекречиваем, и не наша вина, если кто-то не умеет хранить тайну.

— Вы действительно намерены опубликовать этот материал? — спросил Бэд.

— Да. Выслушав вас, я решил, что он нам подходит. Если мы напечатаем хоть слово неправды, можете подать на нас в суд.

— Но ведь все это неправда. Читатели могут поверить, будто я и в самом деле был политически неблагонадежен, а это не так.

— Я непосредственный начальник мистера Фолка и полностью ему доверяю,— сказал Дана Олбрайт.— Поэтому я обращаюсь к вам с официальной просьбой не печатать ваш материал.

— И все же мы его напечатаем.

— А если мы примем кое-какие меры?

В глазах Кермита блеснул веселый огонек.

— Впрочем, именно этого вы, очевидно, и добиваетесь,— продолжал Олбрайт.— Подозреваю, что вы затем и пришли сюда, чтобы спровоцировать нас на угрозы. Но мы не будем вам угрожать. Все, что мы можем,— это просить вас не печатать материал.

Бэд Фолк пристально посмотрел на Олбрайта.

— По-моему,— сказал он,— вы решили отдать меня на съедение волкам. Поговорю-ка я с Карлом.

— Я уже говорил и с Карлом и с Уинстоном,— Олбрайт кивнул в подтверждение справедливости своих слов.— Полковник Уикершем продал эту информацию и нам. Ему нужны деньги. Его отдают под суд за кое-какие грязные делишки в Вашингтоне. Если хотите знать, мистер Кермит, он начал не с вас. Сначала он предлагал этот материал одному солидному журналу, но там ему, видно, отказали.

Бэд Фолк закурил и спокойно сказал:

— Мистер Кермит, Дана Олбрайт у нас в корпорации давно имеет репутацию экзекутора.

— Ну, зачем же так, Бэд,— кротко возразил Олбрайт.— Это несправедливо. Я выдержал за вас настоящий бой с Пирсоном и Уинстоном. Что бы там ни было, а управляющим вы останетесь.

Бэд Фолк побледнел как полотно, но голос его оставался спокойным:

— Другими словами, я не стану президентом?

— Именно. Ни сейчас, ни после. Никогда.

— Но это несправедливо. Как можно принимать такое решение на столь нелепом основании?

— Оно не так уж нелепо, Бэд, и вы это знаете. Будьте объективны. Что, если бы в таком же положении оказался Тони Кэмпбелл? Вы думаете, корпорация потерпела бы, если б на первых полосах газет появились материалы, обвиняющие его в неблагонадежности?

— Я полагаю, вы понимаете, мистер Олбрайт, что даете мне сейчас чудесный материал? — задумчиво произнес Кермит.— Внутренние дрязги в корпорации.

Олбрайт покачал головой.

— Ну, нет. Тут мы попробуем с вами договориться. Если бы мистер Фолк стал президентом, мы не могли бы со спокойной совестью просить вас не публиковать материал, поскольку президент «Нейшнл моторс» принадлежит всему обществу. Но управляющий отделением по производству автомобилей «катлесс» — другое дело. Поэтому мы и просим вас не печатать материал.

— Конечно, материал во многом обесценится, если мистер Фолк не будет президентом. Но мне кажется, вы хотите предложить мне что-то взамен.

— Возможно, он предложит вам Тони Кэмпбелла. У него, наверно, есть досье на Тони.

— Вы сердитесь, Бэд, но я вас не виню. Это пройдет. Нельзя же всегда выигрывать. Вам же, мистер Кермит, я ничего не предлагаю. Но хочу кое-чем пригрозить.

— Извольте, мистер Олбрайт.— Глаза Кермита опять заблестели.— Именно за этим я и пришел сюда. Это придаст моей статье пикантность.

— Я очень сожалею, Бэд, что так получилось,— сказал Дана Олбрайт.— Можете быть уверены, что это останется между нами и никаких разговоров в корпорации не будет. Я полагал, что лучше честно объяснить вам, почему вы не станете президентом, как ожидали. У вас была возможность встретиться с вашим обвинителем лицом к лицу.

Бэд Фолк встал и посмотрел на них.

— Благодарю,— буркнул он и направился к двери, стараясь изо всех сил держаться прямо и не опускать головы.

— Мистер Кермит,— спросил Дана Олбрайт,— Вы знаете некую Деннинг? Ее девичья фамилия Антон, но она хорошо известна под обеими фамилиями.

Кермит оцепенело и напряженно молчал.

— Нам известно, что вы с ней знакомы. Вы можете меня поправить, если я буду неточен. Уикершем, обслуживая клиентов «Машин энд фаундри», был по совместительству сводником. Одновременно он работал и на сенатора Корта. На нем пробы ставить негде. Мисс Антон была одной из девиц в списке Уикершема. Девизом Уикершема было: «Самым лучшим — самое лучшее». По моим сведениям, мисс Антон родилась в Венгрии. Она вышла замуж за американского офицера. В США она живет три года. Первые два года ничем не примечательны, если не считать того, что кто-то, от кого это зависело, приложил немало усилий, чтобы майор Деннинг, а следовательно, и его супруга остались в Вашингтоне. В следующий год мисс Антон расширила сферу своей деятельности... не знаю, как бы выразиться поделикатнее. Известно, что она была в близких отношениях с лицами, казалось бы, достаточно высокопоставленными, чтобы не вступать в связь с женщиной, прибывшей из Венгрии. По-видимому, скоро ей и ее мужу будет предъявлено обвинение в том, что они агенты международного коммунизма и Советского Союза. Таким образом, создалось довольно щекотливое положение. Верно ли я изложил факты?

Кермит спокойно сказал:

— Вы, конечно, знаете, что моя связь с этой женщиной была иного порядка. Я холостяк и могу встречаться с кем хочу. Да, я был знаком с этой женщиной и встречался с ней. Но когда я узнал, что она профессионалка, да еще такая профессионалка, то перестал с ней видеться.

— А тем временем Советский Союз, вероятно, мог рассчитывать на вашу газету.

— Неужели вы думаете, что я на это способен, мистер Олбрайт?

— А разве так уж важно, что правда, а что неправда, мистер Кермит?

— Поздравляю вас. Вы информированы лучше меня. До меня пока доходили только слухи.

— У меня хорошие осведомители.

— О да! Они избавили вас от мистера Фолка. Теперь президентом будете вы?

— В настоящий момент нам известно только, что полковника Уикершема убедят прекратить попытки продать материал о Фолке, и он, разумеется, ни в коем случае не станет вмешивать невинных людей в предстоящий процесс по делу мисс Антон. Мы уверены, что вы забудете о мистере Фолке и дадите нам возможность вернуться к нашим делам в «Нейшнл моторс».

Кермит грустно улыбнулся.

— Поднявший меч от меча и погибнет. Удивительно, что я сумел продержаться так долго!

— О, вы продержитесь еще дольше,— сказал Олбрайт.— Для таких, как вы, место на этом свете всегда найдется. Без вас человечеству не обойтись.

— Что ж, благодарю вас, мистер Олбрайт. Вы правы, через недельку я безусловно оправлюсь. Времени на поиски темных пятен в вашей биографии я тратить не стану, так как, скорее всего, ничего не найду и не я, а вы произведете надо мной экзекуцию. Когда увидитесь с полковником Уикершемом, передайте ему привет, господин президент. Я не слишком забегаю вперед? Вы ведь теперь довольно хорошо знакомы с полковником Уикершемом, не так ли? Вы твердо решили стать президентом корпорации?

Бэд Фолк, явно взволнованный, вошел в кабинет Дэвида Бэттла.

— Что-нибудь случилось, Бэд? — спросил Дэвид.

Фолк сел у стены на диван.

— Дэвид, я думаю, вам все известно.

— Что именно?

— То, что я остаюсь на прежней должности.

— Нет, я этого не знаю.

— И, конечно, знаете почему?

— Я же сказал, что ничего не знаю.

Фолк вскочил и зашагал по комнате.

— Я вам верю. Если Олбрайт захочет, он сам вас подробно информирует. А пока я работаю у вас.

— Это само собой разумеется. Управляющие отделениями подотчетны вице-президенту по производству. Если бы вы стали президентом, я был бы подотчетен вам.

Бэд Фолк глубоко вздохнул.

— Куда уж там. Я рад, что сохраняю хоть свои триста тысяч в год.

— Итак, завтра в десять, Бэд, если вы свободны.

Бэд Фолк горестно улыбнулся.

— Конечно, свободен. Ровно в десять, Дэви.— Помолчав, он добавил: — Будьте осторожны с Дана Олбрайтом, Дэвид. Не буду объяснять почему, но будьте осторожны.

В кабинет Дэвида неторопливо вошел Тони Кэмпбелл.

— Я встретил в коридоре Бэда. Вы, наверно, уже знаете, в чем дело?

— А вы?

— Мне рассказал Карл.

Дэвид переварил услышанное. Карл Пирсон не пожелал рассказать Дэвиду Бэттлу про Фолка, но рассказал Тони Кэмпбеллу. Это не случайно, конечно. Теперь понятна непринужденность, с какою Кэмпбелл расположился в кабинете своего начальника.

Карл Пирсон позвонил в Нью-Йорк Эйвери Уинстону.

— Мне кажется, мистер Уинстон,— сказал он,— нам не следует тянуть с решением. Идет слишком много разговоров и в руководстве, и в аппарате, от цехов до седьмого этажа. Надо положить этому конец.

— Дана говорил с Бэдом Фолком?

— Да, сэр.

— И что сделал Фолк?

— Ничего. Он смирился.

— Жаль. Я надеялся, что он будет защищаться. Хорошая была кандидатура. А Дана сумел раздавить этого писаку?

— Да, сэр.

— Как это ему удалось?

— Не знаю, сэр. Я не спросил. Мистер Уинстон, я предлагаю созвать комиссию по кандидатурам. Вы можете приехать завтра?

— Да. Пришлите за мной ваш самолет. В десять часов на аэродром Ла-Гардиа.

Дана Олбрайт позвонил Дэвиду домой.

— Дэвид? Я решил, что лучше позвонить домой, чем говорить на работе. Хотел потолковать с вами в связи с предстоящим заседанием комиссии по кандидатурам. Оно будет завтра, на седьмом этаже.

— Наверно, что-нибудь очень важное, раз Уинстон прилетает из Нью-Йорка,— сказал Дэвид.— И срочное.

— Карл сказал, что, по-видимому, они наконец придут к решению. Дэвид, вы знаете, что произошло после вашего выступления на совете? Вы знаете, как вас выдвинули и выбрали?

— Насколько мне известно, мою кандидатуру выдвинули вы и мистер Данкуорт. Я очень признателен вам за доверие.

— Все было не так легко и просто. Я хочу, чтобы вы знали это. Требовалось точно выбрать момент. Мы подловили их, когда они были еще под впечатлением от вашей речи и в то же время им стало ясно, что дальше с новыми назначениями тянуть нельзя. Мне хотелось, чтобы вы знали, что я специально перечислил участки работы, которыми вы, хотя бы частично, руководили. Как видите, мы добились успеха.

— Я очень признателен вам за рекомендацию, Дана.

— Бэд Фолк не будет президентом, Дэвид.

— Я знаю.

— А вам известно почему?

— Предпочитаю этого не знать. По-видимому, тут какая-то тайна.

— Поскольку он ваш подчиненный, я думаю, вам следует знать все. В юности Бэд был неосторожен. Он оказался как-то связан с Союзом американских немцев — во всяком случае посещал их сборища. Это отлилось ему во время войны. Для нашей корпорации эта история ничего не значит, но официально Фолк не был очищен от подозрений. Эти сведения попали в руки газетного обозревателя Кермита. Можете себе представить, как бы он их использовал.

— Дана, а корпорация вступилась за Бэда Фолка? Он как-то слишком легко капитулировал. Неужели все ограничилось одним разговором с вами?

— А что сделали бы вы, Дэвид?

— Моим первым побуждением было бы встать на его защиту.

— Дэвид, вам надо еще многому научиться. Нельзя всегда руководствоваться первым побуждением. Не действуйте очертя голову. Вы произвели на совет директоров колоссальное впечатление. Чем больше они о вас узнают, тем выше ценят ваши деловые качества. Но в то же время вы их слегка напугали. Кое-кого ваши политические взгляды, мягко выражаясь, смутили. Я бы посоветовал вам в дальнейшем быть несколько осмотрительнее.

— Вы хотите, чтобы я отказался от своих убеждений?

— Нет. Кстати, я их разделяю. Руководители автомобильной промышленности действительно безынициативны. Но резкие высказывания отпугивают людей. Не торопитесь. Рим строился не в один день.

— Я принимаю ваш упрек, но моя точка зрения остается прежней.

— Как бы то ни было, нам удалось добиться вашего назначения на важнейший участок. Это большой успех. Когда мы предложили вашу кандидатуру, кое-кто поднял брови. И, мне кажется, вам следует знать, что Карл Пирсон был против. Правда, он сказал только, что торопиться не следует, но все поняли, как он относится к вашему выдвижению.

— В таком случае, почему же меня все-таки назначили? Я полагал, что его мнение все решает.

— Дело в том, что он выступил не очень решительно, Дэвид. Он был против вас только из-за вашего вероисповедания. Вам это неприятно?

— Нет.

— Тут Пирсон и Эйвери Уинстон едины. Пятьдесят лет корпорацию возглавляли протестанты, и они не видят оснований ломать эту традицию. Мне кажется, Дэвид, они в конце концов уступили и проголосовали вместе со всеми остальными, так как осознали, что за последние два года вы доказали свою пригодность для этого поста. Но теперь, по-моему, они считают, что, получив это место, вы закрепитесь на нем и перестанете быть возможным кандидатом в президенты. Иными словами, зачем они стали бы утверждать вас в должности вице-президента, если намеревались сделать президентом?

— Ну, это-то вполне объяснимо,— сказал Дэвид.— Разве нельзя допустить, что мое назначение является лишь переходной ступенью к должности президента? В таком шаге тоже есть смысл.

— Но что толку гадать? Совет этого в виду не имел и, я уверен, комиссия по кандидатурам — тоже.

— А вам известно, что имеет в виду комиссия? — спросил Дэвид.

— Нет. Но в одном я убежден. Эйвери Уинстон остановил свой выбор на Бэде Фолке. И он будет очень расстроен, что из-за этой неприятности Бэд вышел из игры. Значит, из молодых остаются лишь Тони и Клири.

— И я,— сказал Дэвид.

— Да. Клири, я уверен, не пройдет. Он слишком бесцветен, и это стало особенно очевидным теперь, когда мы начали внимательно присматриваться к людям. Таким образом, остается Тони. И вы. Карл и Уинстон будут за Тони. Что вы думаете о его деловых качествах?

— Скажу вам прямо, Дана: внешне он как будто имеет все данные, но в действительности — никаких. Избрание его президентом было бы несчастьем для корпорации.

— Вы намекаете на его грешки? А более серьезных возражений у вас нет?

— Он не подходит ни по своему мировоззрению, ни по эмоциональному складу. Короче говоря, нельзя допустить, чтобы корпорация совершила эту ошибку.

— Ее не допустят, Дэвид. У Бэда Фолка есть все данные. Но не у Тони. Только не у Тони.

— Вы говорите очень уверенно.— И, помолчав, Дэвид спросил: — А что у него за грешки?

— Я оговорился,— невозмутимо ответил Олбрайт.— Я имел в виду слухи. Давайте обсудим, какая альтернатива остается комиссии. Они могут избрать временного президента.

— То есть вас, поскольку Мэрион — председатель комиссии.

— Да, меня. К тому же я еще не утратил честолюбия. В отличие от Мэриона. Мне нужно это назначение. И у меня есть что им предложить. Внесет мою кандидатуру Данкуорт. Кстати, это будет касаться и вас, Дэвид.

— Вот как!

— Данкуорт предложит избрать меня президентом на те полтора года, что остаются мне до ухода в отставку. Он предложит сделать вас через год первым вице-президентом с тем, чтобы вы стали моим преемником. Данкуорт от вас в восторге. Он одобряет даже все ваши крамольные политические взгляды. Что вы на это скажете, Дэвид?

— Пока ничего. Но все равно я очень благодарен вам за доверие, Дана.

— Я сказал вам все это не просто так. Я мог бы подождать, пока будет принято решение. Но я хотел, чтобы вы знали, что повышение вы получили благодаря мне. А мне нужно кое-что взамен. Данкуорт хочет поговорить с вами завтра утром. По-моему, он будет интересоваться вашим мнением. Полагаю, мы относимся друг к другу со взаимным уважением.

— Конечно, Дана. Я вас очень высоко ценю и скажу об этом Данкуорту. Но об остальном мне нужно подумать.

— Дэвид, не будьте слишком сдержанны. Мне не нужно, чтобы вы захлебывались от благодарности из-за того, что благодаря мне вы через полтора года станете президентом. Но я надеюсь, что вы по крайней мере не будете и слишком сдержанны. Не испортите дела для нас обоих, Дэвид. Думаю, вы меня поняли.

Сараджин Корт-Бэттл сказала:

— Из всего этого следует, что ты рассчитываешь забраться еще выше.

— Возможно.

— У тебя ничего не выйдет, Дэвид. Гарантирую. Завтра я начинаю дело о разводе. Я уже записалась на прием к адвокату.

— Тебе надо записаться не к адвокату, а к психиатру,— холодно сказал Дэвид.

— Ничего не поделаешь, Дэвид. Да, ты меня провел! Я не думала, что у тебя есть хоть какие-то шансы. Но вот теперь, когда ты доказал, что я ошиблась, я выдерну ковровую дорожку у тебя из-под ног, и ты шлепнешься. Я постараюсь, чтобы наш

развод попал на первые страницы газет, и сама отнесу эти газеты Карлу Пирсону. Тут тебе и конец, Дэвид. Я намерена сослаться на то, что ты импотент. Как это тебе нравится?

— Пойди выпей.

— Завтра я начинаю дело. Завтра!

— Сараджин, мне это очень неприятно. Но остановить тебя я не могу. Так что нам не о чем теперь говорить.

— Нет, есть о чем! Ты можешь меня остановить, если уберешь отсюда свою мать. Если ты сейчас же не скажешь ей, чтобы она упаковывала чемоданы, я обещаю не начинать дела. Я останусь с тобой и буду пить, пока не сдохну, все равно ты женат не на мне, а на своей корпорации.

— Сараджин, я не позволю шантажировать себя. Делай, что хочешь.

— Значит, ты не хочешь со мной разговаривать, Дэвид. Ведь сейчас все решается, а ты не хочешь со мной разговаривать.

— Потому что ты, когда пьяна, говоришь только глупости.

— Я буду говорить медленно и ясно. Поговори со мной, Дэвид. Иначе будет плохо. Ты только скажи: твоя мать живет здесь потому, что ты любишь ее? Поэтому?

— Нет.

— Я так и думала. Если бы ты ее любил, я могла бы это понять. Но я знаю, что ты не можешь любить женщину, которая сделала из тебя такого сухаря. Ты выполняешь свой долг?

— Возможно.

— Опять нет. Я бы и это поняла. Знаешь, в чем истинная причина? В ощущении вины. Тебе приятно чувствовать себя виноватым. Тебе становится легче в глубине души, когда ты презираешь себя. А она умеет внушать тебе это чувство. Верно?

— Возможно, когда-то это так и было, Сараджин. Но сейчас, вероятно, осталась только привычка.

В комнате неожиданно появилась Эллен Бэттл.

— Ну, так можешь избавиться от этой привычки,— сказала она.— Я уезжаю.

— Нехорошо подслушивать, мама,— сказал Дэвид.

— Я знала, Дэви, что этим кончится. Как ни старайся, а природные задатки берут свое. Ты же его сын.

— Мама, пожалуйста, уйди. Сараджин права, нам надо серьезно поговорить.

— Если обо мне, то это ни к чему. Я утром уезжаю. Она этого добивалась с первого дня. Она такая же, как та, другая. Такая же! Ты знаешь, что случилось с той, и эта кончит тем же.

Дэвиду Бэттлу было сорок шесть лет. За все эти годы он едва ли хоть раз упомянул имя бога всуе, а сейчас, не стерпев, закричал:

— Мама, заткнись ты, ради бога!

— Не смей со мной так разговаривать!

— Я буду разговаривать с тобой так, как мне нравится, черт побери! Слушайте меня обе. У меня есть свои проблемы. На вашу помощь я не рассчитываю. Я справлюсь с ними сам. Но не ждите, что я еще буду заниматься вашими. У меня для этого нет ни времени, ни сил, ни желания. А теперь уходите обе и делайте, что хотите, только оставьте меня в покое!

Сараджин Бэттл спросила:

— Это значит, Дэвид, что у тебя найдется время и для моих проблем, когда ты покончишь со своими?

— Ничего подобного я не говорил. Я не знаю, будет ли у меня вообще время. Если все пойдет так, как я думаю, ты станешь женой президента «Нейшнл моторс». Мне будет некогда нянчиться с тобой. Возможно, тебе придется подождать, пока я не уйду в отставку. Но ждать придется очень долго. Так долго, что к тому времени нас, может быть, уже не будет в живых. Если ты, Сараджин, решишь остаться со мной, то тебе придется смириться с мыслью, что ты сама должна будешь решать свои проблемы.

— Но пойми же, Дэвид, я алкоголичка!

— Она все время пьет, когда ей кажется, что никто не смотрит,— сказала Эллен.

— Ты думаешь, развод тебе поможет, Сараджин? Вряд ли.

— Дэвид, я хочу быть нужной тебе. Помоги мне. Умоляю.

— Пойди к священнику, к врачу, еще к кому-нибудь, кто знает, как тебе помочь. Я этого не знаю. Я не могу тебе помочь.

— Дэвид, мне ведь нужно от тебя только чуточку внимания.

Эллен Бэттл сказала:

— Дэвид, ей нужно от тебя только, чтобы ты меня выгнал. Пусть сама уходит. Она не лучше той, другой. Я-то знаю, зачем сюда приходит Тони Кэмпбелл, когда тебя нет. Такая же потаскуха, как та, другая.

В комнате стало очень тихо. Дэвид Бэттл спокойно произнес:

— Мама, я скажу Глэдис, чтобы она упаковала твои вещи — все твои вещи. В десять утра мой шофер заедет за тобой и отвезет тебя в Суит-Уотер. Там он поможет тебе устроиться, а потом вернется обратно. Денег у тебя будет достаточно. Через пол-

года я приеду к тебе на два дня. И еще через полгода — если ты пожелаешь меня видеть. Я же больше тебя видеть не хочу.

Эллен сказала злобно:

— Так я и думала. Чего же еще было ждать? Отцова кровь.

Дэвид повернулся к ней спиной, и Эллен громко, размеренно произнесла:

— Я надеюсь, что ты умрешь так, как умер он.

Дэвид обернулся к ней.

— Я уже умер, мама. И давно. Умер так же бесславно и постыдно, как отец.

Эллен Бэттл сказала:

— Я не то имела в виду. Ты же знаешь.

Сараджин Бэттл сказала:

— Дэвид, я постараюсь. Правда.

Дэвид сказал:

— Мне все равно, что вы обе можете сделать. Слишком поздно. Я уже отдал все свои чувства «Нейшнл моторс». Сараджин, я буду тебе благодарен, если ты подождешь с разводом, пока не будет решен вопрос о новом президенте. А там — делай, что хочешь.

— Это ты во всем виноват, Дэвид, а не я!

— Разве ты не поняла? Мне все равно. Пожалуйста, считай, что я виноват, если тебе от этого легче.— Он повернулся и вышел из комнаты.

Сараджин крикнула ему вслед:

— Вот увидишь, Дэвид, когда она уедет, все будет иначе! Я попробую, Дэвид. Правда!

Остановившись в дверях, Дэвид сказал:

— Очень хорошо, Сараджин.

И ушел к себе в кабинет.

■

— Молодой человек,— сказал старик Данкуорт,— вы произвели на меня самое лучшее впечатление. Мне нравится, как вы работаете, и нравится ваш образ мыслей.

Дэвид ждал продолжения.

— Вы знаете, зачем я приехал?

— Да, сэр. На заседание комиссии по кандидатурам.

— Судя по всему, эта тайна уже стала достоянием всей корпорации. Мы решили, что откладывать больше нельзя. Пока дело обстоит следующим образом: на прошлой неделе президентом избрали бы Бэда Фолка, сегодня же об этом не может быть и речи. Вам известны причины?

— Да.

— Теперь Карл Пирсон и Эйвери Уинстон выскажутся за Тони Кэмпбелла. Уильямс их поддержит.

У Дэвида пересохло во рту.

— Значит, президентом будет Тони?

— Мне хотелось бы узнать ваше мнение о мистере Кэмпбелле.

— Мистер Данкуорт, в моем положении неизвестно, когда следует молчать, а когда говорить. Ведь то, что я скажу, можно истолковать, как заботу о собственных интересах. Но я готов рискнуть. Тони Кэмпбелл не подходит для такого поста. Если он станет президентом, интересы «Нейшнл моторс» пострадают.

— Можете объяснить почему, молодой человек?

— Нет, сэр. Но я уверен, что прав. Бэд Фолк для этого подходит, несмотря на пресловутое темное пятно на его репутации. А Тони Кэмпбелл — нет.

— Кого бы вы назвали, мистер Бэттл, если бы состояли в комиссии?

— Бэда Фолка.

— Потому что голосовать за себя нельзя?

Дэвид не ответил.

— Дэвид, а вы годитесь в президенты «Нейшнл моторс»?

— Да, сэр, гожусь.

— Я убежден, что вы будете выдающимся президентом. И мы кое-что придумали.

— Вы и Дана?

— Очевидно, он с вами уже говорил? Я сказал ему, Дэвид, что хочу, чтобы президентом были вы. Эйвери Уинстон и Карл Пирсон относятся к вам, мягко выражаясь, с недоверием. Они опасаются, что вы слишком импульсивны. Но за полтора года, предложенные Дана, мы сумеем рассеять их опасения и убедить совет директоров в том, что вы серьезный и трезвый человек, способный ориентироваться в любой обстановке, в том числе в политической.— Данкуорт улыбнулся одними губами.— Не думаю, чтобы нам удалось за восемнадцать месяцев обратить этих двух протестантов в католическую веру, но сделать их более терпимыми мы, пожалуй, сможем. К тому же у меня в запасе козырной туз. Я умею обращаться с Эйвери Уинстоном. В этом нет ничего удивительного — ведь я уже сорок лет заседаю с ним в одном совете. Молодой человек, на первом заседании нашей комиссии Уинстон высказывал

мысли о корпоративной ответственности, очень схожие с вашими. К тому времени, когда я кончу обводить вокруг пальца нашего гранитного мистера Уинстона, он будет уже твердо убежден, что вы его ученик и приверженец. Если это удастся, Уильямс тоже вас поддержит, и тогда тремя голосами против одного пройдет компромиссный план: сейчас — Олбрайт, а через полтора года — вы. Вы его, конечно, одобряете?

— Не совсем, сэр.

Данкуорт спросил с некоторым раздражением:

— А что же вы одобрили бы, мистер Бэттл?

— Мистер Данкуорт, я высоко ценю Дана Олбрайта, но если Карла Пирсона избрали президентом через голову Олбрайта и Уильямса, значит, для этого были веские причины. Теперь, столько лет спустя, эти причины могли стать только еще более основательными.

— Да. Об этом говорил Эйвери. Но так ли это?

— Так. Олбрайт уже не пользуется среди служащих корпорации непререкаемым авторитетом.

— А вы пользуетесь?

— Да.

— И вы хотите, чтобы я предложил вашу кандидатуру?

— Да, сэр, хочу. А Дана Олбрайта — председателем совета.

Данкуорт не сдержал улыбки.

— В его обязанности на этом посту будет входить и связь с прессой,— сказал Дэвид и тоже улыбнулся.— Это позволит ему смягчать резкость моих заявлений. Я же буду президентом и главным административным лицом. Таким образом все руководство корпорацией будет в моих руках.

— Оно и так оказалось бы в ваших руках. Олбрайт сразу сделал бы вас своим первым заместителем.

— Мистер Данкуорт, я предложил вам более рациональное решение. И еще я хотел бы сказать вам следующее. Если меня изберут в президенты, я сразу назначу своим первым заместителем Бэда Фолка. Сам же я буду значительное время уделять тому, чем, на мой взгляд, должен заниматься президент автомобильной компании. А Бэд Фолк наиболее подходящий человек для непосредственного руководства производством.

— А Мэрион Уильямс?

— Он, разумеется, останется на прежнем месте. Ни о чем другом не может быть и речи.

— А Тони Кэмпбелл?

— Пока не знаю. О нем надо еще подумать. Наверно, мне понадобится ваш совет, мистер Данкуорт.

— При условии, что я внесу ваш проект на рассмотрение комиссии?

— Надеюсь, вы так и сделаете, мистер Данкуорт.

— Мистер Бэттл, сердечные дела Кэмпбелла поставили его в очень невыгодное положение. Но я хотел бы напомнить вам, что и вы не совсем неуязвимы. Я позволю себе дать вам совет.

Дэвид смотрел на старика с удивлением и некоторым испугом.

— «Нейшнл моторс» — высоконравственная организация. Правда, я помню времена, когда на высшие посты попадали только бабники, но теперь этого нет. Сейчас наши вице-президенты настолько преданы корпорации, что для женщин у них не остается ни сил, ни времени. Но есть два примечательных исключения: молодой Кэмпбелл и вы.

— Где вы получили эти сведения, мистер Данкуорт?— спокойно спросил Дэвид.

— Вам, конечно, это известно. Но не тревожьтесь. Что было, то прошло. Тем более что вы не так уязвимы, как Тони. Но в дальнейшем советую вам быть осторожнее, Дэвид. Будьте как жена Цезаря, если интересы корпорации вам действительно дороги.

Дэвид Бэттл решительным шагом прошел мимо секретарши Дана Олбрайта прямо к нему в кабинет. Он сказал резко:

— Я хотел бы кое-что узнать, Дана.

— Садитесь, Дэвид. В чем дело?

— Ваш отдел по связи с прессой — это что, гестапо?

Дана Олбрайт откинулся на спинку кресла и снова спросил:

— В чем дело, Дэвид?

— Во-первых, кто подставил ножку Бэду Фолку?

— Я отвечу вам, но прежде хочу сказать следующее: кто подставил ножку Бэду Фолку, не имеет значения. Важно то, что Бэд Фолк не мог стать президентом корпорации с таким пятном в прошлом. Он слишком уязвим. Важно то, что он был выведен из состязания. Важно то, что вы, Дэвид, станете президентом «Нейшнл моторс», на что никак не могли бы рассчитывать, если бы Фолка не вынудили уйти со сцены. Теперь отвечу на ваш вопрос: ножку Бэду Фолку подставил я. Когда я услышал о полковнике Уикершеме, я взял его на себя. Иначе он устроил бы скандал до небес. Так

что Бэд Фолк все равно не мог бы стать президентом. А благодаря мне Бэд, хоть я и убрал его с дороги, сумел сохранить и место, и репутацию. Какой ваш второй вопрос?

— Мистер Данкуорт усомнился в моей нравственности. И в нравственности Тони Кэмпбелла.

— Надеюсь, он посоветовал вам быть только осмотрительнее. Я подал ему такую идею. Мне известно о вашей связи с мисс Брэнд, известно о связи Тони с несколькими десятками разных женщин, в том числе с мисс Лесли Темплтон и мисс Джини Темплтон, с которыми он и вы недавно совершили совместную поездку в Палм-Спрингс.

— Совместной поездки мы не совершали.

— Да, я знаю, что это было совпадение. Вы и мисс Брэнд оказались в поле зрения наблюдателей случайно — бесплатное приложение к Тони.

— Вы меня потрясаете. Как вы можете говорить об этом спокойно?

— Я всегда спокоен. Дайте я расскажу вам о Тони. Он родился в рубашке. Трудно поверить, чтобы из стольких любовниц ни одна не попыталась свести с ним счеты и уничтожить его. Нет, они все питают к нему самые нежные чувства. По крайней мере, так было до сих пор. Но Лесли Темплтон жаждет его крови. У меня есть ее заявление, вернее, запись ее показаний, данных под присягой. Она утверждает, что Тони жил с ее семнадцатилетней сестрой. Возможно, показания Лесли не будут приняты во внимание судом, однако факт появления такого документа уже сам по себе чертовски неприятен. Сожительство с семнадцатилетней девушкой закон рассматривает как растление. Это забавно! Сколько лет стараешься поймать человека на нарушении закона Манна*, а получаешь куда более сильный козырь. Растление!

Дэвид смотрел на Олбрайта. Он думал, что должен был бы испытывать гнев и негодование, но ничего этого не было. Он только недоумевал.

— Я знаю, что вас много лет называли экзекутором,— сказал он.— Я считал это просто шуткой. Вы удивительны, Дана, просто удивительны! И что же, у вас на каждого руководящего работника корпорации есть какой-нибудь материал?

— Нет. Потому что большинство, начав подниматься по лестнице, избегает малейшей пылинки на своей репутации. Материал у нас есть только на тех, кто постоянно сбивается с пути. Только на тех, кто тайно вкладывает деньги в какое-нибудь постороннее предприятие. Или на таких, как Тони Кэмпбелл и Бэд Фолк. Когда вы будете президентом, вам придется поддерживать тесные контакты с некоторыми нашими конкурентами. На кое-кого из наших друзей, работающих у Крайслера, Форда и в «Дженерал моторс», мы располагаем солидными досье. В этом отношении я могу быть вам полезен.

— А что у вас есть на меня? — спросил Дэвид.

— Мисс Келли Брэнд. По наведенным справкам, вы много раз встречались с ней в Палм-Спрингс и обычно ночевали в доме Джима Паркера.

— Как вы все это узнаёте?

— Профессиональные сыщики творят настоящие чудеса. Кстати, Дэвид, я посылал их в Суит-Уотер. Мне это показалось нелишним.

Дэвид стиснул зубы.

— И, очевидно, установили, что среди предков Джима Паркера по матери были индейцы? — сказал он.

Дана улыбнулся.

— Вы это хотите спросить? Или вас интересует, узнал ли я, что вы Данковский?

— По-вашему, это важное открытие? — спросил Дэвид.

— Не знаю. Но знаю одно: совету директоров я этого не сообщу. Иначе Карл Пирсон и Эйвери Уинстон заупрямятся еще больше.

— А у вас останется оружие против меня. Ну и что же еще у вас есть?

— Дэвид, мы с вами союзники. И в эту самую минуту Данкуорт пролагает дорогу мне и вам.

— Я хотел бы узнать о вас побольше. Значит, вы пошли бы даже на то, чтобы пустить в ход против Тони эту девочку?

— Возможно, если ничего другого не осталось бы. А вы?

Дэвид помолчал, потом сказал:

— Знаете, я сам себе удивляюсь. Я понимаю, что Тони не заслуживает этого поста и может принести корпорации большой вред, а потому соблазн очень велик. Пожалуй, я был бы способен воспользоваться этим. Не знаю.

— Чтобы доказать, что я с вами честен, Дэвид, и уравнять наше положение, я открою вам один секрет: у меня тоже была связь. Она длилась пятнадцать лет.

— Кто же эта женщина?

— Вы требуете слишком многого. К такой откровенности я не готов. Пока еще не готов. Но мы с вами союзники.

— Думаю, вас приятно удивит, если я скажу, что все еще питаю к вам искрен-

---

* Закон, введенный для борьбы с торговлей «живым товаром». В частности, под действие этого закона можно подвести человека, который, например, перевез свою любовницу из одного штата в другой.

нее уважение. И я не отвернусь от вас, Дана, нет. Но отдел по связи с прессой больше вам не подотчетен. Он будет подчинен непосредственно президенту.

— То есть мне, Дэвид. Вы помните?

— Нет. Я предложил Данкуорту другой вариант.

Олбрайт прищурился.

— И какое место вы отводите в этом варианте мне?

Дэвид слегка улыбнулся.

— Самое почетное, Дана.

— Вы думаете вышвырнуть меня?

— Ни в коем случае. Ведь меня же можно шантажировать.

— Учтите, что я еще не все вам рассказал,— невозмутимо заметил Олбрайт.

— О чем?

— О том, что мои люди узнали в Суит-Уотере.

Дэвид похолодел.

— Я слушаю,— сказал он.

— Говорят, что ваш прадед еврей.

— И все?

— По-моему, этого не так уж мало. Польский еврей, католик Данковский хочет стать президентом кальвинистской, фундаментальной корпорации!

— Дана, как, по-вашему, чем можно шантажировать человека наверняка?

— Я еще не кончил, Дэвид. Мы знаем о том, как умер ваш отец.

В кабинете наступила долгая, долгая тишина. Наконец, Дэвид сказал:

— Я надеялся, что этого вы не узна́ете.

— Если не ошибаюсь, я нащупал-таки ваше слабое место.

— Как вы узнали? Кому еще об этом известно?

— Кому еще известно — сказать не могу. Мои люди разыскали мужа.

— Какого мужа?

— Мужа той проститутки-негритянки.

— А!

— Недурная история! Но я, конечно, не воспользуюсь ею. Мы ведь с вами союзники.

— Да, конечно,— глухо сказал Дэвид.

— Что касается вашего намерения стать президентом теперь же, то я, очевидно, буду возражать. Я не хочу сказать, что окончательно против, но мне хотелось бы услышать подробности вашего плана.

— Скажите, как умер мой отец.

— Разве вы не знаете?

— Знаю. Но приблизительно. А я должен знать точно.

— Вы были на его похоронах?

— Да. Это было во время летних каникул. Я приехал домой на другой день после того, как он погиб.

— Погиб? Это неподходящее слово.

Дэвид сказал, помолчав:

— Мне трудно было выговорить — после того, как его убили.

Дана Олбрайт удивленно вскинул брови.

— Убили? Так, может быть, мы узнали не все?

— Скажите же, что́ вы узнали.

— Хорошо. Если я ошибусь, поправляйте. Во-первых, вам было известно о заведении Билли Грина?

— Да. Я знаю и о цветной проститутке. Я знаю, что отец завел с ней постоянную связь.

— Если то, что мне говорили, верно, в этом нет ничего удивительного. Она была очень красива. А об ее муже вы тоже знали?

— Нет.

— Она вышла замуж. Но связь ее с вашим отцом не прекратилась. Муж об этом знал и брал с вашего отца деньги. По-видимому, большие.

— У моего отца не было больших денег.

— Зато в профсоюзной кассе были.

Дэвид стиснул зубы.

— По-видимому, ваш отец растратил значительную сумму, откупаясь от мужа. Когда началась ревизия кассы, он покончил с собой.

Молчание длилось долго.

— Покончил с собой,— машинально повторил Дэвид.

— Я вижу, вы этого не знали, Дэвид. Возможно, я тоже употребил не то слово — скорее, это был несчастный случай.

— Расскажите подробнее,— потребовал Дэвид.

— Они были в лачуге проститутки в Шони. Ваш отец не уходил от нее двое суток. Их там было четверо: ваш отец с негритянкой и муж негритянки с какой-то белой женщиной. Когда самогон кончился, муж пошел за новой порцией. И принес древесный спирт. Негритянка и ваш отец отравились насмерть. Муж говорит, что ваш отец выпил один целую бутылку. Белая женщина спирта совсем не пила, потому что к тому

времени уже впала в пьяное забытье. Где она теперь, никто не знает. Муж выпил меньше и только ослеп. Он в приюте, где мои люди его и нашли.

Дэвид смотрел на Олбрайта, и лицо его медленно озарялось улыбкой. Олбрайт поднял брови:

Дэвид сказал:

— Дана, черт побери, я вам очень благодарен.

— За что, Дэвид?

— Я думал, она убила его!

— Негритянка?

— Нет, моя мать.

— Вы шутите!

— Все эти годы я думал, что она его убила. Мне никто не рассказывал подробностей. Все эти годы я думал, что она застала его с негритянкой и убила. Дана, вы не можете представить себе, какое я испытываю облегчение!

— А то, что было на самом деле, вас не трогает?

— Пожалуй, нет. Это был естественный исход. Как еще он мог умереть? На самом дне, от ядовитого пойла. Предел падения — это логично. Любая другая смерть была бы недостаточно грязной, недостаточно жуткой.— Дэвид широко улыбнулся.— Вы не представляете себе, Дана, до чего скверно думать, что твоя мать убила твоего отца. Не представляете, какая гора свалилась с моих плеч. Да, моя фамилия Данковский, и я католик, и наполовину поляк, наполовину еврей, если вам угодно. Мне все равно. Да и вам тоже. Вы не используете эти сведения. Не слишком пристойная смерть моего отца? Я только рад. Чертовски рад. После того, что я перенес, это меня совсем не трогает. Поймите же, я наконец свободен от всякой ответственности за свою мать! И я счастлив. По-настоящему. К тому же и эту гнусную историю вы оставите при себе. А сейчас я хочу повторить вопрос, на который вы мне так и не ответили: чем можно шантажировать человека наверняка?

Помолчав, Олбрайт спросил с интересом:

— Доказательством его импотенции?

— Возможно. Или доказательством того, что он пускал в ход шантаж ради своих корыстных целей. Шантажист ставит себя в уязвимое положение по отношению к тому, кто найдет в себе мужество бороться с ним его же оружием. Если дело дойдет до разоблачений, то не вы, а я разоблачу вас, как профессионального шантажиста. Ну как, мы все еще союзники?

Дана Олбрайт сказал невозмутимо:

— Конечно, Дэвид. Это ни разу не ставилось под сомнение.

Тони Кэмпбелл снова зашел в кабинет Дэвида.

— Я вижу, вы нервничаете, Тони,— сказал Дэвид.

— Да. И сам не знаю почему.

— Видимо, потому, что всегда может случиться что-то неожиданное.

— Дэвид, скажите мне прямо: вы считаете себя кандидатом?

— А разве бывают кандидаты в президенты «Нейшнл моторс»? Мне всегда казалось, что люди скромно ждут, пока их не позовут.

— Но сейчас другое. Чрезвычайная обстановка. В такие моменты все лучшее и все худшее в людях вырывается наружу. Какой-то клубок интриг. Я сформулирую свой вопрос иначе: считаете ли вы, что комиссия может и вас рассматривать, как вероятного кандидата?

— Да. А вы?

— До сих пор не считал. Меня беспокоил только Бэд Фолк. Теперь мне начинает казаться, что они думают и о вас.

— Я был оптимистичнее вас.

— Дэвид, я думаю, что вы подходите для этой работы.— Кэмпбелл чуть заметно улыбнулся.— Во всяком случае, глас народа, глас незаметных тружеников был бы за вас.— Он перестал улыбаться.— Не знаю, как вам удалось завоевать такую популярность. Возможно, вы им кажетесь простым и скромным голубоглазым футболистом. Им, но не мне. Насколько я вас знаю, вы менее всего добродушны. Они видят в вас героя футбольных полей, а я — обыкновенного умного дельца со своими недостатками и проблемами. Как видите, я вами интересуюсь и даже готов допустить, что лучшего выбора совет сделать не может.

— И вы сообщите об этом членам совета?

— Нет. Я сам хочу быть президентом.

— Да?

— Покажите мне человека, который этого не хотел бы, если он, конечно, не сумасшедший.

— Я мог бы показать вам сотню тысяч людей, отнюдь не сумасшедших, которые работают в нашей корпорации и вовсе не хотят быть президентами. Это слишком тяжелая работа. Она требует от человека слишком много сил. Надо быть сумасшедшим, чтобы **хотеть** стать президентом.

— Я сумасшедший. Я хочу стать президентом. А вы?

— Да, я этого хочу. А вот вы... вы в самом деле этого хотите?

— Вы начинаете играть в загадки. Объясните, я не понимаю.

— Насколько я могу судить, вы знаете меня лучше многих других, Тони. Я честолюбив, причем, наверно, в не меньшей степени, чем покойный Джим Паркер. У меня есть самолюбие. Я вовсе не скромный Молчаливый Рыцарь. Возможно, мне не хватает технической квалификации, но это с избытком восполняется моим интересом к делу. Должен сказать вам, Тони, весьма вероятно, что именно я буду президентом корпорации. И я к этому готов, потому что я действительно этого хочу. Если же выберут вас, я не уверен, что вы к этому готовы. Я думаю, вы вдруг спохватитесь и начнете проверять себя, хотя проверять себя следует заранее. Если ваше назначение сорвется, я думаю, вы вздохнете с облегчением. Я думаю, есть вещи, которые влекут вас больше, чем руководство корпорацией.

— Например? — спросил Тони.

— Например, Палм-Спрингс.— Дэвид улыбнулся.— Я не знал, что вы заметили меня тогда, Тони.

— Чем же мы отличаемся друг от друга? — Тони усмехнулся.— Пожалуй, лишь тем, что моим приятельницам вместе меньше лет, чем вашей.— Усмешка сменилась дружеской улыбкой.— Вы понимаете, Дэвид, что я смеюсь не над вами и вашей дамой, а над собой. Мне показалось, что я ее когда-то видел. Кажется, она была вашей подругой, когда вы еще играли в футбол?

— Разница между нами в том, Тони, что она всегда была для меня только отдыхом.

— А для меня женщины — главное в жизни? Вы в самом деле так думаете?

— Я перешагнул порог, Тони. И уже давно не смешиваю любовь с делом.

— Для меня вопрос пока так не стоит. Я сообщу вам, когда мне понадобится геритол *.

— Тут дело не в старости, Тони, а в умении подавлять в себе половой инстинкт, как это делают футболисты. Я имею в виду именно инстинкт, а не половую энергию. И еще — мальчишескую погоню за чем-то новым.

— Вы считаете это мальчишеством?

— Чем же еще?

— Ну, нет! Отступлением от общепринятых правил, если угодно. Людям не положено каждый день вновь влюбляться, а я вот влюбляюсь. Вы видели, Дэвид, какие это девушки? Прелесть!

— Ее зовут Джини Темплтон, а старшую — Лесли.

— Откуда вы знаете?

— Экзекутор знает и о вас и обо мне. Я было не хотел вам говорить, но передумал.

— А что он знает?

— Он знает, что Лесли Темплтон рассказала под присягой о вашей связи с ее семнадцатилетней сестрой.

— О, господи!

— Вы ошеломлены меньше, чем я ожидал.

— Я ошеломлен, но не напуган.

— Ее показания в руках у Дана.

— Я получил письмо от тамошнего нашего агента по продаже «эмбасси». Я решил тогда, что все это затеяла старшая сестра. Да, она очень на меня зла!

— Но это серьезное дело, Тони.

Кэмпбелл покачал головой.

— Меня оно не очень тревожит. С этим агентом все обошлось благополучно. Я послал к нему двух частных сыщиков спросить, чем он думает заняться: вымогательством, шантажом или чем-нибудь еще. Кроме того, они пригрозили, что, если он проболтается, за ним до самой смерти будет вестись слежка. А вы оценили, Дэвид, насколько страшна подобная угроза? Каждый человек с удовольствием смакует мысль о том, какой сомнительный поступок он когда-нибудь совершит. Никто не в состоянии всегда оставаться порядочным.

— Но с девицей вы так легко не справитесь. И с Дана тоже.

— Справлюсь с неменьшей легкостью. И, пожалуй, скажу вам, каким образом. Только не знаю, обрадуетесь вы или огорчитесь, узнав, что я способен без труда выйти даже из подобного положения.

Дэвид улыбнулся.

— Мне следует объяснить вам, что именно произошло в Палм-Спрингсе,— продолжал Тони.— Лесли захватила с собой сестру, чтобы поводить меня за нос. Они иногда проделывают такие штуки. Сначала Лесли думала поразвлечься, ничем за это не заплатив. Но потом ее намерения изменились. Меня не интересует, почему именно, но, конечно, тут сыграло роль и мое обаяние и то, что она узнала про мои деньги. А уж в какой пропорции, решайте сами. Только она пожалела, что взяла сестру с собой, особенно когда увидела, что я не свожу с девочки глаз. Вечером я проводил

---

* Тонизирующее средство для пожилых.

их до их номера, а часа два спустя ко мне постучали. Как вы думаете, которая?

— Не знаю.

— Старшая. Лесли. Она решила немедленно довести наши отношения до логического конца. И вот что: я никогда не видел подобной фигуры, никогда не встречал такого совершенства в искусстве любви — только сумасшедший мог бы остаться холоден к ней, а я все время думал лишь о младшей. Младшая меня загипнотизировала. И Лесли это поняла. Уходила она вне себя от злости. Я выкурил целую пачку сигарет и пошел выкупаться в бассейн. Я решил, что в четыре часа утра опасаться нечего, разделся догола и нырнул. Тут явилась Джини и сказала, что искала меня повсюду. Я велел ей замолчать, пока она не разбудила весь отель, а она сбросила ночную рубашку и прыгнула в воду. Потом мы пошли ко мне в номер. Наверно, Лесли проснулась и заметила, что сестра ушла.

— Но ведь это же вдвое хуже! — заметил Дэвид.

— Вы не понимаете главного. Такая девушка, как Лесли Темплтон, не станет показывать в суде, что я предпочел ей сестру-девчонку.

— Зато окружной прокурор это сделает. И, упирая на эти семнадцать лет, изобразит вас гнусным развратником.

— Не беспокойтесь. Эти девушки не подадут на меня в суд. Я удивляюсь уже тому, что Лесли зашла так далеко. Но я позабочусь о том, чтобы этим все и кончилось. А Джини вообще будет молчать.

— Тони, не преуменьшайте опасности. Не так все просто. Дана это понимает.

Тони снова покачал головой.

— Дана в подобных вопросах теряет всякую перспективу. Я в гораздо лучшем положении, чем вы. Я ведь просто сексуальный маньяк. Предположим, все выйдет наружу. Для обычного человека я был бы такой же загадкой, как государственный долг. Если я когда-нибудь открою, сколько у меня было любовниц, никто не поверит. Ну, а если и поверят, то проникнутся почтительным восхищением. Вы же, по-видимому, состоите в долгой и прочной связи лишь с одной женщиной. Средний человек способен это понять. Такие связи есть у всех, а если кто-нибудь их не имеет — значит не представилось случая или не хватило смелости. И когда они увидят, что вы похожи на них, они возненавидят вас. Прибавьте к этому жену-алкоголичку и свихнувшуюся мать, и окажется, что ваше положение хуже моего.

Глаза Дэвида Бэттла сузились в щелочки.

Тони сказал:

— Прошу прощения, старина, но мне казалось, что разговор пошел начистоту. У меня было ощущение, что вы хотите меня запугать.

— Тони,— ровным голосом сказал Дэвид,— я считал, что поступаю по-дружески, предупреждая вас об Олбрайте.

— Тогда извините. Я не привык к проявлению дружеских чувств в нашей корпорации. Этому мешают мои акции — зависть и вожделение, которые они вызывают. В одной газете меня называли «золотым мальчиком». Это неверно. У меня не золото, а ценные бумаги с золотым обрезом. Я еще раз прошу прощения, Дэвид.

— Не нужно. Я думал об этом, жена-алкоголичка — в Блумфилде не такая уж редкость. Общество хочет, чтобы я, по возможности, держал ее взаперти и не позволял появляться на людях. Вот если бы она решила развестись со мной, это было бы хуже. Но если, став президентом, я уговорю ее подождать еще лет пять-шесть, то можно будет и развестись без особого скандала.

— Есть еще один выход. Вы могли бы установить с Сараджин такие же отношения, какие установили с другими людьми...

— Конечно. И могу сказать врачу — исцелися сам.

— Я и собираюсь это сделать. С помощью ампутации. Я намерен развестись с Уэнди и жениться на этой девочке. Вот почему меня не беспокоит Дана.

— Когда же вы намерены развестись?

— Когда настанет удобный момент. Так же, как и вы.

— И вы любите ее? Любите семнадцатилетнюю девочку?

— Я без ума от нее. А так как я не знаю, что такое любовь, с меня достаточно и этого. Она — мое безумие, я все время думаю о ней. Не будь ее, я был бы счастливее. Но она существует, тут уж ничего не поделаешь. Во всем этом есть своя ирония: для Джини Темплтон я готов сделать столько, сколько никогда не делал для Уэнди Барретт, хотя Уэнди имела на это больше прав. Мне жаль Уэнди. Отвлеченной жалостью. Грустно, что у такой прекрасной девушки так скверно сложилась жизнь.

— Вы женились на ней из столь же отвлеченных соображений?

— Да.

— Я тоже.

— Я не удивляюсь, что вы женились по расчету. Вы такой же хладнокровный негодяй, как и я. Желаю вам не встретить своей Джини Темплтон. Она меня погубит. Она научит меня чувствовать и погубит, потому что сама ничего чувствовать не способна.

После долгого молчания Дэвид спросил:

— И вы считаете, что в таком душевном состоянии вы способны быть президентом «Нейшнл моторс»?

Тони горько улыбнулся.

— Итак, снова к главной теме. Вас беспокоит, что я все время думаю о Джини? Но когда я говорю «все время», я имею в виду лишь ту часть времени, которую посвящаю мыслям о женщинах. Вообще же бóльшую часть времени я посвящаю работе, и вы это, конечно, знаете, как знаете и мою способность сосредоточиваться так, что все остальное отступает на задний план.

Дэвид взвесил слова Тони. Если говорить честно, то Кэмпбелл не уделяет работе и половины того времени, которое обязан уделять один из руководителей корпорации. Других Тони может обмануть, но не Дэвида Бэттла. Золотой робот не годится в президенты. Но стоит ли говорить об этом сейчас? Неодобрительный отзыв о его деловых качествах разозлит Тони больше, чем любое осуждение его сомнительных привычек. Он человек очень влиятельный. Зачем же без нужды отталкивать его от себя? Это всегда можно сделать позже, если потребуется.

— Ваши деловые качества ни у кого не вызывают сомнений,— сказал Дэвид.— И я не сомневаюсь, что вы сумеете обуздать всякого, кто попробует предать гласности вашу личную жизнь. Деньги все могут.

— Вы правы. Жизнь пока что подтверждает это. Скажите, Дэвид, вы намерены продолжать вашу связь, несмотря на Дана и его секретную службу?

— Вероятно, нет.

— И вы так спокойно об этом говорите? Или все это с самого начала было так, манной кашкой? И никакого огня?

Дэвид усмехнулся.

— Вы попали в самую точку. Пожалуй, весь свой огонь я отдаю делу, а не Келли Брэнд. Я постараюсь не порывать с ней, если возможно и пока возможно. Конечно, это жестоко. Но меня это не беспокоит. Очень странно. Мне кажется, я думаю только о человечестве, но чем больше меня влекут великие видения, тем дальше я отхожу от живых людей. Боюсь, что в нравственном отношении мы оба не подходим для роли президента «Нейшнл моторс».

— А кто вообще подходит, Дэвид? Иисуса Христа пока еще ни разу не избирали в президенты автомобильной компании. Мы говорим о людях. У них у всех есть недостатки. Может быть, не столь мрачные, как ваши, и не столь неприличные, как мои, но все равно — недостатки. Однако на фасаде корпорации публика видит только сияющий лик. Президент автомобильной компании — как живой человек — существует лишь для тех, кто с ним близко знаком, для остальных же он не более реален, чем портрет маслом. А при известных усилиях отделу по связи с прессой удается превратить его в Дориана Грэя. В жизни президенты — обыкновенные люди. Кому, как не нам, знать это; ведь мы сами можем рассчитывать на этот пост. Нет, меня не смущают мои прегрешения. Это лучшее, что было в моей жизни.

— А если Дана устроит экзекуцию?

— Тогда я истрачу двадцать восемь миллионов на то, чтобы стереть его в порошок, и он это знает. Не позволяйте ему запугать вас. Он страшен только для пугливых. А вы, по-моему, ему не по зубам.

— Да и вы тоже!

— Разумеется. Он даже и пробовать не будет. А вообще, Дана может быть и полезен. Я сохраню его в корпорации. Когда надо, пусть пугает пугливых. Но сам я из-за него хуже спать не буду.

— Я рад услышать это. Мне уже начинало казаться, что на выборы нового президента корпорации и в самом деле может влиять человек с кругозором и методами редактора «Конфиденшл» *.

— Раз уж мы так разоткровенничались, Дэвид, я сделаю вам под конец еще одно признание, которое вам тоже будет приятно услышать. Мне нравятся мысли, высказанные вами на заседании совета. И я думаю, что воплотить их вы сможете, только если отдалитесь от живых людей и будете оценивать мир, как философ. К несчастью, живые люди видят в вас бессердечное чудовище, лишенное сострадания, хотя на самом деле все свое сострадание вы принесли в жертву более высоким интересам человечества. Вас это утешает? Во всяком случае, когда я буду президентом, вы получите возможность применить свои идеи на практике. В области корпоративного руководства вы компетентнее меня. Я думаю, мы с вами поладим, Дэвид.

— Это хорошо,— сказал Бэттл.

Войдя в кабинет Дэвида, Данкуорт прикрыл за собой дверь и остановился. Дэвид вскочил.

— Какие новости, сэр...

— Заседание комиссии закончилось.

— И что решили, сэр?

— Тремя голосами против одного рекомендован Тони Кэмпбелл.

— Так.— Голос Дэвида звучал ровно.

— Я думал, они примут мое предложение. Так часто бывает: собственный ход мыслей кажется тебе настолько логичным и убедительным, что ты не допускаешь воз-

* Бульварный журнал, специализирующийся на публикации скандальных историй.

можности иного подхода к решению вопроса. Что вы теперь намерены предпринять?

— Пока не знаю. Знаю только, что я вице-президент по производству. Как только шок немного пройдет, я попробую подумать наедине с собой.

— Миллионы людей подчиняются людям, которых не слишком уважают. И лучше ты своего начальника или хуже, не имеет значения.

Дэвид промолчал. У него не было сил говорить.

— Я не поставил мистера Кэмпбелла в известность об этом решении. Сказать ему может только Карл Пирсон. Вы, конечно, понимаете, насколько наш разговор противозаконен, а потому и конфиденциален.

— Да, сэр. Благодарю вас, мистер Данкуорт.

— За что? Я же ничего не сделал. До встречи на заседании совета, мистер Бэттл.

— Да, сэр.

— Кстати, они приняли вашу главную идею. Олбрайт станет председателем совета, а Кэмпбелл — президентом на полтора года.

— Да, это была хорошая мысль,— сказал Дэвид.— Она разрешает много проблем.

— Вот ведь неожиданность! — сказал Дана Олбрайт.— Мне жаль, что выбран он, а не вы, Дэвид.

— Вы намерены смириться, Дана?

— Смириться? А что еще можно сделать? Приходится поставить точку и вам и мне.

— Может быть, снять предохранители? Пустить в ход все, что у нас есть против Тони?

Экзекутор улыбнулся.

— У нас, Дэви? То, что у нас есть, мы не можем использовать. Нам же выйдет дороже. Тони слишком влиятелен. В этой борьбе он нас уничтожит. В нашем прошлом больше темных пятен, чем у него.

— А какие пятна у вас, Дана?

— Попробуйте сами узнать. Наймите сыщиков, потратьте несколько тысяч долларов и тогда, может быть, узнаете. У Тони денег хватит. По правде говоря, я рассчитывал обнаружить что-нибудь похуже этих девчонок. И ничего не обнаружил.

— Он хочет жениться на семнадцатилетней.

— С этим ему придется потерпеть. Когда он будет избран, я поговорю с ним о том, что президент принадлежит не себе, а публике и обязан соблюдать благопристойность. Я очень жалею, Дэвид, что вышло так, а не иначе.

— Выслушайте меня, Олбрайт, и выслушайте внимательно. Тони Кэмпбелл не годится в президенты, и вы это понимаете не хуже меня. И я требую, чтобы вы нашли средство предотвратить его назначение. Это угроза. Я еще не знаю, что сделаю и даже, что я могу сделать, но в любом случае вы пожалеете, если не поможете мне стать президентом. Вы же понимаете, что вы с Тони погубите корпорацию, если займете в ней два высших поста. Этой мысли должно быть достаточно. Вы добивались ведущего положения в корпорации, и, значит, в ваших интересах, чтобы дела ее шли хорошо. Подумайте об этом!

Дана Олбрайт сказал растерянно:

— Я подумаю.

— А когда подумаете, начинайте действовать.

И Дэвид быстро вышел из кабинета.

■

Открывая заседание совета директоров «Нейшнл моторс», Карл Пирсон сказал:

— Господа! Двадцать второго ноября я предполагал сложить с себя обязанности председателя совета и президента корпорации. Этот день оказался одним из самых тяжелых в моей жизни. Я так и не оправился после этой двойной утраты. В тот день мы предполагали избрать Джеймса Паркера президентом нашей корпорации, но из-за его кончины срок моих полномочий был продлен для того, чтобы мы могли найти ему достойную замену.

Господа! Эти годы были для меня плодотворными и деятельными. Мне жаль, что они кончились. И горько, что их завершение омрачилось трагедией. Но я оставляю этот пост с надеждой, что передаю его в надежные руки. Мистер Уинстон, если моя отставка принята, я покину это кресло и займу свое место среди членов совета директоров.

Эйвери Уинстон поднялся. Карл Пирсон пересел в другое кресло. Уинстон встал позади председательского кресла и сказал:

— Мистер Пирсон, совет директоров принимает вашу отставку с сегодняшнего числа. Мы хотели бы при этом единодушно выразить глубочайшее удовлетворение вашей многолетней деятельностью на посту президента. Заменить вас будет нелегко, но это необходимо. Господа, как председательствующий, я прошу называть кандидатов.

Слово взял Мэрион Уильямс, председатель комиссии по кандидатурам.

— Я предлагаю избрать Дану Олбрайта председателем совета. После голосования я выдвину кандидатуру Энтони Кэмпбелла на пост президента.

— Я поддерживаю кандидатуру Дана Олбрайта на пост председателя совета,— сказал Холмквист, глава посреднической торговой фирмы.

— Какие еще есть предложения? — спросил Уинстон.— Поскольку других предложений нет, приступаю к голосованию. Кто за Дана Олбрайта, прошу сказать «да»... Итак, все сказали «да»... Мистер Дана Олбрайт избран председателем совета директоров «Нейшнл моторс». Мистер Олбрайт, займите председательское кресло.

— Мистер Уинстон, прошу вас вести заседание до окончания выборов,— сказал Дана Олбрайт.

— Хорошо. Приступаем к выдвижению кандидатов в президенты.

— Предлагаю Энтони Кэмпбелла,— сказал Мэрион Уильямс.

— Поддерживаю,— заявил Холмквист.

— Есть ли другие предложения? — спросил Уинстон. — Поскольку других предложений не...

— Разрешите, господин председатель! — поднял руку Бэд Фолк.

— Пожалуйста, мистер Фолк.

— Предлагаю Дэвида Бэттла.

Ханкинс, представитель страховой фирмы, быстро сказал:

— Поддерживаю.

В зале наступила мертвая тишина. Взгляды всех присутствующих обратились к Дэвиду Бэттлу. Он поглядел на Данкуорта, потом на Дана Олбрайта. Олбрайт слегка кивнул в сторону Бэда Фолка.

— Мистер Уинстон, ведь предполагалось, что будет выдвинута только одна кандидатура,— сказал Холмквист.

— По-видимому, это было ошибочное предположение,— сказал Уинстон.— Какой примем порядок, господа? Будем обсуждать или сразу приступим к голосованию?

— Я полагаю, сначала следует обсудить,— сказал Данкуорт.— С разрешения председателя, я хотел бы попросить мистера Кэмпбелла и мистера Бэттла на время покинуть зал, чтобы не стеснять обмена мнениями.

— Господа,— сказал Уинстон,— вы можете уйти или остаться, как вам угодно.

Дэвид Бэттл и Тони Кэмпбелл посмотрели друг на друга. Они поднялись почти одновременно и вышли.

— Господа! — сказал Уинстон.— По понятным причинам желательно, чтобы выдвижение кандидатур, как и голосование, было единодушным. Считаю нужным довести до вашего сведения, что мистер Данкуорт не был согласен с мнением комиссии по кандидатурам относительно мистера Кэмпбелла и выдвигал вместо него мистера Бэттла. Предоставляю слово мистеру Уильямсу.

— Комиссия всесторонне обсуждала этот вопрос,— сказал Уильямс.— Деловые качества обоих кандидатов не вызывают сомнений. Но мы с полной беспристрастностью решили, что мистер Кэмпбелл более достоин нашего выбора. Не вижу нужды подробно объяснять, чем было мотивировано наше решение.

— Мистер Пирсон?

— На нас всех произвела сильное впечатление речь мистера Бэттла. Признаюсь, я не знал, что сфера его деятельности при Джиме Паркере была столь обширной. Однако я считаю, что он еще не вполне созрел, а мистер Кэмпбелл созрел вполне.

— Мистер Данкуорт?

— По-моему, созреть надо им обоим. Потому-то я и рекомендовал избрать мистера Олбрайта председателем совета. Корпорации нужна твердая рука, пока новый президент будет осваиваться. Теперь, когда избрание мистера Олбрайта состоялось, мы должны, по-моему, избрать президентом человека, наиболее пригодного для практического руководства. Таким человеком, на мой взгляд, является мистер Бэттл. Надо ли напоминать также, что мистер Бэттл на два года старше мистера Кэмпбелла?

Слова попросил Холмквист, которому поручалось выдвинуть кандидатуру Тони Кэмпбелла.

— Любопытства ради мне хотелось бы спросить, не возникла ли у нас параллельная комиссия по кандидатурам? Мистер Данкуорт, вы сообщали членам совета о своем несогласии с рекомендацией комиссии?

Бэд Фолк сказал:

— Господин председатель. На вопрос мистера Холмквиста касательно моих действий я хотел бы ответить сам. Я внес свое предложение без каких-либо предварительных консультаций с мистером Данкуортом. Кстати, я был уверен, что выбор комиссии его вполне удовлетворил и он его поддерживает.

— В таком случае,— сказал Холмквист,— могу ли я спросить, мистер Фолк, чем вызвано ваше решение выступить самостоятельно? Мне кажется странным, когда два человека, не сговариваясь, вносят одно и то же предложение. Может быть, вы объясните?

— Нас сейчас должно интересовать не это, мистер Холмквист, а деловые качества будущего президента. Я никогда не считал, что акции мистера Кэмпбелла имеют отношение к его деловым качествам. Как практик, я скажу вам прямо: мне было бы труд-

но работать в подчинении у мистера Олбрайта или мистера Кэмпбелла. Я не считаю, что они могут обеспечить руководство компанией на том уровне, на каком его обеспечивал мистер Пирсон или на каком мог бы обеспечить покойный Джим Паркер. Но Дэвид Бэттл — другое дело. Я знаю это по личному опыту. Должен сказать вам, что его высокая квалификация уже давно мне известна. В то время, когда я сам считался кандидатом в президенты, я не говорил об этом, но Бэттл — единственно приемлемая кандидатура. Перед заседанием совета я высказал это мнение только мистеру Ханкинсу, который посоветовал внести его на обсуждение. Я очень рад, что господин Данкуорт тоже меня поддерживает.

— Мистер Клири! — объявил Уинстон.

— Я буду голосовать за Дэвида Бэттла. Тут не может быть никаких сомнений.

— Господа! — обратился Уинстон к совету.— Мнение представителей корпорации мы выслушали. Кто желает выступить?

— Я предлагаю, мистер Уинстон,— сказал Данкуорт,— опросить каждого члена совета. Тогда станет ясно, надо ли продолжать прения.

— Вы согласны, мистер Пирсон?

— Да.

— Мистер Рэгглес?

— Я вижу, здесь настоящая драка,— сказал президент пароходной компании.— И я очень этому рад. Последние двадцать лет мне казалось, что наш совет — всего лишь печать, скрепляющая предписания мистера Уинстона и того, кто в данный момент был президентом. Что касается названных кандидатов, то я склонен считаться с мнением тех, кто ближе всего стоит к практической работе. Я буду голосовать за Дэвида Бэттла.

— Мистер Уильямс?

— Энтони Кэмпбелл.

— Мистер Фолк?

— Дэвид Бэттл.

— Мистер Ханкинс?

— Дэвид Бэттл.

— Мистер Каридео?

Президент Банка США сказал:

— Дэвид Бэттл.

— Мистер Волгаст?

— Дэвид Бэттл.

— Мистер Олбрайт?

Новый председатель совета «Нейншл моторс» сказал:

— Если бы президентом избрали Энтони Кэмпбелла, я рекомендовал бы назначить Дэвида Бэттла первым вице-президентом с расширенными полномочиями. И теперь я очень рад, что могу отдать свой голос тому, чья кандидатура представляется мне наиболее подходящей,— Дэвиду Бэттлу.

— Господа! — сказал Уинстон.— По-видимому, комиссия по кандидатурам не угадала настроений совета директоров и допустила ошибку. По-видимому, наш мистер Бэттл действительно замечательный человек, если снискал себе такую поддержку своих коллег. Вспоминая его биографию, я обратил внимание на то, что он был капитаном во всех футбольных командах, где ему приходилось играть: в суит-уотерской, в «Нотр-Дам» и в «Детройтских львах». И вот теперь он снова капитан. Мистер Рэгглес, на скачках побеждают самые быстрые и сильные. Тот факт, что на протяжении многих лет я пользовался неизменной поддержкой совета, объясняется только верой в мои способности. Если новый человек окажется сильнее других, это не преминет сказаться на отношении к нему совета. А теперь я попрошу нашего секретаря пригласить сюда мистера Бэттла и мистера Кэмпбелла.

— Предоставьте эту честь мне,— сказал Пирсон.

■

Уилли Фанмейкер стоял у входа в главный охотничий домик «Ранчо Голубой реки» и приветствовал гостей, прибывших на втором самолете. Он хлопнул Дэвида Бэттла по спине огромной ручищей.

— Ты и есть Дэви Бэттл? — Он удивленно потряс головой.— А ведь ты и вправду малыш! Да неужто ты играл со взрослыми мужчинами?

Он втащил Дэвида в просторный, сто футов длиной зал, со стропилами и балками, выступающими на потолке. Ранее прибывшие гости повернули головы. Фанмейкер объявил:

— Думаю, ты их всех знаешь, Дэви? Но я-то их знаю лучше. Вот, к примеру, Олбрайт. Посмотришь на него — нет в городе человека хитрее. А в покер его обвести вокруг пальца ничего не стоит. Веришь, Дэви? Не надо, не верь ни одному моему слову. А этот дряхлый сукин сын в мятых брюках прежде работал на твоем месте. Не будем звать его обратно, какая от него польза? Только ты не пей, как он, Дэви. На службе он, наверно, чин чином, а тут, дай ему волю, мы бы все спились с круга.

Карл Пирсон поднял стакан с безалкогольным пивом, словно собирался чокнуться со своим преемником.

— А вот тот рядом с ним,— продолжал Фанмейкер,— генерал Хардести. Он, по-моему, всего лишь генерал-лейтенант, но мы ему это прощаем.

Дэвид шагнул вперед и протянул руку.

— Очень рад, генерал Хардести.

— Поздравляю с избранием, мистер Бэттл,— сказал генерал.— Рад с вами познакомиться. Я видел, как ваша ирландская команда громила нашу армейскую. У меня осталось такое впечатление, что вы набирали очки без передышки.

— Да, жаль, что эти славные дни прошли. Вот что значит ослабить интерес к футболу. Так и во всем.

Генерал глубокомысленно кивнул.

Тони Кэмпбелл с усмешкой подумал: «Когда человек становится президентом, любая банальность начинает звучать как откровение. Человек как бы становится магом-волшебником и тотчас обретает чувство непоколебимой уверенности, заставляющее всех остальных относиться к нему с уважением».

— Это Тони Кэмпбелл,— сказал Фанмейкер,— у него больше красивых охотничьих костюмов, чем у Амберкромби и Финча. Птички так и хлопаются к его ногам без чувств, до того он красиво одет. И учти, Дэви, это ему по карману. Богат он до чертиков, Дэви! Но ты погляди на его соседа, мистера Данкуорта. Рядом с ним Тони нищ, как церковная крыса.

— Рад вас видеть, молодой человек,— сказал Данкуорт Дэвиду.

Фанмейкер улыбнулся до ушей, блеснули золотые коронки.

— Я называю его «мистер», потому что богатеньких старичков надо уважать. Авось отвалит бедному метису от своих щедрот.

— Возможно, Уилли! Возможно, я тебе и оставлю миллион.

— А я первым делом повернусь и покажу мистеру Джимми Сайделу мою задницу — пусть любуется.— Фанмейкер дружески улыбнулся своему хозяину.

Сайдел, президент компании «Букай» по производству штампованных частей, обнял за плечи своего старшего агента и сказал:

— Дэвид, мы с Фанмейкером уже пятнадцать лет вместе. С тех пор как я наткнулся на него в болотах Джорджии, где он острил не хуже завзятого конферансье. Как он попал в те края, до сих пор понять не могу.

— А кто может понять, как остряк Сайдел попал в штат Огайо и приобрел там завод «Букай»? — ответил Фанмейкер.— Джимми у нас самый главный, Дэви. Он, знай, штампует, а вы, ребята, покупаете. Скажите только слово, он увеличит производство. Но зарабатывают на этом вот эти двое. Большую Медведицу ты знаешь — второго лучшего игрока за всю историю «Детройтских львов» и первого в мире бабника. А это Кинг, седовласый сукин сын — серебром на голове он обзавелся смолоду и за каждый волосок нажил по доллару. Всю продукцию компании «Букай» продаю я, а денежки делят между собой Большая Медведица и Кинг.

Куган и Кинг холодно и молча кивнули своему давнему врагу. Дэвид растерялся. Даже и теперь? Даже и теперь они не простят, когда он на вершине успеха? Сколько прошло времени, а они не забыли?

— Я очень рад, что приехал,— сказал Дэвид Фанмейкеру.

— Может, это и не так заметно, что мы тебя пригласили, только когда ты вылез в большие шишки. Мы ведь собрали их всех, чтобы отпраздновать ваше с Дана избрание. Так что чувствуй себя, как дома. Если что нужно, скажи мне. Юбку там или что другое. Будешь со мной хорош, и я тебе подберу что-нибудь хорошенькое. Что будешь пить, Дэви?

— Пас,— ответил Дэвид.

— Пас! — заревел Фанмейкер.— Ты что же, трезвенник, Дэви?

— Нет, почему же. И сам пью, и другим не мешаю,— ответил Дэвид и отошел к Бэду Фолку.

— Фанмейкер мой кумир, Дэвид,— сказал Бэд.— Замечательный охотник. Видите эти оленьи рога? В большинстве — его трофеи. И его бесцеремонность очень забавна. А вы не одобряете его. Почему?

— Это было так заметно?

— Я заметил.

— Не то что не одобряю. Просто я растерялся. Вы же все к нему давно привыкли.— Дэвид обвел взглядом зал, где собралась вся элита «Нейшнл моторс», прислушался к гулу голосов, посмотрел, как поднимается к стропилам и балкам табачный дым, и добавил: — Вы же знаете, мне не часто приходилось бывать на таких сборищах.

— Значит, вы нас не одобряете? Отныне на «Ранчо Голубой реки» налагается запрет? Вы намерены стать большим кальвинистом, чем сам Кальвин.

— Когда я впервые пришел в команду «Львов», то долго не мог понять, осуждаю я Кугана и его товарищей или завидую им. В конце концов я пришел к выводу, что у меня нет выбора: надо жить и давать жить другим. Так же и с вашим «Ранчо». У меня накопилось много соображений, и надо бы поговорить с вами, Бэд. Как, по-вашему, мы могли бы завтра уединиться на пару часов?

— Конечно. Лучшего места не найти. Ни секретарей, ни телефонов.

— А женщины? Должен ли я принимать слова Фанмейкера всерьез?

— В охотничий домик женщины не допускаются. Такой ответ может показаться

вам уклончивым, но ничего более ясного вы не услышите. Завтра перед ужином поедем прокатиться и поговорим. Это лучшее время.

— Прекрасно. Я позову еще Тони. Дело касается нас троих.— Дэвид отошел и снова оказался возле Кугана и Кинга. Они смерили его холодным взглядом. Не сказав ни слова, он пошел дальше и, остановившись перед Кэмпбеллом, спросил с вежливой требовательностью: — Можно вас на минутку, Тони?

— Конечно, Дэвид.— Кэмпбелл слегка улыбнулся.— Знаете, каким голосом вы теперь говорите?

— Каким?

— Карла Пирсона, Уоррена Корта, Барретта, моего отца и Эйвери Уинстона — всех вместе.

— Это хорошо,— серьезно ответил Дэвид.

Пробравшись через толпу, они вошли в библиотеку. Дэвид закрыл дверь, и они сели.

— Ну, чего вы хотите? Чтобы я ушел в отставку? — спросил Тони.

— Не теперь.

— Следовательно, позже?

— Нет, я не это имею в виду. Раньше я думал об этом, но теперь не думаю. Если бы я уволил вас, профсоюз вице-президентов объявил бы забастовку. Нет, я хочу, чтобы вы заняли более ответственный пост, Тони. Я решил полностью реорганизовать управление. Поскольку важная роль в этой реорганизации отводится вам, я хотел бы знать ваше мнение.

— У меня почему-то такое ощущение, что вы намерены продать мне Бруклинский мост.

— У меня нет ни желания, ни времени втирать вам очки, Тони. Вам пора бы уже знать, что для этого я слишком серьезен.— Дэвид все-таки улыбнулся.— Я не удивляюсь, что Сайдел и Фанмейкер прежде не приглашали меня.— Улыбка погасла так же быстро, как вспыхнула.— Я намерен просить согласия совета на учреждение еще одной вице-президентской должности административного порядка. Я хочу, чтобы это предложение было отклонено; тогда у меня будет предлог выдвинуть Мэриона Уильямса в первые вице-президенты или в заместители председателя совета директоров. Думаю, он согласится.

— О да! После соответствующего нажима.

— Если потребуется, я пущу в ход и нажим. Я должен настоять на своем. Одним из новых двух вице-президентов-администраторов будет Бэд Фолк, который возглавит все производство. Должность руководителя службы производства будет упразднена. Его обязанности будет выполнять Бэд Фолк, что соответствует его квалификации. Ему будут подчинены все вице-президенты, связанные с производством, включая Клири, Фогеля и управляющих отделениями.

— Таким образом, на долю другого вице-президента-администратора останется всякая дребедень.

— После реорганизации этот вице-президент будет обладать не только не меньшими, а может быть, даже бóльшими правами. Вы получите все вспомогательные службы, весь рабочий аппарат и прочую дребедень, а кроме того, сбыт, финансы и, что самое важное, разработку политики. У вас будут собственные заместители по всем этим отделам. Мэрион Уильямс до ухода в отставку будет вашим советником. Вот как все это будет выглядеть. Бэд будет действовать, а вы будете указывать ему, как действовать. Я предлагаю вам этот пост. Согласны?

— А что об этом думает Дана?

— Я с ним не советовался. Но он знает свое место. Корпорацией управляю я. Тони, я очень хочу, чтобы вы заняли этот пост. Ну, как?

— Не знаю.

— Еще не простили?

— Только вы способны задать такой откровенный вопрос. Нет, это не то, Дэвид. Я перенес разочарование легче, чем ожидал. Когда Карл объявил нам о решении, мне казалось, что наступил конец света, но десять секунд спустя я уже почувствовал облегчение. Идея реорганизации мне нравится, Дэвид. Согласен, вы предлагаете мне великолепный пост. Мне это приятно. Но я еще не уверен, нужен ли он мне. Скажу вам прямо: я, видимо, подам в отставку. Я уже много об этом думал. Все эти дни я проверял себя.

— И я тоже. И что вы поняли?

Тони весело улыбнулся.

— Понял, что я пустое место.

Дэвид поднял черную бровь, его глаза вспыхнули.

— Зачем такая горечь, Тони?

— Я не нахожу в этом открытии ничего горького. Наоборот, оно очень интересно. Я — никто. У меня есть тридцать миллионов долларов, и они не помогли мне стать чем-то. Я получил прекрасное образование и, по-видимому, я умен, но я потратил жизнь на то, чтобы сознательно казаться дураком. Не верите? Это правда. Я приспосабливал свой язык к уровню дураков, которые нас окружают, чтобы не смущать их. Я был очень милым — милым дураком, который всем нравится. Вы когда-нибудь встре-

чали более покладистого человека? «Старина Тони Кэмпбелл! Богатство не вскружило ему голову! Чудесный парень! Свой в доску!» О, это очень интересное открытие, Дэвид. Я сотворил себя по стандарту, по которому скроено столько наших знакомых! Я любимец Блумфилда. Ура! Ура! Я совершенство — богатое красивое ничтожество, которое может побывать на восьми тысячах званых обедов и произнести восемь тысяч речей и ни одного осмысленного слова. Дэвид, я восхищаюсь вами. У вас есть большая постоянная цель в жизни, которой нет у меня. Вы Галахад. Внешне вы становитесь с каждым днем холоднее, внутри же вас живет огонь, который пылает, как никогда. Ищите же ваш Грааль. Я буду восхищаться вами.

— А вы считаете, что я его не найду?

— По-моему, истинные Граали куда проще того, который вы ищете. Человек может найти только собственное спасение. Христос, Будда, Магомет нашли свою чашу, но не сумели убедить человечество пить из нее с тем усердием и той верой, на которые рассчитывали. Неужели вы надеетесь достичь того, что не удалось им? Когда вы выступали на заседании совета, я желал вам успеха и в то же время надеялся, что вы провалитесь. Я желал вам успеха потому, что вы были исполнены веры и преданности идее. Но я видел, что вы обречены. И как! Вы думаете, что стараетесь ради человечества? Но оно распнет вас. Неужели вы и вправду считаете, что сумеете сделать больше, чем сделали до вас автомобильные магнаты? Неужели вы и правда думаете, что сможете, глядя на мир глазами святого, повести людей на борьбу за свои идеалы? Профессионалы растерзают вас и бросят на съедение крысам. У вас нет ни малейшего шанса. История работает против вас. Неужели вы правда думаете, что вы один можете, подняв крест Золотой заповеди и морали, остановить прилив алчности и лени, пораженчества и ненависти, который захлестывает нас? Нет, Дэвид, нет! Потому что люди, подобные мне, не помогут вам. Ведь я искренне намерен разыграть свое будущее в орлянку. Так что подумайте еще раз, кому вы взялись помогать. Только если у меня выпадет орел и я уйду из корпорации, мне будет жаль, что я так и не узнал вас по-настоящему. Поздравляю вас, Дэвид. Вы настоящий человек. Люди, с которыми вы связаны, не понимают вас. Они даже не понимают меня, хотя я прозрачен, как их очки. По-моему, разница между нами состоит лишь в том, что ваша рассудочная неукротимая энергия направлена на созидание, а моя — ни на что не направлена. А вот это открытие не столь приятно, Дэвид. Я собирался утешиться мыслью, что я, по крайней мере,— поэтическая натура. Моя любовь к жизни поэтична. Но и моя поэтичность несравнима с вашей. Истинная поэзия — в полном самоотречении. Дэвид, я искренне надеюсь, что монета упадет верно и я уйду куда глаза глядят с моей юной красавицей и деньгами и не увижу, как вас раздирают на части. Я хочу взять эту девушку за руку и убежать куда-нибудь и постараться не вспоминать про вас.— Тони вынул из кармана монету в двадцать пять центов.— Если решка, я остаюсь с вами и с Уэнди.

— Вы и в самом деле хотите таким способом решить свою судьбу, Тони? — Дэвид улыбнулся широко и весело.

— Конечно. Я суеверен и считаю, что монета покажет только то, что суждено.

— Вы удивительны. Вы невероятны. Вы нелепы!

Тони подбросил монету, и она упала на оленью шкуру у их ног. Тони сказал:

— Орел. Джини Темплтон. Мне очень жаль, Дэвид.— И вышел из библиотеки.

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

НОВЫЕ РАССКАЗЫ

На ферме в былое время

Человек превратил в перчатки карманы своего пиджака, засунул в них руки чуть не по локоть и силился одолеть проселочную дорогу. Он шел оттуда, где был лишним, туда, где предстояло быть лишним; ветер толкал перед собою мешки облаков, Европа поворачивалась спиною к солнцу, и сумерки просачивались в лесные прогалины.

Телега, древнейшее средство передвижения человечества, протарахтела поблизости, фырканье лошади вдохнуло в те клетки его мозга, что вырабатывают надежду, видение теплой конюшни. Он сдвинул со лба кепку и оглянулся: лошадь вылущилась из темноты.

Два обстоятельства совпали, различимым стал СЛУЧАЙ: вознице хотелось курить, огня у него не было, авось найдется у продрогшего человека. Телега остановилась, возница спрыгнул с козел, и хриплова-тый девичий голос попросил спичку.

Человек развязал серый носовой платок, достал спички. Девушка разломила сигарету, половину сунула ему в рот. Он высыпал табак из гильзы и набил свою трубку с обугленными краями. Потом чиркнул спичкой, последней из того запаса, что в морозные ночи спас ему жизнь. Когда спичка вспыхнула, он увидел берет, штаны — сукно пополам с кожей — и заплатанные сапоги.

Человек делал глубокие затяжки — глушил голод, презрев газетную рубрику СЛОВО НАШЕГО ДОМАШНЕГО ВРАЧА; табак из сигареты был хороший, сорт не ниже «АТТИКИ», шесть пфеннигов за штуку.

Девушка свистнула, как свистят, погоняя лошадей, через плечо большим пальцем показала назад: садись, мол.

Дно телеги было выстлано соломой. На соломе стояла клетка. В клетке сидела большая крыса — что твой поросенок.

Человек давно разучился удивляться. Вскочил на телегу и зарыл ноги в солому, опустелыми колосками усилил изоляционную мощность выношенных суконных штанов. Крыса прижала к решетке морду с желтыми клыками, железные переплеты ограничивали ее любопытство. Лошадь тронула. Дым поделенной сигареты соединился над головами ездоков, ветер подхватил его, разорвал и понес к облакам.

Через полчаса они въехали в ворота, сколоченные из березовых стволов, поехали дальше, сквозь звериный и мясной запах в огорожен-

ный участок, на огонек. Огонек светился в деревянном доме, и от тепла, которое предположительно этот дом наполняло, человек почувствовал себя несчастным. Телега остановилась, девушка вложила два пальца в рот и свистнула; человек соскочил, хотел поблагодарить, но она сказала: «Оставайся!» — на «ты» сказала.

Ноги в сапогах принесли конюшенный фонарь. Фонарь осветил охотничью шляпу и металлическую гильзу. В гильзе торчали переливчатые перья тетерева-черныша; под шляпой виднелось мужское лицо. Узкое, как лезвие топора.

Девушка сказала:

— Allez *, Ларсон, вот человек, который тебе нужен!

Мужчина в шляпе с перьями осветил крысу, пощелкал ей языком, осветил незнакомца, пробурчал что-то, подумал, смахнул слезу с правого глаза и сказал: «Значит!»

Девушка взяла фонарь, обративший в сумерки пять метров темноты, а мужчины понесли клетку. Крыса оказалась самцом нутрии. Его доставили из Южной Америки. Они снесли его в вольер к другим нутриям, и это была первая работа приезжего на звероферме.

Ему дали поесть и послали спать в овчарню, где содержались каракулевые овцы. Сытый, лежал он на мешке с соломой и слушал, как ветер гуляет по крыше. Его звали Роберт Рикс, был он безработный горняк из Рурской области, бродяживший с самой весны. То тут, то там он получал работу на несколько дней и освоил простейшие приемы по меньшей мере десятка специальностей, но за последние два месяца ему не досталось и горсточки работы. Рабочие возможности состояли в таинственной связи с древесной листвою и по осени развеялись в воздухе. Люди стали цивилизованными и отталкивали друг друга от кормушки злее, чем собаки.

Ночью шел снег. Утром, легкий и пышный, как хлопок, он лежал на нижнебаварских холмах за фермой, украшал ограду из колючей проволоки, сглаживал разрушения, учиненные морозом. Если смотреть из теплой комнаты, из теплого пальто, мир выглядел романтично.

В деревянном доме заведующего фермой имелся шкаф, набитый поношенной господской одеждой: костюмы, прожженные графскими сигарами; охотничьи куртки, продырявленные дробью из министерских ружей; пропотелые смокинги и почти новые спортивные костюмы. Спортивные костюмы приказывала относить на ферму чувствительная к запахам графиня. От них несло девичьими спаленками.

Заведующий Ларсон открыл шкаф.

— Значит, выбирайте и одевайтесь-ка на даровщинку, как говорится!

Роберт Рикс, согревшийся изнутри яичницей, хлебом и чаем, снабдил себя охотничьей курткой, взял серую шляпу, наушники и высокие сапоги на толстой подошве, подбитой гвоздями.

— Значит, заработную плату будете получать сдельно, по справедливости, как говорится.

Заработная плата до поры до времени значила: еженедельно карманные деньги, хорошее питание и угол в овчарне.

Толстая куртка расширяла Риксову сутулую горняцкую спину.

Из дома заведующего фермой он вышел, как учитель, вырядившийся для охоты.

Четыре гектара земли, засаженной зверями. Корней у них нет. Выпускают их из клетки лишь в меру жизненной необходимости, отделяют друг от друга проволочными сетками, отнимают у них добычу, регули-

* Пошли, вперед. Здесь — слушай *(франц.)*.

руют размножение. Род людской расселился по земле и тем зверям, которых считает полезными, отмеряет жизненное пространство и количество пищи.

Каракулевые овцы сгрудились в зимней овчарне. Даже в третьем поколении они сохраняли в себе теплый мир Бухары. Они шарахались, видя в открытую дверь заснеженные поля. Рикса тревожило, что они смотрят сквозь него и не ищут его соседства.

Серебристые лисы высовывались в дыры своих боксов, наставляли зрачки на блистающие снега. Голубые песцы плавно кружили по холодному хлопку, добрые охотничьи зимы предков смутно оживали в них.

Звери, люди, что ходили за ними, были они пленниками? Рикс бродил между клеток. Регулярная еда еще была для него праздником, и толстой куртке он продолжал радоваться. Рикс с жаром взялся за дело, работал проворно, и заведующий фермой Ларсон был, видимо, доволен ПРИБЛУДНЫМ ПАРНЕМ.

— Значит, господин граф, может быть, наверняка приедет. Поглядишь на него, твое счастье, как говорится.

Граф ни разу не приезжал в день, когда заведующий фермой возвещал его приезд. Ларсон это делал, чтобы рабочие живей пошевеливались. Большинство их пришло на ферму с господского двора, граф на свой счет ремонтировал их домишки. У него были социальные идеи.

Он явился неожиданно, ладный, черноволосый; зубы точно кусочки сахара, тонкая улыбка вкруг пухлого рта — человек, которому все на свете удавалось, граф Карои.

Заведующий Ларсон за голый хвост вытащил нового самца нутрии из клетки. Самец был дикий, барахтался и кусал воздух. Ларсон плюнул ему на нос, заколдовал его и добился, что тот смиренно повис на хвосте. Граф подул ему в шерстку на брюхе; образовалась маленькая воронка с голубой подпушкой, и заведующий Ларсон щелкнул каблуками.

— Значит, ваше сиятельство, не сомневайтесь, самец что надо, как говорится!

Граф польщенно улыбнулся. Самца купил он. Рикс скалывал лед со спусков в бассейн, чтобы нутрии, вылезая из воды, не соскользнули обратно, не перекупались бы, не застыли или, того гляди, не утонули. У всех зверей есть свои желания, Рикс научился их угадывать. Ларсон взял его за плечо и потащил к графу.

— Значит, ваше сиятельство, расторопный парень, случайно сюда забрел.— Роберта Рикса во второй раз представляли заодно с самцом нутрии. Самец, видно, был его судьбой.

Граф подал руку Роберту Риксу. Дуть ему в шерстку вряд ли имело смысл, он улыбнулся и пошел к голубым песцам. До сих пор Рикс видел графов только на картинках в «Варе Якоб» *, карикатурных аристократов с моноклями и в лакированных башмаках. В союзе молодежи такой сорт людей назывался «аграрии» или еще ЗЕЛЕНАЯ ЧУМА. Граф Карои под этот образец не подходил, он подал Риксу руку, улыбнулся. На руднике, где прежде работал Рикс, хозяина и в глаза не видывали.

Общительность графа Карои имела свои причины: и он некогда был гол как сокол — безлошадный венгерский жокей. Но позднее полоумный отец графини привез его в Германию — для освежения крови. Как он — самца нутрии. Граф дал приплод — двух темноглазых белокурых сыновей — и заскучал. На немецкие графские поместья он слетел, как муха на масло, и не умел на аристократический манер проживать доходы, которые они приносили. «Его сиятельство Карои заразился от торгашей-бюргеров плебейским духом стяжательства»,— гова-

* «Wahre Jakob» — социал-демократический журнал, выходивший в Германии до 1933 года.

ривала графиня. Граф Карои прослышал, что капитал, оборачиваясь, дает тепло и приумножается. Он пустил в оборот капитал немецких графов.

В верхах общества было холодновато, все хотели одеваться в меха, поэтому со зверей сдирали шкуры. Меха привозили из северных стран и из России. Ну можно ли оставить торговлю пушниной в руках иностранцев и коммунистов? Автаркия — патриотический долг, а климат Германии достаточно суров для разведения благородной пушнины. Граф Карои поспешил выполнить этот долг и стал выращивать серебристых лис и голубых песцов, нутрий и енотов, норок и каракулевых овец. Владельцам звероводческих предприятий помельче тоже хотелось нагреть руки на благоприятной пушной конъюнктуре. Граф Карои продавал им племенных зверей по высоким ценам. Патриотизм приносил барыши.

Граф Карои не только ездил на ФОРДЕ, он и сам хотел быть чем-то вроде Форда и выплачивал проценты рабочим своей звероферм за выращенных зверей и невыделанные шкуры. Проценты поощряли рвение, а рвение давало доход. «Значит, ваше сиятельство, славное производство, отличное, как говорится!» Заведующий фермой Ларсон, получавший наибольший процент с прибылей, пытался втолковать Роберту Риксу, что тот свалился прямо на ЗОЛОТОЕ ДНО.

Мягкие холмы окружали долину. Летом они зеленели, и каракулевые овцы паслись по их склонам. У края долины стоял дворец и пятьюстами окон смотрел на ферму; работники фермы из столпотворения клеток, в свою очередь, смотрели на белую, как лилия, графскую резиденцию.

Зефу Берлинг случай занес во дворец так же, как Рикса на ферму. Ох уж эти случаи! Слишком велика их роль в жизни маленьких людей!

Она выделывала рискованнейшие трюки на лошади и торговала ими в разных странах, много ездила и мало видела. Другие люди, слишком бедные, чтобы ездить, покупали себе возможность три часа дивиться в цирке чудесам со всего света: Зефа Берлинг — сальто с лошади на лошадь! Впервые в мире!

Цирк умирает, если людей, охочих до зрелищ, лишают работы и заработка. Зефе не выплатили жалованья за последние месяцы, когда ее цирк прогорел. Она взяла себе лошадь, с которой работала, и стала вроде как нищий с собакой. Другим безработным приходилось заботиться только о себе. Она хотела сохранить форму и тренировалась: скакала по-казацки на захолустных ярмарках, покуда не явилась полиция: «Ваше разрешение, мадам?»

Зефе пришлось ехать дальше. Хлеб она имела за медяки из вывернутых карманов других безработных или из влажных ладоней восхищенных ребятишек, а успех заменял ей масло.

Где ездили верхом, там был и смуглый обновитель немецкого графского рода, народолюбивый граф Карои. Он восторгался искусством Зефы и думал о своем плохо объезженном английском жеребце. Он вправду думал лишь о чистопородном жеребце, уговаривая Зефу отправиться к нему в имение.

Зефе было двадцать три года, она работала во дворце конюхом и берейтором, жила в кучерской и получала бесплатное довольствие. Зефа использовала свою временную оседлость, чтобы вечерами на манеже репетировать новый цирковой номер. Поблажка! Жизнь на одном месте трудно давалась ей. Жизнь во дворце была жизнью в тени. А она нуждалась в публике.

Три дня, четыре дня; две недели, три недели — даже на одном месте время текло. Зима набирала силу: заскорузла хлопчатая белая пелена, крупитчатая поземка шуршала по ней, настали трескучие морозы.

Заведующий фермой Ларсон стремился исключить случай из своей жизни. «Случай, значит, надо перетянуть на свою сторону, как говорится!» Он и делал это с переменным успехом. Отец его был швед, бродяга. Сам он в детстве говорил по-польски и, ставя капканы на пушного зверя, добрался до Аляски. Потом из зверолова сделался звероводом. Когда денежные люди стали организовывать зверофермы, он со своим опытом был тут как тут, оказалось, что в нем нуждаются, теперь он мог плевать на благодетеля-случай.

Потребности его были ограничены, на худой конец он умел довольствоваться мясными отходами, которыми кормились его звери, откладывая грош за грошом на собственную ферму. Он хотел начать дело без наемных работников, разве что с женой. Еще год, два года на чужих хлебах, «потом-то уж я самостоятельно заработаю себе самостоятельность, как говорится». Ему пришла пора присмотреть себе жену. Взгляд его упал на Зефу Берлинг. Она кое-что понимала в животных, «жалко, что только в длинноногих лошадях, как говорится». Держа шляпу в руке, он предложил ей пойти к нему на ферму работницей «за все».

— Значит, мы даем тебе долю в процентах и будем счастливы, как говорится.

— Go on!* — Зефа высмеяла предложение Ларсона. Она была наездница.

Мысли, как черные жуки, елозили меж Ларсоновых надежд. Каждый день ходил он в графскую контору узнавать насчет заказов. Заказы на пушнину поступали скупо. Может быть, надвигался кризис? Ларсон пережил кризис в Швеции и Норвегии и предостерегал графа: «Значит, ваше сиятельство, нельзя продавать и продавать зверей и, значит, пригревать на груди конкуренцию, как говорится».

Граф Карои улыбнулся, как всегда. Он стоял за то, чтобы делать дела, когда они делались. Видимо, он не боялся кризиса, да и что ему было бояться! Но Ларсон должен был бояться, кризис отодвинул бы собственную ферму в мерцающие дали.

Прошла половина ноября, ничего не менялось: заказов все равно что никаких. Шкуры перезревали, как пшеница в августе; Ларсону пришлось отправить на убой ценные племенные экземпляры.

Служители из всех отделений с утра были на ногах. Стреляли, били. Маленький служитель, ходивший за лисами, убивал своих любимиц выстрелом в ухо. Лиса, казалось, раздумывала — что случилось,— потом до нее доходил звук выстрела, и она порывалась бежать. Передние ноги искали упора, но тот, кто ее пестовал, высоко поднимал ее за задние, и бегство обращалось в бессмысленное барахтанье. Лиса пыталась взметнуться и укусить его. Она напрягала все силы — бесцельно, кровь капала у нее из ушей и из носа. Движения ее становились вялыми, жажда свободы затухала, попытки к бегству прекращались, последний хрип — и она была мертва.

Заведующий фермой Ларсон бил лисиц круглой чуркой по затылку. В большинстве случаев, оглушенные нежданным ударом после привычной ласки, они не делали попыток к бегству. Некоторые опоминались, когда им взрезали шкуру от задней ноги до хвостового позвонка. Тогда маленькому служителю лисьего вольера приходилось еще стрелять им в ухо. Жена какого-нибудь предпринимателя ждала шубки из серебристых лис.

---

* Здесь — убирайся *(англ.)*.

У служителя, ходившего за норками, маленького человека с «чертовой метой» — волосатым родимым пятном на подбородке, был другой метод сдирать шкуры с тела лисиц. Он брал лису за задние ноги и за загривок, клал на каменный пол и коленкой нажимал на лисье сердце, нажимал, покуда оно не переставало биться. Шкура оставалась неповрежденной, не запачканной кровью. Он считал свой метод непревзойденным, но Ларсон и служитель из лисьего вольера отстаивали свои методы.

Они были очень заняты и радовались, что есть у них человек на все руки, освобождавший их от текущей работы со зверями.

Заведующий Ларсон послал Рикса во дворец попросить у старшего кучера подводу и лошадь. Пора было отвозить лисьи шкуры на железнодорожную станцию.

Однажды Рикс ночевал в монастыре. Тишина во дворце напомнила ему об этом. Парадная дверь скрипела, словно в ее петлях засели души покойных швейцаров. Рикс прошел через сени, где висело множество картин. Ему казалось, что бородатые графы смотрят на него из позолоченных кроличьих клеток. Он дошел до стеклянной двери, но там его перехватил лакей. Лакей стоял на полотерных щетках, эдаких волосатых коньках, и смотрел на Рикса сверху вниз, не приветливо и не враждебно.

— Его сиятельство просят пользоваться черным ходом.

Лакей на своих щетках по пятам шел за Риксом через сени. Затирал следы заблудшего.

Рикс отыскал другой вход, длинный подвальный коридор, по которому из дворца выезжали лошади. Его шаги, как литавры, гулко отдавались под сводами.

В конюшне, выложенной кафелем, он нашел старшего кучера. Тот носил сивые бакенбарды и сидел на колоде с овсом, запихивая в черные ноздри понюшку табаку. Он направил Рикса к Зефе Берлинг.

Кучерская была сводчатая, точь-в-точь пивная. На железном крюке висела трапеция, на трапеции вниз головой висела Зефа. Рикс поздоровался, она ответила, безошибочно соблюдая равновесие, подтянулась к перекладине, сделала оборот, крикнула «Гоп!» и соскочила.

Рикс объяснил, зачем пришел; Зефа узнала его по голосу, пощупала материю его охотничьей куртки, была доверчива и удивительна, как в первый день.

В кафельной печке трещали буковые поленья; пахло печеными яблоками и пóтом разгоряченной Зефы. Уют не без изъянов. Зефа выплевывала на пол яблочную кожуру. Рикс спросил об ее последнем турне по Франции. Она мало что знала. Во Франции — как везде, работала, скакала на лошади, репетировала; жили в фургоне, ставили цирк, разбирали, ехали дальше.

— Как живут пролетарии во Франции?

— Пролетарии?

— Люди вроде нас с тобой, неимущие.

Зефа не считала себя неимущей, у нее была кобыла «крашивая-прекрашивая», у нее был цирковой номер, и она работала над новым, «крашивым-прекрашивым» — неплохое имущество.

Он ее высмеял.

У ворот фермы его поджидал Ларсон:

— Значит, долго вы ходили, как говорится.

Сонное дыхание сотен овец. Писк мышей, сновавших в поисках зерен. Рикс без сна лежал в своем углу на мешке с соломой. Далеко за

окном были дороги, по которым он бродил когда-то. Он подумал о Зефе, о женщине из странного неведомого мира. Потом стал думать о другой, о Ханни, ткачихе с быстрыми пальцами, жизнерадостной, хотя и безработной. Он сбежал от нее, не хотел просто «поиграть» с нею. Ребенка они себе позволить не могли.

Зима оборачивалась к людям теплой стороной. Куда ни глянь — капель, таяние. Норкам пора была расставаться с жизнью. Они умирали на электрическом стуле, по-американски. Это орудие смерти смастерил заведующий фермой Ларсон. Принцип он слямзил на Аляске.

Служитель с «чертовой метой» летом радовался цветущему здоровью молодых норок. Зимою убивал их. Заведующий Ларсон вводил им в анальное отверстие короткое шило и брал в руки изолированную палочку, свою ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ. На одном конце ее имелась кнопка, на другом — не изолированное колечко. Ларсон приближал его к изящной мордочке норки. Норка хватала его зубами. Ларсон нажимал кнопку на палочке. Цепь тока замыкалась. Контрольная лампочка удостоверяла смерть норки.

Но зверьки мстили и после смерти. Когда с них сдирали шкуру, их железы выделяли жидкость, зловонием напоминавшую засохшую кошачью мочу. Это зловоние струилось из двери убойного зала, облаком стояло над домом заведующего, над фермой, клетками и вольерами. Другие обреченные на смерть норки воспринимали эти физиологические сигналы своих сородичей и кружились за проволочной сеткой, как часовые механизмы, в которых вот-вот лопнет пружина. Работники ферм дожидались сердобольного ветра. Когда он задувал, белый дворец тоже окутывало облако вони, и слабонервная графиня уезжала.

Работники надевали марлевые маски, пропитанные мятным маслом и другими благовониями, но норочьи железы быстро справлялись с ароматическими веществами, созданными человеком, то есть попросту гасили их. «Значит, его сиятельство был и есть демократ, как говорится, больше не продает племенных зверей, десять бутылок водки для работников!»

Работники одурманивали свои обонятельные нервы алкоголем, покуда нож не начинал жить собственной жизнью. Надрезы на задах у норок становились неровными, урожай был под угрозой гибели. Заведующий Ларсон давал отдых своим подчиненным и отправлял по домам ропщущих рабочих, которые хотели убой превратить в праздник. Окутанные зловонием, расходились они по своим домишкам, и умерщвленные норки карали уже их жен и детей.

Рикса опять послали во дворец за подводой для норковых шкурок. Зефа возилась с подставкой для своей трапеции. Ее надо было укрепить на широкой седельной подушке. Рикс помогал Зефе пригонять штанги к пазам. Они орудовали напильником и рашпилем, свистели, ругались, и Рикс решил, что из удивительной Зефы может получиться отличный и крепкий товарищ.

В кучерскую вдруг вошел Ларсон, смахнул слезу с глаза и снял свою тетеревиную шляпу. Ларсон в праздничном костюме. Норочью вонь он оставил на ферме, сейчас от него разило водкой, и он икал. Ларсон неодобрительно смотрел на Рикса, подпиливавшего штангу. Он хотел поговорить с Зефой «в одиночку, как говорится». Стараясь подавить икоту, уселся в потертое кожаное кресло, вздыхал и в конце концов пересидел Рикса.

Ларсон натянул проволочную сетку между Риксом и Зефой. Во дво-

рец Рикса больше не посылали. На следующий же вечер ему поручили работу в енотовом вольере. У енотов была зимняя спячка, но вдруг они забеспокоились.

— Значит, вы там все разведайте и доложите мне!

Ларсон снова накачался бесплатной водкой и сам отправился во дворец добывать подводу и бог весть что еще.

— Значит, желаю успеха у Зефы, как говорится!—крикнул ему вдогонку Рикс. Ему очень хотелось под каким-нибудь предлогом явиться во дворец, чтобы позлить Ларсона, но пошел он все-таки к енотам и сразу натолкнулся на зачинщиков беспорядка: два самца, старый и молодой, боролись за расположение самки. Молодой кусал и царапал решетку, пускал слюну, бесновался, старик просунул лапу сквозь прутья и когтями впился ему в нос. Риксу пришлось палкой разнимать их. Молодой самец с окровавленным носом, жалобно повизгивая, катался по своей берлоге. Рикс окрестил молодого енота Робертом. Старый енот, Ларсон, долго еще сидел и караулил. Он успел завоевать себе неспокойствие победителя.

Графиня прислала запрос, по-прежнему ли воздух вокруг дворца испорчен миазмами с фермы. «Все еще воняет»,— отвечал граф.

Граф Карои рыскал по свету, возвращаясь домой, немедленно снимал спортивный костюм и приказывал нести его на ферму. Его видели в Кобурге и в Мюнхене деловито устраивающим свои дела.

Работники фермы смеялись, когда Ларсон объявлял: «Значит, его сиятельство, возможно, наверняка приедет, и слава богу, как говорится».

Когда граф вернулся, лицо у него было опухшее, под глазами синяки. Он смотрел на серебристых лисиц, но не видел их.

Два дня граф проспал, затем пошел в конюшни, навестил Зефу в манеже и долго смотрел, как она легким прикосновением хлыста заставляла ложиться его рыжего английского жеребца. Он не узнавал своего коня, хвалил Зефу и заслужил ее довольный смех, благодарный смех «на публику». У графа раздувались ноздри, что-то он чуял в воздухе и вечером пожелал отправиться с Зефой на верховую прогулку.

Самец южноамериканской нутрии освоился на новом месте. Он становился на задние лапки и через проволочную сетку пытался подглядывать за похотливыми самочками. Инстинкт размножения проснулся в нем.

Рикс под присмотром Ларсона покрывал ольховыми ветками загородки, в которых жили нутрии, и настроение у него было отличное. Дороги занесло снегом. Худо тому, кто топает по ним в тонких башмаках! Рикс жалел почтальона и смотрел ему вслед, хотя тот до сих пор не принес письма, которого он ждал.

Два всадника галопом скакали по холмам: впереди Зефа на своей арабской кобыле, за нею граф на английском жеребце. Снежное облако, белый беличий хвост крутился позади всадников. Рикс смотрел на снежное облако, смотрел, как оно крутится и блестит. Не будь он Роберт Рикс, если он пялился не на облако.

— Неплохо ездит графиня,— сказал он.

Ларсон рукавом куртки смахнул слезу:

— Это Зефа, к сожалению, как говорится.

Вечер в овчарне. Керосиновая лампа скрадывает убогость его угла. Желтоватый круг света на буковой столешнице, кроме его рук ничего не видно. Руки выпиливают рамку из березового дерева. Из бумажника

«под кожу» он вынимает газетную вырезку, фотографию, помещенную в «Рур-анцейгер». На фотографии можно разглядеть его самого. На ней снята демонстрация безработных. Он не один ходил на демонстрацию. Рядом с ним идет та, которую зовут Ханни, справа идет тот, кого зовут Вальтер. Позади них другие, из союза молодежи.

Что за тщеславное намерение повесить фотографию в березовой рамке над своей койкой? Тщеславие? Нет. В помутневшем карманном зеркальце он мог добыть сведения о степени износа некоего Роберта Рикса. Значит, он вставляет в рамку газетную вырезку из-за этой Ханни? Не только из-за нее. Ему казалось, что в то время он вместе со всей этой молодежью был необоримой силой.

Потом они приступили к забою нутрий. Ларсон плевал им на нос, успокаивал их и отправлял в убойный зал многих племенных зверьков. Клетки опустели, и входы в берлоги зияли, как дыры, через которые вырвали их души.

За холмами, там, где начинались леса, граф любил иной раз проехаться шагом. Хорошо дышать лесным воздухом! Он рассказывал охотничьи истории, дурачился, лаял, как барсук, и похвалялся неслыханными удачами: как-то ему случилось одним выстрелом уложить двух зайцев! За неимением других спутников он похлопал Зефу по плечу. Зефа и бровью не повела.

Граф острил, думал — Зефа сейчас расхохочется. У Зефы и губы не дрогнули.

Сеновал у дороги. Графу нравится сдабривать табачным дымом пахучий воздух. Зефа страстная курильщица, ей это по душе. Но графу скучно одному сидеть на сене. Зефа не собиралась портить графу удовольствие от курения. Она тоже села. Теперь они курили оба. Взгляд графа упал на заплатанные сапоги Зефы.

— Мне, право, стыдно! — Он дотронулся до ее ноги.

Зефа была бы рада получить в подарок новые ботфорты. Не могла же она допустить, чтобы стыдился такой человек, как граф Карои. К тому же она работала не покладая рук, была у него конюхом и берейтором, получая за это только пищу для себя и своей кобылы.

Через некоторое время в серо-зеленом сене уже виднелись новые ботфорты, коричневые, с блестящими пряжками. Граф засунул палец в голенища.

— Не тесно? — Черный взгляд. Зефа курила. Графу понадобилось поправить что-то на ее бриджах. Его заботливая рука усердствовала не в меру. В награду последовала оплеуха. Он не пошатнулся, но потер щеку, он смотрел на Зефу снизу вверх.

Зефа испугалась. Ее новый номер еще не был готов. Она уже видела себя и свою кобылу на проселочной дороге, голод снова терзал ее; она вскочила, подбежала к лошади, швырнула сигарету в снег, галопом проскакала по кругу, свесилась с седла и губами подняла окурок.

Граф дрожал от восторга и аплодировал ей. Зефа спешилась, благодарно рассмеялась и поцеловала графскую руку.

Вернулась графиня. С графом ни увидеться, ни поговорить. Зефу не уволили. Лакей принес ей новые бриджи. Графское семейство отбыло в Швейцарию.

У енотов была зимняя спячка, но нутрии немецкой зимы не признавали. Самцы продолжали оплодотворять самок, и делали это с неистовыми криками.

Ларсон, полагавший, что он сам сумеет объездить свою жизнь, был недоверчив. Но позволял себе вольности. Разве коричневые ботфорты

свалились Зефе с неба, как говорится? Может, она продала лошадь, чтобы купить новые бриджи? Ларсон был вынужден приобщить Рикса и к другим заботам, его мучившим. Где-то на ферме уже потрескивал кризис. «Болезнь денег или это по-другому говорится?»

Рикс оживился: болезнь денег, правильно, но вызвали эту болезнь люди. Кризис-то кризис, но нутрий, еще остававшихся в живых, кормили, и они стремились размножаться. Новый самец из Южной Америки хотел показать, каков он есть. В штате ПАРАНА, откуда он был родом, он мог бы сыскать себе податливых самочек. На ферме ему выбирали их Ларсон и Рикс. Ларсон подсадил импортного самца в берлогу к самке. Самка напала на непрошеного гостя. Ларсон схватил его за чешуйчатый крысиный хвост и вытащил оттуда.

Зефа в новых сапогах впорхнула в вольер к нутриям, поздоровалась.

Ларсон побледнел и ей не ответил. Южного американца он пересадил к нутрии, у которой была течка. Самец осмелел и собрался сделать то, что ему полагалось. Самка почуяла запах чужбины, заметалась, вцепилась в него зубами. Зефа смотрела на них с интересом, как на соревнующихся спортсменов, и жевала соломинку. Самец закричал и покатился по клетке, самка бросилась за ним, вопя, как десяток зайцев в предсмертных судорогах. Ее вопль подхватили самки в соседних клетках: визг, шум, башня криков выросла над фермой, и Зефа заткнула уши.

Ларсон вытащил самку и за хвост понес ее к Зефе.

— Значит, течка у нее, а все-таки дожидается подходящего.

На висках Зефы под черными волосами набухли маленькие жилки. Зефа плюнула в лицо Ларсону, подскочила к Риксу, чмокнула его и убежала.

Рикс еще долго чувствовал ее поцелуй. Случаем и счастьем, счастливым случаем было, что почтальон принес ему сегодня письмо от той, которую звали Ханни. Письмо увело его с фермы, от людей, на ней живущих.

Зима не сдавалась; массы снега и низко нависающие тучи. Каждое утро обитатели фермы расчищали сеть дорожек, ведущих к жилым вольерам. Опустевшие вольеры утопали в снегу.

Рождество и Новый год не такие уж волнующие праздники. Слуги во дворце справляли их сами по себе, работники фермы — сами по себе. На скрягу Ларсона вдруг накатила щедрость: он пригласил Рикса к себе — встречать Новый год. Электрический свет, на стенах фотографии призовых лисиц. Стеклянный шкафчик, в нем заспиртованные глисты, сверкающие щипцы. Цивилизация. Они наливали ром в баночки из-под горчицы, пили и беседовали на Ларсонову тему номер один — о кризисе. Он получил письмо из Швейцарии. Граф перестроился: о сбыте пушнины, даже за границей, в ближайшие годы нечего и думать. Не расстраивайтесь, милый Ларсон! С дружеским расположением граф Карои, барон Тембург и прочая.

Письмо встревожило Ларсона, несмотря на «дружеское расположение».

Но сейчас был Новый год, и течение времени понуждало его к кое-каким расходам. С первой бутылкой рома было покончено, Ларсон в доказательство, что дом у него поставлен на широкую ногу, достал из аптечки коричневый ящичек. Рикс решил, что в нем перевязочные материалы, на самом деле это была музыкальная шкатулка, и не кто иной, как Ларсон, завел ее. Звуки выпорхнули, словно мотыльки, и слетелись в мелодию.

— Значит, песня прерий!

Ларсон откупорил вторую бутылку.

— Значит, теперь травы и ветер, ветер и травы, как говорится!

Ларсон вдохнул жизнь в степи: скунсы, и тушканы, и даже шиншиллы сновали по ней. Ларсон, бог прерий, то и дело смахивал рукавом слезу, пил и сотворял пушных зверей, все новых и новых.

— Значит, вон он идет, зверолов, и значит, подумать только: двадцать штук шиншилл тащит в мешке. Значит, нет кризиса в прерии.

С божественных высот сотворения мира Ларсон спустился в мир человеческих расчетов.

Близилась полночь. Рикс был трезв, хотя выпил не меньше Ларсона. Он думал о своей родине — черном шахтерском городе. Ларсон не давал ему покоя. Музыкальная шкатулка дребезжала.

— Значит, можно бы и потанцевать, кабы женщины были. А есть она вообще, женщина? Для ладной, значит, маленькой фермы, например, как говорится?

На Ларсоновом чемодане загремел будильник. Двенадцать. Новый год начался. Ларсон вынул из шкафа охотничью двустволку, прихватил побольше патронов.

Они вышли. За плотными снежными тучами не видны далекие миры, именуемые звездами. Ларсон выстрелил в тучи. Ему, как эхо, ответили выстрелы из дворца. Слуги палили из графских охотничьих ружей. Честолюбие заело Ларсона. Он выстрелил из обоих стволов, перезарядил, отдал ружье Риксу, выхватил револьвер из кармана штанов, бросился в снег и стал обстреливать дворец вдали. Расстрелял все патроны, но дворец стоял, как белый слон, даже ушами не шевелил.

Февраль. Ветер дурит в голых сучьях. Звездное небо по ночам. Нетронутые звезды, такие далекие, что не ведают времен года.

Начинается пора течки у лисиц. Будущие лисята гонят друг к другу своих производителей, загодя уготовляют себе игры на июньском солнце.

Рикс сидел на сторожевой вышке — двенадцать метров над землей. Вид на все стороны ночи. Задания считать звезды он не получал. Четыре прожектора образовали сводчатую светлую пещеру у подножия темно-синих гор. В ней и засел Рикс — наблюдать за любовными играми лис в свете прожекторов. Его работа — выполнять желания, желания жен высокопоставленных мужей. Мех серебристой лисы как плата за любовные игры людей; мех серебристой лисы как плата за молчание; мех серебристой лисы как ветошь для чистки заржавевшей любовной связи.

Рикс думал о той, которую звали Ханни. Она не мечтала о шубке из серебристых лис, она мечтала о ребенке. Для ребенка у нее не было хлеба.

Тихое повизгивание в клетке. Самец и самка нашли друг друга. Они стоят зад к заду, два хвоста, словно букет из щетины, растерянность на мордах, уши прижаты, как в драке. В скольких же формах выражается то, что человек зовет любовью? Рикс записал номер лисьей клетки.

Лисы расцепились. Рикс открыл лаз в искусственную нору. Самец увидел отверстие, ведущее на свободу, скользнул в него и попал к другой самке.

Это был импортный самец. Он должен был акклиматизироваться и покрыть множество самок. Тысячи были заплачены за его семя. Но самец вел себя не так, как подобает дорогостоящему производителю. Он лег, свернулся клубочком и уснул.

В два часа ночи Рикса сменил служитель из норочьего вольера. Заспанный и злой, этот недоросток клял на чем свет стоит лисьего служителя за то, что тот не сумел научить своих питомцев спариваться днем.

Импортный самец проспал вторую половину ночи, а под утро, когда он зашевелился, самка зарычала. Самец продержал ее в осаде весь день.

Следующей ночью вахта на вышке перешла к Ларсону. В полночь самка выбежала из норы, напала на самца и стала его душить. Дорогостоящий самец оказался жалким любовником.

Ларсон ринулся вниз. «Значит, пресвятая богородица, значит!» Второпях оступился, упал, несколько секунд барахтался в снегу, встал, потирая ногу, и, как хромой журавль, заковылял к клетке, но поздно.

Самка почуяла любовные испарения соперницы и удавила племенного самца. Ларсон швырнул свою шляпу вслед кровожадной самке. «Надо было, значит, натереть его керосином!» Никто не слышал вздохов Ларсона, никто не видел, как он зарывал в лесу мертвого лиса; и никто никогда не узнал, что вместо него он посадил в клетку молодого самца с очень серебристой шкурой.

Каракулевые овцы. Рикса возмущало, что они смотрели сквозь него куда-то вдаль. Он набивал карманы овсом, усаживался в овчарне, овцы все равно теснились от него подальше. В пустом круге, освещенном конюшенным фонарем, блестел утоптанный навоз. Рикс держал кучку овса на ладони, пытался этот круг уменьшить. На третий вечер несколько маток стали слизывать овес с его руки, и он торжествовал победу. Об этой победе Рикс написал той, которую звали Ханни. За зиму ему пришло от нее три письма. И во всех трех не упоминалось о гибнущей любви. Она была так уверена в нем, что это его даже сердило. Но о его друге и товарище детства Вальтере она ничего не писала. Он настрочил ответ, и кляксы выдавали его гнев: «Напиши, что думает обо мне Вальтер!»

Ему помешали. Хриплый голос Зефы: «Go on!» Она высоко зачесала волосы. Запах чеснока струился изо всех швов ее застиранной жакетки. Она продрогла, сразу уселась у круглой железной печки, расстегнула блузку и вытащила из-за пазухи пачку почтовой бумаги.

Новый номер Зефы был готов. Риксу пришлось писать прошения директорам цирков.

Два вечера кряду они писали директорам рекламные письма, смахивающие на цирковые плакаты: «Эквилибр на лошади, первый и единственный номер в мире!»

Зефа только диву давалась, как ИСКУСНО ПИШЕТ Рикс! В знак благодарности она поцеловала ему руку. Рикс отшатнулся.

— Они что, тебя чесноком кормят, там, во дворце?

Но когда Зефа ушла, он услышал шелест тишины. Или это было одиночество? Он подошел к двери овчарни и увидел, как она скрылась за лисьим вольером.

Шаги по скрипучему снегу за овчарней. Ларсон, словно ищейка, шел по следам Зефы. Звезды потрескивали, зеленые и нетронутые.

Зефа дожидалась ангажемента. Ответы пришли далеко не на все письма. И начинались они со слов: «К сожалению...» Нигде не находил применения ее труд, на который пошла добрая сотня зимних вечеров. Публике было не до цирка. Собственные беды занимали ее.

Теплые ветры налетели на графскую долину. Воздух пропах талым снегом. Сосны на холмах отливали синевой. Земля выставляла напоказ шрамы и ссадины. Она была еще жива.

Дикие гуси потянулись на север. Граф вернулся домой. Вернулся один. Графиня осталась в Швейцарии. Писала картины в Давосе: альпийские вершины и синеватый снег. Проходившие мимо дамы восхищались ее каракулевым манто. Она так была чувствительна, эта графиня, что не хотела жить дома, когда с каракулевых овец снимают шкуры.

Граф не поспешил на ферму, как обычно. Ларсон забеспокоился. Глаз у него заслезился сильнее. Через три дня он пошел испрашивать аудиенции.

Плохие новости: у графа пропал интерес к звероферме, он собирался ее ликвидировать. Хотел заняться разведением скаковых лошадей. Ларсон поплелся обратно. Похоже, что его жизнь скатывается в СЛУЧАЙ. Надо ее схватить и удержать.

Охотничий домик в буковом лесу. Скамеечка перед ним. Белые пятнышки на бурой прошлогодней листве — болезнь. На скамеечке сидели граф и Зефа. Граф говорил о лошадях, вдохновенно, страстно, граф решил разводить породистых скакунов. Зефа курила, курила и думала о письменных отказах, которыми ее засыпали. Момент подходящий, и граф пошел козырным тузом: не хочет ли Зефа принять участие в разведении породистых лошадей? Не позволит ли она, чтобы жеребец графа покрыл ее кобылу?

Надежда, выход из положения? Зефа не противилась, когда граф в восторге обнял ее.

Рикс кормил овец и вдруг услышал тоненькое блеяние. Он протиснулся в стадо и обнаружил двух черных, как уголь, ягнят. Словно лакированные, блестели их шкурки, а будущие завитки были еще туго скатаны, как лопнувшая кора на молодых березках.

В обед он доложил Ларсону о приросте поголовья в овчарне. Узкое лицо Ларсона побагровело, он злобно вытаращился, из больного глаза градом посыпались слезы.

— Значит, поздно, слишком поздно вы мне это докладываете!

Ларсон стал точить нож, в спешке ободрал большой палец о точильный круг и разразился бранью.

Теперь уже ягнились многие матки. В овчарне началась кровавая баня. Ларсон и служитель с «чертовой метой» умерщвляли ягнят с мистическим рвением. Они занавесили окна. Каждый луч света, по мнению Ларсона, развивал завиток на будущем каракуле. Он охотно стал бы выбивать ягнят из материнского чрева, лишь бы быть уверенным, что завитки будут тугие.

Тоненькое блеяние новорожденных ягнят! Они едва успевали высосать первые капли молока, как окровавленные людские руки хватали их и волокли на убой. Отогнув им голову, люди делали продольный разрез на шее ягненка. Случалось, он вскрикивал. Тогда большая рука зажимала маленький зев. Кровь ягненка дымилась и стекала в чан.

Живодеры работали три, четыре часа, покуда с жизнью, в ту ночь возникшей в овчарне, не было покончено. Потные, испачканные кровью, они двинулись к двери. Мартовское солнце прогревало землю. Испарения поднимались вверх, земля благоухала. Они глубоко втягивали в себя воздух, радовались ранней весне. Маленький служитель с «чертовой метой» сунул в рот порцию жевательного табака. Ларсон уставился на зеленеющие холмы, вытер злобный слезящийся глаз; граф и Зефа ехали бок о бок.

Каждому своя весна: когда Рикс вернулся, на столе у него лежала груда посоленных шкурок — весна каракулевых овец.

Все овцы дали приплод, все ягнята были забиты. Был ли удовлетворен весь спрос на каракулевые шубки, этого работники фермы не знали. Их теперь занимало разведение скаковых лошадей.

Лакей бегом прибежал из дворца.

— Его сиятельство просят к себе двух-трех работников с фермы!

Ларсон, Рикс и служитель с «чертовой метой» пошли во дворец. Беготня, суматоха, ржание на лужайке за конюшнями. Кобыла Зефы не хотела графского жеребца. Граф был в бешенстве:

— В самой поре скотина, а кочевряжится!

Жеребец, раздувая ноздри, приближался к кобыле. Кобыла задней ногой лягнула его в грудь, звук был такой, словно кулаком хватили по полной бочке. Старший кучер беспокоился за жеребца. Он понюхал табаку, хромая подошел к графу и стал что-то ему говорить. Граф приказал сколотить загон для случки. Люди засуетились, подтащили бревна, толстые жерди, доски. Возникло нечто вроде гимнастического снаряда — параллельных брусьев. Зефа ввела свою кобылу в загон. Спереди его загородили прилаженными поперек жердинами, сзади забили досками. Доски доходили кобыле до основания хвоста. Кобылью антипатию заколотили в ящик.

Разгоряченный граф в шляпе, сдвинутой на затылок, подвел своего жеребца. Жеребец заартачился: доски. Граф манил его, похлопывал по шее, жеребец сопел, задрав верхнюю губу, наконец, вздыбился — но кобыла дугой изогнула спину и прыгнула, высвобождаясь из деревянного панциря. Задние ноги ее повисли. Жердь надломилась, острые концы вспороли брюхо кобылы, кишки полезли наружу.

Жеребца еле-еле оттащили от стонущей кобылы. Граф ушел. Он не улыбался. Он хлопал себя по бриджам замшевыми перчатками, которые держал в руке.

Рикс ударил камнем по сломанной жерди. Концы не разошлись. Служитель с «чертовой метой» ринулся за кувалдой. Биение кобыльего сердца заглушало щебет птиц. Ларсон на свой лад использовал паузу:

— Значит, есть у нее свои принципы, у этой животины, и больше я, значит, ничего не скажу.

Зефа нашептывала цыганскую молитву в ухо кобыле. Бледная, как смерть, она время от времени сплевывала слюну. Будто плакала ртом. Служитель притащил кувалду. Они наконец разбили жердь, вытащили концы из брюха кобылы. Стонов уже не хватало на боль, кобыла кричала в крик. Мужчины благодарно взглянули на заведующего фермой Ларсона. Ларсон вытащил из кармана револьвер. Он ждал согласия Зефы. Ее спина дергалась. «Go on!»

Вслед за выстрелом раздался как бы мягкий удар, за ударом — протяжный стон, за стоном — удовлетворенное пофыркиванье.

Зефа сняла с кобылы уздечку и смазала ею Ларсона по физиономии.

Граф Карои уехал. Он купил десять чистокровных английских кобыл. По его возвращении ферма должна была быть продана.

Волнующие дни для Ларсона: он попросил графа сдать ему в аренду участок, занимаемый фермой, и вольеры, а также продать некоторое количество племенных зверей. Граф согласился.

Ларсону пришлось приобрести еще и импортного лиса с на редкость серебристой шкурой, заплатив за него прежнюю непомерную цену, хотя его давно уже не было в живых.

Зефа похоронила свою кобылу у подножия холма за фермой. Крокусы и примулы зацвели на лошадиной могиле. В ней были похоронены и надежды на новый блистательный номер.

Вечером в кучерскую к Зефе пришел камердинер графа.

— Их сиятельство просят через полчаса принять их!

Камердинер ушел, не получив ответа. Она запихивала одежонку в переметные сумы своего седла.

Рикс сидел и размышлял. Сегодня опять пришло письмо, полное весеннего воркованья, от той, которую звали Ханни, но и в нем ни слова о Вальтере. Видно, друг от него отвернулся.

За окном что-то прошуршало, стукнуло тихонько. Верно, летучая мышь охотится за мотыльками. Рикс расстелил постель и начал раздеваться. Снова стук. Он открыл оконце. Зефа с седлом на спине и скатанным потником под мышкой. Он впустил ее. Она положила седло на скамейку из березовых сучьев. Ее трясло.

Полуслепое зеркало в его шкафу она протерла рукавом жакетки, но в него не взглянула. Достала ночную рубашку из переметной сумы и разделась. Не попросила его отвернуться или отойти за шкаф. Прикрылась потником и ладонью стукнула по койке, по месту, остававшемуся свободным.

Он сидел, покуда она спала. Когда луна появилась из-за холма, поросшего крокусами, он лег возле нее.

На следующий день она пошла во дворец, работала в конюшне, а вечером снова была здесь.

Графиня вернулась из Швейцарии. Она с удовлетворением приняла весть о ликвидации фермы. Ее обрадовало, что граф не хочет больше измываться над бедными зверюшками. Благоволение графини простерлось далеко: граф провел ночь в ее спальне. Слуги, даже поздним утром, ходили на цыпочках и перешептывались.

На третье утро явился Ларсон, когда Зефа еще не успела уйти. Он потер свой больной глаз и мялся, не зная, как начать: он пришел по поручению графа.

— Значит, их сиятельство опасаются, что их сиятельство понапрасну обвинят в пристанодержательстве.

Словом, граф просил Зефу вернуться во дворец, если она не хочет быть уволенной.

Зефа отодвинула Ларсона в сторону и вышла. Он пошел за ней, догнал ее в воротах и стал что-то ей говорить. Рикс видел, как она плюнула и захлопнула за собой ворота.

Он замотал в старый пиджак свои дырявые «бродяжьи» башмаки, сунул в бумажник «под кожу» зимние сбережения, несколько писем и газетную фотографию, вынутую из березовой рамки.

— Значит, я вижу, вы, как дурак, уходить собрались,— сказал Ларсон и ткнул пальцем в высокие сапоги и теплую куртку Рикса. Уж не хочет ли он прикарманить графскую одежу?

Рикс переоделся, но прощанием себя утруждать не стал. Он вышел через задние ворота фермы. И шел осторожно. Из-за крокусов. Возможно ведь, что цветущие луга останутся жить у него в памяти.

Она звала его, но такой щебет стоял в кустах, что он не слышал. Она его догнала. Он увидел, что она плачет. Он снял седло с ее плеча.

Под Кобургом они наткнулись на цыганский табор. Он устал тащить седло и на малые свои сбережения купил ей отощавшего за зиму конягу.

Она целовала его снова и снова. Он мог бы иметь все, что она имела.

На рассвете он слез с сеновала, где они ночевали, и пошел на север — к городам.

Перевод с немецкого Н. МАН

Зайцы прыгают через забор

Зима пришла в предгорье рано. Снег, легкий, как белая придорожная пыль, падал и падал, кучками ложась вокруг засохших стеблей пижмы. Восточный ветер хлестал по деревянному домишку на крутом склоне и швырял снег в сад, на фруктовые деревья.

Близился вечер. Старик с седой бородкой клинышком смотрел на фруктовый сад. За его спиной у печки сидела жена и щипала гусиные перья. Лопатки ее, точно обломки крыльев, топорщились в полумраке. Старик, причмокивая, сосал свою трубку и не отводил глаз от снежной бури за окном.

— Восточный ветер! — бормотал он.— Самый что ни на есть восточный!

Старуха поднялась, кинула беглый взгляд в окно, и глаза ее заслезились. Белые перышки порхали по комнате, снаружи вихрился снег, и разница между тем, что было снаружи, и тем, что внутри, определяла печка — тепло, исходившее от нее.

— Авось к ночи утихнет! — сказала старуха.

— Утихнет? При восточном-то ветре?! — вскипел старик.

Он был завзятый спорщик и чем старше становился, тем азартнее спорил. Случалось, он оказывался прав и торжествовал, а если был неправ, сетовал на тяжелые времена: ничему, мол, верить нельзя. Старухе это было знакомо уже пятьдесят шесть лет, и ей не хотелось доказывать свою правоту и раздражать мужа. Она подняла корзину с перьями и понесла в чулан — бережно, словно в ней были спящие бабочки. В чулане, на случай завтрашней непогоды, подготовила рабочую одежду: а вдруг старик окажется прав. Старик выкурил в постели еще одну трубку, посмотрел на разворошенный в печке жар, прислушался к вою ветра и поскрипыванию снега за окном.

В саду, где росло семьдесят три фруктовых дерева, ветер бушевал всю ночь, всю ночь наметал под деревьями сугробы, которые подымались и подымались уже до самых крон. Забор и тот занесло, только острия кольев торчали из-под снега. Гонимые голодом зайцы не страшились метели, одним прыжком они перемахивали через заснеженный забор, добирались по сугробам до верхушек фруктовых деревьев, сдирали со стволов кору, изгладывали обледеневшие молодые побеги.

Еще не рассвело, а старики уже сгребли снег с заднего крыльца и с окна, выходившего в сад. Старик был в хорошем настроении — ведь прав оказался он. Устав, они пили теплую воду, замутненную пылью жареного ячменя. Оба знали свои деревья наперечет, как знают свою скотину, и оба ждали наступления дня, а когда посветлело, стали из окна смотреть в сад, подталкивая друг друга:

— Золотой пармен, что у корыта с водой!

— А Добрая Луиза у задней калитки!

За одну ночь зайцы успели изгрызть и обглодать кроны пяти фруктовых деревьев.

Старики, надев зимнюю одежонку, прорыли тропинку к первому дереву, раскопали снег, затем перешли к соседнему и к следующему рядом. Тут старуха сказала:

— Не лучше ли вырыть канаву вокруг забора?

Старик даже слушать об этом не хотел — и был прав: канаву во-

круг забора им и за три дня не вырыть, раз снег идет и идет, ни на секунду не переставая. Канава ведь должна быть шире заячьего прыжка.

Старуха промолчала, она предложила это только для того, чтобы перевести дух.

Они продолжали работать, но к полудню ветер стих, снегопад прекратился. Осмелев, старуха сказала:

— Пять деревьев погибло, но какое счастье, что снегопад кончился!

Старик неожиданно вскипел:

— Не каркай, погоди еще!

Старики обнесли каждое дерево снежным сугробом, следя за тем, чтобы расстояние между ними было достаточно велико, чтобы зайцы, если б и попытались, не смогли бы со снежных навалов прыгнуть на кроны фруктовых деревьев.

Они не позволили себе даже пообедать, дорожили каждым лучиком дневного света. Под вечер старуха начала кашлять и перед сном выпила мятного чая. Старик сидел за столом, ел долго и много. Время от времени он переставал жевать, прислушивался к тому, что происходит снаружи, и злился, так как оказался неправ — ветер даже к вечеру не возобновился.

Старухе есть не хотелось, и она легла в постель. Ее так трясло, что вставная челюсть даже слегка постукивала. Старик набросил на жену поверх перины еще два одеяла, но она никак не могла согреться, тогда он лег возле нее и сразу уснул.

Ночью его разбудил сильный кашель жены. Он увидел сморщенное, как грибок-лисичка, лицо старухи, пощупал ее лоб и убедился, что у нее жар. Тогда он поднялся, вышел на кухню сварить свежего мятного чая и услышал, что на дворе снова забушевал ветер. Старуха чая не захотела, она надрывно кашляла и наконец попросила старика сбегать к соседям, жившим тремястами метрами выше на том же склоне. У них был телефон. Старуха требовала, чтобы к ней вызвали из районной общины медицинскую сестру. Старик, этот задиристый петух, снова вспылил:

— Сестру, ночью, в метель и мороз — такого еще сроду не бывало!

Старуха из-за высокой температуры не сробела перед мужем и продолжала настаивать:

— Теперь к больным приходят на дом в любое время дня и ночи!

В ответ она услышала лишь смех и брюзжанье старика. Старуха заметалась в постели и плача стала умолять, чтобы он прогнал с ее перины зайцев. Старик надел свой зимний балахон, ему хотелось ублажить больную жену, а там пусть убедится сама...

Он вышел из дому навстречу метели и с трудом начал карабкаться вверх по склону; и был он такой тщедушный и маленький, как те черные жуки, с головой словно булавочная головка, которые отважно продираются сквозь целые горы муки. Прошло немало времени, пока старик одолел эти триста метров и достучался к соседу, работавшему в районном общинном управлении. И еще столько же времени, пока наконец ответил медицинский пост, находившийся в нижней деревне. Оттуда спросили, так ли необходим приход сестры в этакую вьюгу? Жена соседа ответила, что приход сестры необходим, и как можно скорее — покуда в старой женщине еще теплится искорка жизни.

Когда старик вернулся домой, он увидел, что крохотное лицо жены вспухло и покраснело и что перину она сбросила на пол. Он поднял перину и снова укрыл больную.

Черника сбивает температуру, вспомнил он и полез в погреб за ягодами. Завывания ветра в погреб не доносились, и старик даже испу-

гался: неужто он неправ? Но, поднявшись, он снова услыхал вой ветра и, повеселев, постучал ложечкой о край тарелки с черникой, как это обычно делают, когда зовут детей к столу. Старуха слегка приподняла голову с подушки и глянула на него безумными глазами.

— Не будь они близнецы, может, хоть один остался бы жив? Что скажешь, господин ясновидец? — Она говорила о своих сыновьях, погибших на войне.

Старику стало жутко. Жена приняла его за того ясновидца, который после войны занимался своим ремеслом в районном центре и кому они однажды отвезли чуть ли не половину свиной туши, надеясь хоть что-то услышать о своих сыновьях.

От черники старуха отказалась и ногой оттолкнула мужа, когда он поднес ей ягоды ко рту. Сваренная черника рассыпалась по перине, и старуха в испуге уставилась на темное пятно от ягод.

Старик, обиженный, ушел на кухню. Он сидел там и терзался, но чем больше проходило времени, тем меньше становилась обида, ведь прав оказался он: медицинская сестра так-таки не пришла.

Когда старуха попыталась спрыгнуть с кровати, он подумал: «Что-то тут неладно»,— и решил сам отвезти жену на медицинский пункт, как делал это с сыновьями, когда те были маленькие.

Он притащил из чулана гладильную доску, вынул из шкафа теплые вещи — старую смушковую пелерину, вязаный платок — все, что хоть как-то грело. Прихватил вдобавок свою фуфайку и кальсоны и тоже навалил на больную.

Старуха в минуту прояснения поняла, что он собирается делать, и позволила себя укутать, а когда она стала похожа на огромный узел, старик передвинул ее с постели на гладильную доску и привязал веревкой. Вытаскивая из сарая сани, он заметил, что фруктовые деревья, которые они днем очистили от снега, снова занесло. «Надо потарапливаться,— подумал он,— ведь завтра все это придется делать мне одному, и начинать засветло, не то я не управлюсь».

Он перенес старуху на сани и удивился, какая она тяжелая. «Это,— решил он,— оттого, что на нее столько наворочено, зато все сделано как надо».

На морозном воздухе старуха начала плакать, а он не мог сдержаться, чтобы не похвастать своей правотой:

— Говорил я тебе, что она не придет. Но я тебя доставлю туда. Я!

Лицо старухи просветлело. Ее окрылила надежда, она была счастлива: наконец-то старик привезет ее к сыновьям.

Он накрепко привязал стуруху вместе с гладильной доской к саням и поехал вниз по дороге. Ему не приходилось тормозить — по дороге были сугробы. Толкая сани, старик вздыхал, пыхтел, но вдруг старуха зашевелилась и стала кричать:

— Развяжи меня! Развяжи!

Старик успокоил ее, пообещав ехать быстрее, и старуха обрадовалась, что сейчас увидит своих сыновей.

Но в ту же секунду она рванулась и чуть не опрокинула сани, уверяя, что сыновья приближаются на танках и ей надо бежать их встретить.

А старик все толкал и толкал сани, выбиваясь из сил, когда же поворот остался позади, и ему почудился грохот танков. «Она заражает тебя своим бредом, сводит с ума. А ведь это всего только кровь, ничего, кроме биения твоей собственной крови!» Оказалось, что он толкает сани прямо на снегоочиститель; шофер, увидев какой-то движущийся узел, а за ним шатающегося человека, затормозил. Из машины скорой помощи, шедшей вслед за снегоочистителем, вышла медицинская сестра и накинулась на старика:

— Да что же это такое! Ведь мы сказали, что приедем!

Старик был не в силах возражать, у него перехватило дыхание, и он не мог выговорить ни слова, только подумал: «Ничему верить нельзя!»

Старуха была уже без сознания, и сестра, пощупав ее пульс, поспешила с помощью шофера втолкнуть сани с больной в машину. Старик стоял посреди дороги и смотрел сквозь пургу, как медленно меркнет свет задних фар. Его оставили, о нем забыли. Да и как бы он мог поехать с ними: дома его ждала работа, он помнил о ней.

Старик поплелся обратно в гору и, пока не увидел свой дом, все казнился, что был несправедлив к медсестре. Но вдруг он приметил зайцев — они снова паслись на кронах фруктовых деревьев. Старик пугнул их и сразу принялся разгребать снег.

Теперь такую тяжелую работу ему надо было делать одному. Но ведь он так и предсказывал, он оказался прав и был рад, и как всегда, это его успокоило. Усердно разгребал он снег и сам в этой метели превратился в горку снега — горку, которая то кряхтела, то махала руками, прогоняя зайцев. Да, да, ничего не поделаешь: он должен справиться, прав оказался он — работать придется одному. И хорошо, что в этот час он еще не знал, насколько он один.

Перевод с немецкого Л. ЛЕЖНЕВОЙ

На набережной Ялты

— Я не всегда просиживал по полдня в кафе. Но, знаете ли, для всего можно найти оправдание. «Кто оправдывается, тот сам себя обвиняет»,— любил говорить мой отец; он был солдатом с головы до ног и понимал кое-что в жизни. А у меня есть не только оправдание: здесь я встречаюсь со своими клиентами. Кафе и рестораны — мой рабочий кабинет. Есть и другая причина — дома меня, как говорится, и стены душат. Кастрюли на кухне, подушки на тахте — все напоминает о жене. Нет, она не умерла, но дома ее больше нет.

Я вижу, вы ничего не понимаете. Хорошо, только предупреждаю — мое оправдание будет долгим. Давайте я избавлю себя и вас от вступления, как знать, может быть, вы станете моим клиентом? Кроме того, я хочу, чтобы вы поняли, как вам хорошо живется, а это вы поймете, когда узнаете, как живется мне.

Мой собеседник — мужчина во цвете лет, ему около тридцати, может быть, чуть побольше, но, во всяком случае, он уже в том возрасте, когда молодость тихо прощается с нами, в возрасте, в котором уже есть часы, когда неизвестно откуда возникший голос спрашивает нас: откуда ты пришел, и куда ты идешь, и кому какая польза от того, что ты называешь своей жизнью?

Он казался развязным и был весьма общителен, хотя разговаривал всего только со случайным соседом по столу и никто не поощрял его к разговорам. Наверно, две или три рюмки коньяку развязали ему язык, однако он никак не производил впечатления подвыпившего человека. Он заказал еще рюмку коньяку и пиво кельнерше-итальянке, обращаясь к ней очень приветливо — настолько приветливо, что это бросалось в глаза.

— Вы, конечно, не знаете Ялты, разумеется, нет! Я тоже поехал туда только для того, чтобы наладить свои отношения с женой. Я плохой рассказчик, но постараюсь. Сама по себе Ялта — это, о! Ялта ночью. Двенадцатый час. Горы так близко! От гор до моря расстояние — представляете — как в театре. Полная луна поднималась из-за гор, словно струи теплого воздуха поднимали ее вверх, как воздушный шар. Она висела над городом и не хмурилась, это была добродушная луна и быть другой она не могла.

Мы совершали морскую поездку и в Сочи подружились с несколькими русскими. Это не так уж трудно, особенно Ирене. Она со всеми легко сходилась. Теперь вам ясно, какая она!

Есть люди, которые говорят, что русские жаждут вступать в дружбу с немцами. Хейнцельман, мой друг, утверждает, например, что русским понравился бы порядок, который установили бы наши отцы, если бы поуправляли там немного. Другим кажется, что русские подъезжают к немцам, чтобы перевоспитать их в политическом отношении.

Так вот, теперь у меня есть опыт, и я вам точно скажу: и то и другое не верно, я должен даже сказать — к сожалению, не верно. Русские подвержены тем же страстям и порывам, что и мы, иначе никогда не могло бы произойти то, что случилось со мной.

Сначала мы пошли в цирк, потом заглянули в несколько кафе и под конец обосновались в маленьком подвальчике. В стену над стойкой бара были вставлены камни, море, видно, долго продержало их в своей пасти, чтобы обсосать до такой карамельной гладкости. Камни торчали в стене, как ядра средневековых пушек, их обложили вокруг цветной мозаикой, и получилось что-то вроде картины, знаете, такой абстрактной. Камни — чтобы создавать настроение к коктейлю «Рыбацкий», который подавали там вместе с кофе. Коктейль сильно отдавал морской водой, и мы допили его только до половины и попросили кофе, которым постарались парализовать действие трех бутылок водки, выпитых прежде в других местах.

Нас было четверо мужчин и четыре женщины, двое немецких мужчин и две немецкие женщины (совсем как в национальном гимне, а?). Остальные двое мужчин и две женщины были русские. И двое мужчин были женаты на двух женщинах, но двое других не были женаты. Сложно? Вы уже заметили, какой я плохой рассказчик? Теперь надо мне задним числом сделать небольшое предисловие.

Мы путешествовали вместе с Иреной не первый раз. Детей у нас не было. Знаете, как обычно бывает: сначала мы не хотели, а когда обзавелись всем необходимым, родился ребенок, таких называют «контерганкинд» *. Слава богу, он умер через несколько месяцев. Я это говорю только потому, что Ирена не слышит. Она была матерью до мозга костей. Это был ее ребенок, и ей было все равно, есть у него руки или нет, а то, что деформирована голова, пока он такой маленький, для нее вообще не имело значения.

Что до меня, я был искренне рад, когда ребенок умер, потому что видал таких детей по телевизору. Толпа детей, и у каждого чего-нибудь не хватает. Из них всех можно сконструировать одного, у которого будет все что положено. Нет уж, спасибо. Здесь я присоединяюсь к точке зрения моего друга Хейнцельмана, он сторонник эвтаназии ** и много всего прочитал в газетах за и против.

---

* Контерган — широко разрекламированное в Западной Германии снотворное, выпущенное на рынок без достаточной проверки. У женщин, принимавших его во время беременности, рождались дети-уроды.

** Греческое слово, означающее умерщвление. Применялось для обозначения убийств так называемых «неполноценных пациентов», совершавшихся нацистскими медиками.

Я работал на заводе оптических приборов, а Ирена — в конторе шахты. Квартира наша обставлена была как полагается. Машину покупать мы не хотели, вернее, Ирена не хотела. Ей не нравились люди, которые заводят машину или собаку вместо ребенка, а рисковать еще раз мы не решались. Боялись снова вытащить пустой билет в лотерее. В этом отношении мы были вполне солидарны.

Некоторое время Ирена носилась с мыслью усыновить ребенка, но я был против. Не надо пренебрегать мудростью старших. Мой отец, а уж он-то понимал кое-что в жизни, придерживался мнения, что главное в человеке — это кровь и наследственность. Ребенка, чей отец, был еврей или цыган, вы узнаете сразу по цвету кожи, по волосам, по глазам, а как узнать ребенка, чей отец преступник-рецидивист?

Короче говоря, с ребенком у нас не вышло, и это дало нам возможность во время отпуска отправиться путешествовать. Разумеется, за границу. На то, чтобы увидеть Лорелею или Цугшпитце, отпуск транжирить жаль. На это хватит и конца недели.

Мы побывали в Италии. Должен сказать, что Рим понравился мне гораздо меньше, чем моему другу Хейнцельману, который прочел кучу проспектов об Италии. Я считаю, что обо всем надо судить по тому, что увидел сам, а не по книгам. Развалины Афин, например, напомнили мне развалины Берлина в 1945 году, а вовсе не времена какой-то там Минервы. Вот Пиза, она находится в Италии. Пиза мне более пришлась по вкусу. Просто диву даешься, как косо стоит эта башня — и безо всякой подпорки! Венеция, ну, это то же самое, что наш Шпреевальд, только что по берегам каналов вместо ольхи торчат дома. А их гондолы с задранными носами, по-моему, просто ерунда. Я полагаю, у нас есть свои, немецкие места, куда стоит поехать, а если уж тебе приспичило покататься по каналам, поезжай в Шпреевальд и не забирайся так далеко.

В Мамае было неплохо, во-первых — дешево, а потом мы встретили там тетю Гедвигу из Кирица *, посидели с ней спокойненько и выпили за ее здоровье.

В Испании Ирена вдруг стала замечать недостатки. Она нашла, что народ живет там не так уж хорошо, ее почему-то возмущал тамошний католицизм, она называла его лицемерием. Я ей сказал: «Нам-то какое дело? Мы здесь только гости». Но она не успокоилась. Надо сказать, перед поездкой в Испанию Ирена потеряла свое место в конторе. Она не проштрафилась, тут я голову дам на отсечение. Шахты закрыли. Я сам удивился, как они посмели это сделать. Но мой друг Хейнцельман сказал, что это связано с горючим. Сразу и не поймешь, при чем тут горючее.

Ирена никак не могла примириться со своим увольнением. Ей нетрудно было получить другую работу — и она устроилась на другую работу, но несмотря на это все продолжала волноваться.

«Как они смеют так обращаться с нами!» Словом, у меня дома теперь была совсем не та Ирена, что до увольнения. Я пытался успокоить ее. Мой отец рассказывал мне, какая безработица была в двадцать восьмом — тридцатом годах: десять человек, а то и больше на одно освободившееся место.

«Ничего подобного сейчас и в помине нет»,— сказал я и добавил еще что-то про демократию, ну, как это обычно говорится; но мне, пожалуй, не стоило ничего говорить — Ирена пришла просто в бешенство.

И вот в один прекрасный день она приняла участие в демонстрации протеста горняков. Ну скажите, к чему это? Если дело дошло до перехода с угля на жидкое горючее, то никакими демонстрациями ничего

---

* Кириц — маленький городок, название которого стало нарицательным для обозначения провинции.

не добьешься. Тогда выходит, что ты выступаешь против прогресса в цивилизации. Так считает мой друг Хейнцельман.

Ирена, казалось, не очень-то высоко ценила прогресс в цивилизации. Она попала в дурное общество и приняла участие в пасхальном марше сторонников мира, знаете: «We shall overcome»* и так далее.

На пасху мы собирались к родителям Ирены под Мюнхен. Но она испортила мне все праздники. Я поехал один. Мать Ирены приняла мою сторону и написала ей соответствующее письмо. Тесть отмолчался.

Ирена прочла письмо матери, изорвала его в клочки и больше к своим родителям не ездила.

Уверен, что она и по сей день не была там. «Я не позволю так со мной обращаться!» — не меньше трех раз в неделю повторяла она. Бог свидетель, я с ней так не обращался. Нет, не отрицаю, когда она поступила кельнершей в ресторан, я стал ревновать. Зачем ей это? Она же была конторщицей. А работу кельнерши любая иностранная работница выполнит не хуже. Ирена твердила, что канцелярской работой она сыта по горло, ей хочется быть среди людей. Ну а я, я что же, не человек? Со своими обязанностями кельнерши она справлялась хорошо, иначе бы ее тут же рассчитали. Но именно это и возбуждало мои подозрения.

Дома у нас начались сцены, каких раньше никогда не бывало. Согласен, с моей стороны было некрасиво тайком пробираться в ресторан, где служила Ирена, и шпионить за ней. Но скажите, как бы вы поступили на моем месте!

Мой собеседник был одет со вкусом и вполне по моде. Костюм из английского материала в скромную клетку, тоненькая часовая цепочка утопала в жилетном кармане, словно в глубине колодца. У него были очень чистые ногти, он курил хорошую английскую трубку, набивая ее табаком марки «Дублин», и пользовался современной зажигалкой, которую заряжают один раз в два года. Ну, а что у его рубашки был чуточку несвежий воротничок — в этом была виновата только его жена, которая оставила его. Страшно подумать, какие бывают женщины!

Он выпил свое пиво, подозвал кельнершу и снова заказал пиво, на этот раз без коньяку. При этом он подмигнул итальянке, ее загнутые ресницы и подбородок с ямочкой, видно, произвели на него благоприятное впечатление. Кельнерша не ответила на его заигрывание. Нетрудно было догадаться, что он думает о своей жене, которая служит кельнершей в другом ресторане, и хочет показать мне, какими искушениями усеян путь кельнерши.

— Когда Ирена узнала, что я слежу за ней, потому что не доверяю, она сказала, и притом очень громко: «Ты — мещанин».

«Оставь, Ирена»,— сказал я.

«У тебя все данные, чтобы за одну ночь стать нацистом!»

Я — один из них? Разве у меня такой вид? Мы знаем, до чего докатились эти парни. Мой отец был хорошим солдатом, и он, может быть, остался бы в живых и войну бы мы не проиграли, если бы эти мародеры сражались на фронте, а не отсиживались дома в бомбоубежищах. Моя мать повторяет постоянно это.

Ирена была несправедлива ко мне, и тут, как говорится, нашла коса на камень. Я припомнил ей, что ее отец в трудную минуту сбежал с передовой, дезертировал. Сочувственная улыбка — вот и весь ее ответ. Она не разговаривала со мной почти три недели.

---

* Мы победим *(англ.)*.

Я — человек веселый и от природы наделен даром видеть жизнь с веселой стороны. Я не принадлежу к числу злопамятных людей, которые готовы законсервировать свои ссоры и размолвки, и Ирена частенько находила это очень милым. И сейчас я первым заговаривал с Иреной и пытался заставить ее хотя бы отвечать мне. Но она молчала, и напоследок я купил себе куклу — Касперля, по вечерам надевал его на руку, сажал на колени и беседовал, некоторым образом, со своей собственной переодетой рукой.

Это должно было ее тронуть, я знал,— это должно было ее тронуть. Она обняла меня, и скажу не преувеличивая, что она даже поплакала немножко.

С тех пор дела у нас снова пошли лучше. Я перестал следить за Иреной — можете поверить,— хотя мне было нелегко. Уж если появилась ревность, она жжет и жжет, сам не разберешь где.

Я утешал себя только надеждой на наш совместный отпуск. Я ждал его, как ребенок ждет рождества. Я мечтал, чтобы Ирена наконец хоть несколько недель была только со мной вдвоем без ее идиотского ресторана, полного пьяных мужчин.

Настало время отпуска, и Ирена захотела поехать в Россию. В Россию, и никуда больше.

«Милая Ирена,— сказал я,— мы не были еще в Венгрии и в Голландию ездили только на воскресенье, а Хейнцельман едет в этом году в Нью-Йорк. Нам даже не о чем будет ему рассказать».

Должен признаться, что при мысли о Сибири у меня от страха начинал болеть живот. Как-то не по себе делается, когда Хейнцельман рассказывает, что он прочел в газете: ДВОЕ НЕМЕЦКИХ ТУРИСТОВ АРЕСТОВАНЫ В МОСКВЕ ЯКОБЫ ЗА ШПИОНАЖ.

На Ирену все это не произвело ни малейшего впечатления. Ей втемяшилось ехать в Россию и только в Россию, ну, а так как я не из тех, кто любой ценой хочет настоять на своем, я уступил. Уступая, я подумал про себя, что Ирена поймет, чего мне это стоило, мы как бы подведем фундамент под наше примирение и все снова будет как раньше, потому-то я и не упирался. Такой уж у меня характер.

Итак, мы отправились в поездку по Черному морю; о самой поездке, чтоб не слишком растягивать, я скажу вам только одно: она мне понравилась, и я ни капельки не жалел о Нью-Йорке, честное слово!

Мы с Иреной в это время снова стали почти что любовной парой. Все, что я со своей стороны мог для этого сделать, я сделал. Я окружил ее вниманием, я купил ей матрешку, знаете, такую деревянную куклу, у нее внутри сидит другая такая же, а в той еще одна и так далее — весьма приличная токарная работа, никогда бы не подумал, что русские на это способны. Время от времени я покупал Ирене цветы, ворковал вокруг нее, как голубь, ухаживал за ней по всем правилам, честное слово.

Должен сказать, что Ирена тоже старалась, хотя временами становилась какой-то странной. «Не веди себя так по-немецки»,— говорила она мне. А когда я рассмеялся над детскими счетами с кругляшками, без которых русские кельнерши не могли выписать счет, Ирена пришла в ярость.

А что, собственно говоря, такого особо немецкого в том, что считаешь примитивное примитивным, у нас в любом ресторане есть контрольные кассы. И вообще, что это значит: «Не веди себя так по-немецки»? Неужто за одну поездку по Черному морю нужно обрусеть? Как раз в этом-то и заключается старинная ошибка немцев. «Пошли немца на несколько недель в Англию,— говаривал мой отец,— и он уже потребует не свое пиво, а «drink». Да, на чем же мы остановились?

В Сочи — а это, надо вам сказать, тридцать пять километров морского берега, украшенного колоннами и санаториями, — мы, значит, и познакомились с нашими русскими. С Костей, огромным, как медведь, литературоведом. Он хорошо говорил по-немецки и вообще казался добрым малым, только чересчур любопытным. Вечно он допытывался, читаем ли мы дома книжки и какие. Ну, от меня ему было мало проку, потому что чтение — не моя стихия. Зато Ирена, которая прочла много книг, была для него сущий клад. Познакомились с женой Кости, изящной крошкой со взглядом пугливой лани. Она называлась американисткой — что в России как будто является профессией. Когда, искоса поглядывая на меня, она внезапно обращалась ко мне по-английски, я вежливо отвечал «sorr-r-y» или что-нибудь в этом роде. Уж настолько-то говорить по-американски и мы, грешные, у американских оккупантов научились. Сказать по правде, не очень-то понравилась мне эта Татьяна.

Другого русского, с которым мы подружились, звали Саша, он был инженер, высокий, белокурый и голубоглазый, настоящий фризский тип германца, а надо вам сказать, что для меня человек этого типа — всегда соперник. Был ли он холост или еще не успел жениться во второй раз, но вел он себя весьма корректно по отношению к Ирене, а она вполне корректно по отношению к нему, это точно. Этот германский Саша был в Германии, разумеется, в качестве оккупанта в Восточной зоне, и теперь ему доставляло удовольствие освежать с нашей помощью свои познания в немецком языке.

Как мы познакомились с молодой русской студенткой Светой — она изучала немецкий в каком-то институте в Москве, — я, право, уже и не вспомню. Помню только ее веснушки и как она, подхватив Ирену под руку, вечно обсуждала с ней моды в нашем свободном мире.

Из немцев, с которыми мы познакомились, он был представителем страхового общества, она что-то там делала с кибернетикой. Он — типичный саксонец, холостяк, хапуга с хитрым взглядом и вечно поднятым указующим перстом, но в общем вполне терпимый парень. Она — незамужняя представительная дама, но не мой тип: крашеные рыжие волосы.

Теперь вы представляете себе всю нашу компанию.

Он курил трубку по-аристократически, держа ее между большим и указательным пальцами, как держат снятое с пальца бриллиантовое кольцо, когда хотят дать им полюбоваться; судя по дереву, трубка стоила не меньше ста шестидесяти марок. По всему было видно человека со вкусом.

В кафе царило то приятное вечернее настроение, которое наступает, когда ты уже давно сидишь здесь, увлечен беседой и чувствуешь себя настоящим старожилом, а только что пришедшие из театра или кино люди усаживаются, заказывают еду и питье, и ты спокойным беглым взглядом едва скользишь по тому «извне», что они принесли с собой.

Мой сосед встрепенулся и на этот раз заказал себе только кофе, но просил горячий кофе, очень горячий кофе. При этом он смотрел в глаза кельнерши дольше, чем позволяют приличия, и кельнерша мило улыбнулась ему.

— В Сочи мы сердечно распрощались с нашими русскими знакомыми, и наше судно — оно называлось «Грузия» — вышло в открытое море. Русские любят целоваться. Не успеете вы оглянуться, как вас уже трижды чмокнут в щеки. Нам, немцам, это не по вкусу. Я хорошо видел, как этот Саша, этот фриз, поцеловал Ирену прямо в губы. Но что поделаешь, когда мы все буквально купались в дружбе?

Сейчас-то я понимаю — не иначе как черт приложил к этому руку: в Ялте, в цирке, мы снова встретили наших русских знакомых. Пока мы осматривали Сухуми, они на теплоходе «Абхазия» напрямик приплыли в Ялту, и тут поднялся веселый шум.

Мы шатались из кафе в кафе, завязывался флирт, и нужно было уметь пить водку, не теряя проницательности, чтобы установить, кто с кем флиртует, а кто с кем нет. Только я один не мог позволить себе флирта после того, как мы с Иреной... Ну, вы сами понимаете, это ясно.

Ирена тоже держала себя безупречно, так мне, по крайней мере, казалось. В подвальчике все уже токовали, словно тетерева на току. Я никогда бы не узнал, что тетерева так ведут себя весной, если б мой друг Хейнцельман не прочел об этом и не рассказал мне. Мужчины изощрялись в каламбурах, а женщины старались перещеголять друг друга остроумными ответами и кокетством. В таких обстоятельствах и я не сижу с похоронным видом, можете себе представить, и мне трудно было не рассердиться, когда Ирена то и дело закрывала мне рот ладонью, она буквально затыкала мне рот.

К нашему столику подошла весьма полная и внушительная дама в белом рабочем халате. «Белый рабочий халат означает, что у человека белая работа, которая оставляет халат белым!» — сказал, вернее, прокричал я, потому что хотел, чтоб мою остроту услышали, но мне показалось, что все равно ее никто не услышал. Дама в белом халате сказала, причем она обратилась почему-то ко мне: «Здесь запрещается кричать. Как вам не стыдно, граждане, товарищи!»

А почему, собственно, она обратилась ко мне? Все остальные тоже шумели. Ну, ладно, я не такой, и, чтобы успокоить эту начальницу или кто она там была, заказал еще кофе. Я, кажется, уже упоминал, что нас было четверо мужчин и четыре женщины, но я заказал девять чашечек. Сейчас объясню зачем. Мне в голову пришла остроумная идея: дело в том, что у стойки бара, повернувшись к нам спиной, одиноко сидел человек. Нам подали наш кофе, и мы, помня предупреждение дамы в белом халате, выпили его довольно тихо. Человек у стойки слегка кивнул нам, когда перед ним поставили его чашку кофе, и снова отвернулся.

Казалось, будто кое-кто из нас только и ждал тишины, в которой мы пили кофе, чтобы продолжать флирт шепотом; комплименты шепотом куда эффективнее, сами понимаете. Но того человека у стойки наш шепот, видно, покоробил, и он повернулся к нам. Ему было лет под тридцать. Его лицо казалось уже слегка помятым, ну, вроде кожаных перчаток, которые носишь вторую зиму. Он покраснел то ли от смущения, то ли от того, что уже выпил, сидя в баре. И сделал, было, движение, похожее на поклон, но не поклонился. «Вы мне нравитесь,— пробормотал он. — Вы все мне нравитесь. Вы мне симпатичны». Мы кивнули в ответ, и кто-то сказал: «Пустяки, стоит ли говорить об этом»—или что-то в этом роде. Пожалуй, вежливее было бы пригласить молодого человека к нашему столику. Как люди воспитанные, мы должны были это сделать, но у меня есть свои предрассудки, а остальные трое мужчин сообразили, вероятно, что пятый нарушит равновесие нашего маленького общества.

Молодой человек ушел, и тогда я сказал: «Он хорошо говорит по-немецки, очень хорошо. Если он агент тайной полиции, представляете, как я выбил его из колеи своей чашечкой кофе!»

Двое наших соотечественников расхохотались, остальные тоже усмехнулись, этот фриз, этот Саша, нахмурил свои свинячьи белесые брови, а Ирена бросила на меня взгляд, который напомнил мне наши худшие времена, времена пасхального марша сторонников мира. Только этого мне не хватало.

Опять пришла дама в белом халате — наши соотечественники сме-

ялись слишком громко — и на этот раз выставила нас вон под предлогом, что уже давно пора закрывать кафе.

И вот мы на набережной. Несмотря на середину октября, теплый летний ветерок обвевает нас, и набережная живет такой оживленной жизнью, будто сейчас восемь часов вечера; люди прогуливаются взад и вперед, а над множеством фонарей рассыпаны звезды, словно сверкающая галька, и море с шумом набегает на прибрежные камни и откатывается обратно, и я не преувеличиваю, когда говорю вам: оно дышало, это море, честное слово.

Мы, как капли в воде, растворились в потоке гуляющих; каждый из мужчин подхватил под руку и исчез в толпе с той женщиной, с которой флиртовал. И только я остался стоять один как столб. Я думал о презрительном взгляде Ирены. Что плохого в том, что я развеселился, как все остальные, и что я назвал молодого человека, который сидел за стойкой, агентом тайной полиции? Он ничего и не услышал. Какая-то сверхчувствительность со стороны Ирены. Ну, ладно, сказал я себе, ты ее найдешь и все снова уладится. В конце концов, ради нее ты пошел на все, даже поехал в Россию.

Я смешался с толпой, попытался потверже держаться на ногах и стал высматривать своих спутников.

Мороженщики заканчивали рабочий день, если можно назвать рабочим днем работу среди ночи. Они запирали свои металлические тележки, расставленные вдоль набережной.

Вдруг я увидел первую пару из нашей компании. Это был Костя, русский, называвший себя литературоведом, и с ним крашеная рыжая немка. Он допрашивал ее о прочитанных книгах, а она врала ему что-то про искусство; глядя на нее, трудно было предположить, что она прочла все те книги, о которых выспрашивал ее этот Костя, вообще-то весьма интересный парень. Я знаю, что даже Хейнцельману не под силу оказалось одолеть некоего Джойса, ну, а эта рыжая, она, конечно, и Джойса читала. Я решил им не мешать и проскользнул в толпе мимо них.

Второй парой, на которую я наткнулся, были немец, представитель страхового общества, и жена Кости — американистка. Некоторое время я шел за ними, и мне показалось, что английский язык саксонца ставил его даму в тупик. Умный человек изо всего извлекает для себя пользу: так я узнал, что саксонский и англосаксонский языки очень далеки друг от друга. Жена Кости совсем взбесилась и потеряла всякое чувство такта, она яростно спорила со страховым представителем, они остановились, а я незаметно прошел мимо них. Вы, конечно, представляете, куда я стремился и что мне хотелось узнать.

Луна стала меньше, зато светила ярче, сверкало море. Райский уголок — этого у Ялты не отнимешь!

Темная стриженая головка Ирены мелькнула в толпе. Она шла с Сашей — помните, я говорил вам, с этим фризом. Иначе и быть не могло. Других вариантов не оставалось. У меня отлегло от сердца: с другого бока шла веснушчатая Света. Они с двух сторон подцепили под руки этого верзилу, и тут уж я решил им помешать, я имел на то в некотором роде полное право. Я пробирался в толпе за ними тремя. Я не подслушивал, человек воспитанный таких вещей не делает. И все равно я не мог бы понять, о чем они говорят, потому что они все время смеялись, особенно Света, Ирена тоже смеялась, я давно уже не слышал, чтобы она так смеялась.

Движение в кафе прекратилось. Почти все столики были заняты. Теплая ткань, сотканная из слов, повисла над залом, отдельные слова вплетались в нее, и эта ткань разговоров ткалась и ткалась беспрерывно.

Воцарилось настроение, которое может возникнуть дома, только когда собирается очень много гостей.

Мой собеседник, попросив разрешения, слегка ослабил узел галстука. Можно было понять, что воспоминания о Ялте, которые, по-видимому, так много значили в его супружеской жизни, взволновали его. Труднее было понять, почему он поглаживал руку кельнерши, снова заказывая себе пиво. Кельнерша отстранила его, он извинился. Наверно, его жизнь действительно была пустой и холодной, если он так неразборчиво искал ласки первой попавшейся женщины.

— Весьма вероятно, что эти трое говорили о чем-то совсем безобидном. Я не прислушивался, и шум на набережной стоял ужасный, плюс музыка, доносившаяся с прогулочных катеров.

Должен вам сказать, что я представляю себе ревность как жидкость, которая медленно, капля за каплей, вытекает из бутылки. И каждая капля обжигает вас. Я хотел, чтоб они обратили на меня внимание. Я начал насвистывать—сначала тихо, потом громче — мелодию шлягера, которая и для Ирены кое-что значила во времена нашей любви. Вы, наверно, знаете эту песенку: «На крыше мира аист свил гнездо», ну и так далее. Я свистел все громче, и гуляки, шатающиеся по набережной, стали весело поглядывать на меня. Только тогда Ирена обернулась. Прекрасная мелодия ворвалась в их хохот и коснулась слуха Ирены, и Ирена узнала ее. Она обернулась, посмотрела на меня и не увидела меня, во всяком случае даже не кивнула мне, а снова повернулась к своему спутнику, к этому русскому фризу. Словно увидела блик лунного света — и больше ничего — вот чем я стал для нее.

Теперь мне показалось, что та бутылка с напитком ревности опрокинулась у меня внутри. Там страшно жгло, и вы, конечно, тоже придерживаетесь мнения, что где оно это «там» — неизвестно. Размахивая руками, я обогнал тех троих и шел теперь на несколько шагов впереди. Я долго шел впереди них. Минут пять. Я думаю, вы понимаете, что значат пять минут в подобной ситуации. Но они меня не замечали. Тогда я обернулся, поднял руку и совершенно непринужденно — представляете себе, чего мне это стоило,— крикнул: «Хэлло!» Мгновение тишины, а потом изумленный возглас Ирены, из другого мира: «Эрих!»

Я остановился и подождал их, но, видно, напрасно, потому что Ирена сказала недовольно: «Почему ты не с остальными?»

Итак, упрек. Как бы вы поступили на моем месте? Да, я тоже ничего не ответил. Я рванулся вперед, прорезая толпу, как комета.

Пожилые девицы, которые до глубокой ночи разыгрывали книги в лотерее, кончили работу и захлопывали свои ящики. Книжная лотерея! Я объясняю себе пристрастие русских к чтению только тем, что они позднее других выучились читать. Мне было очень тоскливо, честное слово. «У тебя всегда было вдоволь энергии,— думал я,— и чувство юмора у тебя есть, с его помощью ты не раз вытягивал себя из кучи неприятностей, как Мюнхаузен вытащил самого себя за косу из кучи грязи». Надо отдать мне справедливость, я, знаете, человек такой: победил, увидел, ушел — уж этого у меня не отнять.

Женщины, дежурившие у весов (здесь даже среди ночи можно взвеситься), кончили работу и забрали свои весы домой, и на краю набережной остались стоять только ростомеры, принадлежащие этому обществу по взвешиванию. Они возвышались на краю набережной, словно водомерные рейки. И они-то подсказали мне мысль о хорошей шутке, и я понял, что чувство юмора не оставило меня в беде.

Я встал около одного такого ростомера и закричал: «Кому измерить

рост! Кто хочет измерить свой рост!», — понимаете, я орал, как ярмарочный зазывала.

«Эй, господа, не упускайте возможности! Измеряйте свой рост по дешевке, задаром!» Я стучал движком и двигал его вверх и вниз по стойке.

«Кого измерить! Подходите меряться!»

Я имел успех: около меня остановились первые прохожие. Они называли меня «Фрицем» — черт его знает, с чего это пришло им в голову — и просили измерить их рост, и я мерил их безо всякого обману, и они смеялись, довольные, что я меряю честно.

Вы себе представить не можете, какой поток людей устремился ко мне. Старая история — люди бегом бегут туда, где можно позабавиться. Я вошел в раж: «Измеряйте свой рост! Измеряйте свой рост!» Дела у меня хватало. Пришлось поработать по-настоящему. И я и не заметил, что члены нашей маленькой компании застряли в образовавшейся вокруг меня толкучке. Вдруг около меня возник этот — помните, я говорил — страховой саксонец, снял соломенную шляпу и закатил глаза, словно слепой. Зрители, все больше иностранцы, главным образом немцы, приняли нашу шутку. В соломенную шляпу полетели копейки, а нужно вам сказать, что в России они называют пфенниги копейками.

Ну, во всяком случае я увидел, что и саксонцы — вообще-то я их недолюбливаю — умеют не испортить шутку, и тут вдруг раздается возглас: «Эрих». Я оглядываюсь и вижу Ирену, Ирену, у которой от гнева изменился голос, стал совсем чужой, Ирену об руку с этим фризом. «Эрих!» — кричит она еще раз в ярости. Что бы вы сделали на моем месте? Я ей не сын, а этот верзила Саша — разве он мой папа? Я не сложил оружия, как тотчас же поступил страховой саксонец. Ну, теперь я его знаю, уж теперь-то я его узнал получше. Между нами: он порядочное дерьмо. Но мне было не до него — в тот момент, по крайней мере. Ведь дело было в Ирене: вместо того, чтобы радоваться, что ее муж способен вовлечь в игру целую толпу на набережной мирового курорта, она просто взбеленилась. Если б еще она бросила этого длинного парня, так нет же, его она не оставляла. «Ну что ж, каждому свое удовольствие»,— подумал я.

Но немного погодя все удовольствие мне испортил какой-то ворчливый Иван, с лицом, изрубленным шрамами. Подходит он ко мне, хватает за плечо и трясет. Я думаю, он веселится, и говорю: «Здравствуй, Иван, пожалуйста и до свиданья», — и еще что-то в этом роде, что я уже успел усвоить. Цивилизованный человек на любом языке усвоит несколько слов. Но этот Иван, не переставая дружелюбно трясти меня, говорит по-немецки: «Что, Фриц, ищешь восточных рабочих?»

А я говорю: «Иван, — говорю, — неужели уж и пошутить нельзя. Ведь такая поездка стоит немалых денег». Тут он тряхнул меня так, что голова чуть не слетела с плеч; «Пожалуй, хватит», — подумал я, но тут он ушел.

Слово чести, все удовольствие мне испортил. В конце концов всем известно, как они обращались тогда с восточными рабочими. Мне мать рассказывала об этом, но нельзя же любую шутку сразу переводить на политику. Я против!

Так вот, теперь я стоял еще более одинокий, чем раньше. Люди проходили мимо, будто никогда и не видели меня, а ведь я доставил им столько удовольствия. Такова судьба всякого клоуна, мне Хейнцельман рассказывал, он прочитал одну книгу о знаменитом клоуне, он читает все.

Мой сосед по столу вызывал сочувствие. Такое сцепление несчастливых обстоятельств!

Несколько минут он выглядел как потенциальный самоубийца, и если б не благословенное чувство юмора — кто знает... Но он и вправду обладал чувством юмора. И этого чувства не могли заглушить даже его страдания, в самой манере его рассказывать все время слышалась бодрая нотка.

И несомненно чувство юмора заставило его при следующем заказе обнять кельнершу за талию. А может быть, чувство бесконечной заброшенности?

Кельнерша не сопротивлялась. Можно было подумать, что она догадывается о его горе и поощряет к дальнейшим шагам.

— Что произошло в Ялте потом? Вам стало интересно, а? Я опять искал своих спутников и долго не мог их найти, потом вдруг увидел внизу на пристани пылающую рыжую гриву немки-кибернетички, или как там ее. Я перепрыгнул через парапет набережной и очутился рядом с ней. Эта дама называла себя Мэри — по-видимому, она питала слабость к американцам из оккупационных войск. На самом деле у нее было вполне обыкновенное католическое имя Мария, без всяких фокусов.

«Хэлло, Мэри, славную штуку отмочил я на набережной?» — спросил я.

Она ответила странно: будто моя «славная штука» всех сбила с толку, и так энергично мотнула головой, что рыжие волосы упали ей на лицо.

Народу на пристани было мало, и метрах в пятидесяти впереди я увидел Костю, который шел под руку со своей женой, американисткой. Мне стало понятно, почему скисла Мэри.

Ирены нигде не было видно; не знаю сам, как это получилось, но только Мэри начала тихо напевать мотив финской летки-енки, который мы слышали вечером в цирке; она буквально вцепилась в меня, подхватила под руку и положила мне на плечо свою голову, выкрашенную под цвет мебели красного дерева, — цвет, к которому я не питаю особого пристрастия. На что она была мне, когда мы земляки, оба из Франкфурта, только она из сити, а я из пригорода. Известно, что никогда не получается ничего хорошего, если люди из одного города крутят любовь. Вы и сами это знаете. Но в этой Мэри было что-то такое: ей обязательно надо было к кому-нибудь прибиться; и она стала танцевать под свое собственное мурлыканье. Мне ничего не оставалось другого, и я начал подпевать ей и приплясывать, не портить же игру. А чтобы было позабавнее и чтоб освободиться от ее руки, я начал танцевать, подражая слонам, которые танцевали в цирке под эту летку-енку: я сгибал колени, топал по бетонным плитам пристани, сделал вид, будто поднимаю хобот, и тут я нечаянно затрубил.

И в эту самую минуту нас обогнали Ирена и этот свинячий белесый Саша. От веснушчатой Светы они избавились. Ну, нам известно, как это делается; потом я увидел, что Свету подхватил тот страховой тип. Ирена и этот Саша были целиком поглощены друг другом. Он говорил, а она слушала, приоткрыв рот, словно школьница на уроке биологии, когда объясняют про половые отношения. Она прямо-таки ела глазами этого верзилу. Не знаю, видели они мой слоновий танец или нет, так или иначе, они прошли мимо, словно мы были простыми мужиками или мусорщиками на пристани. Я пел и трубил, но они не обернулись, и тут мне стало плохо, по-настоящему плохо, как при морской болезни.

«Жизнь иногда — просто куча дерьма!» — сказал я Мэри, но, по-моему, она ничего не услышала, потому что все распевала свою летку-енку. Я был способен швырнуть ее в море.

Конец? Может быть, говорить так слишком жестоко, но вы правы— это был конец.

Мы возвращались домой порознь. Я уехал на несколько дней раньше. Мне нечего было делать в России, куда я вообще не хотел ехать. Она больше не вернулась в нашу квартиру. Сейчас она снимает меблированную комнату. Можно было возбудить иск о восстановлении в супружеских правах, но я не изверг. Я написал ей: «Что все это значит? Я требую объяснения!» — и все в таком роде. Она ответила пустыми отговорками. Я, мол, некультурный человек, и тому подобная болтовня. Пустословие так называемых передовых, помешанных на культуре, сказал Хейнцельман, а уж он-то читает все на свете.

Хитрости в ней не было. Письмо на ее имя пришло в нашу квартиру. Вы совершенно правы: из России, и конечно от этого Саши.

Само собой разумеется, прочесть письма я не смог. У русских до сих пор еще нет латинского алфавита. Я отправил письмо в бюро переводов: сплошной вздор, не буду пересказывать, чтобы не засорять вам голову, но во всяком случае про культуру там тоже было, и я понял, откуда у Ирены такое пристрастие к этой чепухе. «Обнимаю тебя»,— писал этот верзила Саша. Ну как ничего не подумать при этом? «Я обнимаю тебя и шлю привет твоему мужу». Ловко придумано, а?

Вы говорите, я нарушил тайну переписки? Спокойно, спокойно! Я посоветовался с Хейнцельманом. Он утешил меня: во-первых, наше правительство само, вы меня понимаете, ну, об этом не говорят вслух. А кроме того, сказал Хейнцельман, ведь это письмо из России.

Я пытался разыскать Ирену, но не нашел ни в меблированных комнатах, ни в ее ресторане. Ушла, ответили мне в ресторане. Но мне-то теперь какой прок в этом?

Как-то раз я увидел ее во время демонстрации. Не могу вам сказать, против чего демонстрировали эти личности. Никто не станет отрицать, что у нас существуют отдельные явления, против которых можно было бы и возразить, но всякий обладающий здравым смыслом понимает, что это ни к чему не приведет.

Конечно, здесь у меня была возможность потребовать от Ирены ответа, но как мне было извлечь ее из рядов демонстрантов, не скомпрометировав себя? Человек моего круга и демонстрантка? Наша клиентура очень чувствительна, сами понимаете.

Что вы говорите? Неужели об этом я еще не рассказал? Как-то в сити я встретил страхового типа, с которым познакомился в Ялте. Я подумал, что, может быть, ему пишет веснушчатая Света и таким путем я что-нибудь узнаю насчет того русского парня и Ирены. Он ничего не знал.

«Писать,— проворчал он.— Да это же был эпизод, даже эпизодик, если вам угодно». Но он предложил мне перейти на работу в его страховое общество.

«О чем ты раздумываешь,— сказал Хейнцельман,— радуйся, что у тебя есть связи, без связей сейчас не пробьешься».

Итак, я покинул оптический завод. Незаурядному человеку там делать нечего. С такой работой вполне справляется испанец. Умственный труд приносит мне втрое больше, чем я получал раньше, если я, конечно, удержусь здесь. Вот Ирена удивилась бы, если б узнала, но я не хвастаюсь, не такой я человек. Может быть, у Ирены и не все ладится. Ни для кого не проходит бесследно такая супружеская дисгармония. На развод она пока не подала, но ведь если она еще до сих пор рассчитывает на меня, значит, она вернется, правда?

Саксонец из общества по страхованию имущества теперь мой шеф. Я надеюсь, вы меня не выдадите: рассказывая о Ялте, я, может показаться, отзывался о нем без особой симпатии. Но шеф есть шеф. А маленькие слабости — у кого их нет?

А который час, собственно говоря? Как, они уже закрывают? С вашего позволения, я удалюсь.

Проходя между столиков, он держался очень прямо. Тут стало видно, что он из тех, кто кажется высоким, только пока сидит. Казалось, он нисколечко не пьян. Твердая походка, четкий отпечаток нашего времени во всем облике, вполне законченный характер.

Его рассказ невольно вовлекал слушателя в запутанную семейную историю, и мне самому захотелось втянуть голову в плечи, когда я увидел, как удары судьбы настигают не самых худших.

Возвращаясь, он остановился возле кельнерши, чтобы оплатить свой счет. Он долго разговаривал с кельнершей-итальянкой, вероятно, что-то у них не сошлось в расчетах, и это говорило не в его пользу, но он оставил ей большие чаевые, что было вполне в его духе.

Вернувшись к нашему столику, он сказал:

— С этими фрейлейн с Итаки, того и гляди, попадешь впросак. Мой друг Хейнцельман однажды попался. Он хотел пойти с одной такой, а она начала разводить политическую агитацию. Да и вообще, кто пойдет с иностранкой?

Итак, законченный характер? Он все же еще раз оглянулся на кельнершу, но та была занята.

— Ну, а на чем мы порешим с вами? — спросил он.— Не заключить ли нам маленькое деловое соглашение? Вы можете застраховать домашнюю обстановку, жизнь или застраховаться от несчастного случая при занятиях спортом. Мы процветающее предприятие с тенденцией к расширению. В данное время мы следуем американскому образцу: даем возмещение за потерю жизни при военных действиях. Самое время. Кто застрахован от войны? Вы? Ну, подумайте об этом. Я не хочу быть навязчивым. И все-таки надеюсь, что мы обязательно заключим маленькое соглашение, не зря же я рассказал вам свою историю.

Он весьма корректно попрощался, поблагодарил меня за участие. В кафе уже царила не очень приятная атмосфера всеобщего исхода. Мужчины надевали шляпы, дамы облачались в модные куртки; со звоном падали монеты на мрамор столиков, на полную мощность крутился и жужжал вентилятор, кто-то беззастенчиво громко зевнул.

Подойдя к стойке, где у контрольной кассы кельнерша подсчитывала вечернюю выручку, он поболтал с буфетчиком, выпустил из трубки маленькое облачко дыма. И все поглядывал на кельнершу. Он еще продолжал рассчитывать на внимание итальянки, и от этого показался мне напоследок чуть менее симпатичным.

Перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ

НИКОЛА ИНДЖОВ

ВСЕ СНОВА ПРОЖИТЬ...

Песнь о Созополе

1

Здесь так положен к камню камень,
как будто нищий — был он слеп —
протянутыми вдаль руками
искал в отчаянье свой хлеб.

Наш домик занял, несомненно,
зеленый — у залива — цвет,
тот цвет был в имени Елена
и в именах, которых нет.

И плесень здесь зеленовата,
как море старое, она
в простенки, в облака заката,
в рыбачьи сети вплетена.

И умирал он, древний город,
от старости, от красоты.
Славянка-мать, в ночную пору
здесь жизнь мне даровала ты,

чтобы сонаты и прелюды
меня сражали наповал,
чтобы цвета знамен повсюду
по цвету крови я сверял.

2

На перекрестках, в звездном звоне —
всех случаев не перечесть,—
впервые полюбив, я понял,
что музыка на свете есть.

Что безымянный кто-то где-то
все ходит-бродит по земле,
чтоб в некий час в потоках света
стать изваяньем на скале.

Далекий домик, занавески.
Я рос в дремотной тишине,
но надписи на камне, фрески
врывались шумно в душу мне.

Я прежде и не знал о свойстве:
быть одному лицу — страной,
в спокойствии и в беспокойстве
брать на руки весь шар земной,

зеленый, сумрачный от гари,
с любовью, кровью, рай и ад.
Быть, постоянно быть Болгарией
с трехцветным флагом из баллад!

3

От старости спасите город
и от музейной красоты.
Пусть спутник над его простором
летит, любимец высоты!

Руками сделайте своими
его подобья тут и там.
Его присваивайте имя
долинам, звездам, городам.

Как музыку, его разлейте
повсюду, и наверняка
под звон гармоники и флейты
переселится он в века.

Вы, как тюльпан, его дарите
всем женщинам, влюбленным в вас!
Его деревья посадите
вдоль новых улиц — в добрый час!

Пусть сотни песен разольются
ручьями в вешнем далеке!
И это тоже — революция!
Не с бомбой — с голубем в руке!

Перевод с болгарского ЛЬВА ОЗЕРОВА

Вечернее время

Вот идут косари
в белоснежных рубашках,
закатав рукава,
в небо косы задрав,
и сверкает роса
на примятых ромашках,
и спускается с гор
запах скошенных трав.

Вот идут косари,
как всегда молчаливы,
на неяркие звезды
подолгу глядят
и в студеном ручье
и в ключе самодивы
оставляют зеленый
мерцающий взгляд.

Вот и я в эту тишь —
только веки прикрою —
вижу белых людей
и гляжу им вослед,
и, упав на траву,
под огромной зарею
я другим человеком
рождаюсь на свет.

■ ■ ■

Есть город над горной стремниной,
над скользкой, как мох, крутизной.
Он к рекам, бегущим равниной,
приходит с разливом весной.

Он так далеко и высоко,
что летом с нагорий крутых
на поле опустится сокол
со снегом на крыльях своих.

Он так далеко и высоко,
что, кажется, в доме у скал
найду я все то, что до срока
по белому свету искал.

Там, может быть, жизнь повторится
с любовью ее и добром
и долгая ночь озарится
горевшим когда-то костром.

И большего счастья не надо!
Вот только хватило бы сил
все снова прожить, что когда-то
я прожил — и не пережил...

Перевод с болгарского ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА

ЖОРЖ СИМЕНОН

Тюрьма

РОМАН

Перевод с французского
Н. БРАНДИС и Н. ШРАЙБЕР,
под редакцией П. ГЛАЗОВОЙ

I

Сколько нужно месяцев, сколько лет, чтобы ребенок стал юношей, а юноша — мужчиной? И как можно узнать, что это превращение совершилось?

Момент этот не бывает отмечен, как в школах, торжественным актом вручения наград или дипломов.

Алену Пауто, достигшему тридцати двух лет, понадобилось лишь несколько часов, может быть даже всего несколько минут, чтобы повзрослеть или, во всяком случае, перестать быть тем, чем он был до сих пор.

17 октября в Париже шел проливной дождь. Порывы ветра обрушивали на ветровое стекло машины такие потоки воды, что «дворники» были бессильны с ней справиться и только еще больше затуманивали свет фонарей.

Пригнувшись к рулю, Ален медленно вел машину по бульвару Курсель. По правую руку тянулась черная решетка парка Монсо. Он свернул на улицу Шазель, где находился его дом. Небольшая улица, по обеим сторонам роскошные здания. Алену удалось найти место для стоянки почти напротив дома. Захлопнув дверцу, он машинально поднял голову и посмотрел, горит ли свет в верхнем этаже.

Глядеть наверх, перед тем как войти в дом, стало чем-то вроде условного рефлекса, которого он уже не замечал. Впрочем, сейчас он все равно ничего не мог бы заметить. Он ринулся в дождь, холодная вода хлестала его по лицу, заливала одежду. Он толкнул тяжелую дверь с матовым стеклом за узорами чугунной решетки.

Мужчина, который стоял под навесом парадного, словно укрывался там от дождя, вошел вслед за ним.

— Мосье Пуато?

Неяркие лампы тускло отсвечивали на деревянных панелях.

— Да, это я,— с удивлением ответил Ален.

Человек, каких тысячи. Неприметная внешность. Темный плащ.

Незнакомец вынул из кармана удостоверение с трехцветной полосой.

— Инспектор Нобль из сыскной полиции.

Ален оглядел мужчину внимательнее, с любопытством, но почти без удивления. Он привык иметь дело с разными людьми.

— Могу я на минутку подняться к вам?

— Вы давно меня ждете?

— Около часа.

— Почему же вы не пришли ко мне в редакцию?

Инспектор был молод и, видимо, стеснителен, чувствовалось, что ему не по себе. Он ничего не ответил и, усмехнувшись, вошел вслед за Аленом в просторный, старинного типа лифт, обитый внутри темно-красным бархатом.

Пока лифт медленно полз вверх, мужчины молча рассматривали друг друга в мягком свете хрустального плафона. Ален Пуато дважды приоткрыл было рот, чтобы задать вопрос, но так ни о чем и не спросил, предпочитая начать разговор у себя в квартире.

Лифт остановился на четвертом, последнем, этаже. Ален повернул ключ в замке, толкнул дверь и удивился темноте.

— Жена еще не вернулась,— автоматически заметил он, протянув руку к выключателю.

Капли дождя стекли с плащей на бледно-голубой ковер.

— Можете снять пальто.

— Не стоит.

Ален с недоумением оглядел незнакомца. Странно. Молодой человек, ожидавший его у подъезда чуть ли не под дождем битый час, уже заранее знает, что визит его будет настолько коротким, что не стоит снимать плащ.

Ален распахнул двустворчатую дверь, опять нащупал выключатели, и в большой комнате, одна стена которой была сплошь из стекла, зажглось несколько ламп. По стеклу широкими струями текла дождевая вода.

— Жене пора бы уже вернуться...

Он посмотрел на свои ручные часы-браслет, хотя напротив висели старинные, с раскачивающимся медным маятником, издававшим при каждом взмахе легкий щелчок.

Без четверти восемь.

— Мы сейчас едем ужинать с друзьями, а...

Ален говорил сам с собой. Он ведь заскочил домой на минуту: раздеться, принять душ, надеть более темный костюм.

Неожиданное посещение не встревожило его, даже не заинтриговало. Разве что самую малость. Скорее он был немного раздосадован. Присутствие постороннего мешало ему заняться своими делами. А тут еще и Жаклина куда-то запропастилась.

— У вас есть оружие, мосье Пуато?

— Вы хотите сказать — пистолет?

— Именно это я имел в виду.

— Есть. Он лежит в ящике ночного столика.

— Не могли бы вы мне его показать?

Инспектор говорил тихо, неуверенным голосом.

Ален направился к двери, ведущей в спальню. Молодой человек последовал за ним.

Комната была обита желтым шелком. На огромной кровати — шкура дикой кошки. Белая лакированная мебель.

Ален открыл ящик, озадаченно поднял брови и запустил руку поглубже в кучу разных мелочей.

— Его здесь нет,— пробормотал он.

Он огляделся вокруг, словно пытаясь вспомнить, куда мог сунуть пистолет.

В двух верхних ящиках комода лежали его вещи, в нижних — вещи Жаклины. Впрочем, так ее никто не называл. Для него, как и для всех, она была Мур-мур — ласковое прозвище, которым он наделил ее много лет назад: она очень походила на котенка.

Носовые платки, рубашки, нижнее белье...

— Когда вы видели его в последний раз?

— По-моему, сегодня утром.

— Вы уверены?

На этот раз Ален в упор посмотрел на молодого человека и нахмурил брови.

— Послушайте, инспектор. Все пять лет, что мы здесь живем, этот пистолет лежал в ящике ночного столика... Каждый вечер, раздеваясь, я выкладываю в ящик все содержимое карманов: ключи, бумажник, портсигар, зажигалку, чековую книжку, мелкую монету... Я настолько привык видеть пистолет на месте, что даже не обращал на него внимания...

— Его отсутствие могло бы вас удивить?

— Вероятно, нет,— сказал Ален, подумав.— Несколько раз случалось, что он забивался в глубь ящика.

— В котором часу вы сегодня расстались с женой?

— С ней что-нибудь случилось?

— Не в том смысле, как вы думаете. Вы завтракали вместе?

— Нет. Я был занят версткой в типографии и на ходу перехватил бутерброды в бистро.

— Она не звонила вам в течение дня?

— Нет.

И опять, прежде чем ответить, Алену пришлось подумать. Мур-мур часто звонила ему — можно ведь и ошибиться.

— А вы ей звонили?

— Тоже нет. Днем жена дома бывает редко. Она работает. Журналистка и... Но, простите, к чему все эти вопросы?

— Мой шеф объяснит вам это лучше, чем я. Не угодно ли проследовать со мной на набережную Орфевр? Там вас введут в курс дела.

— Вы уверены, что с моей женой...

— Она не убита и не ранена.

Полицейский, все так же учтиво и робко, направился к двери. Ален не раздумывая, последовал за ним — он был совершенно ошеломлен и сбит с толку.

Словно сговорившись, они не стали вызывать неторопливый, чопорный лифт, а спустились по лестнице, покрытой ковровой дорожкой с толстым ворсом. Окно на каждой площадке было украшено разноцветными витражами, по моде начала века.

— У вашей жены, вероятно, своя машина?

— Да. Малолитражка, вернее, мини-автомобиль. У меня тоже такой для разъездов по Парижу. Вы его сейчас увидите, он стоит перед домом.

У дверей оба остановились в нерешительности.

— Как вы сюда добрались?

— На метро.

— Вам не покажется неудобным, если я вас отвезу?

Его не покидала обычная ирония. Он к ней охотно прибегал, и застенчивую ироничность его бывала далеко не безобидной. Но разве ирония не была единственным разумным отношением к нелепости жизни и к человеческой глупости?

— Придется вам извинить меня. Ноги здесь вытянуть негде.

Ален мчался на полной скорости — по привычке. Крошечная английская машина была быстроходна, и он не слишком обращал внимание на светофоры. В одном месте он проскочил перекресток на красный свет.

— Простите...

— Неважно. Уличное движение в мои функции не входит.

— Въехать во двор?

— Если хотите.

Инспектор высунулся из окна и что-то сказал двум часовым.

— Моя жена здесь?

— Вероятно.

Зачем задавать вопросы человеку, который все равно ему ничего не скажет? Через несколько минут он будет говорить с комиссаром, с которым безусловно знаком. Ведь среди них, пожалуй, нет ни одного, с кем бы он не встречался.

Не спросив, куда идти, Ален взбежал по большой лестнице и остановился на площадке второго этажа.

— Это здесь?

В длинном полутемном коридоре ни души. Двери по обе стороны закрыты. Только старый судейский вахтер, с серебряной цепью на шее и свисающей на грудь массивной бляхой, сидел за столом, обтянутым, как биллиард, зеленым сукном.

— Пройдите, пожалуйста, на минутку в зал ожидания.

Одна стена зала была полностью остеклена, как у него дома в гостиной, прежде служившей мастерской художника.

Какая-то старуха в черном, тоже ожидающая, впилась в него злыми темными глазками. Больше в зале никого не было.

— Прошу прощения...

Инспектор пошел по коридору и постучал в какую-то дверь, которая тут же за ним закрылась. Больше он не появился. Никто вообще не приходил. Старуха сидела не шевелясь. Даже воздух вокруг них был какой-то неподвижный, серый, как туман.

Ален снова взглянул на часы. Двадцать минут девятого. Не прошло и часа, как он покинул редакцию на улице Мариньян, бросив на ходу Малецкому:

— До скорого...

Сегодня они вместе с десятком приятелей и приятельниц собирались ужинать в новом ресторане на авеню Сюффран.

Да, тут нет ни дождя, ни ветра. Эти стены словно выключают человека из пространства и времени. Однако до сих пор — в любой день — Алену стоило только прийти сюда и написать на карточке свое имя, чтобы через несколько минут чиновник ввел его в кабинет начальника сыскной полиции, а тот встал бы ему навстречу с протянутой рукой.

Он давно отвык от ожидания в приемных. Давно. С начала своей карьеры.

Он бросил взгляд на старуху — до чего же неподвижна! — и чуть было не спросил, сколько времени она здесь ждет. Может быть, несколько часов?

Ему стало невмоготу. Не хватало воздуха. Он закурил сигарету и принялся ходить взад и вперед под неодобрительным взглядом старухи.

Потом не выдержал: открыл застекленную дверь, прошел по коридору и обратился к вахтеру с серебряной цепью:

— Как фамилия комиссара, который хочет меня видеть?

— Не знаю, мосье.

— Но ведь в такой час их здесь не очень много?

— Двое или трое. Иногда они засиживаются допоздна. Как ваше имя?

— Ален Пуато.
— Вы женаты, да?
— Женат.
— А жена ваша брюнетка, небольшого роста, в подбитом мехом плаще?
— Да, да.
— Значит, вас вызывал помощник комиссара Румань.
— Он у вас недавно?
— Что вы. Он служит здесь больше двадцати лет, но в сыскную полицию действительно перешел не так давно.
— Моя жена у него в кабинете?
— Не могу знать, мосье.
— А она когда приехала? В котором часу?
— Затрудняюсь сказать.
— Вы ее видели?
— Думаю, что видел.
— Она была одна?
— Простите, мосье, но я и так уже наговорил много лишнего.

Ален отошел, оскорбленный и вместе с тем обеспокоенный. Его заставляют ждать. С ним обходятся, как с обычным посетителем. Какие дела могут быть у Мур-мур на набережной Орфевр? И что это за история с пистолетом? Почему его не оказалось в ящике? Оружие! Его и оружием-то не назовешь. Бандиты бы над ним посмеялись. Калибр 6,35 мм — детская игрушка.

Он его не покупал. Ему дал приятель Боб Демари.

«С тех пор как сынишка научился ходить, я предпочитаю, чтобы такая штука не валялась в квартире».

Да, лет пять или шесть назад. Никак не меньше. За эти годы у Демари появилось еще двое ребят.

Но что же все-таки натворила?..

— Мосье Пуато!

На другом конце коридора показался приехавший с ним молодой инспектор и поманил его. Ален быстро зашагал к кабинету.

— Войдите, пожалуйста...

Помощник комиссара, мужчина лет сорока, с утомленным лицом, протянул Алену руку и снова сел. Они были одни. Инспектор в кабинет не вошел.

— Раздевайтесь, мосье Пуато, и садитесь. Мне сообщили, что у вас исчез пистолет?
— Да, я не нашел его на обычном месте.
— Не этот ли?

И помощник комиссара положил на стол браунинг вороненой стали; Ален взял пистолет.

— Да, кажется, он, очень похож.
— На вашем никаких опознавательных знаков не было?
— По правде сказать, я его никогда не рассматривал. И никогда им не пользовался, даже за городом не пробовал.
— Ваша жена, конечно, знала о его существовании?
— Безусловно.

Ален вдруг подумал, он ли это действительно сидит здесь и покорно отвечает на нелепые вопросы. Ведь он, черт возьми, Ален Пуато. Его знает весь Париж. Он руководит одним из наиболее популярных во Франции еженедельников и собирается издавать другой, новый журнал. Кроме того, вот уже полгода, как он занимается выпуском пластинок, о которых каждый день говорят по радио.

Его не только не заставляют дожидаться в приемных — он на «ты» по крайней мере с четырьмя министрами, и ему случалось у них обедать,

загородныи дом.

Нужно возмутиться, сбросить с себя эту тупую апатию!

— Не объясните ли вы, наконец, что все это значит?

Комиссар посмотрел на него скучающими, усталыми глазами.

— Потерпите немного, мосье Пуато. Не думайте, что мне это доставляет удовольствие. У меня был трудный день. Я уже думал, вот-вот поеду домой, к жене и детям.

Он взглянул на черные мраморные часы, стоявшие на камине.

— Вы, вероятно, давно женаты, мосье Пуато?

— Лет шесть. Нет, пожалуй, семь. Да еще два года до брака мы жили как муж с женой.

— У вас есть дети?

— Да, сын.

Полицейский опустил глаза, вычитывая что-то в лежавшем перед ним досье.

— Ему пять лет...

— У вас точные сведения.

— Он не живет с вами...

— Это уже менее точно.

— То есть?

— У нас в Париже квартира, но мы по вечерам редко бываем дома. Настоящий наш дом в Сент-Илер-ля-Виль. Там у нас вилла, в лесу Рони, и каждую пятницу во второй половине дня мы туда уезжаем, а летом ездим почти каждый день и остаемся ночевать.

— Ясно. Вы, конечно, любите свою жену?

— Да, безусловно.

Он произнес это без страсти, без пафоса, как нечто само собой разумеющееся.

— И вам известна ее личная жизнь?

— Ее личная жизнь проходит со мной. Что же касается работы...

— Это-то я и имел в виду.

— Моя жена журналистка.

— Она печатается у вас в еженедельнике?

— Нет, она не ищет легких путей. Кроме того, наш еженедельник не подходит ей по профилю.

— В каких она отношениях со своей сестрой?

— С Адриеной? В самых хороших. Они приехали в Париж одна следом за другой. Сначала Мур-мур, потом...

— Мур-мур?

— Это я ее так окрестил. Киска, Мур-мур. А теперь ее так зовут все наши друзья, все мои сотрудники. Когда ей понадобился псевдоним для статей, я посоветовал ей подписываться Жаклина Мурмур. Они с сестрой долго жили в одной комнате близ Сен-Жермен-де-Прэ.

— Вы познакомились с ними обеими одновременно?

— Нет, сперва с Мур-мур.

— Она не представила вас сестре?

— Представила, позднее. Через несколько месяцев. Если вы в курсе дела, к чему все эти вопросы? Думаю, мне бы уже не мешало узнать, что случилось с женой.

— С вашей женой — ничего.

Он произнес эти слова печально и утомленно.

— Тогда с кем же?

— С вашей свояченицей.

— Несчастный случай?

Его взгляд упал на пистолет, лежавший на письменном столе.

— Она?..

— Да, ее убили.

Ален не осмелился спросить кто. Им внезапно овладело какое-то странное, никогда прежде не испытанное состояние — оцепенение, внутренняя пустота. Мысли рассыпались — во всяком случае, в них отсутствовала логика. Он чувствовал, что его затягивает в бредовый, бессмысленный мир, где слова теряют привычное значение, а предметы — привычный облик.

— Ее убила ваша жена — сегодня днем, около пяти часов.

— Этого не может быть!

— Однако это правда.

— С чего вы взяли?

— Ваша жена сама призналась. Ее слова подтвердила няня, которая находилась в момент убийства в квартире.

— А мой зять?

— Он дает показания в соседней комнате.

— Где моя жена?

— Наверху. В следственном отделе уголовной полиции.

— Но почему она это сделала? Она вам сказала?

Ален внезапно вспыхнул и не решился взглянуть на помощника комиссара.

— Я надеялся, что на этот вопрос мне ответите вы.

■

Он не был ни грустен, ни подавлен, ни взволнован. И не возмущен. Но он как бы перестал быть самим собой, утратил себя. Да, он не существовал больше как личность. И ему хотелось ущипнуть себя, удостовериться, что это он, Ален Пуато, сидит здесь, а перед ним письменный стол красного дерева, зеленое кресло и усталое лицо комиссара. И как вообще здесь могла идти речь о Мур-мур и об Адриене, у которой такое правильное, нежное лицо и большие светлые глаза под длинными трепещущими ресницами?

— Ничего не понимаю,— сказал он, встряхивая головой, словно хотел проснуться.

— Чего вы не понимаете?

— Что моя жена могла стрелять в свою сестру. Вы сказали, что Адриена умерла?

— Почти сразу же.

Слово «почти» причинило ему боль, и он тупо уставился на лежавший перед ним браунинг. Значит, она еще жила после выстрела, жила несколько минут или несколько секунд. Что же делала в это время Мур-мур? Стояла с пистолетом в руке и смотрела, как умирает сестра? Или пыталась оказать ей помощь?

— Она не делала попыток бежать?

— Нет. Мы застали вашу жену в комнате. Она стояла у окна, прижавшись лицом к стеклу, по которому хлестал холодный дождь.

— И что она сказала?

— Вздохнула и прошептала: «Наконец!»

— А Бобо?

— Кто это Бобо?

— Сын моей свояченицы. У нее двое детей — мальчик и девочка. Девочку зовут Нелли, и она очень похожа на мать.

— Няня отвела их на кухню и поручила заботам другой служанки, а сама попыталась оказать помощь умирающей.

Здесь что-то не так. Ведь комиссар сначала сказал, что Адриена умерла почти сразу же, а теперь он заявляет, что няня пыталась оказать ей помощь. Ален прекрасно знал квартиру на Университетской улице, во

втором этаже старинного особняка. Высокие окна, потолок, расписанный одним из учеников Пуссена.

— Скажите, мосье Пуато, в каких отношениях вы были с вашей свояченицей?

— В самых хороших.

— Прошу поточнее.

— А что бы это могло изменить?

— Насколько я понимаю, убийство произошло не на почве материальных соображений. Разве между сестрами были какие-нибудь денежные дела?

— Конечно нет!

— Полагаю, что речь также идет и не о старой затаенной вражде между детьми, выросшими в одной семье,— такое иногда бывает.

— Что вы!

— Имейте в виду, что на преступления, совершенные из ревности, присяжные обычно смотрят сквозь пальцы...

Они взглянули друг на друга.

Комиссар, чье имя Ален уже успел забыть, даже и не притворялся, будто расставляет допрашиваемому каверзные ловушки. Он устал и с нескрываемой скукой задавал вопросы — в лоб.

— Вы были ее любовником?

— Нет. Собственно, да. Я хочу сказать, что это не могло быть причиной. Это было слишком давно. Понимаете?

Слова его следовали за мыслью, но он отдавал себе отчет, что все-таки они за ней не поспевают. Вот если бы рассказать все по порядку, не торопясь, с подробностями, объяснить, что...

— Мы уже почти год, как... Меньше года... С рождества...

— Ваша связь началась год назад?

— Наоборот. Окончилась.

— Совсем?

— Да.

— Это вы ее прервали?

Ален отрицательно покачал головой. Впервые в жизни он осознал, как трудно, даже невозможно все объяснить. Объяснить то, что было между ним и Адриеной. В отчаянии он чуть не обхватил голову руками.

— Это не была связь.

— Как же вы это назовете?

— Не знаю... Это произошло...

— Расскажите же, как это произошло...

— Почти случайно.. Мы с Мур-мур тогда еще не были женаты, но жили уже вместе.

— Когда это было?

— Лет восемь назад... Еще до того, как стал выходить мой журнал. Я тогда зарабатывал газетными репортажами, статьями... Писал песенки. Мы жили в отеле близ Сен-Жермен-де-Прэ... Мур-мур тоже работала...

— Она была тогда студенткой?

Комиссар снова заглянул в досье, чтобы освежить в памяти историю, а Ален подумал: что́ там еще написано у него в этой папке?

— Да. Она занималась на втором курсе филологического факультета.

— Продолжайте!

— Однажды...

Шел дождь, как сегодня. Возвратившись домой в конце дня, он вместо жены застал в комнате Адриену.

«Жаклина не вернется к обеду. У нее интервью с каким-то американским писателем в отеле «Георг V».

«Что ты здесь делаешь?»

«Забежала к ней поболтать. Но она меня бросила, и я решила дождаться тебя».

В то время ей еще не было двадцати лет. Насколько сестра ее была живой и энергичной, настолько Адриена казалась холодной, даже вялой.

Комиссар ждал, почти не скрывая нетерпения. Он закурил сигарету, протянул пачку Алену, тот тоже закурил.

— Это случилось так просто, что не расскажешь.

— Она вас любила?

— Вероятно. Два часа назад я безусловно сказал бы «да». Но теперь... я бы не осмелился...

Слишком все изменилось с той минуты, когда стеснительный и вежливый инспектор подошел к нему у подъезда и попросил разрешения подняться с ним наверх.

— Я думаю, что все сестры... Нет, пожалуй, не все, но многие... Даже среди моих знакомых я знаю ряд случаев...

— Ваша связь продолжалась примерно семь лет?

— Это не была связь... Я хочу, чтобы вы меня поняли... Мы никогда не объяснялись друг другу в любви... Я продолжал любить Мур-мур и через несколько месяцев на ней женился...

— Что вас заставило решиться на этот шаг?

— Что заставило? Но...

А в самом деле, что его заставило? По правде сказать, в ту ночь, когда Ален сделал ей предложение, он был чертовски пьян...

— Вы ведь и так жили вместе... Детей у вас не было...

Он сидел за столом в пивной, окруженный такими же захмелевшими, как он, приятелями, и вдруг заявил:

«Через три недели мы с Мур-муркой поженимся».

«Почему через три?»

«Столько требуется для оповещения о браке».

Разгорелись споры. Одни утверждали, что брак заключают уже через две недели после оповещения, другие уверяли, что через три.

«Ладно, увидим! А ты, Мур-мур, что об этом думаешь?»

Она прижалась к нему и ничего не ответила.

— После женитьбы вы встречались с вашей свояченицей?

— Обычно вместе с женой.

— А кроме этого?

— Да, мы иногда встречались. Был период, когда мы виделись еженедельно.

— Где?

— В ее комнате. Она осталась там жить после того, как Мур-мур вышла замуж...

— Адриена работала?

— Слушала лекции по истории искусств.

— А после того как вышла замуж?

— Сначала уехала с мужем на месяц в свадебное путешествие... А когда вернулась, позвонила мне и назначила свидание... Мы отправились на улицу Лоншан, и я снял там меблированную квартиру.

— Ваш зять ни о чем не подозревал?

— Конечно нет...

Ален был поражен таким вопросом. Ролан Бланше был слишком занят своими финансами и слишком уверен в себе, чтобы хоть на минуту допустить, что его жена может иметь связь с другим мужчиной.

— Надеюсь, вы не задали ему этого вопроса?

— Разве недостаточно того, что случилось? — довольно сухо ответил полицейский.— А ваша жена?

— Тоже нет... Она считала нас добрыми друзьями... Как-то раз, вначале, еще до замужества сестры, Мур-мур сказала мне:

«Как жаль, что мужчинам нельзя жениться на двух женщинах...» Я понял, что она имеет в виду Адриену...

— А потом? Она не изменила своего мнения?

— После того, что произошло, я и сам не знаю, что вам ответить. Случалось, что мы с Адриеной не виделись по два-три месяца... У нее было двое детей... У нас рос сын... Их загородный дом находился в другой стороне, в Орлеанском лесу.

— Что же произошло на рождество?

— Это было за день до сочельника... Мы встретились...

— По-прежнему на улице Лоншан?

— Да... Мы оставались ей верны... Праздники нам предстояло провести врозь, и мы решили распить бутылку шампанского до встречи в новом году...

— По чьей инициативе произошел разрыв?

Алену надо было собраться с мыслями.

— Вероятно, по ее... Понимаете, мы встречались уже только по привычке... Я все чаще и чаще бывал занят... Она сказала что-то вроде: «От нашего чувства уже ничего не осталось, ты согласен, Ален?»

— Вам тоже хотелось покончить с этой связью?

— Быть может... Вы задаете мне вопросы, которых сам я себе никогда не задавал...

— Да, но поймите, что еще два часа назад я и не подозревал о существовании вашей жены или вашей свояченицы, и если мне знакомо ваше имя, то только благодаря журналу...

— Я пытаюсь ответить...

Ален словно просил прощения, а это было вовсе не в его характере. Да и вообще, с той минуты, как он переступил порог сыскной полиции, все его поведение, мысли, чувства, слова были не в его характере.

— Помнится, я хотел приласкать ее в последний раз.

— Она уступила?

— Она предпочла, чтоб мы расстались добрыми друзьями...

— А потом?

— Все было в порядке... Мы с Мур-мур не раз у них ужинали... Встречали ее с мужем в театре, в ресторане...

— В поведении вашей жены никаких перемен не произошло?

— Нет... Не знаю... Простите, что я так часто произношу эти слова, но мне, право, нечего больше сказать...

— Вы с женой всегда ужинаете вместе?

— Почти каждый вечер...

— Вдвоем, без посторонних?

— Нет, вдвоем — редко... У нас много друзей, и часто приходится присутствовать на всевозможных ужинах, коктейлях...

— Как вы проводите конец недели?

— Суббота у нас обычно спокойный день. Но на Мур-мур почти всегда висит какая-нибудь недописанная статья... Случается, что я уезжаю, а она остается в Париже до воскресенья, чтобы закончить работу. Мур-мур набила себе руку на интервью с приезжими знаменитостями... Но, может быть, вы мне скажете, наконец, почему она все-таки убила сестру?

Его вдруг охватило негодование, он сам себе удивился. Так обнажаться перед каким-то полицейским, который от усталости слушает его вполуха! Выворачивать перед ним наизнанку свою семейную жизнь, свои интимные отношения!

— По-моему, как раз это мы оба и пытаемся с вами выяснить.

— Нет, невероятно...

— Что невероятно?

— Чтобы она вдруг ни с того, ни с сего приревновала меня к Адриене и из ревности...

— Вы с женой очень любили друг друга?

— Я вам уже сказал...

— Вы мне рассказывали о начале вашей совместной жизни в Сен-Жермен-де-Прэ... А с тех пор?

— Нет, мы друг друга любим...

Разве его теперешнее состояние не доказательство? Он настолько подавлен, что самого себя не узнает. Каких-нибудь полчаса или час назад Мур-мур, наверно, сидела в этом же самом кресле, и та же самая лампа под молочно-белым абажуром освещала ее лицо.

— Вы у нее тоже об этом спрашивали?

— Она отказалась отвечать на мои вопросы...

— А она призналась?

У Алена появился луч надежды.

— Только в том, что убила свою сестру.

— Но почему? Она объяснила?

— Нет. Я предложил ей вызвать адвоката по ее выбору.

— Что она ответила?

— Что вы сами, если захотите, можете нанять адвоката, а ей все равно, будет адвокат или нет.

Ей все равно... Неужели Мур-мур так сказала? Эти слова не вяжутся с нею, с ее манерой говорить. Она, наверно, выразилась иначе.

— Как она держалась?

— На вид спокойно. Даже удивила меня. Посмотрела на часы и вдруг сказала: «Мы с Аленом должны были встретиться дома в половине восьмого. Он будет беспокоиться».

— Она была взволнована?

— По правде сказать, нет. У меня в этом кабинете перебывало немало людей, только что совершивших преступление. Но я не помню, чтобы кто-нибудь из них так владел собой, был до такой степени спокоен.

— Вы просто не знаете Мур-мур.

— Если я правильно понял, вам не часто приходилось проводить время вдвоем? Я имею в виду последние годы.

— Да, не часто... Вместе — бывали, но с глазу на глаз — лишь перед сном, и то не всегда. Не забывайте о моей профессии, она вынуждает меня встречаться с людьми с утра до вечера, а зачастую и после полуночи...

— У вас есть любовница, мосье Пуато?

Опять любовница! Слово, лишенное смысла. Ветхозаветное понятие!

— Если вы имеете в виду, сплю ли я с другими женщинами, кроме жены, признаюсь откровенно — да... И не с одной... Всякий раз, как представляется случай, но только стоящий...

— Принимая во внимание направление вашего журнала, в подобных случаях, вероятно, недостатка нет.

В голосе комиссара прозвучала зависть.

— Теперь давайте подытожим: вы ничего не знаете. У вас была связь со свояченицей, но с декабря прошлого года эта связь прекратилась, и, насколько вам известно, ваша жена о ней не подозревала. Тем не менее нам нужно будет все это уточнить. Тогда мы, возможно, что-то и поймем.

Ален с любопытством взглянул на комиссара, он почувствовал себя задетым. Что надеется понять полицейский, ничего не знающий об их жизни, когда он сам ни черта не может понять?

— Кстати, для какой газеты работает ваша жена?

— Для всех понемножку... Она то, что называется free lance, иначе говоря, журналист, не связанный с определенной редакцией. Она работает по собственному почину. Принимаясь за статью или серию статей, она уже заранее знает, в какую газету или журнал их предложить... Она часто печатается в английских и американских журналах...

— А для вашего еженедельника она что-нибудь делает?

— Вы мне уже задавали этот вопрос. Нет. Это не ее жанр...

— У вас есть адвокат, мосье Пуато?

— Разумеется.

— В таком случае, может быть, вы попросите его сегодня вечером или завтра утром связаться со мной?

Комиссар вздохнул с облегчением и поднялся.

— Я попрошу вас пройти в соседнюю комнату. Вы повторите свои основные показания, а стенограф их зафиксирует.

Как это до него сделал Бланше. И что Бланше мог им рассказать? Интересно, как он вынес это унижение? Занимать такой видный пост во Французском банке и попасть на допрос к полицейскому!

Комиссар открыл дверь.

— Жюльен! Сейчас мосье Пуато изложит вам вкратце свои показания. Вы их зафиксируете, а завтра в течение дня он зайдет их подписать. Мне уже давно пора домой.

Он повернулся к Алену:

— Простите, мосье Пуато, что задержал вас. До завтра.

— Когда я увижу жену?

— Это уже дело следователя.

— Где она будет ночевать?

— Внизу, в камерах предварительного заключения.

— Могу я передать ей что-нибудь из вещей, может быть, белье, предметы туалета?..

— Если хотите. Но обычно, в первую ночь...

Он не закончил фразы.

— Только чемодан вам придется доставить на набережную Часов.

— Знаю...

Камеры, дворы, кабинет, где женщины проходят медицинский осмотр... Лет десять назад он написал об этом репортаж...

— Когда вы мне понадобитесь, я вам позвоню...

Помощник комиссара надел шляпу, натянул плащ.

— Может быть, дома вам что-нибудь придет в голову. Спокойной ночи, Жюльен.

Этот кабинет был поменьше, чем первый. И мебель не красного, а светлого дерева.

— Фамилия, имя, возраст, служебное положение?

— Ален Пуато, родился в Париже, площадь Клиши, тридцать два года, издатель журнала «Ты»...

— Женаты?

— Женат, имею сына. Адрес в Париже: улица Шазель, 17-а. Основной адрес: Сент-Илер-ля-Виль, вилла «Монахиня»...

— Итак, вы признаете...

— Я ничего не признаю. Ко мне в квартиру явился полицейский инспектор и спросил, есть ли у меня оружие... Я ответил, что есть, и стал искать свой браунинг в ящике, где он обычно лежит... Там его не оказалось... Инспектор привез меня сюда, и комиссар — не помню, как его фамилия...

— Помощник комиссара Румань.

— Совершенно верно. Так вот, комиссар Румань сообщил мне, что моя жена убила свою сестру... Он показал мне браунинг, который я как будто узнал, хотя на нем нет никаких опознавательных знаков и я им

никогда не пользовался... Комиссар спросил меня, известны ли мне мотивы преступления, совершенного моей женой, я ответил, что они мне неизвестны...

Он шагал взад и вперед, как у себя в кабинете, и нервно курил сигарету.

— Это все?

— Был затронут еще один вопрос, но я полагаю, что в протоколе он фигурировать не должен...

— Что за вопрос?

— О моих взаимоотношениях со свояченицей...

— Интимных?

— Да, но с тех пор...

— Давно?

— Вот уже год, как между нами все кончено...

Жюльен почесал лоб кончиком карандаша.

— Если комиссар найдет нужным, мы успеем это добавить.

— Я могу быть свободен?

— Мне вы больше не нужны, а раз комиссар с вами уже поговорил...

Он снова очутился в длинном сыром коридоре. Старухи в застекленном зале ожидания уже не было. За зеленым столом сидел другой вахтер, тоже с серебряной цепью и бляхой.

На улице по-прежнему лил дождь, дул ветер, но Ален не ускорил шага и, пока добрался до машины, успел основательно промокнуть.

II

И снова, наклонясь к ветровому стеклу, чтобы лучше разглядеть дорогу, Ален вел машину по Елисейским Полям и даже не пытался совладать с мыслями. Он был зол на стеснительного инспектора, и на комиссара Руманя, и на равнодушного стенографа Жюльена за то, что они его унизили, вернее, так сбили с толку своими вопросами, что он еще и сейчас не может прийти в себя.

Увидев свободное место для стоянки перед входом в бар, он резко затормозил, и в него чуть не врезалась шедшая следом машина. Человек, сидевший за рулем, размахивал руками, извергая на него поток брани. Алену необходимо было пропустить стаканчик. В этот бар он попал впервые, и бармен его тоже не знал.

— Виски... Двойную порцию.

В последние годы он много пил. И Мур-мур тоже. Много пили все их друзья, все его сотрудники. У Алена было преимущество: он никогда по-настоящему не пьянел и не вставал наутро с тяжелой головой.

Нет, это невероятно, чтобы жена, через год после...

Он чуть не повернулся вполоборота, чтобы заговорить с ней, как будто она сидела рядом. Как обычно.

Для чего помощнику комиссара понадобилось так подробно копаться в их отношениях? Разве в таких делах что-нибудь объяснишь? «Вы с женой очень любили друг друга?» А что это вообще означает — любить?

Все было совсем, совсем не так. Откуда знать об этом какому-то полицейскому! Ален, бывало, сидит у себя в редакции на улице Маринь-ян. Или в типографии. Мур-мур звонит ему по телефону: «Какие у тебя планы на вечер?»

Он не спрашивает, откуда она звонит. Она не спрашивает, что он делает.

«Пока никаких».

«Когда мы встретимся?»

«Давай в восемь в «Колокольчике».

«Колокольчик» — бар напротив редакции. В Париже немало баров, где они назначали друг другу свидание. Порой Мур-мур терпеливо ждет его час-полтора. Он подсаживается к ней:

«Двойное виски...»

Они не целуются при встрече, не задают друг другу вопросов. Разве что: «Где сегодня будем обедать?»

В каком-нибудь более или менее модном бистро. И если идут туда вдвоем, то там непременно встречают приятелей и составляется стол на восемь-десять человек.

Она сидит возле него. Он не обращает на это особого внимания. Важно, что она рядом. Она не мешает ему пить, не пытается удержать от идиотских выходок, когда, например, в полночь он выскакивает на мостовую перед мчащейся машиной, чтобы проверить быстроту реакции у водителя. Десятки раз он мог погибнуть. Его приятели тоже.

«Ребята, пошли к Гортензии. Дадим там жизни!»

Ночной кабак, где они часто бывают. Гортензия питает к ним слабость, хотя и побаивается.

«У тебя можно подохнуть от скуки, старушенция. А кто этот старый хрыч, что сидит напротив?»

«Тише, Ален! Это влиятельный человек, он...»

«Да? А по-моему, галстук у него что-то... не смотрится».

Гортензия покорно замолкает. Ален встает, подходит к господину, вежливо здоровается.

«Знаете, мне что-то не нравится ваш галстук. Ну, просто совсем не нравится...»

Атакованный обычно сидит не один, он теряется, не знает, что сказать.

«Вы позволите?»

Одним движением руки Ален срывает с него галстук и выхватывает из кармана ножницы. Чик-чик!

«Можете сохранить на память!» — И он протягивает куски искромсанного галстука хозяину.

Некоторые из подвергшихся нападению цепенеют, не решаются рта раскрыть. Другие негодуют. Но и эти в конце концов, как правило, сматывают удочки.

— Бармен! Еще стаканчик!

Он выпил его залпом, вытер губы, заплатил и снова пересек завесу дождя, чтобы укрыться в машине.

Войдя в квартиру, Ален зажег все лампы. Чем бы сейчас заняться? Без Мур-мур дома было непривычно.

Теперь он мог бы сидеть у Петера, на авеню Сюффран, в новом ресторане, где они договаривались сегодня поужинать. Он и еще человек десять знакомых. Может, позвонить им, извиниться?

Он пожал плечами и направился в угол, где стоял бар. Когда-то в этой комнате работал знаменитый художник-портретист, имя которого теперь всеми забыто. Этак в году 1910-м.

Ален не любил пить один.

— Твое здоровье, старушка!

Он протянул стакан в пустоту, к воображаемой Мур-мур. Потом внимательно посмотрел на телефон.

Позвонить? Кажется, ему надо кому-то позвонить. Кому — он забыл. Ален с утра ничего не ел. А, ерунда, он не голоден.

Будь у него близкий друг...

У Алена были приятели. Да, приятелей было сколько угодно: сотрудники по редакции, актеры, режиссеры, певцы, не считая барменов и метрдотелей.

— Послушай, крольчишка!

Крольчишка... Так он называл всех. И Адриену тоже. С первого же дня их знакомства. Кстати, начал не он. На его вкус, она была слишком холодной, слишком пресной. Но тут он ошибся. Пресной она не была. Он убедился в этом в первые же месяцы.

Интересно, а что думал о ней этот идиот, ее муж? Ален не любил Бланше. Он презирал людей такого типа — уверенных в себе, исполненных чувства собственного достоинства, надутых и без малейшего проблеска фантазии.

А если ему позвонить? Так, только чтобы узнать, как он все это воспринял...

Его взгляд упал на комод, и он вспомнил, что нужно отнести Мурмур белье и туалетные принадлежности. Он прошел в коридор, отворил стенной шкаф, выбрал чемодан подходящего размера.

Что может понадобиться женщине в тюремной камере? Ящик был набит тонким бельем, и он удивился, что его так много. Ален отобрал нейлоновые рубашки, штанишки, три пижамы, потом открыл несессер из крокодиловой кожи, посмотрел, есть ли там мыло и зубная щетка.

Подумал; не выпить ли еще стаканчик, пожал плечами, вышел и закрыл дверь на ключ, не погасив электричество. И снова под дождь. Чуть ли не через весь город. Ливень, правда, прекратился. Ветер стих. Теперь моросил осенний дождик, мелкий, тягучий, холодный — такой может продолжаться много дней подряд. Прохожие сутулились, торопливо шагая по тротуарам, отскакивали от машин, обдававших их грязью.

Набережная Часов. Тусклый свет над каменным порталом. Длинный, широкий коридор, напоминающий подземный переход. В конце коридора за столом сидел полицейский и с любопытством смотрел на Алена, приближавшегося к нему с чемоданом в руке.

— Здесь находится мадам Жаклин Пуато?

— Сейчас выясним.

Полицейский проверил список.

— Есть такая.

— Можно передать ей чемодан?

— Надо спросить у начальника.

Он встал, постучал в какую-то дверь, вошел и через несколько минут вернулся в сопровождении дородного мужчины. Толстяк был без галстука, в рубашке с расстегнутым воротом и брюках без пояса. Видимо, собрался вздремнуть.

— Вы ее муж?

— Да.

— Документы при себе?

Ален протянул ему паспорт, и толстяк долго изучал каждую страницу.

— А, значит, это вы издаете журнал с такими занятными фотографиями. Мне придется посмотреть, что в чемодане.

— Откройте его!

— По правилам открывать должны вы.

Алену казалось, что они втроем заперты где-то глубоко под землей, в плохо освещенном тоннеле. Он открыл сначала чемодан, потом несессер. Чиновник перещупал своими толстыми пальцами все белье, вынул из несессера маникюрные ножницы, пилку, пинцет для бровей. Оставил только мыло и зубную щетку.

Один за другим он протягивал запрещенные предметы Алену, а тот машинально совал их в карман.

— Вы передадите ей сейчас?

Полицейский взглянул на большие карманные часы.

— Половина одиннадцатого. По уставу...

— Как она?
— Я ее не видел.
Не всем же интересно, как чувствует себя Мур-мур.
— Она одна в камере?
— Конечно нет. Последнее время у нас повсюду переполнено.
— А кто с ней там, вы не знаете?
Полицейский пожал плечами.
— Девицы, кто же еще. Они поступают к нам без конца. Вот, пожалуйста, еще привезли партию...

Возле тротуара остановилась полицейская машина, и агенты в штатском стали загонять под арку группу женщин. Ален столкнулся с ними при выходе. Некоторые улыбались ему. Видно было, что многие уже успели побывать здесь не раз, но у трех или четырех, совсем еще юных, были испуганные глаза.

Куда теперь? Никогда еще Ален не возвращался домой так рано, даже с Мур-мур. Если он сейчас не напьется до чертиков, ему не уснуть, а мысли, которые лезли в голову, его совсем не вдохновляли.

Чувство одиночества было для него непривычным. Он сидел в машине на мрачной и пустынной набережной, курил сигарету, слушал, как шумит взбухшая от дождя Сена. Куда податься?

В добрых двадцати, а может быть, и полсотне баров и ночных кабаре он, конечно, встретил бы людей, которых уже много лет называл «крольчишка» и которые, подав ему руку, сразу бы спросили: «Виски?»

Нашел бы и женщин, самых разных, тех, с которыми уже спал, и таких, с которыми еще не успел или не имел желания переспать.

Место в машине рядом с ним было пустым и холодным.

На Университетскую улицу, что ли? К зятю? Можно себе представить, какое у него было лицо, у этого важного, чопорного чинуши, когда он узнал, что его жена убита, что минуту назад ей всадили пулю в...

Да, ведь Алену не сказали, куда целилась Мур-мур — в голову или в сердце. Ему известно только, что после убийства ее застали у окна; она стояла, прижавшись лицом к стеклу. Очень на нее похоже. Он знает за ней эту манеру. Обращаешься к ней, а она будто не слышит, стоит, не шевелясь, и смотрит в окно, минут десять, час, потом вдруг поворачивается и спрашивает как ни в чем не бывало:

«Ты что-то сказал?»

«О чем ты задумалась?»

«Ни о чем. Просто так. Я никогда ни о чем не думаю, ты ведь знаешь».

Странная она. И Адриена тоже. Ее большие, окаймленные огромными ресницами глаза чаще всего не выражали никакого чувства. Все женщины со странностями. А мужчины? О свойствах мужчин и женщин толкуют вкривь и вкось. Пишут всякий вздор, не имеющий ничего общего с действительностью. А он сам, Ален, разве не странный тип?

Какой-то полицейский, вышедший подышать, двинулся к нему, поправляя пояс; должно быть, захотел проверить, что тут за машина. Ален нажал на газ.

Завтра утром, в газетах... Он удивился, что до сих пор еще не подвергся нападению репортеров и фотографов. Видимо, дело пока что — ну, это все равно ненадолго! — пытались замолчать. Из уважения к нему? Или к его высокопоставленному зятю?

В семье Бланше все занимали высокие посты: отец, трое сыновей. Наверно, судьба старшего сына была решена уже в день рождения: «Политехнический институт!»

Когда родился средний, изрекли: «Высшая Политехническая школа!» Младшему предназначили: «Министерство финансов».

И вышло как нельзя лучше. Все они достигли высокого положения, все трое восседали в просторных кабинетах государственных учреждений, двери которых отворяет представительный швейцар с цепью на шее.

От них смердило.

— Дерьмо! Дерьмо! И еще раз дерьмо!

Он их не выносил.

Нет, надо что-то делать, слышать человеческие голоса, с кем-то говорить! С кем — этого он и сам не знал. Улица Риволи. Он вошел в знакомый бар.

— Привет, Гастон!

— Вы один, мосье Ален?

— Как видишь. Чего не случается на белом свете!

— Двойное виски?

Ален удивленно пожал плечами. С чего бы это он вдруг стал пить не то, что всегда?

— Надеюсь, ваша супруга здорова?

— Полагаю, что вполне.

— Но ее нет в Париже?

Ален снова обрел свой вызывающий тон.

— Наоборот. Она именно в Париже. До того в Париже, что дальше ехать некуда. В самом пупе, можно сказать.

Гастон недоуменно посмотрел на него. Какая-то парочка прислушивалась к их разговору, наблюдая за ним в зеркале позади стойки с бутылками.

— Моя жена сидит в предварилке.

Его слова не произвели на бармена никакого впечатления.

— Ты никогда не слышал про предварилку на набережной Часов?

Бармен как-то неопределенно улыбнулся.

— Она убила свою сестру.

— Несчастный случай?

— Маловероятно. У нее в руках был пистолет.

— Вам бы все шутить.

— Завтра утром прочтешь в газетах. Получи с меня!

Он положил на стойку стофранковый билет и встал с табурета, так ничего и не решив. Четверть часа спустя он подъезжал к своему дому. На тротуаре, у подъезда, толпилось не меньше двадцати человек, среди которых легко было узнать фоторепортеров с аппаратами через плечо.

Он чуть было не нажал на педаль акселератора, но передумал. Зачем? Он затормозил, и в ту же минуту его ослепили вспышки магния. Репортеры бросились к машине, он открыл дверцу и вышел, стараясь по возможности сохранять достоинство.

— Минутку, Ален...

— Валяйте, ребята...

Он дал себя сфотографировать сначала у распахнутой дверцы на краю тротуара, потом — закуривая сигарету. В руках у репортеров были блокноты.

— Скажите, мосье Пуато...

Новичок. Еще не знает, что все зовут его запросто Аленом.

— Послушайте, братцы, по-моему, здесь сыровато? А? Почему бы вам не подняться ко мне?

Нужно было знать Алена так, как знала его Мур-мур, чтобы заметить, насколько необычно звучал его голос. Нет, в нем не слышалось подавленности, как на набережной Орфевр. Наоборот, теперь в нем напряженно звенели металлические нотки.

— Входите же... Все входите...

Восемь человек втиснулось в лифт, остальные устремились вверх по

лестнице. На площадке перед входной дверью произошла заминка: Ален хлопал по карманам, пытаясь найти ключ. В конце концов он обнаружил его в кармане, куда никогда не клал.

— Выпьете? — спросил он, направляясь к бару и бросив на ходу пальто в кресло.

Фоторепортеры после мгновенного колебания решились все же не упускать эффектный кадр. Ален и глазом не моргнул, когда щелкнули аппараты.

— Всем виски?

Только один попросил фруктового сока. Мокрые ноги оставляли темные следы на бледно-голубом ковре, покрывавшем пол. Высокий костлявый парень в мокром дождевике уселся в кресло, обитое белым атласом.

Зазвонил телефон. Ален медленно подошел и снял трубку. В другой руке у него был стакан, и перед тем, как ответить, он отпил половину.

— Да, я... Конечно дома, раз отвечаю... Узнал ли я тебя? Разумеется, узнал... Надеюсь, тебя не шокирует, что я продолжаю говорить тебе «ты».

И повернувшись к журналистам, пояснил:

— Это мой зять... Муж...

Затем в трубку:

— Ты ко мне приезжал?.. Когда?.. А, так мы разминулись... Я отвозил белье Мур-мур... Не понимаю, как мы не встретились в сыскной полиции. Ты был в одном кабинете, я в другом... Что, что?.. Я шучу?.. Ну, знаешь ли... Мне очень жаль, что я вынужден повторить это тебе в такую минуту, но ты всегда был, есть и будешь образцовым кретином. Будь спокоен, я потрясен не меньше твоего, если не больше... Потрясен не то слово... Раздавлен... Что?.. Что спрашивали? Спрашивали, конечно, известно ли мне что-нибудь о мотивах... Ответил, что ничего... Нет, это правда... А ты что-нибудь знаешь?.. Подозреваешь, может быть?

Репортеры на ходу делали записи, щелкали затворы фотокамер, комната стала наполняться запахом виски.

— Наливайте себе, кролики, наливайте...

— Что ты там говоришь? — встревоженно спросил Бланше.— Разве ты не один?

— Нас здесь... Подожди, я посчитаю... Вместе со мной девятнадцать человек... Нет, нет, не волнуйся, это не оргия... Восемь фоторепортеров... Остальные — журналисты... Только что вошла молодая дама, тоже журналистка... Налей себе сама, крольчишка.

— Сколько они у тебя еще пробудут?

— Могу у них спросить, если хочешь. Сколько времени вы собираетесь здесь пробыть, ребята?

Затем в трубку:

— Говорят, что около получаса... Хотят задать мне несколько вопросов...

— Что ты им скажешь?

— А ты?

— Я их уже выставил за дверь.

— Ну и зря!

— А я ведь хотел с тобой поговорить.

— Поздно уже.

— Ты не смог бы потом ко мне заехать?

— Боюсь, что буду не в состоянии вести машину.

— Ты пил?

— Как всегда!

— Тебе не кажется, что в подобную минуту...

— Именно в такую минуту и полезно отвлечься.

— Тогда я сам к тебе заеду.
— Домой? Сегодня?
— Нам необходимо поговорить.
— Необходимо? Для кого?
— Для нас всех.
— Особенно для тебя, конечно?
— Я буду через час. Постарайся хоть теперь не распускаться. Неужели у тебя нет ни капли выдержки и достоинства?
— К чему мне это? У тебя хватит на нас обоих.

Хоть бы нотка живого чувства в голосе. Ну и тип! И ни слова об Адриене, которую сейчас, вероятно, потрошат в институте судебной медицины. Или о Мур-мур — будто ее и не было.

— Итак, крольчишки... после того, что вы слышали, мне вам, собственно, нечего добавить... Я приехал домой, чтобы переодеться и отправиться ужинать с друзьями... Я рассчитывал застать дома жену... В парадном меня поджидал инспектор полиции...
— Значит, это он сообщил вам о том, что случилось? Он вам здесь сказал?
— Нет... Он приехал выяснить, есть ли у меня пистолет... Я ответил, что есть... стал искать в ящике, но не нашел. Тогда он отвез меня к своему шефу на набережную Орфевр...
— К комиссару Руманю?
— Да, к нему.
— Сколько времени длился допрос?
— Около часа... Точно не скажу...
— Ваше первое чувство, когда вам сообщили, что ваша жена убила свою сестру?
— Я был ошеломлен... Ничего не понимал...
— Какие отношения существовали между сестрами?
— Хорошие. Это естественно...
— Вы полагаете, что это убийство из ревности?
— При убийстве из ревности обычно фигурирует третье лицо.
— Вы правы...
— Стало быть, вы отдаете себе отчет в том, что означает подобное предположение? — спросил другой журналист.

Наступило молчание.

— Если этот человек и существует, я его не знаю.

Некоторые многозначительно переглянулись.

— Да у вас пустые стаканы...

Он налил себе и передал бутылку одному из фоторепортеров.

— Налей-ка своим ребятам, крольчишка...
— Вы помогали вашей жене в работе?
— Ни разу даже не читал ее статей.
— Почему? Вам это было неинтересно?
— Наоборот! Я просто хотел, чтобы она чувствовала себя свободной и писала без оглядки на меня.
— Она никогда не выражала желания работать для журнала «Ты»?
— Нет, она мне об этом не говорила.
— Вы были очень близки?
— Очень.
— Вы полагаете, что преступление было предумышленным?
— Я знаю не больше, чем вы... Есть еще вопросы? Возможно, за ночь я приду в себя и к утру стану нормальным человеком, начну что-то соображать... А теперь у меня в голове сумбур. К тому же сейчас сюда приедет мой зять, а он отнюдь не жаждет с вами встретиться.
— Он служит во Французском банке?
— Совершенно верно. Это человек с большим весом, и ваши глав-

ные редакторы несомненно посоветуют вам проявить в отношении него сдержанность.

— Но вы сами не слишком-то сдержанно говорили с ним сейчас по телефону.

— Старая привычка. Я всегда был дурно воспитан.

Наконец они ушли, и Ален с сожалением закрыл за ними дверь. Окинув взглядом бутылки и пустые стаканы, сдвинутые с привычных мест стулья и кресла, разбросанные по ковру обертки фотопленки, он хотел было к приходу Бланше привести все в порядок, даже наклонился, чтобы подобрать мусор, но тут же выпрямился, пожав плечами.

■

Ален слышал, как остановился лифт, но дверь открывать не пошел: ничего, пусть Бланше возьмет на себя труд позвонить, как все люди. Но тот позвонил не сразу, минуту постоял на площадке, то ли в нерешительности, то ли полагая, что так будет приличнее.

Наконец раздался звонок, и Ален не спеша пошел к двери. Он не протянул руки, его зять — тоже. Пальто Бланше было покрыто капельками дождя, шляпа намокла.

— Ты один?

Похоже, что сомневается. Того и гляди, пойдет проверять, не подслушивает ли кто в спальне, в ванной или на кухне.

— Один — не то слово.

Бланше стоял в пальто со шляпой в руке и оглядывал бутылки и стаканы.

— Что ты им сказал?

— Ничего.

— Но ведь что-то пришлось же тебе отвечать на их вопросы? Раз уж ты согласился принять журналистов...

Все Бланше, отец и три сына, были крупные, широкие в груди и плечах. И упитанные, но лишь настолько, чтобы иметь внушительный вид. Отец дважды был министром. Вероятно, в свое время станут министрами и сыновья. Все они снисходительно посматривали на людей сверху вниз и, судя по всему, одевались у одного портного.

Муж Адриены снял, наконец, пальто, положил его на стул и, видя, что Ален взял бутылку, поторопился отказаться:

— Мне не надо, спасибо.

— Это я себе.

Наступило долгое, неловкое молчание. Поставив стакан на низкий столик возле кресла, Ален подошел к застекленной стене, еще усеянной каплями дождя. В темноте мерцали огни Парижа. Внезапно он обнаружил, что стоит, прижавшись лбом к холодному стеклу, словно для того, чтобы освежиться,— и отпрянул назад. В такой же позе застали Мурмур на Университетской улице у тела Адриены.

Бланше, наконец, сел.

— Послушай, что тебя заставило приехать ко мне в такой поздний час?

— Я думаю, нам необходимо договориться.

— О чем?

— Какие мы будем давать показания.

— Но ведь мы уже дали показания.

— Что касается меня, то допрос был весьма формальным. Допрашивал помощник комиссара, который к тому же старается не слишком усложнять себе жизнь. Однако завтра или послезавтра нам предстоит встреча со следователем.

— Это в порядке вещей.

— Что ты будешь говорить?

— Что ничего не понимаю.

Бланше вперил в Алена взгляд, в котором можно было прочесть одновременно и страх, и презрение, и гнев.

— И это все?

— А что я могу сказать еще?

— Жаклина выбрала себе адвоката?

— По-видимому, она предоставила это мне.

— И кого ты пригласил?

— Пока еще не знаю.

— Адвокат будет всячески обелять свою подзащитную.

— Разумеется.

— Всеми доступными средствами.

— Полагаю, что да.

Ален подначивал зятя. Он не выносил его, а сегодняшний Бланше выводил его из себя.

— Какую же версию он выдвинет для защиты?

— Это уж его дело, но не думаю, чтобы он выбрал версию о необходимой самообороне.

— Что же тогда?

— А что бы ты предложил?

— Кажется, ты забыл,— с пафосом произнес возмущенный Бланше,— что я муж жертвы.

— А я — муж женщины, которой придется добрую часть жизни провести в тюрьме.

— Но кто виноват?

— А тебе это известно?

Снова молчание. Ален закурил сигарету и протянул портсигар зятю, но тот отрицательно покачал головой. Как подойти к этому деликатному пункту, не уронив своего достоинства? Вот именно, ибо в голове у Бланше все это время вертелась лишь одна мысль, точнее, вопрос, и он искал случая его задать.

— Комиссар спросил у меня, были ли мы дружной парой.

Ален не удержался и с иронией посмотрел на зятя.

— Я сказал, что да.

Ален немного досадовал на себя за то, что предоставляет этому толстому, рыхлому человеку беспомощно барахтаться и даже не пытается протянуть руку помощи. Впрочем, он отдавал себе отчет в том, каких усилий стоило его зятю говорить спокойным тоном.

— Я заверил его, что мы с Адриеной любили друг друга так же, как в первые дни супружества, — произнес он глухо.

— Ты убежден, что не хочешь выпить?

— Нет. Не хочу. Не знаю почему, но комиссар очень интересовался, где и как она проводила вторую половину дня до моего возвращения со службы.

— Кто?

— Адриена конечно. Он расспрашивал, выходила ли она после обеда из дому, встречалась ли с друзьями...

— А она встречалась?

Бланше задумался:

— Не знаю. У нас за ужином часто собирались гости. Мы тоже бывали на ужинах, на официальных приемах, получали приглашения на коктейли. Адриена ходила гулять с детьми. Вместе с няней водила их в Ботанический сад.

— Ты все это рассказал ему?

— Да.

— Он счел твои сведения исчерпывающими?

— Не совсем.

— А ты сам?

И тут Ален услышал первое нерешительное признание.

— Я тоже...

— Почему?

— Потому что сегодня вечером я расспросил Нана.

Это была их няня, уже вторая или третья. Но все няни получали в доме Бланше имя Нана — так было проще для хозяев.

— Сначала она упиралась, отнекивалась, но в конце концов заплакала и призналась, что Адриена редко гуляла с детьми в Ботаническом саду. Приведя их, она куда-то уходила и возвращалась за ними, только когда уже надо было идти домой.

— У женщин всегда находятся дела в городе: портниха, магазины.

Глядя в упор на Алена, Бланше вдруг судорожно глотнул, потом опустил глаза.

— Скажи мне правду.

— Какую правду?

— Ты сам прекрасно знаешь, что это необходимо: так или иначе все раскроется. Произошло убийство, и наша личная жизнь будет выставлена напоказ.

Ален еще не решил, как быть.

— Кроме того, признаюсь тебе, что я не могу...

Не докончив, Бланше поднес платок к глазам. Он держался, сколько мог. Но теперь самообладание отказало ему. Ален из деликатности отвернулся, давая зятю время прийти в себя.

Настал момент нанести роковой удар, но прежде Ален выпил свое виски. Он не любил Бланше, никогда не мог бы его полюбить и все же сейчас почувствовал к нему жалость.

— Что ты хочешь узнать, Ролан?

Впервые, именно в этот вечер, он назвал его по имени.

— Ты не догадываешься? Разве ты... Разве вы с Адриеной...

— Ладно! Положи свой платок в карман. И попытайся хоть раз не смешивать свои чувства со столь драгоценным для тебя понятием собственного достоинства. Будем говорить, как мужчина с мужчиной. Согласен?

— Согласен,— прошептал, глубоко вздохнув, тот.

— Прежде всего, постарайся усвоить, что я тебе ничего не собираюсь вкручивать. Все, что ты сейчас услышишь, — чистая правда, хотя мне и самому бывало порой трудно поверить, что это так. После знакомства с Мур-мур мне понадобились месяцы, чтобы убедиться, что я ее люблю. Она ходила за мной, как собачонка. Я привык видеть ее всегда рядом с собой. Когда мы на несколько часов расставались, потому что мы ведь оба работали, она всегда находила возможность мне позвонить. Мы вместе спали, и когда мне случалось ночью проснуться, я протягивал руку и чувствовал тепло ее тела.

— Я пришел не для того, чтобы говорить с тобой о Мур-мур.

— Подожди. Сегодня вечером я словно прозрел. Мне кажется, впервые в жизни я вижу вещи в их истинном свете. В тот год Мур-мур уехала на каникулы к родителям — дочерний долг.

— Адриена жила тогда уже в Париже?

— Да. Но она интересовала меня не больше, чем какая-нибудь канарейка, которую увидишь, зайдя к знакомым. Мур-мур уехала всего на месяц, но я уже через неделю места себе не находил. Ночью рука моя натыкалась только на одеяло. В барах, в ресторане я инстинктивно поворачивался направо, чтобы поговорить с Мур-мур. Это был самый длинный месяц в моей жизни. Я уже готов был позвонить ей, умолять, чтобы она все бросила и вернулась.

Отец Жаклины был профессором филологического факультета в Эксе, на юге Франции. Семья владела небольшой виллой в Бандоле, где и проводила каждое лето.

Ален не рискнул тогда поехать в Бандоль. Он боялся скомпрометировать Жаклину.

— Наконец, она вернулась, но я еще ничего не решил. И вот как-то ночью в кабачке на Левом берегу мы сидели в компании с друзьями, и я у нее спросил, выйдет ли она за меня замуж. Так мы и поженились.

— Но это ничего не объясняет...

— Наоборот, этим-то все и объясняется. Я не знаю, что́ люди называют любовью, но у нас дело обстояло именно так. В иные дни нам приходилось класть зубы на полку. Не всегда, разумеется. Бывали у нас и пиршества. Но бывали и посты. Если ей, скажем, не удавалось пристроить статью. Я тогда еще не помышлял о журнале. Что касается Адриены, она жила у себя, в своей комнате и прилежно занималась.

— Вы брали ее с собой, когда отправлялись в театр или кафе?

— Время от времени. Нам больше нравилось быть вдвоем. Возможно, и она не искала нашего общества. Она любила сидеть, забившись в уголок, и смотреть в одну точку.

— И все-таки...

— Да. И все-таки это произошло. Глупо. Случайно. Я даже затрудняюсь сказать, кто из нас сделал первый шаг. Я был мужем ее сестры. Иначе говоря, на меня имела право только ее сестра — больше никто.

— Ты ее любил?

— Нет.

— Ты циник, — злобно бросил Бланше.

— Оставь. Я ведь тебя предупредил — разговор будет мужской. Ей так захотелось. Не отрицаю, быть может, хотел этого и я. Любопытства ради: что скрывается за ее бесстрастным лицом.

— А теперь ты знаешь?

— Нет... Да... Думаю, что она просто скучала...

— Настолько, что в течение почти семи лет...

— Но мы встречались не часто, время от времени.

— Что ты называешь «время от времени»?

— Примерно раз в неделю.

— Где?

— Какое это имеет значение?

— Для меня имеет.

— Если тебе так необходимо представить себе все подробности, тем хуже для тебя. В одном доме на улице Лоншан. Там сдаются однокомнатные меблированные квартиры.

— Но ведь это отвратительное место!

— Не мог же я отправиться с ней на Вандомскую площадь.

На Вандомской площади помещался роскошный особняк Французского банка, где служил Бланше.

— А некоторое время спустя она у подруги познакомилась с тобой, Ролан. Ты стал за ней ухаживать.

— Значит, она тебе решительно все рассказывала?

— Думаю, что да.

— Может быть, она даже с тобой советовалась?

— Может быть.

— Ну и сволочь же ты!

— Знаю. Но в таком случае нас на земном шаре миллионы. Потом она вышла за тебя замуж.

— Вы продолжали встречаться?

— Гораздо реже.

— Почему?

— Она стала хозяйкой дома. Потом забеременела.
— От кого?
— От тебя, не бойся. Я принимал все меры предосторожности.
— И на том спасибо!
— Дай мне договорить. Мур-мур я об этом никогда не заикался. А я довольно часто рассказывал ей о своих похождениях.
— Так у тебя одновременно были еще и другие?
— Я, слава богу, не высокопоставленное должностное лицо, и мне не нужно дрожать за безупречность репутации. Когда мне нравится девушка...
— Ты ложишься с ней в постель, а потом бежишь и рассказываешь об этом жене.
— А почему бы нет?
— И после этого ты утверждаешь, что вы друг друга любите!
— Ничего подобного я не утверждал. Я только сказал, что когда Мур-мур не было рядом, мне ее не хватало.
— Моей жены тебе тоже не хватало?
— Нет. Это вошло в привычку. Может быть, каждый из нас боялся порвать, чтобы не огорчить другого. И все же этот момент настал. Около года назад, за два дня до рождества, двадцать третьего декабря.
— Благодарю за точность!
— Спешу добавить, что в этот день между нами ничего не было. Мы только распили бутылку шампанского.
— И больше вы не встречались?
— У вас или у нас, в театре...
— А наедине?
— Нет.
— Поклянись!
— Если ты настаиваешь — пожалуйста, хоть я и не понимаю смысла этого слова.

Лицо Бланше постепенно наливалось краской, стало багровым, и от этого вся его фигура словно распухла, сделалась еще более рыхлой. А в общем-то все Бланше скрывали свою рыхлость под хорошо сшитой одеждой.

— Как ты объясняешь...
— Ты уверен, что не хочешь выпить?
— Теперь — да, налей мне немного.

Бланше поднялся и встал посреди комнаты, похожий на огромное привидение.

— Возьми.
— Все это откроется, не так ли?
— Боюсь, что да.
— Ты расскажешь обо всем следователю?
— Я буду вынужден отвечать на его вопросы.
— Журналисты ни о чем не подозревают?
— Прямых намеков они не делали.
— Я думаю о детях.
— Нет, ты думаешь не о детях. Если бы ты мог научиться быть искренним с самим собой и смотреть правде в глаза!
— Итак, около года назад...
— Клянусь тебе еще раз, если для тебя это что-то значит.
— Но если это так, не понимаю, почему Мур-мур вдруг, ни с того ни с сего, вздумала...
— Убить свою сестру? Что ж, признаюсь тебе: я этого тоже не понимаю. Уходя из дому, она уже знала, что это сделает. Иначе она не взяла бы мой пистолет, к которому не прикасалась ни разу в жизни, по крайней мере, при мне.

— Возможно, — прошептал после минутного молчания Бланше, — тут замешан кто-то другой.

И он бросил на Алена притворно сочувственный взгляд, в котором сквозило явное злорадство.

— Ты думал о таком варианте? — напрямик спросил Бланше.

— Насколько я способен в настоящее время думать.

— Если у Адриены был кто-то еще...

Ален отрицательно покачал головой. По сравнению с Бланше черты его лица казались более резкими, более решительными.

— Ты заблуждаешься. Ты видишь все в превратном свете. Не забывай, в глазах Адриены я обладал главным образом тем достоинством, что принадлежал ее сестре. Иначе я был бы ей не нужен.

— Выходит, что...

Ого, этот надутый индюк, кажется, ожил. Даже рыхлости вдруг поубавилось — так весь и подобрался.

— Что ж, все очень просто. Волею судеб Мур-мур и тут оказалась первой. Адриена снова не захотела отстать. Но на этот раз Мур-мур надоело, и она устранила ее — раз и навсегда.

— Похоже, что тебя это не очень трогает...

Ален не стал спорить, он только пристально в упор посмотрел на зятя. Бланше почувствовал, что зашел слишком далеко. На мгновение его охватил страх, физический страх, как бы его не ударили, не сделали ему больно...

— Прости.

Ален сидел неподвижно, со стаканом в руке.

— Так-то, — сказал он, чтобы что-то сказать. Потом поднялся и, направляясь к бару, произнес: — У каждого из нас есть к ним свой счет.

— И все это ты выложишь следователю?

— Все — нет...

— Но ведь ты только что говорил...

— Я расскажу лишь о том, что знаю. Все остальное — одни предположения, для них ему и своего ума хватит.

— Ты никого не подозреваешь?

— Кто это мог быть? Нет.

— Но ведь ты же проводил со своей женой больше времени, чем я с Адриеной.

Ален пожал плечами. Разве он обращал внимание на то, что делала и чего не делала Мур-мур. От нее требовалось одно: сидеть с ним рядом, возле его правого локтя, так чтобы можно было до нее дотянуться и чтобы она слышала его голос.

— Ты думаешь, она будет давать показания?

— На вопросы комиссара она отвечать отказалась.

— Но, может быть, завтра?

— Почем я знаю. Лично мне на все наплевать.

Им нечего было больше сказать друг другу, и они молча бродили по просторной комнате. Несмотря на все выпитое, Ален не чувствовал опьянения.

— Ты не собираешься домой?

— Конечно собираюсь. Но не думаю, чтобы мне удалось заснуть.

— А я, наоборот, засну, как сурок.

Бланше надел пальто, отыскал шляпу и помедлил, не зная, следует ли протянуть руку Алену, который стоял довольно далеко от него.

— Как-нибудь на днях встретимся. Может быть, даже завтра. Следователь, вероятно, захочет устроить нам очную ставку.

Ален пожал плечами.

— Попытайся, чтобы... чтобы поменьше было разговоров об Адриене... чтобы о ней не сложилось слишком дурного мнения...

— Доброй ночи.
— Спасибо.
Он ушел, жалкий, неловкий. Закрыв за собой дверь, он даже не стал вызывать лифт, а прямо направился к лестнице.
Лишь тогда Ален дал себе волю — звериный вой вырвался из его груди.

III

Ночь прошла беспокойно. Ален то и дело просыпался, а один раз, пробудившись, с удивлением обнаружил, что лежит не на своем привычном месте, с левой стороны кровати, а на месте Мур-мур. Его мучила изжога. В конце концов пришлось встать и полусонному тащиться в ванную, чтобы принять соду.
Едва рассвело, как он услышал над собой чей-то голос. Кто-то тряс его за плечо. Это служанка, мадам Мартен, будила его. Она приходила ежедневно в семь утра и уходила в полдень.
Сегодня выражение ее лица было сурово. Она окинула Алена недобрым взглядом.
— Кофе подан, — сообщила она сухо.
Ален никогда не нуждался в людской жалости. Он ненавидел сантименты. Он хотел смотреть на вещи трезво и считал себя циником; однако в это утро ему так не хватало человеческого участия!
Не надевая халата, он вошел в гостиную, где зажженные лампы пытались перебороть сумеречный свет раннего утра. За широкой стеклянной стеной сквозь мутную синь отсвечивали влагой темные крыши: вчерашние, бурно несшиеся по небу рваные тучи умчались, небо было затянуто густой серой пеленой, плотной и неподвижной.
Обычно из окна открывалась вся панорама города — от собора Парижской богоматери до Эйфелевой башни. Но сегодня видны были только ближайшие крыши да несколько освещенных окон. Свет горел, несмотря на то что было уже восемь часов утра.
Он жадно пил кофе, оглядывая комнату, где стулья и кресла были вновь расставлены по своим местам, а пустые бутылки и стаканы исчезли.
Занятая уборкой мадам Мартен ходила взад и вперед по комнате, шевеля губами, будто говорила сама с собой. Ей было лет пятьдесят. На журнальном столике лежали газеты, которые она обыкновенно приносила утром, забирая их по дороге у привратницы. Но Ален не испытывал желания в них заглянуть.
Его не мутило с похмелья, но он чувствовал себя разбитым, душевно и физически. В голове по-прежнему было пусто.
— Хочу сразу же вас предупредить...
На этот раз губы шевелились уже не беззвучно. Она говорила.
— ...что работаю у вас последний день.
Почему, она не объяснила. Впрочем, он и не спрашивал у нее объяснений. Жуя рогалик — тесто вязло в зубах,— он налил себе вторую чашку кофе.
Наконец он решился, подсел к телефону и попросил соединить его с Сен-Вилье-ля-Виль.
— Алло!... Лулу?
Лулу — Луиза Биран, их кухарка, жена садовника.
— Вы газету сегодня читали?
— Нет еще, но тут приходили соседи...
И у нее тоже голос был совсем не такой, как обычно.
— Вы не всему верьте, что станут говорить люди и что будет в газетах. Точно еще ничего не известно. Как Патрик?

Сыну было пять лет.

— Все в порядке.

— Примите меры, чтобы до него ничего не дошло.

— Сделаю все, что от меня зависит.

— А как вы там вообще?... — прибавил он из вежливости.

— Вообще — ничего.

— Будьте так любезны, мадам Мартен, приготовьте мне еще чашечку.

— Да, сейчас вам лишняя чашка кофе не помешает.

— Я вчера поздно лег.

— То-то и видно, вся квартира вверх дном.

Он пошел чистить зубы, открыл краны, намереваясь принять ванну, но передумал и встал под холодный душ. Он не знал, чем заняться, куда себя деть. Обычно его утро подчинялось определенному ритму, движения были четкими, целеустремленными. А тут он забыл включить радио, а когда вспомнил, то так и не решился это сделать, боясь услышать свое имя и имена своих близких.

В его памяти возник похожий на тоннель длинный коридор, в конце которого он вручил полицейскому чемодан для Мур-мур. Она тоже, должно быть, уже встала. Их, наверно, будят очень рано, часов в шесть?

— Ваш кофе на столе.

— Спасибо.

Он сел за стол прямо в купальном халате и, решившись наконец взять газеты, прочитал на первой странице:

Молодая журналистка — убийца своей сестры

А пониже более мелким шрифтом было напечатано:

Драма на почве ревности?

Тут же была помещена плохая фотография Мур-мур: прикрыв лицо руками, его жена пересекает двор сыскной полиции.

У Алена не хватило мужества ни прочитать репортаж, ни просмотреть другие утренние газеты. Он не выспался. По утрам он всегда сразу ехал на улицу Мариньян, чтобы прийти в редакцию одним из первых и просмотреть почту.

Сегодня ехать на улицу Мариньян не хотелось. Ему вообще ничего не хотелось. Он подумал, не лечь ли ему и не поспать ли еще немного. Несмотря на враждебность мадам Мартен, ее присутствие действовало на него успокаивающе.

Он, кажется, что-то забыл? Ален знал, что день предстоит тяжелый, предельно загруженный, но не в силах был стряхнуть с себя оцепенение. В голове был сплошной туман.

Ах, да! Вспомнил! Адвокат! Лучше других он знал адвоката, который занимался делами его еженедельника. Он же консультировал Алена, когда тот начал выпускать пластинки. Звали его Эльбиг — Виктор Эльбиг. Кто он по национальности, определить было трудно. Говорил он с акцентом, который можно было принять в такой же мере за чешский, как и за венгерский или польский.

Занятный человечек маленького роста, неопределенного возраста, толстенький, сияющий, в огромных, похожих на лупы очках, с ярко-рыжими волосами.

Жил он одиноко в квартире на Школьной улице, среди невероятного беспорядка, что не мешало ему быть одним из известнейших адвокатов по гражданским делам.

— Алло! Виктор? Я тебя не разбудил?

— Что ты! Разве ты забыл, что мой день начинается с шести утра? Я уже знаю, о чем ты меня сейчас попросишь.

— Ты видел газеты?

— Во всяком случае я достаточно осведомлен, чтобы посоветовать тебе обратиться к Рабю.

Филипп Рабю был адвокатом, успешно выступавшим в самых нашумевших процессах последних двадцати лет.

— Тебе не кажется, что тем самым ты заранее признаешь дело трудным?

— Но ведь твоя жена убила свою сестру, так?

— Да.

— Она этого не отрицает?

— Она созналась.

— Как она мотивирует свой поступок?

— Никак.

— Это уже лучше.

— Почему?

— Потому что Рабю продиктует ей линию поведения. А как это отзовется на тебе?

— Что ты имеешь в виду?

— Быть может, читателям твоего еженедельника не очень придется по душе роль, которую ты в этом деле играл.

— Никакой роли я не играл.

— Это правда?

— Я думаю, что правда. Вот уже скоро год, как я не прикасался к ее сестре.

— Тогда звони Рабю. Ты с ним знаком?

— Довольно хорошо.

— Желаю удачи!

Филипп Рабю живет на бульваре Сен-Жермен. Ален часто встречался с ним на премьерах, ужинах и коктейлях. Итак, номер его телефона. Четкий, даже резкий женский голос:

— Кабинет адвоката Рабю.

— Говорит Ален Пуато.

— Подождите, пожалуйста, минутку. Я сейчас посмотрю.

Он терпеливо ждал. Квартира на бульваре Сен-Жермен была огромной. Однажды он по какому-то торжественному случаю попал туда на прием. Видимо, адвокат сегодня еще не заходил к себе в кабинет.

— Рабю слушает. Я в общем-то ждал вашего звонка.

— Я сразу подумал о вас, чуть было даже не позвонил вчера вечером, но не осмелился вас побеспокоить.

— Я выступал вчера с защитой в Бордо и вернулся очень поздно. Ваше дело представляется мне не слишком сложным. Я только удивлен, каким образом мог такой человек, как вы, влипнуть в подобную историю. Она наделает шуму, и тут уж ничего не попишешь. Вы не знаете, дала ваша жена уже какие-нибудь показания?

— Судя по словам комиссара Руманя, она только призналась в убийстве, но на другие вопросы отвечать отказалась.

— Для начала неплохо. А муж?

— Вы его знаете?

— Я с ним встречался.

— Бланше утверждает, что для него это полная неожиданность. Он провел часть минувшей ночи у меня.

— Он питает к вам неприязнь?

— Если и питал, то забыл об этом. Бланше сам не знает, на каком он свете. Я тоже.

— В таком деле, старина, нелегко будет затушевать неблаговидность вашей роли.

— Но ведь не из-за меня же это произошло.

— Разве вы не были любовником вашей свояченицы?
— Последнее время уже не был.
— С каких пор?
— Около года.
— Вы рассказали эту историю комиссару?
— Рассказал.
— И он поверил?
— Но это же правда.
— Правда или нет, но публику это будет шокировать.
— Но ведь речь идет не обо мне, а о моей жене. Сегодня ее снова будут допрашивать.
— Конечно...
— Я хотел бы, чтобы вы согласились ее повидать.
— Я завален делами, но вам я отказать не могу. Кто из следователей ведет дело?
— Не знаю.
— Вы говорите из дому?
— Да.
— Не уходите, пока я вам не позвоню. Постараюсь разузнать подробности во Дворце правосудия.

Ален набрал номер телефона редакции:

— Это вы, Мод?

Одна из телефонисток, с которой он любил иногда уединиться на часок.

— Как вы себя чувствуете, патрон?
— Сами понимаете как, крольчишка. Борис уже пришел?
— Просматривает почту. Соединяю.
— Алло! Борис?
— Да, Ален! Я был почти уверен, что ты не приедешь утром в редакцию, и занялся почтой...

Фамилия Бориса была Малецкий. У Алена он работал главным редактором. Жил он в предместье Парижа, по дороге на Вильнев-Сен-Жорж, с женой и четырьмя или пятью детьми. Борис был одним из немногих сотрудников журнала, кто не проводил время в компании с Аленом и его приятелями, а сразу после работы уезжал домой.

— Журнал вышел?
— Уже поступил в продажу.
— Телефоны пока молчат?
— Трезвонят без передышки. По всем номерам. Ты чудом ко мне прорвался.
— Чего им надо?
— Это в основном женщины. Горят желанием узнать, правда ли это.
— Что именно?
— Что ты был любовником свояченицы, как намекают газеты.
— Ничего похожего я репортерам не говорил.
— Да. Но это не мешает им строить догадки.
— Что вы им отвечаете?
— Что расследование только началось и пока ничего не известно.
— Как будет со следующим номером?—спросил Ален, выдавая этим вопросом свою растерянность.
— Все нормально. Если ты спрашиваешь мое мнение, я считаю так: никаких намеков на случившееся. Содержание оставим таким, как намечали.
— Да, ты конечно прав.
— Тебя здорово выбило из колеи?
— Минутами бывает скверно. Возможно, я к вам заеду в течение дня. Сидеть здесь в одиночестве — выше сил.

Ален снова попытался припомнить, что он предполагал сегодня делать. Вчера вечером ему казалось, что день будет настолько заполненным, что не останется и минуты о чем-нибудь подумать. И вот он торчит в своей застекленной комнате, одинокий, как маяк на скале.

У Алена были родители, и он давно собирался их навестить. Они жили неподалеку на площади Клиши вот уже скоро полвека, но Ален редко навещал мать и отца.

Он уже направился было к двери, но спохватился, что ему должен звонить Рабю. Тогда он снял трубку, решив поговорить с матерью. Его не волновало то, что мадам Мартен слышит все его разговоры. Отныне у него нет секретов, ничего, что было бы скрыто от постороннего взгляда. Газеты не упустят случая разобрать по косточкам его жизнь.

— Алло! Мама? Это я, Ален. Я хотел бы к вам заехать, но не знаю, смогу ли выбрать минутку. Я сейчас дома... Нет. Мадам Мартен еще здесь. Она только что потребовала расчет... Почему? А ты не читала газеты? А папа? Он ничего не сказал?.. Ни слова? Он у себя в кабинете?

Его отец был зубным врачом и принимал больных с восьми часов утра до восьми вечера, а то и позже.

Это был крупный мужчина с седыми волосами ежиком и серыми глазами. От него веяло таким спокойствием, таким терпением и состраданием, что больные стыдились показывать перед ним свой страх.

— Что, что? А... Нет, кое-что правда, а кое-что наврано. Вранья с каждым днем будет прибавляться. Загляну к вам, как только смогу. Целую, мама. Передай привет отцу.

Мадам Мартен с тряпкой в руках изумленно уставилась на него: как это у такого чудовища могут быть отец и мать.

Чем еще заполнить часы ожидания? Он курил сигарету за сигаретой. Перед его глазами вставал Дворец правосудия на набережной Орфевр, виделись его мрачные коридоры и камеры предварительного заключения, он неотступно думал о всей той сложной и страшной машине, которая вот-вот придет в действие, но которая пока что словно забыла об его, Алена, существовании.

А чем заполняют время там эти женщины, арестантки? Что делают в часы, свободные от допросов?

В десять часов раздался телефонный звонок. Он бросился к аппарату.

— Алло! Я слушаю...

— Соединяю вас с мэтром Рабю.

— Алло! Алло! Это Рабю?

— Да, я у телефона. Все в порядке. Следователя уже назначили. Его фамилия Бенитэ. Что вам о нем сказать... Довольно молод, лет тридцать пять — тридцать шесть. Порядочен, не карьерист. В одиннадцать часов он вызывает вашу жену на допрос. Она будет давать показания в моем присутствии.

— Значит, полиция передает ее судебным властям?

— Да, поскольку она созналась и сомнений в личности убийцы нет.

— А меня допрашивать будут?

— Когда дойдет очередь до вас, пока не знаю. Это станет известно к полудню, я вам сразу же сообщу. Сейчас я уезжаю во Дворец правосудия. Куда вам позвонить?

— В редакцию. Если не застанете меня на месте, скажите телефонистке, она мне передаст.

Какие у него еще дела? Ах, да.

— Сколько я вам должен, мадам Мартен?

Она достала из кармана передника лоскуток бумаги. На нем были написаны карандашом цифры. В общей сложности ей причитается сто

пятьдесят три франка. Он вынул из бумажника две стофранковые ассигнации. О том, чтобы вернуть сдачу, она и не заикнулась.

— Ключ оставите у привратницы.

— Если вы никого не сможете найти...

— Спасибо. Я обойдусь.

Лифт он вызывать не стал — спустился пешком. Лестница была широкая, просторная — и зачем только изуродовали ее этими витражами, они придают ей такой старомодный, претенциозный вид. На каждую площадку выходила всего лишь одна квартира. На третьем жили богачи латиноамериканцы, целая семья с четырьмя детьми, «роллс-ройсом» и шофером. Хозяин квартиры в свое время получил образование во Франции, а затем стал у себя на родине главой государства, он стоял у власти в течение многих лет, но был свергнут в результате военного переворота.

На втором этаже помещалось правление акционерного общества по добыче нефти. На первом — консульство.

Привратницкая была роскошная — настоящий салон, а привратница, мадам Жанна,— весьма почтенного вида дама; муж ее служил в каком-то министерстве.

Сегодня она прятала от него глаза: еще не решила, как с ним держаться.

— Мне так жаль вашу жену, — пробормотала она наконец.

— Да...

— Один господь знает, когда она теперь снова будет дома.

— Надеюсь, что это произойдет в самом ближайшем будущем.

Он ненавидел фальшь сочувственных слов, но сейчас уже начинал привыкать.

— Скажите, пожалуйста, мадам Жанна, не знаете ли вы какой-нибудь женщины, которая согласилась бы обслуживать меня?

— Разве мадам Мартен от вас уходит?

— Да, только что отказалась.

— Вообще-то ее можно понять, хотя сама я, наверно, так бы не сделала. Люди иной раз поступают необдуманно. Особенно мужчины, вы согласны?

Он не стал возражать. Но она будет считать, что во всем виноват только он. Стоит ли зря тратить время на разубеждения?

— Есть у меня тут на примете молодая женщина. Она ищет работу. Постараюсь увидеть ее сегодня. Вам ведь только на утренние часы, да?

— Как ей будет удобно.

— А с оплатой?..

— Сколько скажет, столько и буду платить.

Дождь лил по-прежнему. Над головами прохожих покачивались раскрытые зонтики. Решетка парка Монсо в конце улицы казалась чернее обычного, позолота на ее остриях потускнела.

Идя машинально к своей малолитражке, он вдруг вспомнил про машину Мур-мур. Где она ее оставила? Неужели автомобиль все еще стоит на Университетской улице у дома Бланше?

Он не мог бы объяснить почему, но ему стало неприятно при мысли, что машина жены брошена без присмотра под открытым небом. Он повернул на Левый берег и направился к Университетской. В пятидесяти метрах от особняка, где во втором этаже жила со своим мужем Адриена, стояла, блестя под дождем, машина Мур-мур. Перед решеткой дома темнели две-три кучки любопытных. Вероятно, были среди них и журналисты.

Несколько минут спустя он остановил машину на улице Мариньян и нырнул в подъезд здания, где помещалась редакция его журнала. Когда-то она занимала один только верхний этаж, но мало-помалу отделы ее разветвились по всему дому. На первом этаже размещались прием-

ные, бухгалтерия, кассы. Он вошел в лифт, поднялся на четвертый этаж и зашагал по коридорам. Из открытых дверей вырывались пулеметные очереди пишущих машинок.

Первоначально дом предназначался под квартиры. Но впоследствии, при переделке жилых комнат в служебные помещения, одни перегородки снимались, другие ставились заново. Образовался целый лабиринт коридоров, переходов со ступеньками, тупичков.

Проходя мимо открытых дверей, Ален приветливо помахивал рукой, здороваясь с людьми, работавшими в отделах. Наконец он дошел до своего кабинета, где сегодня его заменял Малецкий.

Он и с ним поздоровался, приветственно помахав рукой, и тут же снял телефонную трубку.

— Соедините-ка меня с гаражом, крольчишка. Да, да, на улице Курсель. Линия занята? Ну соедините меня, как только освободится.

На столе, как всегда, ждала горка писем. Он вскрыл один конверт, другой, третий, но смысл написанного не доходил до него.

— Алло! Да, да. Алло! Гараж на улице Курсель? Это Бенуа?.. Говорит Пуато... Да. Спасибо, старина. На Университетской осталась машина моей жены... Нет, чуть подальше, за министерством... Ключ?.. Не знаю. Скажите механику, чтобы захватил с собой необходимые инструменты... Да, пусть отведет ее к вам в гараж. Оставьте ее у себя... Да, да... Помыть? Если хотите.

Малецкий смотрел на него с любопытством. Отныне он постоянно будет ловить на себе чьи-то любопытные взгляды — что бы он ни сказал и ни сделал. Как на это реагировать? Как вообще вести себя человеку, попавшему в его положение?

На первой странице газеты, лежавшей на его рабочем столе, он увидел свою фотографию: он стоит со стаканом виски в руке, волосы в беспорядке.

Со стаканом? Это уже похоже на подножку. Не слишком-то они с ним по-джентльменски.

■

Он заставил себя проболтаться в редакции довольно долго, пожимал чьи-то руки, бросал обычное свое «Привет, старикан».

Внешне он держался гораздо лучше их: они терялись, не зная, как с ним говорить, как на него смотреть. Он поднялся на самый верх, в бывшие мансарды, переоборудованные в большой макетный зал. Один из фотографов, Жюльен Бур, и метранпаж Аньяр колдовали над клише.

— Привет, ребята.

Он взял стопку фотографий и раскинул их перед собой на столе. Это были в большинстве обнаженные женщины, но снятые в той особой манере, которую изобрел журнал «Ты». Голые и полуголые красавицы смотрели целомудренными скромницами.

В них должен видеть свое отражение каждый человек, внушал когда-то Ален своим первым сотрудникам.

Так же как каждый человек должен узнавать себя в рассказах, заметках, статьях, помещаемых журналом. Это были истории, выхваченные из повседневной жизни. Будничные драмы, знакомые тысячам и тысячам людей. С первой рекламной афиши журнала, расклеенной несколько лет назад на стенах парижских домов, в прохожих утыкался энергичный указательный палец. «Ты!» — взывал он повелительно.

Перед этим метровым «Ты!» не в силах был устоять ни один человек.

— О чем я вам толкую, кролики? Вот о чем. Мы издаем журнал не для всех, а для каждого, для каждого в отдельности. Каждый должен чувствовать, что мы обращаемся лично к нему и ни к кому другому. Понимаете?

Ты... У тебя дома... Вместе с тобой... В тебе самом...

Он снова спустился к себе. Не успел он открыть дверь кабинета, как Малецкий протянул ему телефонную трубку.

— Рабю...— шепнул главный редактор.

— Алло! Есть новости? Дала она какие-нибудь показания?

— Нет. Отсюда мне говорить неудобно. Приезжайте в половине первого во Дворец правосудия, я буду ждать вас в буфете, позавтракаем вместе. Следователь поручил мне передать вам, что он вызывает вас в два часа дня на очную ставку.

— Очную ставку с женой?

— Разумеется,— ответил Рабю, и в трубке послышались гудки.

Адвокат говорил с ним как-то сухо, словно был чем-то недоволен.

— Я не знаю, смогу ли вернуться во второй половине дня. В общем, выпуском следующего номера я заниматься не буду.

Он медленно спускался по лестнице. А сколько лет его спрашивали: «Куда это ты бежишь?»

Он всегда торопился, всегда куда-то мчался, вся жизнь была один стремительный бег.

Сегодня он с удивлением отметил, что уже не бежит, а — как и все люди — идет, и даже идет неторопливее их. Замедлились все его движения, сигарету и ту он раскуривал не торопясь. Он кинул взгляд в сторону бара, напротив здания редакции, поколебался и перешел улицу, не обращая внимания на дождь.

— Виски? Двойную порцию?

Он кивнул и, чтобы не вступать в разговор с барменом, стал глядеть в окно. Времени оставалось ровно столько, чтобы не спеша доехать до Дворца правосудия и найти стоянку для машины. Париж хмурился, что-то гнетущее чувствовалось в воздухе. Машины еле ползли по мостовой. Крутя баранку, Ален успел выкурить две сигареты, прежде чем поставил машину. От места стоянки до бульвара перед Дворцом правосудия пришлось порядочный кусок отмахать пешком.

Темный, старомодный зал буфета был ему хорошо знаком. Давно, в самом начале своей журналистской карьеры, он приходил сюда как репортер отдела полицейской хроники. Рабю уже в то время слыл одним из светил адвокатуры. Когда он быстрыми шагами проходил по коридорам Дворца или шел через приемный зал, молодые и даже не очень молодые адвокаты почтительно расступались перед его развевающейся мантией, откидные рукава которой взлетали у него за плечами, словно крылья.

Ален поискал глазами мэтра Рабю, но не увидел его. За столиками в ожидании судебного разбирательства, назначенного на вторую половину дня, шептались со своими адвокатами подсудимые, не взятые под стражу.

— Вы заказывали столик?

— Нет, я жду мэтра Рабю.

— Пожалуйте сюда.

Его посадили у окна — любимое место Рабю. Несколько минут спустя появился и он сам. Грузный, с бычьей шеей, он таким решительным шагом шел через почти пустой двор, словно ему сейчас предстояло войти в зал судебного заседания. В руках — ни портфеля, ни бумаг.

— Вы уже что-нибудь заказали?

— Нет.

— Тогда, пожалуйста, мне мясное ассорти по-английски и пол-бутылки бордо.

— Мне то же самое.

Выражение лица мэтра Рабю не предвещало ничего хорошего.

— Как она?

— Все так же. Образец невозмутимости и упорства. Если она будет держаться такой линии на суде, присяжные упекут ее на максимальный срок.

— Она ничего не объяснила?

— Когда Бенитэ спросил ее, признает ли она себя виновной в убийстве сестры, она ограничилась односложным «да». На второй вопрос: когда именно созрела у нее мысль об убийстве — до того, как она утром взяла револьвер или позднее,— она ответила, что, беря браунинг, еще не была уверена, как поступит, и утвердилась в своем намерении лишь потом.

Им принесли холодное мясо и вино, они умолкли, занявшись едой.

— Бенитэ — терпеливый парень и хорошо воспитанный. Он проявил по отношению к ней редкую снисходительность. Боюсь, я бы на его месте не выдержал, влепил бы ей пару затрещин.

Ален молча ожидал продолжения, но его темные глаза загорелись гневом. Он много слышал о Рабю, о грубой напористости, которой тот был в значительной мере обязан своими адвокатскими лаврами.

— Одного не пойму: как она в тюрьме умудрилась сохранить такой вид. Вы бы посмотрели: словно только что вышла от своего парикмахера. Прическа — волосок к волоску. Лицо свежее, отдохнувшее. Костюм — будто сейчас из-под утюга.

Зеленый костюм. Она его сшила всего три недели назад. Вчера утром он ушел раньше нее и не знал, во что она была одета.

— Держится так, точно явилась с визитом. Кабинет Бенитэ — наверху: вы знаете, наверно, эти старые помещения, модернизация их пока не коснулась. Пылища, папки с делами свалены прямо на пол целыми штабелями. Да, да, она в этой обстановке производила впечатление светской дамы, которая явилась с визитом и боится запачкаться. Бенитэ настойчиво пытался выяснить мотивы преступления. Но она ограничилась немногословным объяснением: «Я ненавидела сестру всю жизнь». На это он вполне резонно заметил, что ненависть еще не основание для убийства. Она возразила: «У кого как». Я потребую, чтобы ее подвергли психиатрической экспертизе. Но, к сожалению, никакой надежды, что вашу жену признают невменяемой, нет.

— Да,— нерешительно прервал его Ален,— Мур-мур всегда была несколько своенравной. Склонной к неожиданным поступкам. Я неоднократно говорил ей об этом. В ней было что-то от котенка, который, знаете, спокойно мурлычет у камина и вдруг ни с того ни с сего вскакивает и бросается в другой конец комнаты. Оттого-то я и прозвал ее Мур-мур.

Рабю безмолвно смотрел на него, только челюсти его двигались, пережевывая кусок холодной говядины.

— На этом не сыграешь,— наконец обронил он небрежно, словно собеседник изрек явную глупость.— Бенитэ пытался у нее выяснить, не замешана ли тут ревность, но она на это никак не реагировала, даже рта не раскрыла. Сколько он ни бился, ему не удалось вытянуть из нее ни слова. Это было молчание не просто упорное — презрительное.

Он отрезал еще кусок мяса. Ален тоже был занят едой. По сторонам он не глядел. Необъятность вселенной сузилась вдруг до этого маленького столика, за которым они сидели. Соседние столики — это были уже другие, чуждые миры.

— Но самое скверное то, что произошло потом, после выстрелов, и этого нельзя будет ни обойти, ни замять. Когда вашу жену увели в камеру...

— На нее надели наручники?

— Да, при переводе из помещения в помещение наручники обязательны. Таков порядок. Так вот, мы на минуту остались с Бенитэ вдвоем.

Он только что получил заключение медицинского эксперта. Адриена Бланше умерла не сразу, она прожила еще минут пять...

Все еще не понимая, куда клонит адвокат, Ален замер со стаканом в руке — он смотрел на Рабю, еле сдерживая нетерпение.

— Вам, должно быть, уже известно, что няня — они зовут ее Нана, но ее подлинное имя Мари Потра — за минуту до убийства находилась с детьми в соседней комнате. Услышав, что женщины о чем-то громко заспорили — они перешли почти на крик,— Мари догадалась увести мальчика и девочку на кухню. Но едва они вышли в коридор, раздались выстрелы. Мальчик чуть было не вырвался: он хотел посмотреть, что случилось. Няне пришлось утащить обоих детей почти насильно. На кухне она передала их кухарке.

Ален хорошо знал квартиру Бланше и действующих лиц драмы, ему не стоило труда представить себе, как это все происходило.

— Вам, конечно, известно, что кухня расположена в противоположном конце квартиры? Няня шепотом приказала кухарке не выпускать детей из кухни. Я не сомневаюсь, что Бенитэ как человек добросовестный непременно пошлет на квартиру к Бланше эксперта, и они точно, по минутам высчитают, сколько времени потратила няня, чтобы отвести детей на кухню и вернуться обратно.

Прежде чем войти в комнату, Мари Потра прислушалась. Но за дверью было тихо, и, постояв в нерешительности, она постучала.

Ей не ответили. Допустим, на все это ушло три минуты. Так вот, когда она открыла дверь, она увидела, что ваша жена стоит у окна, прижавшись лицом к стеклу, а сестра ее лежит на полу в полуметре от туалетного столика, головой на ковре, ногами на паркете, приоткрыв рот, и тихо стонет.

Попробуйте-ка тут построить оправдательную речь! — заключил Рабю, втыкая вилку в кусок ветчины.— Застрелила родную сестру. Так... Хотя, конечно, лучше было бы, если б она стреляла не в сестру. В кого угодно — только не в сестру. Люди еще не избавились от веры в святость уз кровного родства — проблема Каина и Авеля, знаете ли. Ревность — согласен, это можно понять. Но стрелять в родную сестру и потом целых четыре или пять минут стоять рядом, присутствовать при ее смертных муках и ничем — ничем! — не помочь ей, даже не позвать на помощь... Должен вам сказать, не в моей власти помешать Мари Потра явиться в суд, ибо главным свидетелем обвинения будет она. А на суде ее попросят рассказать, в каком положении она застала умирающую, и тут она сообщит, что убийца стояла у окна.

Ален опустил голову — возразить было нечего. Да, Рабю прав. И все-таки тут что-то не так. Рабю прав, но в его словах еще не вся правда.

Правды он не знал, как и все остальные, но, кажется, она начинала брезжить ему.

— Как давно вы вступили в связь со свояченицей?

— Последнее время мы уже не были близки.

— А сколько времени были?

— Около семи лет. Это не совсем то, что вы думаете. Между нами установилось что-то вроде дружбы, очень нежной, но не...

— Погодите. Интимные отношения между вами существовали? Да или нет?

— Да.

— Где же вы встречались?

— Я снял меблированную квартиру на улице Лоншан.

— Дрянь дело.

— Почему?

— Ну, потому хотя бы, что респектабельные буржуа стараются держаться подальше от таких мест. Улицы вроде Лоншан кажутся им подозрительными и связываются в их сознании с представлением о пороке.

— Но это же было все так невинно! — пытался настаивать Ален.

Нет, даже Рабю вряд ли поймет, что он хочет сказать. Во всяком случае Ален уже не был уверен, что это так ясно и просто.

— Когда вы там были в последний раз?

— Двадцать третьего декабря. С тех пор прошел почти год.

— Ваша жена знала об этих отношениях?

— Нет.

— Она ревнива?

— Если мне случалось переспать с какой-нибудь бабенкой, Мурмур никогда не упрекала меня.

— Вы рассказывали ей о ваших встречах с другими женщинами?

— Иногда. В минуту откровенности.

— Она не подозревала о вашей связи со свояченицей?

— Насколько мне известно — нет.

— Вы не думаете, что тут может быть замешан другой мужчина?

Разговор грозил принять тот же оборот, что и вчера ночью во время объяснения с зятем.

— Мне ничего не остается, как согласиться с вашим предположением.

— Я спрашиваю о другом: имеются ли у вас лично какие-либо подозрения на этот счет?

— Нет, никаких.

— Вы много времени проводили в обществе жены?

— Утром я уходил раньше нее. Когда ей, например, надо было написать статью. Обычно она это делала дома. Иной раз она задерживалась, чтобы поговорить по телефону с сыном, он у нас живет на нашей вилле «Монахиня».

— Сколько лет ему?

— Пять.

— Это хорошо. Хорошо, а может, и плохо. Смотря по обстоятельствам. Продолжайте.

— Около одиннадцати она — почти ежедневно — звонила мне в редакцию и спрашивала, где я обедаю. А затем мы, как правило, встречались в ресторане.

— Продолжайте.

Рабю отодвинул тарелку, раскурил трубку.

— Из ресторана она чаще всего отправлялась брать интервью. Ее специальностью были беседы с заезжими знаменитостями. Длинные, обстоятельные. Собственно, даже не интервью, а нередко настоящие очерки, печатавшиеся с продолжением. Затем она снова звонила или присоединялась ко мне в нашем любимом баре «Колокольчик», на улице Мариньян. Мы там собирались в восьмом часу своей компанией — человек десять-двенадцать.

— И ужинали — тоже в компании?

— По большей части, да.

— Домой возвращались поздно?

— По правде сказать, раньше часу ночи почти никогда не удавалось. Часа в два-три.

— Картина ясная, жили на холостую ногу. А присяжные, как бы они ни беспутничали, ведут все-таки семейный образ жизни. Ужин в кругу семьи, да еще с непременной суповой миской на столе,— одно упоминание об этом, и они приходят в умиление, размякают.

— Мы супа не едим,— холодно отозвался Ален.

— Завтра вашу жену переведут в тюрьму Птит-Рокетт. Я ее там навещу. Вы тоже можете попросить разрешения на свидание, но я сомневаюсь, чтобы вам его дали — на данном этапе следствия.

— А что газеты?

— Вы не читали? Пока что комментарии довольно сдержанные. Вы в Париже на виду, поэтому коллеги ваши слишком далеко заходить не решаются. Тем более что и жена у вас — журналистка.

Они посидели еще минут десять, потом пересекли внутренний двор и взошли на крыльцо. В коридоре следственного отдела у дверей с номерными табличками дожидались арестанты в наручниках. Каждого охраняло по двое полицейских. Перед дверью в глубине коридора толпились фоторепортеры и газетчики.

Рабю передернул плечами:

— Этого следовало ожидать.

— Вчера они нагрянули ко мне домой.

— Знаю. Я видел фото в газетах.

Вспышки «блицев». Толкотня. Адвокат властно постучал и открыл дверь, пропуская Алена вперед.

— Прошу прощения, мой дорогой. Я не хотел, чтобы встреча мосье Пуато с женой произошла перед дверьми вашего кабинета, на глазах у репортеров. Но, кажется, мы пришли слишком рано.

— На три минуты.

Следователь поднялся с места и предложил им сесть. Судебный секретарь, расположившийся в конце стола, никак не реагировал на их появление.

Ален разглядывал следователя. Светловолосый, спортивного вида, спокойный, в отлично сшитом сером костюме. Длинные, узкие кисти рук, на одном из пальцев — перстень с печаткой.

— Вы ознакомили мосье Пуато с ходом дела?

— Мы сейчас завтракали у нас в буфете.

— Прошу извинить меня, мосье Пуато, за то, что вызвал вас на очную ставку, которая может быть вам неприятной, но я вынужден это сделать.

Ален с удивлением почувствовал, что горло его словно сжала чья-то рука.

— Я буду рад увидеть свою жену,— произнес он внезапно охрипшим голосом. Только теперь он вдруг осознал, какая непроходимая пропасть легла между ним и ею. Ему показалось, что с тех пор, как они расстались, прошла вечность. Он с трудом мог восстановить в памяти ее черты.

А между тем лишь немногим более суток отделяло его от вчерашнего утра. Мадам Мартен тронула его за плечо, и он проснулся. Потом в гостиной выпил кофе с двумя рогаликами и перелистал газеты. Шапки на первых страницах сообщали о буре над Ламаншем: затонуло рыболовное судно, в Бретани вода прорвала плотину, в нескольких городах на побережье затоплены подвалы домов.

Одевшись, как и в любое другое утро, он подошел к кровати и склонился над женой — она лежала такая теплая, разогретая сном. Ресницы ее дрогнули, она открыла глаза.

«Я пошел. Ты позвонишь?»

«Сегодня не смогу, я же тебе еще вечером сказала. У меня встреча в отеле «Крийон», там я и пообедаю».

«Тогда — до вечера?»

«До вечера».

Он с улыбкой потрепал ее по волосам. А она улыбнулась в ответ. Сколько он теперь ни старался, он не мог этого припомнить.

— Курите.

— Спасибо.

Он машинально взял сигарету. Совместное ожидание вызвало чувство неловкости, а завести какой-нибудь ничего не значащий разговор казалось немыслимым.

К счастью, раздался стук в дверь. Они встали — все трое. Только секретарь, как пришитый, сидел на своем стуле. Мур-мур вошла в сопровождении двух полицейских. Они захлопнули дверь под носом у фоторепортеров и затем сняли с нее наручники.

— Подождите арестованную в коридоре.

Их разделяло расстояние всего в каких-нибудь два метра.

Она была в своем блекло-зеленом костюме с блузкой ручной вышивки и в элегантной шапочке из того же материала, что и костюм, красиво оттенявшей темно-каштановые волосы.

— Садитесь, пожалуйста.

Она взглянула сначала на следователя, потом на адвоката. Наконец взгляд ее остановился на муже.

Алену показалось, что в глазах жены быстро-быстро, сменяя друг друга, промелькнули тени разноречивых чувств: сначала удивление — возможно, потому, что лицо Алена поразило ее непривычной оцепенелостью, неподвижно застывшими зрачками глаз; потом чуть приметная искорка иронии — да, да, иронии, он не мог ошибиться,— потом какой-то проблеск теплоты или дружеского сочувствия.

— Прости, что я навлекла на тебя столько неприятностей,— тихо проговорила она, берясь за спинку стула.

Ален стоял точно окаменелый. Он не нашелся, что ей ответить, и молча сел. Их разделял лишь мэтр Рабю, слегка отодвинувшийся со своим стулом назад.

Следователь был явно сбит с толку словами Мур-мур и тянул время, пытаясь собраться с мыслями.

— Могу ли я истолковать ваши слова, мадам, в том смысле, что все случившееся на Университетской улице не имеет никакого отношения к вашему мужу?

Рабю даже заерзал на стуле — он боялся того, что может сейчас услышать.

— Мне нечего прибавить к моим прежним показаниям.

— Вы любите вашего мужа?

— Вероятно.

Она не взглянула на него, только повела глазами по сторонам, словно искала сигарету. Трое мужчин вокруг нее курили. Бенитэ, проявив догадливость, протянул ей свою пачку.

— Вы его ревновали?

— Не знаю.

— А ваш муж не состоял в любовной связи с вашей сестрой?

Она повернулась к Алену — в первый раз — и непринужденно проговорила:

— Я думаю, что он мог бы дать на этот вопрос более исчерпывающий ответ, чем я.

— Вопрос обращен к вам.

— Мне нечего вам сказать.

— Когда вам впервые пришла мысль убить сестру?

— Трудно сказать.

— Раньше, чем вчера утром? Хочу вам напомнить, что, уходя из дому, вы взяли из столика вашего мужа лежавший в выдвижном ящике пистолет.

— Да, взяла.

— С какой целью?

— Мне нечего вам сказать.

— Вы решили держаться той же тактики, что и утром?
— Я буду держаться ее все время.
— Вы опасаетесь, что ваши показания кому-то повредят?
Она только пожала плечами.
— Вы щадите вашего мужа?
Снова те же сухие слова:
— Мне нечего вам сказать.
— Вы раскаиваетесь в содеянном?
— Не знаю.
— Вы бы и теперь поступили так же?
— Смотря по обстоятельствам.
— Что вы имеете в виду?
— Так... ничего.

— Я думаю, мэтр, было бы неплохо, если бы вы поговорили с вашей подзащитной. Возможно, ваши советы пошли бы ей на пользу.

— Для этого мне необходимо побеседовать с нею наедине и услышать, что она мне скажет.

— Завтра вы сможете говорить с ней, сколько пожелаете.

Он раздавил окурок сигареты в рекламной пепельнице, стоявшей на столе.

— Мосье Пуато, можете задать вашей жене любые вопросы, какие сочтете нужным.

Ален поднял голову и взглянул в обращенное к нему лицо Мур-мур. Она спокойно, бесстрастно ждала его вопросов.

— Послушай, Мур-мур...

Он умолк. Ему — так же, как и ей — сказать было нечего. Он произнес ее прозвище, словно заклинание, надеясь, что ему удастся высечь хоть искорку живого чувства в ее сердце.

Долго — несколько секунд — смотрели они друг другу в глаза. Она терпеливо ждала. Он подыскивал нужные слова — и не мог их найти.

Это походило на ребячью игру: так двое детей смотрят друг на друга в упор и ждут, кто первый засмеется.

Но ни он, ни она не засмеялись, даже не улыбнулись. Ален сдался.

— У меня нет вопросов,— сказал он, повернувшись к следователю.

Всем было не по себе, лишь она сохраняла невозмутимость. Следователь, не скрывая досады, нажал кнопку электрического звонка. В коридоре зажужжал зуммер, и дверь отворилась.

— Отведите мадам Пуато в камеру.

Пока что она еще «мадам», но скоро она станет «подследственной», а потом и «подсудимой».

Только сейчас Ален заметил, что за окнами уже темно, не мешало бы им зажечь свет. Он услышал звук защелкнувшихся наручников, дробный стук каблуков-гвоздиков, потрескивание «блицев».

Дверь затворилась. У Рабю был такой вид, точно он хотел что-то сказать.

— Вы хотите сделать какое-то заявление, мэтр? — спросил его следователь.

— Пока что нет. Вот поговорю с ней завтра...

Когда они вышли, коридор был почти пуст. Журналисты исчезли.

IV

Он одиноко стоял перед решеткой Дворца правосудия на пронизывающем ветру, под дождем и не знал, куда идти. Он упрямо не желал **отдаваться во власть этому** бреду, всей этой дичи, которая грозила по

глотить его. Он силился уверить себя, что ему просто надо спокойно, не торопясь, с бумагой и карандашом в руках обдумать случившееся, тогда в голове у него все станет на место.

Всю жизнь он разыгрывал из себя циника, в какой бы переплет ни попал, делал вид, что ему все нипочем. Так было еще в детские годы, потом в лицее, где он верховодил компанией своих юных единомышленников. Провалив экзамены за курс средней школы, он притворился, что очень этому рад.

«Диплом — награда для ослов!»

Он пересек мостовую, вошел в бар.

— Виски... Двойное...

Привычка. Приятели следовали его примеру. Впрочем, угнаться за ним не мог почти никто: одни чересчур быстро пьянели, у других с похмелья разламывало голову.

В этом баре виски, видимо, было не в ходу. Он заметил одну-единственную бутылку. Она сиротливо стояла на полке среди множества вин различных марок. Посетители вокруг него пили кофе или заказывали стаканчик белого.

«Надо бы тебе все-таки приобрести профессию, Ален».

Сколько раз повторяла ему мать эти слова? А он слонялся по улицам, просиживал целые дни в кафе. Порой его охватывал страх за свое будущее, тот же страх, которым терзалась и мать, но он считал подобное чувство недостойным мужчины и тщательно его скрывал. «Никогда в жизни не соглашусь вести это рабское существование!»

Как отец, например. По двенадцать, по четырнадцать часов в сутки ковыряться в зубах у пациентов!

Или как дед с отцовской стороны — сельский врач, работавший до последнего дня. Он так и умер от сердечного приступа, в семьдесят один год за баранкой своего старенького автомобиля, по дороге к больному.

Или как второй его дед — кондитер, проведший всю свою жизнь под сводами пекарни возле плиты, где варилась паста для конфет и карамели, в то время как наверху хлопотала с утра до ночи за прилавком его жена.

«Видишь ли, мама, люди делятся на две категории: те, на ком ездят, и те, кто сам ездит на других. Я,— добавлял он самонадеянно,— буду ездить на других».

Прошлявшись полгода по улицам, он пошел в армию и три года отслужил в Африке.

Итак, сейчас — к родителям, на площадь Клиши. Отец никогда и ни в чем не становился ему поперек дороги. Предоставлял делать все что заблагорассудится: должно быть, считал, что лучше гладить по шерстке, чем строгостью толкнуть сына на открытый бунт.

Почему Мур-мур попросила у него прощения? И ведь это было единственное, что она ему сказала. И как спокойно, без капли волнения.

Он чуть было не заказал еще виски. Нет, слишком рано. Он вышел из бара и направился к машине, которую оставил довольно далеко от Дворца правосудия.

Изогнувшись, он скользнул за руль, включил зажигание. Куда все-таки ехать? Он знает весь Париж, с сотнями людей он на «ты», фамильярно называет их «кроликами». Он преуспевающий делец, добившийся успеха благодаря самому себе, он загребает деньги лопатой. Он из тех, кто всегда твердо знал, что на нем-то уж никто ездить не будет.

«Ты» выходит миллионным тиражом. Пластинки, выпускаемые Аленом, идут нарасхват. В ближайшее время он надеется основать еще один журнал — для школьников от десяти до пятнадцати лет.

Но к кому, к кому мог бы он поехать сейчас, с кем поделиться, от-

вести душу? Впрочем, так ли уж ему хочется с кем-то делиться и отводить душу? И так ли уж он жаждет во всем разобраться?

Он и не заметил, как очутился снова на улице Мариньян. Он знал только одно: сейчас ему необходимо быть окруженным людьми, которые от него зависят. «Друзья-приятели» называлось это на его языке. Жене он тоже дал кличку — Мур-мур, окрестил и Адриену на свой лад, так на Дальнем Западе в Соединенных Штатах метят каленым тавром скот.

И вот вдруг что-то в нем надломилось — что именно, он не знал, но им начал овладевать страх.

В холле перед окошечком кассы стояла очередь — почти одни женщины. Победительницы конкурсов. Конкурсы — великолепный способ поддерживать у читательниц интерес к журналу. Побольше конкурсов — и публика в ваших руках.

Он поднялся по лестнице пешком. Второй этаж пока ему еще не принадлежит, единственный во всем доме. Он занят импортно-экспортной конторой. Но арендный договор с нею Алену удалось расторгнуть, и через полгода весь дом будет в его распоряжении — тогда он перестроит его.

Ему тридцать два года.

Кто это спрашивал его про их виллу «Монахиня»? Кто это интересовался, семейный ли образ жизни ведут они с Мур-мур?

Никогда они не вели семейного образа жизни! На их вилле — это было переоборудованное Аленом старинное каменное здание, бывшее жилище богатого фермера или средней руки помещика,— каждый уикэнд превращался в подобие вавилонского столпотворения, так что наутро хозяева и гости нередко затруднялись бы ответить, в чьей постели или на каком диване они провели ночь.

— Привет, Борис.

Малецкий посмотрел на него взглядом оценщика, словно прикидывал, крепко ли еще патрон стоит на ногах.

— Тут тебя зять спрашивал по телефону, просил позвонить.

— Домой?

— Нет. В банк.

— Этакий надутый кретин!

Он любил повторять, что терпеть не может надутых кретинов. Кретины выводили его из себя.

— Соедини-ка меня с Французским банком, крольчонок. Да, да, с главной дирекцией, на Вандомской площади. Вызови мосье Бланше.

Секретарь редакции Ганьон вошел с бумагами.

— Я помешал?

— Отнюдь. Это мне?

— Нет. Я хотел посоветоваться с Борисом насчет этой статейки, я не совсем в ней уверен.

Алена сейчас это не интересовало. Сегодня среда, 18 октября. Он без труда вспомнил дату, потому что вчера был вторник — 17-е. Но все началось вечером, а в этот час он сидел в своем кабинете, где сидит сейчас Борис, потом поехал в типографию на авеню Шатийон, и во всем мире для него существовало и имело значение только одно — очередной номер журнала «Ты».

— Мосье Бланше у телефона.

Он нажал кнопку на аппарате.

— Ален слушает.

— Я звонил тебе, потому что не знаю, как поступить. Приехал отец Адриены. Он остановился в отеле «Лютеция».

Ну, разумеется! Как всякий уважающий себя интеллектуал из провинции или из-за границы!

— Он хочет видеть нас обоих.
— Обоих? Почему?
— Ведь у него же было две дочери!
Одной больше нет, другая в тюрьме!
— Во всяком случае, я пригласил его сегодня вечером к себе на ужин — не можем же мы идти в ресторан. Но я сказал, что окончательно мы договоримся о встрече, когда я созвонюсь с тобой.
— В котором часу он придет?
— К восьми.
Наступило молчание.
— Тело Адриены выдадут завтра. Похороны можно назначить на субботу.
О похоронах он забыл.
— Хорошо. До вечера.
— Ты ее видел?
— Да.
— Она что-нибудь сказала?
— Она попросила у меня прощения.
— У тебя?
— Ты удивлен? Однако это правда.
— Что предполагает следователь?
— Он держит свое мнение при себе.
— А Рабю?
— Я бы не сказал, что он в большом восторге.
— Он согласился взять на себя защиту?
— Сразу же. Как только я с ним заговорил.
— До вечера.
— До вечера.
Он взглянул на Бориса, вполголоса обсуждавшего с Ганьоном сомнительную статью. А что, если пригласить какую-нибудь машинистку или телефонистку — из тех, с кем ему уже случалось переспать,— и закатиться с ней на всю ночь в первую попавшуюся конуру?
Нет, людям свойственны предубеждения, и она может отказать.
— До скорого. Верней всего — до завтра.
Всего четыре часа. Он зашел в «Колокольчик».
— Двойное виски?
Пить не хотелось. Он машинально кивнул.
— Двойное? Да, крольчишка, разумеется.
— Вы ее видели?
Бармен знал Мур-мур. Да и как он мог не знать — Мур-мур знали все: она неизменно сидела за стойкой справа от него, локоть к локтю.
— Какой-нибудь час назад.
— Очень она угнетена?
— Ей не хватает только доброго глотка виски.
Бармен не понял, шутит Ален или говорит всерьез. Что, озадачили тебя? Может, даже возмутили? Так тебе и надо! Ошарашивать, шокировать, вызывать возмущение — это вошло у Алена в привычку. Когда-то он делал это нарочно, но за столько лет привык и теперь уже не замечал.
— Похоже, что дождь скоро перестанет.
— А я и не заметил, что он идет.
Он еще с четверть часа просидел, облокотясь на стойку бара, потом вышел, сел в машину и поехал по Елисейским Полям. Подымаясь вверх, к Триумфальной арке, он увидел, что небо и впрямь посветлело, теперь оно было отвратительно-желтого, какого-то гнойникового цвета.
Он свернул на авеню Ваграм, затем на бульвар Курсель. Но оттуда

поехал не налево, к себе, а поставил машину в верхнем конце бульвара Батиньоль.

Загорались огни световых реклам, вывески. Площадь Клиши была хорошо знакома ему, он мог бы рассказать, какой она бывает ночью и какой — днем, в любое время суток: в часы пик, когда становится черной от человеческих толп, изрыгаемых и заглатываемых входами метро, и на рассвете, в шесть утра, когда ее пустынное пространство отдано во власть подметальщиков и бродяг, он знал, как она выглядит зимой, летом, при любой погоде — в солнечный день, под снегом, под дождем.

За восемнадцать лет, что он смотрел на нее в окно своей комнаты, она намозолила ему глаза до тошноты. Вернее, за семнадцать: первый год жизни не в счет, он не доставал головой до подоконника и, кроме того, не умел ходить.

Он свернул в неширокий проход между бистро и обувным магазинчиком. Табличка на двери — сколько он себя помнил, все та же — оповещала:

Оскар Пуато
Зубной врач-хирург
(3-й этаж, направо)

Каждый день, возвращаясь сначала из детского сада, потом из школы и под конец из лицея, он видел эту табличку и на восьмом году жизни поклялся: будь что будет, но зубным врачом он не станет. Ни за что.

Он не решился подняться на лифте, который раза два в неделю непременно портился, так что бедные пассажиры застревали между этажами.

Тяжело ступая, он поднимался по лестнице, на которой не было ковровой дорожки, миновал площадку бельэтажа с выходившим на нее кабинетом мозольного оператора, затем площадку второго этажа, где в каждой комнате ютилось какое-нибудь агентство или бюро, представлявшее некое жалкое, а то и сомнительное предприятие.

Все годы, сколько он себя помнит, в доме была по крайней мере одна контора ростовщика. Ростовщики менялись, жили на разных этажах, но не переводились.

В нем не всколыхнулось никаких чувств. Детские воспоминания не вызывали у него сентиментальной растроганности. Наоборот! Он ненавидел свое детство и, если бы мог, стер его в своей памяти, как стирают мел со школьной доски!

Он не питал неприязни к матери. Просто она была ему почти таким же чужим человеком, как его тетки, которых он мальчиком видел обычно раз в год, летом, когда отец с матерью отправлялись в гости к родителям, жившим в Дижоне.

Деда с материнской стороны звали Жюль Пармерон. Его имя и фамилия красовались на вывеске кондитерской. Тетушки были все одного калибра: приземистые, широкие в кости, с неприветливыми лицами. Улыбались они краешком губ и чуть слащаво.

Он вошел в столовую, которая одновременно служила и гостиной. В настоящей же гостиной была устроена приемная, где ожидали своей очереди больные. Он втянул носом знакомый с детства запах, услышал доносившееся из кабинета отца жужжание бормашины.

Мать, как всегда, была в переднике, который она поспешно сдергивала с себя, идя открывать дверь посторонним. Ален наклонился — он был намного выше матери — и поцеловал ее сначала в одну щеку, потом в другую.

Она не решалась взглянуть ему в глаза.

— Я так расстроена, так расстроена!..— бормотала она, входя в обставленную громоздкой мебелью столовую.

Уж во всяком случае не больше, чем я,— чуть было не сорвалось у него с губ, но это было бы чересчур непочтительно.

— Когда отец угром за завтраком взял газету и увидел, что написано на первой странице, он не смог проглотить больше ни куска.

Хорошо еще, что хоть ему не вырваться сейчас надолго из кабинета; пациенты идут один за другим — по четверти часа на человека.

«Прополощите... Сплюньте...»

Мальчишкой он иногда подслушивал у дверей:

«А это больно?!»

«Ну, что вы! Не думайте, тогда и боли не будет».

Вот как? Значит, и Алену достаточно просто перестать думать?

— Но как это могло случиться, Ален? Такая милая женщина...

— Не знаю, мама.

— Может быть, она это из ревности?

— Никогда не замечал, чтобы она ревновала.

Она наконец осмелилась взглянуть на него, робко, словно боялась увидеть, как он изменился.

— Я бы не сказала, что у тебя измученный вид.

— Нет, я ничего. Ведь всего второй день.

— Они к тебе в редакцию пришли сообщить?

— Домой. Меня ожидал инспектор и препроводил на набережную Орфевр.

— Но ты же ничего не сделал, правда?

— Нет, но им надо было меня расспросить.

Она открыла буфет, достала початую бутылку вина, рюмку. Это была традиция. Кто бы ни приходил в гости.

— А помнишь, Ален?

— О чем, мама?

На одной из картин были изображены коровы посреди лужайки, огороженной примитивной изгородью, мутные краски, убогая живопись.

— О том, что я постоянно твердила. Но ты считал, что ты умнее всех. Настоящей профессии ты так и не приобрел.

Ссылаться на журнал, который она считала чем-то вроде порождения сатаны, было бесполезно, и он смолчал.

— Отец ничего не говорит, но я думаю, теперь он раскаивается, что не сумел вовремя взять тебя в ежовые рукавицы. Он тебе во всем потакал, всегда тебя выгораживал. А мне говорил: «Увидишь, он сам найдет свою дорогу...»

Она шмыгнула носом, вытерла глаза уголком передника. Он опустился на стул, обтянутый тисненой кожей. Она осталась стоять. Как всегда.

— Что же теперь будет, а? Как ты думаешь?

— Суд будет.

— И твое имя начнут трепать на всех углах?

— Наверно.

— Скажи, Ален. Только не лги. Ты ведь знаешь, я сразу догадываюсь, когда ты говоришь неправду. В этом виноват ты, да?

— Что ты имеешь в виду?

— У тебя была связь со свояченицей, и когда жена узнала...

— Нет, мама. Я тут ни при чем.

— Значит, из-за кого-то другого?

— Возможно.

— Кто-нибудь из знакомых?

— Может быть. Она мне не рассказывала.

— А тебе не кажется, что она вообще немножко того? Я бы на твоем месте потребовала, чтоб ее осмотрел психиатр. Нет, нет, она

мне так нравилась: приятная, мягкая, и к тебе вроде была очень привязана. И все же мне всегда казалось, что есть в ней что-то странное.

— Что именно?

— Это объяснить трудно. Понимаешь, она была не такая, как все. Она мне чем-то напоминала мою золовку Гортензию — нет, нет, ты ее никогда не видел,— тот же взгляд, повадка, манера держаться. Она кончила сумасшедшим домом, Гортензия.

Мать прислушалась.

— Посиди минутку. Пациентка сейчас уйдет. Я скажу отцу. Он забежит на минутку, перед следующим больным, тебя поцеловать.

Она вышла в переднюю и почти сразу же вернулась. Следом за ней в дверях появился коренастый, плотный человек с седыми волосами ежиком.

Но ни обнимать, ни целовать сына он не стал. Он редко делал это, даже когда Ален был маленький. Просто он положил руки ему на плечи и посмотрел в глаза.

— Трудно?

Ален попытался улыбнуться:

— Выдержу.

— Это было для тебя неожиданностью?

— Полнейшей.

— Ты видел ее?

— Часа два назад. В кабинете следователя.

— Что она говорит?

— Она отказывается отвечать на вопросы.

— Стреляла действительно она?

— Безусловно.

— Что ты сам предполагаешь?

— Предпочитаю не доискиваться.

— А что муж Адриены?

— Он ко мне вчера вечером приезжал.

— Что родители?

— Отец уже здесь. Я буду с ним сегодня ужинать.

— Он порядочный человек...

Они виделись всего каких-нибудь три-четыре раза, но успели проникнуться взаимной симпатией.

— Держись, сынок, будь мужественным. Пока мы с матерью живы, наш дом — твой дом, ты это знаешь. Ну, мне пора на завод, к станку.

«Заводом» он окрестил свой зубоврачебный кабинет. На прощанье он снова похлопал Алена по плечу и пошел к дверям, полы белого халата путались у него в ногах. Почему он покупает всегда такие длинные халаты?

— Видишь. Не сказал тебе ни слова, но он сам не свой. Пуато все такие — не любят показывать своих чувств. Ты малышом никогда не плакал при мне.

От красного вина его начало мутить, и он движением руки остановил мать, которая уже хотела налить ему вторую рюмку.

— Спасибо. Мне пора ехать.

— Есть кому о тебе заботиться?

— Приходит служанка.

— Впрочем, ты всегда предпочитал есть в ресторанах. Они тебе не испортят желудок, эти рестораны?

— Пока не жалуюсь.

Он встал — голова его пришлась как раз на высоте люстры,— снова наклонился и поцеловал мать в одну щеку, потом в другую.

В дверях он вдруг обернулся, словно вспомнил о чем-то.

— Послушай, мама. Я не могу, конечно, запретить тебе читать газе-

ты. Но все-таки ты не очень-то верь тому, что они там будут писать. Они иной раз такого накрутят... Я в этом деле кое-что смыслю. Ну, ладно. Как-нибудь на днях загляну.

— Будешь держать нас в курсе?

— Разумеется.

Он спустился по истоптанной, вышербленной лестнице. Так, одно дело сделано. Это был его долг. За четверть часа, проведенных им у родителей, на улице поднялся туман, он стлался над мокрой мостовой, окружая расплывчатым ореолом огни фонарей и светящихся вывесок.

Пробежал мальчишка с пачкой газет. Ален не остановил его: желания узнать, что там пишут, не было.

Надо куда-то пойти, где-то убить время. Но где?

Люди вокруг него спешили, обгоняя и толкая друг друга, словно впереди была цель, до которой следовало домчаться в считанные минуты. Он стоял на краю тротуара в холодном тумане и курил сигарету.

Почему? Почему?

■

Слуга Альбер, одетый, как бармен, в белую куртку, принял у него пальто и провел в гостиную. Бланше, в черном костюме, стоял один, посреди комнаты. Должно быть, он ожидал появления тестя, так как при виде Алена в глазах его промелькнуло разочарование.

— Я, кажется, первый?

Ноги его были налиты тяжестью, он чувствовал, что идет, как связанный,— он много выпил после того, как покинул кабинет следователя. Налитые кровью глаза его блестели, и это не укрылось от Бланше.

— Присаживайся.

Гостиная была огромная, с очень высоким потолком, они стояли как среди пустыни. Старомодная, по-видимому казенная, мебель лишь усиливала ощущение бесприютности. Света громадной хрустальной люстры не хватало, чтобы разогнать темноту, и в углах затаились тени.

Они смотрели друг на друга, но руки не протягивали.

— Он будет с минуты на минуту.

К счастью, он и в самом деле не заставил себя ждать. Раздался звонок, послышались шаги Альбера, стук открываемой двери. Наконец слуга ввел в гостиную человека, не уступавшего ростом Бланше, но сухопарого и слегка сутулого, с бледным, тонким лицом.

Костлявыми пальцами он крепко, с какой-то настойчивостью пожал руку Алену. Затем, все так же молча, подошел и протянул руку второму своему зятю, после чего вдруг закашлялся, прикрыв рот носовым платком.

— Не обращайте внимания. Жена лежит больная, с бронхитом. Врач запретил ей ехать. Да так оно, пожалуй, и лучше. А я тоже вот подхватил простуду и никак не отделаюсь.

— Может быть, пройдем ко мне в кабинет?

Кабинет был обставлен мебелью стиля «ампир», но выглядел так же казенно, как и гостиная.

— Что будете пить, мосье Фаж?

— Все равно. Немножко портвейна, если у вас найдется.

— А ты?

— Шотландское виски.

Бланше мгновение поколебался, потом пожал плечами.

Андре Фаж был моложав, на тонко очерченном лице ни единой морщинки, только зачесанные назад волосы густо присыпаны сединой. В нем чувствовался человек уравновешенный и мягкий — словом, типичный интеллигент в общепринятом представлении.

Альбер наполнил бокалы. Фаж посмотрел поочередно на Алена и на Бланше и, как бы подытоживая свои мысли, заметил:

— Вы попали в скверную переделку, а я потерял обеих дочерей. Я даже не знаю, которую мне больше жаль.

Голос его, глухой от сдерживаемого волнения, казалось, проходил сквозь войлок. Он остановил взгляд на Алене.

— Вы говорили с ней?

Ален так редко виделся с тестем, что держался с ним почти как чужой.

— Да, сегодня днем в кабинете у следователя.

— И как она?

— Я был поражен ее спокойствием, самообладанием, тем, как она одета. Вид у нее был такой, словно она пришла с визитом.

— Узнаю Жаклину! Она была такой с самого детства. Еще совсем маленькой, когда у нее случалось какое-нибудь ребячье горе, забьется, бывало, в темный уголок — иной раз даже в стенной шкаф залезала — и сидит там, пока не успокоится и не возьмет себя в руки, а потом выйдет — и как ни в чем не бывало.

Он пригубил портвейн и поставил бокал.

— Вчера и сегодня я старался не заглядывать в газеты. Теперь я не скоро смогу их читать.

— А как вы узнали?

— От нашего полицейского комиссара. Он счел своим долгом самолично прийти ко мне и сделал это очень тактично. Жена у меня больна, как я вам говорил. Я просидел возле нее почти всю ночь, мы разговаривали вполголоса, словно это случилось у нас в доме.

Он осмотрелся по сторонам.

— Где же это произошло? — обратился он к Бланше.

— В спальне, вернее, в маленьком будуаре рядом со спальней.

— А где дети?

— Ужинают с Нана в комнате для игр.

— Они знают?

— Пока что нет. Я им сказал, что с мамой произошел несчастный случай.

Дети! Шестилетний Бобо и трехлетняя кроха Нелли.

— Да, это от них не уйдет.

— Тело привезут завтра рано утром. Похороны — в субботу в десять часов.

— Церковные?

Фаж был неверующим, и дочери его воспитывались в духе атеизма.

— Да, я заказал мессу с публичным отпущением грехов.

Ален почувствовал себя лишним. Зачем он тут торчит? И тем не менее он не сделал попытку уйти: слишком сильно было обаяние личности Фажа. Он всегда испытывал симпатию к тестю, они могли бы стать друзьями. Кстати, ведь, кажется, Фаж защищал диссертацию о трогательной привязанности Бодлера к своей матери!

Ален слушал, не чувствуя желания вступить в разговор. Собеседники были внутренне так между собой несхожи, что вряд ли понимали друг друга. Особенно это относилось к Бланше. Люди с разных планет.

А может, это он не такой, как все? Но ведь он, как и они, женат, у него ребенок, загородная вилла. И работает он с раннего утра до позднего вечера, а случается, и до ночи.

Лампы светили тускло. Или это ему так кажется? Со вчерашнего дня ему всюду темно. Такое чувство, точно ты заперт в сумрачном помещении, а чужие слова доносятся откуда-то издалека.

— Ужин подан, мосье.

У Альбера появились на руках белые перчатки. Длинный стол, должно быть, на двенадцать персон, был сервирован серебром и хрусталем. Посередине возвышалась ваза с цветами. Неужели Бланше еще в состоянии думать о цветах? Или сработал автоматический механизм заведенного в доме порядка, а хозяин тут ни при чем?

Они разместились довольно далеко друг от друга. Фаж, сидевший во главе стола, склонился над своей тарелкой супа.

— Вы не знаете, она очень мучилась?

— Врач сказал, что нет.

— Когда она была подростком, я звал ее Спящей Красавицей. Ей не хватало живости, кокетливости, того женственного очарования, которым так щедро наделена Жаклина. Она словно спала наяву и от этого была какая-то вялая.

В памяти Алена невольно возник образ Адриены в разные минуты их знакомства и затем связи. Он сравнил свои воспоминания с портретом, нарисованным ее отцом.

— Она редко играла в детские игры, могла часами сидеть у окна, глядя на облака.

«Тебе не скучно, дочурка?»

«Мне? Нет, не скучно».

Нас с женой иногда тревожило, что она такая тихая. Мы боялись, не носит ли ее апатия болезненного характера. Но наш врач, доктор Марнье, успокоил нас на этот счет.

«Погодите жаловаться,— сказал он.— Когда она проснется, ей удержу не будет. Ваша девочка живет напряженной, очень интенсивной внутренней жизнью».

Воцарилось молчание. Бланше воспользовался им, чтобы в свою очередь прочистить горло, правда, кашлял он не так долго, как его тесть. Альбер подал рыбное филе.

— Потом между сестрами вспыхнуло соперничество, они начали враждовать, хотя мы делали все, чтобы избежать этого. Я думаю, так бывает между детьми во всех семьях. Началось это с того дня, когда Жаклине было разрешено ложиться спать на час позже, чем сестре. Адриена заупрямилась: она тоже не будет спать. Бунт продолжался несколько месяцев. У нее слипались глаза, но она боролась со сном и не засыпала. Кончилось тем, что мы пошли на компромисс: стали укладывать их в одно время, на полчаса раньше, чем полагалось Жаклине, на полчаса позже, чем полагалось Адриене.

— Вы несправедливо обошлись с Жаклиной,— заметил Ален.

Он сам удивился, что назвал жену Жаклиной, а не Мур-мур, как обычно.

— Я знаю. Когда имеешь дело с детьми, несправедливость неизбежна. Тринадцати лет Адриена потребовала, чтобы ее одевали точно так же, как и сестру, хотя той было уже шестнадцать. Прошло еще два года, и Адриена стала курить. Мы с женой старались проявить максимум терпимости, не делали различия между старшей и младшей. Мы считали, что, если они открыто взбунтуются против нашей родительской власти, будет хуже.

Взгляд его застыл, устремленный в одну точку. Перед ним вдруг предстало настоящее.

— Хотя что могло быть хуже того, что случилось теперь,— добавил он упавшим голосом.

Он посмотрел на одного зятя, потом на другого.

— Я не знаю, кого из вас двоих жалеть больше.

Лицо его омрачилось, и он принялся за еду. Теперь за столом слышно было только постукивание вилок по фарфору.

Альбер убрал опустевшие тарелки, поставил на стол жаркое из куропаток, налил в бокалы бургундское.

— Я ездил посмотреть на нее. Туда,— проговорил Бланше.

Туда, то есть в институт судебно-медицинской экспертизы. Алену случалось там бывать. Металлические шкафы с ящиками, похожие на стеллажи для картотеки, только в ящиках трупы.

— Нет, я бы не мог,— пробормотал отец.

Может, все это не на самом деле? Может, это во сне? Привиделась сцена из какого-то спектакля: три актера в убийственно медленном темпе играют свои роли, то и дело перемежая реплики невыносимо долгими паузами. Ален едва удерживался, чтобы не вскочить, не закричать, не замахать руками. Надо немедленно что-то сделать — хватить, скажем, тарелку об пол, только бы очнуться от этого бреда, вернуться к жизни.

Собственно, они говорили о разных существах. Фаж — о своих двух малышках, девочках, подростках. О своих двух дочерях.

— Когда-то я мечтал, что у моих детей не будет от меня тайн, я хотел быть наперсником их секретов, их другом, который может быть им полезен.

Он задумался, повернулся к Бланше.

— Адриена была с вами откровенна?

— Н-нет. Не слишком. Она не испытывала потребности в душевных излияниях.

— А с вашими друзьями?

— Она была хорошей хозяйкой дома, хотя всегда держалась в тени. Мы почти не замечали ее присутствия.

— Вот видите! Она осталась прежней. Она жила в своем внутреннем мире, бессильная открыть его кому бы то ни было. А Жаклина, Ален?

Он молчал, не зная, что ответить. Он боялся причинить боль этому человеку, принявшему с такой целомудренной кротостью нанесенный ему судьбою удар.

— Мур-мур... Так я ее звал...

— Да, знаю.

— Мур-мур очень дорожила своей независимостью, оттого она и журналистику не захотела бросить. Работа была той сферой ее бытия, куда для меня доступ был закрыт. Она никогда не обращалась ко мне за помощью или советом. Какую-то часть суток она всецело отдавала своим делам. Этими часами она распоряжалась полновластно, но в остальное время не отходила от меня ни на шаг.

— То, что вы рассказываете, очень любопытно. Я будто сейчас вижу, как она пристроилась на кресле у меня в кабинете и учит уроки. Входила она всегда так бесшумно, что я каждый раз вздрагивал от неожиданности, когда, подняв голову, обнаруживал ее сидящей напротив меня.

«Пришла поговорить?»

«Нет».

«Ты уверена, что ничего не собиралась мне сказать?» Она отрицательно качала головой. Ей достаточно было сидеть у меня в кабинете — вот и все. И я опять принимался за работу. Когда она сообщила нам, что решила продолжать образование в Париже, я понял: она не хочет учиться в Эксе, потому что тут она всегда будет профессорской дочкой.

Неправда! Просто Мур-мур решила по-своему устроить свою жизнь.

— Разумеется, Адриена и здесь не захотела отстать. Так мы с женой оказались одни, как раз тогда, когда надеялись, что дочери станут утешением нашей старости.

Он опять перевел взгляд с одного своего зятя на другого.

— Но они предпочли вас.

Что было на десерт, Ален не заметил. Они поднялись из-за стола и вместе с хозяином проследовали в кабинет, где им предложили гаванские сигары.

— Кофе будете пить?

Ален не решался покоситься на свои часы. Маятник стоячих часов в стиле «ампир» был остановлен.

— Я никогда не вмешивался в их дела. Не требовал, чтобы они писали мне чаще, подробней. Скажите, они встречались после замужества?

Ален и Бланше вопросительно переглянулись.

— Жаклина иногда приезжала к нам вместе с Аленом,— сказал Бланше.— Но не часто.

— В среднем, раза два в год,— уточнил Ален.

Зятю почудился в его словах упрек.

— Мы всегда были вам рады, ты это знаешь.

— И у вас и у нас хватало своих дел.

— Они перезванивались. Думаю, что они даже время от времени встречались где-нибудь в городе выпить чашку чая.

Ален мог бы поклясться, что за все семь лет они вряд ли встретились в городе больше двух раз.

— Мы виделись в театрах, в ресторанах.

Фаж опять перевел взгляд с одного на другого, но по его глазам нельзя было догадаться, о чем он думает.

— Уик-энды вы проводили у себя на вилле, Ален?

— Иной раз и часть недели тоже.

— Как поживает Патрик?

— Стал совсем взрослым.

— Он знаком со своим двоюродным братом и сестрой?

— Да, они видались.

Фаж не спросил, сколько раз, и хорошо сделал. Должно быть, и он чувствовал себя здесь не в своей тарелке: слишком уж все в этом доме походило на театральную декорацию и слишком уж трудно было судить по его обстановке о том, чем была наполнена повседневная жизнь его обитателей.

Внезапно, безо всякого перехода он вернулся к главному:

— Значит, она так и не сказала почему?

Ален отрицательно покачал головой.

— И никто из вас не догадывается?

Ответом было молчание, еще более глубокое, чем после первого вопроса.

— Возможно, Жаклина все-таки заговорит?

— Сомневаюсь,— вздохнул Ален.

— Как вы полагаете, свидание мне разрешат?

— Безусловно. Обратитесь к следователю Бенитэ. Он очень приличный человек.

— Как знать, быть может, мне она откроется?

Но он и сам сомневался в этом и только грустно улыбнулся. Он был очень бледен, губы казались бескровными, и потому несмотря на свой рост он выглядел немощным.

— По правде говоря, мне думается, что я ее понял.

Он снова посмотрел на них — сначала на одного, потом на другого. Алену почудилось, что во взгляде, адресованном ему, было больше симпатии,— на Бланше тесть посмотрел более холодно. Но кроме симпатии было еще и любопытство, а быть может, и подозрение.

— Что ж, так оно, возможно, лучше...— закончил он, вздохнув.

Сигару взял только сам Бланше — от ее приторного, тяжелого аромата в комнате стало душно. Ален приканчивал не то четвертую, не то пятую сигарету. Фаж не курил. Достав из кармана коробочку, он положил в рот таблетку.

— Велеть принести вам стакан воды?

— Не беспокойтесь. Я привык. Это антиспазматическое. Ничего страшного.

Разговор иссяк. Бланше открыл шкаф, служивший баром.

— Что бы такого вам предложить? У меня есть бутылка старого арманьяка...

— Нет, благодарю.

— Спасибо, не хочется.

Отказ, видимо, сильно задел Бланше: на секунду он даже замер в каком-то остолбенении, большой, рыхлый, похожий на разобиженного толстого мальчика.

— Простите,— придя в себя, обратился он к Фажу,— что я не предложил вам с самого начала. Быть может, у меня вам будет лучше, чем в отеле? У нас есть комната для гостей.

— Благодарю. Но я привык к «Лютеции» — ведь я останавливаюсь там уже не первый год. Я познакомился с этой гостиницей еще студентом, в дни моих первых приездов в Париж. Ее постояльцами были чуть ли не все мои товарищи и профессора. Только вот внешне она с тех пор подалась, так же, как и я...

Он встал, и его худое тело распрямилось, словно аккордеон.

— Мне пора. Я признателен вам обоим.

Все то же непроницаемое выражение лица. О чем он думает? Он их почти не расспрашивал. И возможно, не только потому, что боялся быть нескромным.

— Я тоже еду,— заявил Ален.

— Может, побудешь еще немного?

Уж не хочет ли Бланше ему что-то сообщить? Нет, наверно, боится, как бы Ален наедине с тестем не сболтнул лишнего.

— Мне завтра рано вставать.

Альбер подал им пальто.

— Гроб будет утром установлен в гостиной.

В открытые двери был виден уже приготовленный катафалк. Он казался огромным. Глядя на него, отец уже представляет себе, наверно, черные драпировки, на траурном постаменте одинокий гроб и горящие вокруг него высокие свечи.

— Благодарю, Ролан.

— Спокойной ночи, мосье Фаж.

Спускаясь по лестнице, Ален учтиво держался позади тестя.

Потом под ногами у них заскрипел гравий — они шли по тупичку, обрамленному черными, как антрацит, деревьями. С ветвей капала вода.

— До свиданья, Ален...

— Я на машине. Может быть, подвезти вас?

— Благодарю. Мне нужно побыть одному.

Фаж смотрел на пустынный, все еще поблескивавший от дождя асфальт и со вздохом, как бы обращаясь к самому себе, повторил:

— Мне нужно побыть одному.

Алену вдруг стало зябко. Он поспешно пожал протянутую ему костлявую руку и бросился в машину.

Еще один камень на сердце. Хороший урок ему преподали, и он чувствовал себя провинившимся школьником.

Ему бы тоже не мешало побыть одному, но не хватало мужества. Он вел машину вперед с одной мыслью — заехать в бар, чтобы вокруг

были люди, неважно кто, но чтобы рядом были люди. Из тех, кому он небрежно бросал:

«Привет, кролики!»

Ему тут же освободят местечко, официант склонится к нему:

«Двойную, мосье Ален?»

Ему было стыдно. Он ничего не мог с собой поделать.

V

Зазвенел звонок — далеко-далеко и где-то совсем близко; потом стало тихо, и опять — трезвон. Кто-то ему сигналит. Кто бы это мог ему сигналить? Он не в состоянии пошевелиться, его засунули в темную, тесную трубу. Дико болит голова: верно, ударили чем-то тупым.

Это продолжалось долго. Наконец, он сообразил, что лежит у себя на кровати. Он встал, и его шатнуло.

На подушке рядом лохматилась рыжеволосая голова. Он стоял совсем голый. Теперь до него дошло, что звонит звонок в передней. Он поискал глазами халат, обнаружил его на полу и стал надевать, не попадая в рукава.

Выйдя в гостиную, он взглянул в окно. Над Парижем брезжил рассвет, окаймляя узенькой желтой полоской темное море крыш. Звонок загремел опять, но Ален уже открывал дверь. Перед ним стояла незнакомая молодая женщина.

— Привратница, конечно, меня предупреждала...

— О чем?

— Что придется долго звонить. Лучше будет, если вы мне дадите ключ.

Он не мог взять в толк, о чем идет речь. Голова раскалывалась. Он одурело смотрел на маленькую толстушку. Она встретила его взгляд не робея, мало того — еле удерживаясь от смеха.

— Сразу заметно, не очень-то вы рано спать улеглись,— заключила она.

Она сняла свое грубошерстное синее пальто. Он не решался спросить, кто она такая.

— Разве привратница не сказала вам про меня?

Ему казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как он видел привратницу последний раз.

— Я ваша новая приходящая. Меня зовут Минна.

Она положила на стол пакет, завернутый в шелковистую бумагу.

— Если не ошибаюсь, вас надо разбудить в восемь и подать кофе с рогаликами. Кофе вы пьете много? Где у вас кухня?

— Она очень тесная. Сюда.

— А пылесос?

— В стенном шкафу.

— Вы снова ляжете?

— Да, попытаюсь уснуть.

— Разбудить вас ровно в восемь?

— Не знаю. Нет. Я вас позову.

Акцент выдавал в ней уроженку Брюсселя. Алену даже захотелось спросить, не фламандка ли она, но нет, все это чересчур сложно.

— Делайте, что найдете нужным.

Он вернулся в спальню, притворил дверь, уставился, хмуря брови, на рыжую голову, но выяснение этого вопроса отложил тоже на потом.

Поскорей две таблетки аспирина. Он разжевал их, помня объяснение врача: через слизистую оболочку рта лекарства всасываются быстрее, чем через желудок. И запил таблетки водой из-под крана.

За дверью висела его пижама. Увидев ее, он скинул халат и переоделся.

Сколько ни силился, он ничего не мог припомнить. За всю жизнь такое случалось с ним всего раза два-три, не больше. Ванна была наполнена мыльной водой. Кто принимал ванну? Он сам или рыжеволосая незнакомка?

Ужинал у этого кретина Бланше. Бр-р-р! Вспомнить жутко! Вероятно, ушел, хлопнув дверью? Нет... нет... Он вдруг увидел, как стоит на тротуаре рядом с Фажем. Отличный малый! Такому всю душу открыть можно.

Да, конечно. Люди считают, что ему, Алену, все трын-трава — ведь он циник, и все же, не будь Фаж его тестем...

Снова возникла перед его глазами фигура Фажа в длинном сером пальто, удалявшаяся, растворяясь во мраке ночной улицы. Потом Ален пил. Неподалеку. В каком-то незнакомом кафе, первом попавшемся на пути. Обычно он в такие кафе никогда не заглядывал. Несколько завсегдатаев — с виду чиновники — играли в карты. Они с удивлением поглядывали на него. Ему было все равно. Вероятно, его узнали по фотографиям в газетах.

— Двойную!

— Двойную? Чего именно?

— Образования не хватает?

Хозяин и бровью не повел.

— Если вы хотите, чтоб я налил вам из первой попавшейся бутылки...

— Виски.

— Так бы сразу и сказали. «Перрье» *?

— «Перрье» я у вас не просил.

Он набивался на скандал. Надо было сорвать на ком-нибудь сердце.

— Вода у вас, а не виски.

— А вы когда-нибудь в жизни пили воду?

Нет, здесь он явно ни на кого не способен произвести впечатление.

— И все-таки это не виски, а вода из-под крана.

Одной стопки ему показалось мало. Он выпил три или четыре. И когда он двинулся к выходу, все смотрели ему вслед.

Он оглянулся — нарочно, назло. Ну и кретины. Серийного выпуска по образцу Бланше, только на несколько ступенек ниже. Он показал им язык. Потом долго не мог отыскать свою машину. Красную, а то какую же. Желтая — это машина Мур-мур. Она в гараже. Жене она теперь не скоро понадобится.

Он попробовал представить себе жену и свояченицу девочками, это показалось ему забавным и даже чуточку непристойным. В каком месте он пересек Сену? Он вспомнил, как ехал по мосту, луна выглянула между облаков, расплескав дрожащий блеск по воде.

Он ехал разыскивать своих друзей-приятелей. Он знал наперечет все кафе и бары, где их можно найти. Кого именно — не все ли равно. У какого человека на свете больше приятелей, чем у него?

Не надо было жениться. Одно из двух: либо ты женишься, либо ты...

«Как никого?»

«Я их сегодня не видел, мосье Ален. Двойную?»

«Ладно, крольчишка, наливай».

Почему бы и не выпить. Больше ему ничего не остается. Никому он не нужен. Даже в редакции сегодня прекрасно обходились без него.

---

* Название минеральной воды типа нарзана.

Борис великолепно справлялся сам. Занятная личность этот Борис. Кругом, куда ни плюнь, сплошь занятные личности.

«Прощай, Поль».

«Спокойной ночи, мосье Ален».

Это, кажется, было в кафе «У Жермены», на улице Понтье. Оттуда...

Он принял третью таблетку аспирина, почистил зубы, прополоскал рот, чтобы избавиться от противного вкуса. Умылся холодной водой, причесал волосы. До чего же мерзкая рожа. Просто противно.

Потом он еще куда-то заезжал. Куда? Все как сквозь землю провалились. За целую ночь он не встретил никого из своей компании. Куда они подевались? Может, нарочно, чтобы случайно не встретиться с ним? Боятся, как бы их не увидели вместе?

Он вернулся в спальню, подобрал с ковра узенькие дамские трусики и бюстгальтер, положил их на стул, приподнял одеяло.

Лицо было незнакомое, совсем юное, во сне оно хранило выражение чистоты и невинности. Губы вытянуты вперед, как у надувшейся маленькой девочки.

Кто она такая? Как очутилась здесь?

Он покачнулся и подумал, не лучше ли снова лечь и уснуть. Набрякшие веки отяжелели — мерзкое ощущение.

Он вернулся в гостиную. Минна уже начала уборку. Она сняла с себя платье и переоделась в нейлоновый халатик, довольно прозрачный, во всяком случае сквозь ткань густо чернели подмышки.

— Как вас зовут?

— Минна. Я уже вам говорила.

Почему ее все время разбирает смех? Может, она ненормальная?

— Хорошо, Минна. Сварите мне кофе, только покрепче.

— Да, сегодня он вам не помешает.

Он не обиделся. Она пошла на кухню, а он, глядя на ее колышущиеся бедра, подумал, что как-нибудь непременно займется ею. У него еще ни разу в жизни не было любовного приключения со служанкой. Почему-то служанками у них всегда бывали женщины немолодые, ему припоминались поблекшие, неулыбчивые, горестные лица. Вероятно, у этих созданий в прошлом были одни несчастья, и за это они ненавидели весь мир.

Желтая полоска на небе стала шире, а желтизна засветилась. Дождь давно перестал. За последние дни такой видимости по утрам не было — он даже различал вдали башни собора Парижской богоматери.

Кажется, ему кто-то должен позвонить, всплыла обрывочная одинокая мысль. Да, ему должны звонить. И по важному делу. Он дал слово, что никуда не уйдет, пока не дождется звонка.

Из кухни знакомо и уютно запахло кофе. Минна, конечно, не догадается, что он пьет кофе из большой синей чашки — сколько магазинов он обошел, прежде чем нашел чашку, куда влезало в три раза больше, чем в обычную кофейную.

Он направился в кухню. По взгляду Минны он понял, что она сочла его появление лишь предлогом. На ее лице не отразилось ни смущения, ни испуга. Она ждала, стоя к нему спиной.

Он открыл дверцу стенного шкафа.

— Моя чашка — вот. По утрам я пью только из нее.

— Хорошо, мосье.

Она снова чуть не прыснула. В чем дело? Что ей наплели про него? Ей наверняка что-то про него наговорили. Про него теперь говорят все — говорят тысячи, десятки тысяч людей.

— Сейчас подам.

Когда она вошла, он гасил в пепельнице сигарету. Вкус у табака был отвратительный.

— Нынче ночью вам небось и поспать-то не пришлось по-настоящему?

Он кивнул, подтверждая ее предположение.

— Она-то, наверно, еще не проснулась?

— А откуда вы знаете, что у меня в спальне кто-то есть?

Она прошла в угол и подняла с пола оранжевую атласную туфлю на высоченном каблуке-гвоздике.

— Их же должно быть две? Разве не так?

— Гипотеза весьма правдоподобная.

Она фыркнула.

— Вот умора!

— Умора? Что умора?

— Так, ничего. Все. Вы смешной.

Он обжегся своим кофе.

— Сколько вам лет?

— Двадцать два.

— Давно в Париже?

— Пока только еще полгода.

Он не осмелился спросить, чем она эти полгода занималась. Он недоумевал, зачем ей понадобилось идти в прислуги.

— Мне правильно сказали, что вам нужна приходящая и только на утренние часы, да?

Он пожал плечами.

— Мне все равно. А вам?

— Я ищу места, чтобы на весь день.

— Пожалуйста.

— А платить тоже будете вдвойне?

Кофе немного поостыл, и он начал пить маленькими глотками. Сначала его чуть не вырвало, потом тошнота прошла.

— А ваша дама не рассердится?

— Вот уж чего не знаю, так не знаю.

— Вы ее сейчас пойдете будить?

— Наверно. Так, наверно, будет лучше.

— Тогда я заварю еще кофе. Через минуту будет готов. Вы меня позовете.

Он снова проводил взглядом ее вертлявый зад и вошел в спальню. Притворив за собой дверь, он приблизился к постели и потянул за край простыни.

Рыжеволосая открыла один глаз, зеленовато-голубой, медленно оглядевший его с ног до головы. На лице Алена глаз задержался.

— Хэлло, Ален,— проговорила неизвестная глуховатым голосом, продолжая лежать все так же неподвижно.

Она хоть что-то помнила. Значит, если она и была пьяна, но все же не так, как он.

— Который час?

— Не знаю. Это неважно.

Теперь на него смотрели оба глаза. Она сбросила простыню, открыв небольшие упругие груди с розовыми, едва выступающими сосками.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.

— Скверно!

— Сам виноват.

Она говорила с чуть заметным английским акцентом, и он поинтересовался:

— Ты англичанка?

— По материнской линии.

— Как тебя звать?

— Забыл? Бесси...
— А где мы встретились?
Он опустился на край кровати.
— Кофе у тебя, случайно, в доме не водится?
Он с трудом поднялся, с трудом дошел до гостиной, потом до кухни.
— Минна, вы оказались правы. Она просит кофе.
— Сейчас принесу. И рогалики подать? Привратница сказала, чтобы я обязательно купила вам рогаликов.
— Раз принесли, давайте.
Он вернулся в спальню. Измятая постель была пуста. Бесси, совершенно нагая, вышла из ванной и снова улеглась, прикрыв простыней ноги до колен.
— Чья это зубная щетка, слева от зеркала?
— Если зеленая, то жены.
— Твоей жены? Той самой, что...
— Да. Моей жены, той самой, что.
В дверь постучали. Бесси не шелохнулась. Вошла Минна с подносом в руках.
— Куда поставить?
— Дайте сюда.
Они посмотрели друг на друга с любопытством, но безо всякого чувства неловкости.
— Она давно у тебя?— спросила Бесси, когда служанка вышла.
— С сегодняшнего дня. Я увидел ее в первый раз полчаса назад, выйдя на ее звонок открыть дверь.
Она жадно пила кофе.
— Ты, кажется, о чем-то меня спрашивал?
— Да. Где мы встретились?
— В кафе «Погремушка».
— На улице Нотр-Дам-де-Лоретт? Чудно́. Я там никогда не бываю.
— Ты кого-то искал.
— Кого?
— Ты не сказал. Только все твердил, что тебе очень важно разыскать его.
— А кем ты у них там? Такси-гёрл?
— Нет, я танцовщица. Вчера я была не одна.
— Кто с тобой был?
— Два твоих приятеля. Одного зовут Боб...
— Демари?
— По-моему, да. Он писатель.
Ага, значит, Демари. Два года назад он получил премию Ренодо и теперь сотрудничал в журнале «Ты».
— А второй кто?
— Погоди. Фотограф какой-то. Несчастный такой, больной, что ли. Голова еще у него чуть набок.
— Жюльен Бур?
— Может, и так, не помню.
— В измятом костюме?
— Ага.
Бур всегда ходил в измятом костюме, и лицо у него казалось перекошенным, возможно оттого, что он держал голову набок.

Занятный тип этот Бур. Лучшие фото в журнале принадлежали ему. Он умел подать наготу в своих снимках так, что никому бы и в голову не пришло говорить о непристойности. Пусть этим занимаются другие журналы — «Ты» стремился войти в доверие к людям. В его фотографиях должны были узнавать себя самые обыкновенные девушки и женщины. Скажем, изображена на снимке спящая молодая девушка, она

лежит чуть небрежно, рубашка соскользнула с плеча, видна грудь. Но, заметьте, только одна, как своего рода ценность, одна из величайших ценностей, подаренных природой человечеству. Идеи поставлял своим сотрудникам Ален.

«Тексты должны производить такое впечатление, будто это письма наших читательниц».

Никаких изысков. На фото — если комната, то такая, в каких живет большинство читателей. Если женское лицо, то без излишней косметики: ни накладных ресниц, ни ярко накрашенных полуоткрытых губ, за которыми поблескивают ослепительные зубы.

Идея журнала осенила его как-то днем, в квартирке на улице Лоншан, когда он глядел на одевавшуюся свояченицу. В то время он еще занимался журналистикой — поставлял заметки о театральной жизни, об артистах кабаре, высидел несколько песенок.

Тогда же родилось и название.

«А ты вот... ты...» — произнес он вполголоса.

«Что я? Не такая, как все?»

В том-то и дело, что она была совершенно такая, как все.

«Мне пришла в голову одна мысль. Основать журнал. В следующий раз я тебе расскажу».

Он сам возился с макетом будущего издания, сам написал все тексты. С Буром он еще не был знаком, и пришлось немало поучиться, прежде чем он добился от журнальных фотографов того, что ему было нужно.

«Да нет, старик. Какая же это невинная девушка?!»

«А ты попробуй уговори невинную девушку показать тебе свой голый зад!»

Знакомый владелец типографии предоставил ему кредит. Люзен, впоследствии ставший у него агентом по рекламе, разыскал свободную квартиру на пятом этаже дома на улице Мариньян.

— О чем ты задумался? — спросила Бесси, жуя рогалик.

— А у меня вид, будто я о чем-то думаю? Скажи, что я там вытворял?

— Все распространялся про какого-то парня — вот, мол, у кого голова.

— А как его зовут, я не говорил?

— Ты упомянул, что ужинал с ним.

— С тестем, что ли?

— Может быть, не знаю. Ты все хотел ему рассказать что-то очень важное. Твердил, что важно все, абсолютно все. А потом усадил меня рядом с собой и стал лапать.

— А кавалеры твои не возражали?

— Фотограф, видно, разозлился. Ты опрокинул свое виски, и он упрекнул тебя, что ты слишком много пьешь. А ты ему — «заткнись, не то я тебя так по морде съезжу, своих не узнаешь». И обругал его чудно как-то, я такого ругательства никогда не слыхала. Постой. Да, вспомнила. Ты ему крикнул: «Присосок вонючий!» Я уж думала — подеретесь. Но прибежал официант, и фотограф сразу ушел.

— А Демари?

— Посидел еще минут пять и тоже распрощался.

— Ну и что потом?

— Ты велел подать большую бутылку шампанского. Ты заявил, что вообще-то шампанское — дерьмо, но в честь такого дня полагается пить шампанское. И почти всю бутылку выдул сам. А я бокала три-четыре.

— Тоже небось надралась?

— Немножко. В самый раз.

— А машину кто вел? Я?

— Нет, хозяин кабаре помешал тебе. Вы стояли на тротуаре и спорили — долго. Потом тебе надоело, и мы поехали на такси.— Она выпила кофе, и он взял у нее поднос.

— А у нас с тобой что-нибудь было?

— Не помнишь?

— Нет.

— Я почти спала. А ты был как бешеный. Орал на меня: «Шевелись, черт тебя подери! Шевелись, дрянь ты этакая!» До того рассвирепел, что влепил мне пару затрещин. И все орешь: «Шевелись, стерва!» И надо же, подействовало!

Она рассмеялась, глядя на него блестящими глазами.

— А ванну кто принимал?

— Оба.

— Что, вместе?

— Ну да. Уперся: вдвоем и вдвоем. А после ванны пошел и еще себе виски налил. Неужели ты уже выспался?

— Голова кружится. Какой-то я весь разбитый.

— Прими таблетку аспирина.

— Я уже принял три.

— Звонили тебе по телефону?

— Нет. Не знаю даже, кто мне должен звонить.

— Ты раз десять вспоминал про этот звонок и каждый раз хмурился.

Он машинально поглаживал ее по бедру.

На этой кровати никогда не спала ни одна женщина, кроме Мур-мур. А Мур-мур спала на ней всего две ночи назад. Какой сегодня день?

Наверно, он все-таки нехорошо поступил, что привел ее сюда. Ладно, это он обдумает после. Глаза у него слипались.

Он снова лег в постель. Ему сразу стало легче. За стеной слышалось слабое гудение пылесоса. Его рука протянулась, нащупала бедро Бесси. Кожа у нее была такая же белая и нежная, как у Адриены.

Но думать о жене и свояченице теперь не хотелось. Раза два или три ему казалось, что он уже засыпает, но потом он сознавал, что не спит, что лишь задремал на минуту. В мире много странного, много всякой мути, ну и пусть, но мир существует. Вот слышно даже далекое рычание автобусов и время от времени — визг тормозов.

Он изогнулся, вывернулся, стягивая с себя пижаму, скомкал ее и бросил поверх простыней, в изножие кровати.

Он почувствовал, как Бесси прижалась к нему всем своим жарким телом. Он не шевелился. Он боялся очнуться от внезапного ощущения блаженства, но пальцы ее с острыми ноготками повели его за собой, и он нырнул в нее.

■

На этот раз он тотчас сообразил, что звонит телефон, и проснулся мгновенно. Протягивая руку к трубке аппарата, он кинул взгляд на часы. Они показывали одиннадцать.

— Алло! Ален Пуато слушает.

— Говорит Рабю. Я звонил к вам в редакцию. Я еще в тюрьме Птит-Рокетт. Сейчас еду к себе. Неплохо, если бы вы через полчасика могли быть у меня.

— Что-нибудь новое?

— Смотря что считать новым. Вы мне нужны.

— Хорошо, буду. Возможно, немного опоздаю.

— Особенно не задерживайтесь. У меня после вас еще одна встреча. А в два часа я выступаю в суде.

Он спрыгнул с кровати, встал под душ. Он еще мылся, когда в ванную вошла Бесси.

Накинув на плечи мохнатый купальный халат, он взялся за бритву.

— Ты надолго?

— Не могу сказать. Скорей всего на весь день.

— А мне что делать?

— Что хочешь.

— Можно, я еще посплю.

— Пожалуйста.

— Мне вечером быть здесь?

— Нет. Сегодня не надо.

— А когда надо?

— Там видно будет. Оставь свой телефон. Денег дать?

— Я пошла с тобой не из-за денег.

— Я не спрашиваю, из-за чего ты пошла. Мне все равно. Нужны тебе деньги?

— Нет.

— Хорошо. Налей мне виски. В гостиной стоит шкафчик, который служит баром.

— Когда мы вернулись ночью, я обратила на него внимание. Можно выйти туда в таком виде?

Он пожал плечами. Минут через пять он уже натягивал брюки. Разбавив виски водой, он выпил стакан смаху, как пьют неприятное лекарство. Внезапно вспомнилось, что сегодня у него нет машины. Придется потом заехать за ней на улицу Нотр-Дам-де-Лоретт.

— Ты уж меня извини, крольчонок. Тут дело серьезное.

— Догадываюсь. А кто это?

— Адвокат.

— Твоей жены?

Он вышел в гостиную.

— Значит, вы нанимаете меня на полный день?

— Да, мы ведь договорились. Ваш ключ — в кухне на столе. К восьми утра приготовить кофе с рогаликами, будить — в восемь.

Он мчался по лестнице, перепрыгивая через три-четыре ступеньки, на углу поймал такси.

— Бульвар Сен-Жермен, сто шестнадцать. Кажется, так.

Верно, дом 116, он ничего не перепутал. Вспомнив, что Рабю живет на четвертом этаже, он вошел в лифт. Звонок. Открыла очкастая секретарша. Она, должно быть, узнала его.

— Сюда. Подождите, пожалуйста, минутку. Мэтр Рабю говорит по телефону.

Справа — двухстворчатая дверь; налево — коридор, куда выходят рабочие комнаты. Стрекот пишущих машинок. В коридоре то и дело появляются стажеры — их всегда много у Рабю,— делают вид, будто прогуливаются, а сами краешком глаза косят на него, Алена.

Дверь открылась.

— Заходите, старина. Я целый час беседовал с вашей женой.

— Она наконец решилась заговорить?

— Не совсем в том смысле, как мы этого ожидали. О непосредственных мотивах преступления она так ничего и не сказала. Как, впрочем, и о многом другом. Но она меня не прогнала, а это уже некоторый прогресс. Знаете ли вы, что ваша жена очень умная женщина?

— Да, мне об этом уже не раз говорили.

Он не добавил, что, на его вкус, ум отнюдь не принадлежит к числу наиболее ценных женских достоинств.

— Такую твердость характера и воли не часто встретишь. Сегодня она в тюрьме второй день. Ей дали крохотную одиночку. Сначала ее хотели поместить вместе с другой заключенной, но она отказалась. Возможно, теперь она передумает.

— Ее переодели в арестантское платье?

— Подследственные ходят в своем. Работать ее пока что не заставляют. От свиданья с вами она отказалась наотрез. В этом пункте она непоколебима. И все это очень спокойно, без рисовки. Она тотчас дает вам почувствовать: раз она что-то решила, бесполезно ее переубеждать. «Передайте ему,— сказала она мне,— что я не хочу его видеть. Если мы и встретимся, то лишь на суде, но там это неизбежно, и, кроме того, мы будем далеко друга от друга». Так она мне сказала, слово в слово. Я пытался объяснить ей, в каком тяжелом состоянии вы находитесь, но она спокойно возразила: «Он никогда не нуждался во мне. Ему необходимы просто люди, неважно кто, лишь бы кто-то был под боком».

Ален был ошеломлен настолько, что пропустил последующие фразы адвоката мимо ушей.

«...Ему необходимы просто люди, неважно кто...»

Это была правда. Он всегда испытывал потребность в том, чтобы вокруг толкались приятели, сотрудники. Стоило ему остаться одному, как им овладевала тревога, смутная, тягостная. Его томило ощущение грозящей неизвестно откуда опасности. Вот почему прошлой ночью, несмотря на опьянение, он привел к себе эту девку. Что будет с ним сегодня вечером? А завтра?

Он вдруг увидел себя бесприютно слоняющимся по своей квартире, которая некогда служила мастерской художнику, один на один с ночным Парижем.

— Днем к ней придет на свидание отец. На это она согласилась сразу же. «Мне жаль отца! — сказала она.— Для него — да, для него это действительно крушение всей жизни». Я сообщил ей, что ее мать больна, но это известие ее не огорчило, она даже не поинтересовалась, что с матерью. Я пытался завести с ней разговор об ее защите на суде. Нельзя же в самом деле допустить, чтобы ее приговорили к двадцати годам, а то и к пожизненному заключению. Мотивировка преступления должна вызвать у присяжных сочувствие к подсудимой. Я вижу лишь одну возможность — убийство на почве ревности. Но вы в этом случае отпадаете.

— Почему?

— Вы мне сами сказали: вот уже почти год, как вы со свояченицей не встречались. Слишком запоздалая ревность — в нее никто не поверит. Не думайте, что полиция сидит сложа руки. Не позже чем сегодня вечером детективы обнаружат, а скорей всего уже обнаружили, меблированную квартиру, которая служила местом встреч. И в ваших же интересах во что бы то ни стало выяснить, кто этот человек, вставший между сестрами.

Он взглянул на Алена, который вдруг побледнел.

— Это непременно нужно?

— Мне кажется, я вам уже все объяснил. Не стану вас уверять, будто тут нет для вас ничего неприятного, но либо мы все болваны, либо надо считать, что такой человек был. Постарайтесь припомнить, не замечали ли вы в поведении зашей жены в последние месяцы чего-нибудь необычного.

Ален вдруг почувствовал, как кровь, мгновение назад отхлынувшая от его лица, горячей волной заливает ему щеки, лоб, уши. Как он раньше об этом не подумал? Вопрос Рабю, покоробивший его своей грубостью, освежил в его памяти прошлое — возможно, помогло этому и то, что произошло в минувшую ночь между ним и Бесси.

На протяжении всех лет их совместной жизни Мур-мур никогда не тяготилась супружескими обязанностями. Они даже придумали особую игру, которая была их секретом. Мур-мур читала, смотрела телевизор или писала статью. Внезапно полушепотом он обращался к ней:

«Посмотри на меня, Мур-мур».

Она оборачивалась к нему, все еще занятая своими мыслями, потом, рассмеявшись, произносила:

«Ах, вот оно что! Ладно, хватит на сегодня. И какими это флюидами ты умудряешься на меня действовать?»

Однако последнее лето не раз случалось так, что она смущенно оговаривалась:

«Прости, но только не сегодня. Не знаю, что со мной. Что-то я устала».

«Я тебя не узнаю».

«Может, это старость?»

Рабю наблюдал за ним.

— Ну как?

— Думаю, что вы правы.

— Приятного, конечно, мало, но придется вывернуть все это перед судом. Вы же хотите, чтобы ее оправдали, так?

— Да, очевидно.

— Даже если она не вернется к вам?

— Судя по заявлению, которое она вам сегодня сделала, она не намерена больше жить со мной.

— Вы еще ее любите?

— Полагаю, что да.

— Полиция, несомненно, уже подумала о наличии неизвестного нам человека. Возможно, она выяснит, кто это. Но, по-моему, у вас все же есть преимущество перед детективами, не исключено, что речь идет о ком-то, кого вы хорошо знаете.

Рабю почувствовал, что собеседнику стало не по себе.

— Что с вами?

— Не обращайте внимания. Вчера мне пришлось ужинать у зятя, а потом я напился до бесчувствия. Неважно. Я вас слушаю.

— И затем она сказала нечто такое, что глубоко поразило меня. Я запретил ей повторять это кому бы то ни было. Я заговорил с ней о вашем сыне, о Патрике. Советовал подумать о нем, о его будущем. И знаете, что она мне ответила, и притом как-то сухо, даже черство? «Материнские чувства всегда были мне чужды». Это действительно так?

Ален задумался, восстанавливая в памяти прошлое. Когда родился Патрик, они были небогаты. Он появился на свет еще до того, как Алена осенила мысль о журнале. Поначалу Мур-мур все свое время отдавала ребенку, и ее материнское усердие граничило с педантизмом. Это была та же старательность и аккуратность, с какими она печатала на машинке свои статьи, переписывая заново целую страницу, если на ней оказывалась ошибка.

Так они прожили в Париже около двух лет: он, она и малыш. Потом взяли няню, и Мур-мур опять с головой ушла в работу. А по вечерам приезжала, куда он ей назначал — в кафе, в рестораны,— и домой они возвращались поздно.

Ей никогда не приходило в голову зайти перед сном взглянуть на спящего ребенка. Обычно Ален это делал один.

Вскоре они купили и перестроили «Монахиню», где теперь проводили уик-энды. Но Мур-мур и приезжала-то туда главным образом потому, что это позволяло ей побольше поработать.

— Да, понятно, почему она так сказала,— пробормотал Ален.

Рабю взглянул на стенные часы и поднялся. В кабинете зазвонил телефон, адвокат снял трубку.

— Слушаю. Да, соедините. Он еще здесь. Из вашей редакции,— добавил Рабю, передавая трубку Алену.

— Алло, Ален? Говорит Борис. Вот уже полчаса пытаюсь связаться с тобой. Звонил к тебе на квартиру. Какой-то симпатичный женский голос — не знаю только чей — сообщил мне, что минуту назад тебя вызвали по телефону и ты умчался. Она сказала, что разговор был с адвокатом. Я позвонил Эльбигу, но его в конторе не оказалось. Все-таки я разыскал его, и он передал мне, что ты у Рабю. Есть новости. Час назад к нам сюда явился комиссар Румань с двумя полицейскими. Он предъявил ордер, подписанный следователем, и сидит теперь в твоем кабинете. Он перерыл у тебя все ящики, ни одной бумажки не пропустил. Потом попросил у меня список сотрудников и заявил, что ему необходимо с ними побеседовать с каждым в отдельности, но что это не отнимет много времени. Первыми почему-то потребовал вызвать телефонисток.

— Хорошо, я сейчас приеду.

Ален опустил трубку на рычаг и повернулся к Рабю. Адвокат нетерпеливо ожидал конца разговора.

— У меня в кабинете комиссар Румань с двумя полицейскими. Они там произвели обыск. Сейчас он допрашивает сотрудников и первыми захотел выслушать телефонисток.

— Что я вам говорил?

— Вы полагаете, он подозревает кого-то из работников редакции?

— Во всяком случае идет по следу, и вам ему не помешать. Спасибо, что зашли. Постарайтесь разыскать нашего героя.

Нашего героя! Он вложил в эти слова столько иронии, что Ален невольно улыбнулся.

— Вам бы сейчас не повредило пропустить стаканчик. Бар у нас тут внизу, налево от входа, в табачной лавке.

В Алене закипала злость против Рабю. Он готов был его возненавидеть, возненавидеть за все — за то, как адвокат вызвал его к себе, за то, как передал слова Мур-мур, за то, как под конец намекнул, что Алену не обойтись без выпивки.

Понурив голову, Ален ожидал лифта. Минуту спустя он подошел к стойке маленького бара.

— Двойную виски!

— Простите?

— Двойную порцию, если так понятней.

За ним с любопытством наблюдали какие-то рабочие в спецовках.

Встреча с Руманем не улыбалась Алену. Стоит комиссару на него взглянуть, и он тоже догадается, как Ален провел ночь.

Нет, ему не стыдно. Он волен делать все, что вздумается, он всю жизнь вызывающе держался с людьми, шокировал их — нарочно, из спортивного интереса.

И все-таки сегодня, когда люди смотрят ему в лицо, у него вдруг появляется чувство неловкости. Почему? Ведь он ничего худого не сделал. Он непричастен к тому, что произошло. Тысячи мужчин спят со своими свояченицами — это всем хорошо известно. Младшие сестры всегда не прочь попользоваться тем, что принадлежит старшим.

Нет, Адриена никогда по-настоящему его не любила, но ему было на это наплевать. Возможно, и Мур-мур тоже не любила его.

И вообще, что значит это слово — «любовь»? Он продает ее по миллиону экземпляров в неделю. Любовь и секс. Это ведь одно и то же.

Он не любит одиночества. Не из потребности в обмене мыслями и даже не потому, что нуждается в чьей-то привязанности.

— На улицу Нотр-Дам-де-Лоретт! — бросил он шоферу, захлопывая дверцу такси.

Так почему же одиночество так ему неприятно? Потому что он испытывает потребность в чьем-то присутствии — все равно в чьем. Одинокие старики держат собаку, кошку, канарейку. Некоторые довольствуются даже обществом золотых рыбок.

Он никогда не смотрел на Мур-мур как на золотую рыбку, но теперь, по-новому оценивая прошлое, Ален вынужден был признать, что нуждался главным образом лишь в ее присутствии. Ему просто нужно было, чтобы она всегда находилась рядом — в баре, в ресторане, в машине. Справа от него, в нескольких сантиметрах от его локтя.

По утрам и под вечер он ждал ее звонка и нервничал, если звонок запаздывал. Но за семь лет совместной жизни был ли у них хоть один серьезный разговор?

Правда, в пору, когда он основывал журнал, он часто рассказывал ей об этом будущем издании. Он был увлечен, уверен в успехе. Мур-мур смотрела на него с милой улыбкой.

«Ну, как твое мнение?»

«Разве такого журнала еще не было?»

«Были, да не совсем такие. Мы бьем на интимное, личное. Теперь это очень важный момент, ты, по-моему, его недооцениваешь. Лозунг дня — личность, индивидуальность, как раз потому, что у нас все стандартизовано, в том числе и развлечения».

«Может быть, ты и прав».

«Хочешь работать у меня в редакции?»

«Нет».

«Почему?»

«Жене патрона не годится быть в числе сотрудников».

Потом у них возникла проблема виллы. Они набрели на этот дом как-то в субботний день, когда ездили на прогулку за город. А в воскресенье в мотеле, где они остановились, Ален уже строил планы.

«Загородный дом нам просто необходим, ты согласна?»

«Возможно, но не слишком ли это далеко от Парижа?»

«Достаточно далеко, чтоб отпугнуть всяких зануд, но не слишком далеко, чтобы оттолкнуть друзей».

«А ты собираешься приглашать много народу?»

Мур-мур не протестовала. Она ни в чем ему не препятствовала, охотно его слушала и повсюду за ним ездила, но его восторгов не разделяла.

— Остановитесь, шофер. За этой красной машиной.

— Это ваша?

— Да.

— Они вам, кажется, налепили на стекло два штрафных талона.

Совершенно верно. Два штрафа. Гм, он забыл ключ на приборном щитке. Включая зажигание, Ален кинул взгляд в сторону кабаре, где никогда, до прошлой ночи, не бывал. Рядом со входом висели фотографии обнаженных девиц. На самой большой в центре он узнал Бесси — судя по всему, она была здесь звезда.

Через несколько минут он подъехал к зданию своей редакции на улице Мариньян. Машину он оставил во дворе. Он не сразу решился подняться наверх. Был уже первый час. На первом этаже — ни души, все помещения заперты.

Что это, он докатился до того, что боится какого-то помощника комиссара сыскной полиции?

Он вошел в лифт. В коридорах было пусто. В большинстве отделов тоже. Дверь его кабинета была широко распахнута, он увидел ожидавшего его Бориса.

— Ушли?
— Минут десять назад.
— Что-нибудь обнаружили?
— Они мне ничего не сказали. Есть хочешь?
Ален поморщился.
— Ну, у тебя сегодня и вид!
— Голова с перепоя трещит — вот и вид! Пошли! Попробую что-нибудь съесть, а ты тем временем расскажешь.
Ален думал, что застанет в кабинете беспорядок, но ошибся.
— Твоя секретарша все прибрала.
— Очень он тут разорялся?
— Кто, комиссар? Был отменно вежлив. Кстати, на столе лежали пачки фотографий, от которых я отказался — слишком уж смелые. Так он смаковал их по крайней мере минут десять. Тоже, видно, порядочная свинья.

VI

Неподалеку от площади Сент-Огюстен они нашли ресторанчик, где их не знали, нечто вроде бистро с клетчатыми занавесками и скатертями и обилием медной утвари взамен украшений. Хозяин, он же шеф-повар в высоком белом колпаке, ходил от столика к столику, расхваливая свои блюда.

Им удалось занять места в углу, хотя в бистро было много народу. Люди вокруг ели, разговаривали,— незнакомые, чужие люди. Ален ничего о них не знает. У них своя жизнь, свой собственный мир, свои заботы и интересы, к которым они относятся с величайшей серьезностью, словно это имеет какое-то значение.

Зачем ему это все? Почему, например, ему не пришло в голову позавтракать наедине с Борисом у себя дома? Да, он мог бы построить свою жизнь по-другому.

Было время, когда они с Мур-мур пытались что-то изменить в своем образе жизни.

Жена загорелась желанием хозяйничать, заниматься стряпней. Они с ней обедали, сидя друг против друга, перед широкой застекленной стеной, за которой тянулись парижские крыши.

Время от времени Ален замечал, что губы Мур-мур шевелятся. Он знал, что она обращается к нему, но слова не доходили до его сознания, казались ему лишенными смысла. У него было ощущение, будто они с Мур-мур отрезаны от жизни, погружены в какой-то нереальный, мертвый мир. И охваченный паническим страхом, он поспешил вырваться на волю.

В этом страхе было что-то от ночного кошмара, но только преследовал он Алена не во сне, а наяву. Алену необходимо было двигаться, слышать человеческие голоса, видеть живые человеческие лица, быть окруженным людьми.

«Окруженным» — вот оно, точное слово. Да, быть всегда в центре, быть главным действующим лицом.

Ален еще не решался себе в этом признаться. Всю жизнь у него была куча приятелей. Но уж не потому ли засиживался он с ними до поздней ночи, что ему страшно бывало оставаться наедине с собой?

Приятели? Или нечто вроде придворной свиты, которую он создал, чтобы обрести чувство уверенности?

Им подвезли на столике с колесиками целый набор колбас и холодного мяса. Ален пытался есть, обильно запивая еду сухим вином.

— О чем комиссар тебя спрашивал?

— Почти о том же, что и всех. Сначала поинтересовался, часто ли жена заходила за тобой в редакцию. Я ответил, что не заходила, а только звонила по телефону и вы встречались либо внизу, либо в каком-нибудь ресторане. Потом он спросил, был ли я знаком с твоей свояченицей. Я сказал правду, то есть, что никогда ее не видел.

— Она ко мне зашла как-то раз три года назад. Ей хотелось посмотреть, где я провожу большую часть времени.

— Ну, я тогда был в отпуске. Потом он спросил, есть ли у тебя записная книжка с номерами телефонов твоих знакомых. Есть она у тебя?

— Нет.

— Значит, я не соврал. А под конец вот что. Извини, но я должен повторить его вопрос. Знал ли я, что у твоей жены есть любовник? И не подозреваю ли я кого-нибудь конкретно? А ты не подозреваешь?

Ален растерялся.

— Это мог быть кто угодно, — ответил он.

— Потом он стал вызывать телефонисток. Первой вошла Мод. Ты ведь ее знаешь. Комиссар разрешил мне присутствовать при допросе. Как видно, для того, чтобы я все тебе передал. С Мод разговор вышел примерно такой:

«Сколько лет вы работаете у мосье Пуато?»

«В будущем месяце исполнится четыре года».

«Вы замужем?»

«Незамужняя. Бездетная. Сожителя не имею, живу со старой теткой, но она у меня просто золото».

«Состояли ли вы с мосье Пуато в интимных отношениях?»

«Вам угодно знать, случается ли мне время от времени переспать с Аленом? Да».

«Где же происходят ваши встречи?»

«Здесь».

«Когда?»

«Когда ему захочется. Он просит меня задержаться после работы. Я жду, пока уйдут сотрудники, и поднимаюсь к нему».

«Вам это кажется естественным?»

«Во всяком случае, в этом нет ничего сверхъестественного».

«И вас ни разу не заставали врасплох?»

«Ни разу».

«А что было бы, если бы вошла его жена?»

«Думаю, она бы нам не помешала».

«Вы знали Адриену Бланше?»

«По голосу».

«Она часто звонила?»

«Два-три раза в неделю. Я соединяла ее с патроном. Разговоры были короткие».

«Когда она звонила последний раз?»

«В прошлом году. Незадолго до рождественских праздников».

«Вам было известно о связи Алена Пуато со свояченицей?»

«Да. Потому что мне приходилось звонить на улицу Лоншан».

«По его поручению?»

«Конечно. Чтобы продлить договор на квартиру или велеть заморозить бутылку шампанского. Она, видно, любила шампанское. Он не любит».

«И с декабря прошлого года вы туда не звонили?»

«Ни разу».

«А она не пыталась звонить ему?»

«Нет».

Рассказывая, Борис с аппетитом уплетал еду, тогда как Алена мутило от одного вида грязных тарелок.

— Две другие телефонистки подтвердили слова Мод относительно свояченицы. Потом наступила очередь Колетт.

Его секретарша. Единственная из всех, кто его немного ревновал.

— Когда он спросил, состояла ли она с тобой в связи, Колетт взвилась. Неприкосновенность личной жизни — и пошла, и пошла. Но в конце концов призналась.

Ничего не попишешь: тридцать пять лет женщине. Будь это в ее власти, она бы держала его в вате и нянчилась с ним целыми днями.

— Допросили стенографисток, женский персонал бухгалтерии. Затем комиссар принялся за мужчин:

«Женаты? Дети есть? Сообщите, пожалуйста, ваш адрес. Вам случалось обедать с патроном и его женой?»

— Я подал им знак говорить правду. Мужчин комиссар тоже спрашивал, были ли они знакомы с твоей свояченицей. Потом он выяснял, встречались ли они когда-нибудь с Мур-мур без тебя.

С такими, как, например, Диакр или Маноk, возни было немного.

Еще бы! Диакр — белесая вошь, а Маноку шестьдесят восемь лет.

— Последним вызвали Бура. Он только что пришел в редакцию и выглядел не лучше тебя.

— Часть ночи я провел с ним и с Бобом Демари,— отозвался Ален.— Дербанули что надо!

— Вот, пожалуй, и все. Кажется, комиссар не дурак и знает, чего добивается.

Перед тем как подали антрекот, Ален закурил сигарету. Он чувствовал себя разбитым, опустошенным. Небо было серое. Мерзость. Как у него на душе.

— Что у нас сегодня за день — пятница?

— Да.

— Значит, гроб уже установлен в их доме на Университетской улице. Сам не знаю, идти мне туда или нет.

— Тебе видней. Не забывай только, что ведь это твоя жена...

Борис не докончил.

Он прав. Ведь это его [redacted]ена, жена — убийца той, что лежит теперь в гробу на Университетской [redacted]ице.

Ален вернулся в редакцию: пришлось подвезти Бориса, иначе, вероятно, он поехал бы домой [redacted]пать.

— Секретарша мэтра Рабю просила позвонить, как только вы вернетесь.

— Соедини меня.

Через несколько секунд Колетт протянула ему трубку.

— Мосье Пуато, говорит секретарь мэтра Рабю.

— Я вас слушаю.

— Мэтр просит его извинить. Он забыл передать вам поручение от вашей жены. Она составила список необходимых ей вещей и просила, чтобы вы доставили их ей как можно скорее. Прислать вам его?

— Список длинный?

— Не очень.

— Диктуйте.

Ален придвинул блокнот и записал колонкой перечень вещей.

— Прежде всего серое платье из джерси — если оно не отдано в чистку, то висит в левом шкафу. Вы, видимо, знаете. Черная шерстяная юбка, новая, с тремя большими пуговицами. Четыре или пять белых блузок, самых простеньких. У них там раньше чем через неделю белье из прачечной не возвращается.

Алену казалось, что он видит Мур-мур, слышит ее голос. Когда они

останавливались в гостинице, бывало то же самое: списки белья, одежды, пунктуальность деталей.

— Две белые нейлоновые комбинации, которые без кружев. Дюжину пар чулок, неношеных, она их недавно купила, лежат в красном шелковом мешочке.

Сидеть в Птит-Рокетт по обвинению в убийстве, знать, что тебе грозит пожизненное заключение, и думать о новых чулках!

— Я не быстро диктую? Домашние туфли, черные, лакированные. Сандалии для ванной. Купальный халат. Пару туфель на венском каблуке. Ее любимые духи, вы их знаете, один флакон, не очень большой.

Даже духи! Да, не теряется девочка! Держит хвост морковкой. Крепко, видно, стоит на земле, обеими ногами!

— Два-три тюбика со снотворным и таблетки от изжоги. Простите, я забыла, она еще тут прибавила гребень и щетку.

— Жена сама писала этот перечень?

— Да. Она отдала его мэтру Рабю и просила при первой же возможности передать вам. Тут в конце еще что-то приписано, какое-то слово, никак не разберу. Бумага плохая, карандаш. «So...». Да, здесь, кажется два «r». Ах, вот что, это по-английски: «Sorry!»

Да, они нередко пересыпали свою речь англицизмами. «Sorry» — извини меня.

Ален взглянул на Колетт — конечно, не спускает с него глаз,— поблагодарил секретаршу Рабю и повесил трубку.

— Ну, Колетт, скажите, как допрос? Много вам тут крови попортили?

Колетт изумленно уставилась на него.

— Прости, заговариваюсь,— добавил он.— Стал обращаться к тебе на «вы». Неприятно, наверно, было признаваться, что нам случалось переспать, а?

— Это никого не касается.

— Так принято думать. Каждый воображает, что в его жизнь никто и носа не смеет сунуть. А потом — бац — случается какая-нибудь петрушка, и вся твоя жизнь со всем ее грязным бельем выставлена на всеобщее обозрение. На этот раз,— добавил он с иронией,— выставили на обозрение меня.

— Ты очень страдаешь?

— Нет.

— А не притворяешься?

— Поклясться могу — мне на это наплевать. Пусть бы даже они обе переспали со всем Парижем.

Бедняжка Колетт. Сентиментальная дурочка! Ни дать ни взять усердная читательница журнала «Ты». Видно, принимает еженедельник всерьез, одна из немногих в редакции.

Колетт со своей стороны предпочла бы видеть Алена в отчаянии. Чтобы он положил голову ей на плечо, а она бы его утешала.

— Бегу. Нужно отвезти ей вещи.

Ален спустился во двор, сел в свою машину и еще раз проделал хорошо знакомый ему теперь путь. Посвежело. Прохожие уже не брели уныло по тротуарам, как это было вчера. Вид у них стал бодрее, лишь некоторые задерживались у витрин.

Он поднялся в лифте, открыл дверь ключом и увидел новую служанку. Он забыл про нее и в первую минуту недоуменно остановился. Так, значит, она решила поступить к нему на полный день. Работа была в разгаре. Все шкафы и ящики в коридоре открыты.

— Что это вы делаете, крольчонок?

Он все еще говорил ей «вы». И сам этому подивился. Долго так не продлится.

— Хочешь, чтоб от тебя была польза в доме,— надо знать, где что лежит. А заодно я решила почистить и одежду. Давно пора.

— В таком случае вы сейчас мне поможете.

Ален достал из кармана список и принес вместительный чемодан.

— Серое платье из джерси.

— Его бы надо отдать в чистку.

— Жена забыла, чистили его или нет. Ладно, давайте его сюда.

За платьем последовали комбинации, штанишки, чулки, обувь и все прочее.

— Пустите, я уложу сама, а то суете как попало.

Он посмотрел на нее с интересом. Ого, она, оказывается, не просто хорошенькая, молодая и аппетитная, а еще, как видно, и свое дело знает неплохо.

— Это в тюрьму?

— Да.

— И духи тоже?

— Видимо, да. Подследственные пользуются особыми правами. Не знаю только, распространяется ли это на духи.

— Вы ее видели?

— Она сама не хочет меня видеть. Кстати, а где эта девушка, что сегодня здесь ночевала?

Он думал, что Бесси еще не ушла.

— Она встала вскоре после вашего ухода, опять попросила кофе и пришла ко мне на кухню помогать его варить.

— Голая?

— Надела ваш халат, хоть он ей и велик, по полу волочится. Мы тут с ней поболтали. Я ей приготовила ванну.

— Она ничего не сказала?

— Рассказывала про вашу встречу и как у вас было дело ночью. Все удивлялась, что я здесь сегодня первый день. А потом говорит: «Ты ему скоро понадобишься».

— Для чего?

— Для всего,— ответила Минна невозмутимо.

— Налей мне не очень крепкого виски.

— Так рано?

Ален пожал плечами.

— Ничего, привыкай.

— Вы часто такой, как прошлой ночью?

— Почти никогда. Пью много, но пьянею редко. Такое похмелье, как сегодня утром,— это у меня за всю жизнь, наверно, третий раз. Давай, поторапливайся.

Ну вот, готово,— он уже говорит ей «ты». Одним «кроликом» стало больше. Он испытывал потребность приобщать все новых и новых людей к своему окружению, но при этом ставить их немного — нет, пожалуй, намного — ниже той ступеньки, на которой стоял сам.

Неужели это и правда так? Прежде Ален над этим не задумывался. Он полагал: приятели — это кружок людей с одинаковыми вкусами, людей, на которых можно положиться.

Но это оказалось фикцией, как и многое другое, во что он верил. Когда-нибудь он составит перечень своих фальшивых ценностей, не выдержавших проверки жизнью. Вроде того как Мур-мур составляла список своих платьев, белья, обуви и всего остального.

А сейчас он проверит, не отправился ли все-таки Бланше на Вандомскую площадь — несмотря на то, что в гостиной торжественно установлен гроб с телом жены. Хотя нет, маловероятно. Бланше, разумеется, стоит у дверей задрапированной крепом комнаты, неподалеку от катафалка и трепещущего пламени высоких свеч.

— Алло! Альбер?.. Могу я переговорить с зятем?.. Да, знаю, мне надо сказать ему несколько слов.

Непрерывный поток людей, как и следовало ожидать. Должностные лица, депутаты, может быть, даже министры. Бланше занимали важное место в этой иерархии. Трудно предсказать, до каких вершин они еще поднимутся.

Отчего Ален усмехнулся? Ведь он им не завидует. Он ни за что не согласился бы стать таким, как они. Он их терпеть не может. Более того: презирает за приспособленчество, за все компромиссы, на которые они идут во имя карьеры. Он определял Бланше одним словом — «дерьмо» и любил повторять: «От них смердит».

— Говорит Ален. Прости, что побеспокоил тебя.

— Да, для меня это очень трудный, мучительный день и...

— Именно поэтому я и решил тебе позвонить. Вокруг дома, наверно, толкутся фотографы и журналисты.

— Полиция пытается держать их на расстоянии.

— Мне, пожалуй, не стоит у тебя показываться?

— Я тоже так считаю.

— Что касается завтрашнего дня...

— Нет, нет, на похоронах тебе присутствовать не следует.

— Это я и собирался тебе сказать. Поскольку я муж убийцы... А кроме того...

Какой бес в него вселился?

— Это все, что ты хотел мне сообщить? — прервал его Бланше.

— Да, все. Поверь, я огорчен до глубины души. Повторяю: я здесь ни при чем. В этом теперь убедилась и полиция.

— Что ты им еще рассказал?

— Ничего. Просто были допрошены мои сотрудники. И полицейские побывали на улице Лоншан.

— Ты думаешь, эти подробности доставляют мне большое удовольствие?

— Мои соболезнования, Ролан. Передай тестю: я сожалею, что не могу повидаться с ним. Он хороший человек. Если я ему для чего-нибудь понадоблюсь, он знает, куда позвонить.

Бланше, не прощаясь, повесил трубку.

— Это был муж?

— Да, мой зять.

В ее глазах блеснуло что-то, похожее на насмешку.

— Чему ты улыбаешься?

— Так. Вызвать такси и отвезти чемодан?

Ален заколебался.

— Нет, лучше уж я поеду сам.

Как-никак, а все-таки он и Мур-мур были привязаны друг к другу. Вероятно, это была не любовь, не то, что люди называют любовью. Просто Мур-мур в течение многих лет жила подле него. Всегда была рядом.

Как это она сказала Рабю? «Я не хочу его видеть. Если мы и встретимся, то лишь на суде, но там мы будем далеко друг от друга».

А если ее оправдают? У Рабю слава: девять из десяти его подзащитных непременно бывают оправданы.

Ален мысленно увидел, как входят друг за другом в зал судья, заседатели, прокурор, присяжные. Вид у них торжественный и значительный. Старшина присяжных читает с расстановкой:

«По первому пункту обвинения... невиновна... По второму пункту обвинения... невиновна...»

Шум в зале, быть может, крики протеста, свистки. Журналисты протискиваются сквозь толпу и бегут к телефонным кабинам.

А она? Что тогда она? Он уже видел: вот она стоит в темном платье, а может быть, в костюме, между двумя полицейскими. Что же она сделает?

Рабю повернется к ней, пожмет руку. А она? Будет искать глазами Алена? И что сделает он, Ален? Будет стоять и смотреть на нее?

Или, может быть, она улыбнется кому-то другому?

«...Передайте, что я не хочу его видеть. Если мы и встретимся, то лишь...»

Куда она пойдет? Сюда, где все ее вещи еще лежат на привычных местах, она не вернется. Пришлет за вещами или отправит ему список, как сегодня утром?

— О чем вы задумались?

— Ни о чем, крольчонок.

Он похлопал ее ниже спины.

— У тебя крепкие ляжки.

— А вам что, нравятся дряблые?

Он чуть не... Нет, не теперь. Надо ехать на улицу Рокетт.

— До скорого.

— Обедать будете дома?

— Вряд ли.

— Тогда до завтра.

— Ну что же. До завтра, крольчонок.

Ален помрачнел. Значит, он снова вернется в пустую квартиру, будет сидеть один, глядя на огни Парижа, потом нальет себе последний стакан и отправится спать.

Он посмотрел на девушку, покачал головой и повторил:

— До завтра, крольчонок!

■

Ален вручил чемодан равнодушной надзирательнице, сел в машину и поехал по каким-то малознакомым улицам. Минуя ограду кладбища Пер-Лашез, где на ветвях тут и там еще висели поблекшие листья, он подумал, не здесь ли завтра похоронят Адриену.

У Бланше наверняка есть на каком-нибудь кладбище фамильный склеп. Этакий внушительный монумент из разноцветного мрамора. Ален звал ее не Адриеной, а Бэби. Ведь и она была всего-навсего еще одним занятным зверьком в его зоологической коллекции.

Через несколько минут Мур-мур откроет чемодан и с серьезным лицом, нахмурив брови, станет раскладывать платья и белье.

Устраивается на новом месте. У нее теперь своя, отдельная от него жизнь. Он безуспешно пытался представить себе ее камеру. Собственно, он ничего не знал о порядках в тюрьме Птит-Рокетт и досадовал на свою неосведомленность.

Дали ли ей свидание с отцом? Интересно, как они говорили? Через решетку, как показывают в кино?

Он очутился на площади Бастилии и направил машину к мосту Генриха IV, чтоб затем проехать вдоль Сены.

Пятница. Еще в прошлую пятницу, как почти всегда в этот день, он и Мур-мур катили в своем «ягуаре» по Западной автостраде. Маленькие машины хороши для Парижа. Для дальних поездок у них был «ягуар» с откидным верхом.

А она вспоминает об этих поездках? Не пришла ли она в отчаяние от мрачной обстановки, которая теперь ее окружает? От постоянного, неистребимого запаха хлорной извести?

Выбросить все это из головы! Она решила не видеть его. Он и глазом не моргнул, когда Рабю передал ему эти слова, но холодок пробегал по его спине. Слишком многое стояло за этими словами!

В сущности она, подобно некоторым вдовам, вероятно, испытывает теперь чувство освобождения. Она вновь обрела себя, свою личность. Она не будет больше жить на привязи при другом человеке, звонить ему по два раза в день и потом ехать на свидание с ним.

Она перестанет быть бессловесным существом. Отныне будет говорить не он, и не его станут слушать, а ее. Уже сейчас она для адвокатов, судей, надзирательниц, начальницы тюрьмы лицо самостоятельное и представляет интерес сама по себе.

Когда сворачиваешь с автострады, дорога ныряет в лес. Там, за леском, посреди лугов стоит их «Монахиня». В прошлом году на рождество они купили для Патрика козу.

Мальчик большую часть времени проводит с садовником, добряком Фердинандом. С ним ему куда интереснее, чем с няней, мадемуазель Жак. Это ее фамилия — Жак. Патрик зовет ее Мусик. Вначале это коробило Мур-мур. Она была всего-навсего «мамой», а самым главным лицом для Патрика была Мусик.

«Папа, а почему мы не живем тут все вместе?»

А правда, почему? Нет, лучше не думать. Станешь вдумываться, только хуже будет. Просто надо завтра съездить на виллу.

«А мама? Где мама?»

Что он ответит? И все-таки съездить нужно. Все равно в субботу редакция закрыта.

Ввести машину во двор было нельзя: с грузовика сгружали бочки с мазутом. Он кое-как пристроил ее на улице. Проходя мимо касс, он бросил взгляд на очередь. Кроме всевозможных конкурсов, редакция организовала клуб для подписчиков журнала, и теперь выдавали значки его членам.

Смехота! Впрочем, такая ли уж смехота? Начав с двух-трех комнат на верхнем этаже, он сумел приобрести все здание, а через год полностью его перестроит. Тираж журнала с каждым месяцем растет.

— Привет, Ален!

Старые сотрудники, те, кто окружал его с первых шагов, входили в его компанию, когда он был еще начинающим журналистом, звали его по-прежнему Ален. Для остальных он стал мосье Пуато.

— Привет, кролик!

Он любил подниматься с этажа на этаж, пробираться узкими коридорами, взбегать вверх и спускаться вниз по лестницам, проходить через различные отделы редакции, наблюдая сотрудников за работой.

Он не корчил недовольную мину, если заставал в какой-нибудь комнате пять-шесть человек, рассказывавших анекдоты и хохотавших до слез. Он присоединялся к ним. Но сегодня — нет.

Ален продолжал подниматься по лестнице, пытаясь выбросить из головы сумятицу осаждавших его мыслей, мыслей обрывочных и смутных, как иные сны. Они были так нечетки и бессвязны, что он едва ли сумел бы выразить их словами. И тем не менее они грозили раздавить его своим гнетом.

Земля уходила у него из-под ног. Он как бы присутствовал при своем собственном вскрытии.

В кабинете он застал Малецкого.

— Нет, мадемуазель,— отвечал тот по телефону,— нам ничего не известно. Очень сожалею, но ничем не могу быть вам полезен.

— Все по поводу?..

— Ну да. Теперь пошла провинция. Эта вот звонила из Ла-Рош-сюр-Ион. У меня к тебе поручение. Звонил комиссар Румань. Он просит тебя заглянуть к нему, как только сможешь.

— Еду.

Честно говоря, этот вызов его не огорчил. Он не знал, куда себя деть. Ему казалось, что его присутствие всех стесняет.

Но прежде чем ехать, он зашел в бар напротив выпить виски. Он не собирался выходить за обычные рамки, он еще утром сказал об этом Минне. И сегодня пил не больше обычного.

Он всегда так пил — может быть, потому, что алкоголь его подстегивал. Вечная погоня за повышенным жизненным тонусом. Приятели его тоже пили. За исключением тех, кто после женитьбы отошел от компании и все реже встречался со старыми собутыльниками. Над ними, беднягами, одержали верх жены. Женщины. Всегда и во всем они незаметно одерживают верх!

И Мур-мур тоже. Разве не она, не Мур-мур, в конечном счете одержала верх?

Или Минна. Она переступила порог его квартиры в семь часов утра. А в одиннадцать, самое позднее в половине двенадцатого уже добилась того, что он нанял ее на полный рабочий день. Как знать: не застанет ли он ее вечером у себя дома? Пройдет немного времени, и не исключено, что она вообще переедет к нему на улицу Шазель.

— Двойную?

Зачем спрашивать? Он не стыдится пить, не устыдится даже, если станет так называемым алкоголиком. Нынче это уже не порок, а болезнь. А раз болезнь — тут уж ничего не поделаешь.

— Что, сегодня работы поменьше?

Люди обладают даром задавать дурацкие вопросы. Впрочем, бармен, знавший его многие годы, был преисполнен лучших намерений.

— А провались она пропадом, эта работа!

— Простите. Мне показалось... Еще стаканчик?

— Хватит.

Расплачиваться не надо. В конце месяца ему приносили счет, как и большинству сотрудников, которые время от времени забегали сюда промочить горло. Когда-то они приносили бутылки с виски в редакцию. Но вскоре заметили, что пить в баре — это одно, а у себя в отделе — другое, тем более, что пристрастившись, начинаешь пить машинально, прямо из горлышка.

Зачем он понадобился Руманю? Отчего его вызывает помощник комиссара, а не следователь?

Он может завтра спрятаться где-нибудь за углом дома, когда ее будут хоронить. Он все увидит... У нее была странная манера смотреть на него... В глубине ее глаз всегда тлел насмешливый огонек. Почему? Этого она не объясняла.

«Что тебя так забавляет, Бэби?»

«Ты».

«Что ты находишь во мне смешного?»

«Ничего».

«У меня дурацкая физиономия?»

«Ничего подобного. Ты, пожалуй, даже красивый».

Пожалуй.

«Может быть, я как-то не так говорю?»

«Оставь. Ты у меня пусинька!»

Однако быть «пусинькой» ему удовольствия не доставляло, хотя им он весьма охотно именовал других кроликами, глупышками, бэби.

Интересно, только ли она не принимала его всерьез? Да, конечно. Остальные принимали его вполне всерьез. Владельцы типографий, рекламных бюро, банков — никто из них не смотрел на него как на юнца или на клоуна.

— Вам назначено? — спросил полицейский, останавливая Алена у входа во Дворец правосудия.

— Меня ждет комиссар Румань.
— По лестнице налево.
— Знаю.
По пути он никого не встретил. На площадке дежурный дал ему заполнить карточку. После слов «причина вызова» Ален размашисто вывел вопросительный знак.
На этот раз его не заставили ждать, и, когда он вошел в кабинет Руманя, находившийся там инспектор сразу удалился.
Комиссар дружелюбно протянул ему руку и указал на кресло.
— Я не ждал вас так рано. Не был уверен, что вы зайдете в редакцию. К тому же мне известно, что по пятницам вы обычно уезжаете за город.
— С тех пор много воды утекло,— сыронизировал Ален.
— Расстроены?
— Нет. Даже и не расстроен.
Лицо человека, в недалеком прошлом связанного с землей. Его дед или прадед, вероятно, был крестьянином. Ширококостный, крепко сбитый комиссар смотрел собеседнику прямо в глаза.
— Вам, очевидно, нечего мне сообщить, мосье Пуато?
— Не знаю, что́ вас интересует. Но могу вам сказать, что всю ночь пропьянствовал, что утром, когда проснулся, меня шатало с похмелья, а в постели у меня спала какая-то девка.
— Мне это известно.
— Установили наблюдение?
— А зачем? — Комиссар посуровел.— Ведь не вы же стреляли в свояченицу, правда? Не сердитесь, что я сегодня утром устроил обыск у вас в кабинете.
— По сравнению с остальным это чепуха.
— Мне было необходимо допросить ваших сотрудников.
— В свою очередь могу вам сообщить, что мне это известно.
— Их показания подтвердили то, что вы говорили вчера о своих отношениях со свояченицей.
— А именно?
— Что вы действительно порвали с нею в прошлом году накануне рождества. В этом же заверял нас и владелец дома на улице Лоншан.
— У меня не было причин врать.
— Они могли бы у вас быть.
Комиссар помолчал и, закурив, подвинув пачку своему посетителю, Ален машинально взял сигарету. Он догадался, что пауза умышленная, но сделал вид, что этого не понял. Он тоже закурил, рассеянно поглядывая по сторонам.
— Я хотел бы, чтобы вы так же откровенно ответили на вопрос, который я сейчас вам задам. Вы поймете, насколько это важно. Как бы вы себя повели, узнав, кто был любовником вашей жены?
— Вы хотите сказать: любовником моей жены и ее сестры?
— Совершенно верно.
У Алена сжались кулаки. Лицо стало жестким. Теперь пауза наступила по его вине.
— Не знаю,— наконец проговорил он,— это будет зависеть...
— От того, кто этот человек?
— Возможно.
— А если он из ваших сотрудников?
Мгновенно перед взором Алена возник, как бы в разрезе с первого до последнего этажа, дом на улице Мариньян. Одно за другим проносились перед ним лица мужчин, молодых, пожилых и даже старых. И Ален их тут же мысленно зачеркивал. Франсуа Люзен — заведующий

рекламным отделом? Этот красавчик считает себя неотразимым. Нет! Во всяком случае не для Мур-мур.

Малецкий? Отпадает. Секретарь редакции Ганьон? Этот коротышка с животиком и подпрыгивающей походкой? Нет.

— Не ломайте голову, я вам сейчас его назову.

— Вы уже выяснили?

— Я располагаю возможностями, которых у вас нет, мосье Пуато. Но это ставит меня в несколько щекотливое положение. Вот почему я и попросил вас зайти ко мне. Заметьте, что я не вызвал вас официальным путем. Наш разговор конфиденциален. Ну как вы теперь, в форме?

— Где там! — буркнул Ален.

— Я говорю не о последствиях вчерашней попойки, а о нервах.

— Ах, это. Считайте, что я спокоен. Спокоен, как выпотрошенная рыба.

— Я хотел бы, чтобы вы меня выслушали серьезно. Я хорошо знаю мэтра Рабю и могу предположить, что он выдвинет версию убийства на почве ревности и построит защиту именно на ней. Но для этого ему необходимо лицо, из-за которого могла вспыхнуть ревность.

— Разумеется.

— Вы тут не подходите, поскольку ваша связь со свояченицей прекратилась почти год назад. А когда дело дойдет до суда, будет уже больше года.

Ален кивнул. Он и в самом деле был спокоен, спокоен до боли.

— Ваша жена отказывается давать показания, но это не лишает ее права на справедливое судебное разбирательство, а так как речь идет об убийстве из ревности...

— Зачем ходить вокруг да около, комиссар? Прошу вас, давайте напрямик.

— Простите, мосье Пуато, но я должен быть уверен, что мои слова не толкнут вас на необдуманный поступок.

— Вы боитесь, чтобы я его не пристрелил?

— Да, вы бываете несдержанны.

Ален усмехнулся.

— А чего ради мне его убивать? Из-за жены? Я уже начал привыкать к мысли, что потерял ее навсегда. Я многое передумал за эти дни. Раньше я знал: Мур-мур рядом, и этого было достаточно. Но ее больше нет...— Он сделал неопределенный жест.— Что касается Бэби, я имею в виду Адриену...

— Ясно. Ну, а как быть с самолюбием? Вы ведь самолюбивы и горды, и, признаю, у вас есть все основания гордиться собой.

— Особенно гордиться нечем.

— Вы не довольны собой?

— Нет.

— Значит, вам будет безразлично, на кого променяли вас ваша жена и свояченица?

— Абсолютно.

— Другого пистолета у вас нет?

— Был только этот браунинг.

— Обещайте, что не попытаетесь достать оружие.

— Обещаю.

— Я вам верю. Так вот, вас ждет неожиданность. Мои люди допросили привратниц в домах, где живут некоторые ваши сотрудники. Разумеется, те, на кого у меня пало подозрение. Обычно лучшие результаты дает звонок в последнюю дверь. На этот раз случаю было угодно, чтобы разгадка ждала нас за первой же дверью. Я имею в виду Монмартрскую улицу.

Ален никак не мог вспомнить, кто из его сотрудников живет на Монмартрской улице.

— Жюльен Бур.

Фотограф! Ален вдруг увидел перед собой его перекошенное, болезненное лицо. Сегодня ночью они сидели за одним столиком в кабаре на улице Нотр-Дам-де-Лоретт!

— Не ожидали?

Ален попытался улыбнуться.

— Странный выбор.

Фотограф! Вот бы уж никогда не подумал. Жюльен Бур не заботился о своей внешности, был неряшлив. Ален побился бы об заклад, что он никогда не чистит зубов. И взгляд у него был уклончивый, словно он боялся смотреть людям в глаза.

В сущности, Ален почти ничего не знал о его прошлом. Во всяком случае, до журнала «Ты» Бур не сотрудничал ни в крупных газетах, ни в сколько-нибудь известных еженедельниках.

Кто это его порекомендовал? Ален лихорадочно рылся в памяти. С тех пор прошло несколько лет. Да, кажется, человек, не связанный с журналом, и произошло это в каком-то баре. Алекс! Вот кто.

Имя непроизвольно сорвалось у него с губ, и он пояснил комиссару:

— Я пытался вспомнить, где мы с ним познакомились. Нас свел некий Александр Манок. Он кинорежиссер или что-то в этом роде. Вечно собирается поставить какую-то грандиозную картину, но до сих пор выпустил всего-навсего две короткометражки. Зато он знаком с целой кучей красивых шлюх, и когда у нас не хватает моделей, случается, мы звоним ему.

Ален опомниться не мог. Бур! Это плюгавое ничтожество! Бур, на которого не польстилась бы последняя стенографистка. Говорили, что от него дурно пахнет, хотя сам Ален этого не замечал.

Бур редко бывал в их компании, да и то на роли статиста. Все окаменели бы от изумления, если бы он когда-нибудь вмешался в разговор.

Он приносил свои фотографии, взбирался на верхний этаж и вместе с Леоном Аньяром верстал номер. В работе он был тщателен до педантизма.

— И обе! — пробормотал все еще оглушенный Ален.

— С той разницей, что на этот раз все вышло наоборот.

— Что вы имеете в виду?

— Ваша жена первая зачастила на Монмартрскую улицу.

— Они приходили к нему на квартиру?

— Да. Вы, наверно, знаете этот громадный, обшарпанный дом, битком набитый всякими конторами и ателье. Там, кстати, есть ателье фотогравера.

— Знаю.

В начале своей журналистской карьеры Алену приходилось бывать в этом доме: там помещалась редакция бульварного еженедельничка, в котором он сотрудничал. Чуть ли не на всех дверях висели эмалированные таблички: «Изготовление каучуковых печатей», «Фотокопия», «Дипломированный переводчик Юбер Муане», «Агентство Е. П. К.».

Что это за «Агентство Е. П. К.», он так никогда и не узнал: на третьем номере еженедельничек тихо скончался.

— Бур занимает квартиру на самом верху: три комнаты с окнами во двор — одна большая и две маленькие. Большая заменяет ему мастерскую, там он обычно фотографирует. Живет одиноко. Инспектор показал привратнице фотографию вашей жены, и та ее тотчас узнала.

«Такая элегантная молодая дама и приветливая!» — заметила привратница.

«А когда она пришла сюда впервые?»

«Около двух лет назад».

Ален вскочил. Нет, это не укладывалось у него в голове! Два года Мур-мур была любовницей Жюльена Бура, а он, муж, ничего не замечал! Она жила рядом с ним. Между ними не прерывались интимные отношения. Они спали в одной постели, касаясь друг друга обнаженными телами. Правда, последнее время Мур-мур довольно холодно отвечала на его ласки.

— Почти два года!

Он рассмеялся. Рассмеялся грубо, зло.

— А сестрица? Когда же этот слизняк соблазнил сестрицу?

— Месяца три-четыре назад.

— Ходили попеременно, каждая в свой день?

Комиссар невозмутимо наблюдал за ним.

— Под конец его чаще навещала Адриена.

— Утерла сестре нос. Сукина дочь! Дождалась своей очереди.

Ален крупными шагами ходил взад и вперед по кабинету, как у себя в редакции или в гостиной на улице Шазель.

— Мой зятек в курсе?

— Сейчас не время с ним говорить, завтра утром похороны.

— Да, конечно.

— Впрочем, сообщать ему это — не мое дело. Если мэтр Рабю сочтет необходимым, он это возьмет на себя.

— Вы ему рассказали?

— Да.

— И он вам посоветовал вызвать меня?

— Я бы вас все равно пригласил. Повсюду рыщут репортеры. Они побывали на улице Лоншан раньше моих детективов. Один из бульварных еженедельников, вроде того, о котором вы только что упомянули, уже раззвонил сегодня о подробностях вашего дела.

— Бур из тех, кому и по морде-то не дают, руки пачкать противно,— проворчал Ален.

— Я знаю о нем еще кое-что. Его фамилия мне показалась знакомой. Я пошел к моему коллеге из полиции нравов и выяснил, что несколько лет назад он действительно занимался фотографом Жюльеном Буром.

— Бур был под судом?

— Нет. Из-за отсутствия улик дело было прекращено. Вы упомянули имя Алекса Манока. Полиция нравов долгое время держала его под негласным надзором. Его подозревали в изготовлении порнографических открыток и установили за ним слежку. Он часто встречался с Жюльеном Буром, но всегда в кафе или в барах. Было несомненно, что Бур делает для него снимки, но во время обыска на Монмартрской улице пленок не нашли. Не знаю, возможно, они и сейчас продолжают этим заниматься. Впрочем, это не по моей части и ничего не прибавляет к нашему делу. Мой коллега убежден, что они изготовляли не только открытки, но и фильмы.

— Вы думаете, он и мою жену снимал?

— Вряд ли, мосье Пуато. Сначала я хотел пойти к нему и посмотреть хранящиеся у него негативы и снимки. Но сейчас это только вызовет лишний шум. Нам трудно оставаться незамеченными, в особенности когда вся пресса поднята на ноги.

— Жюльен Бур! — твердил Ален, уставившись в пол.

— Посиди вы на этой работе двадцать лет, как я, вы бы не удивлялись. Женщины иногда нуждаются в ком-то более слабом, чем они, или хотя бы в ком-то, кого они считают более слабым, в мужчине, вызывающем жалость.

— Эта теория мне известна,— нервно перебил его Ален.

— Поверьте, она подтверждена практикой.

Ален помрачнел: в таких вещах он смыслил значительно больше комиссара.

Теперь он знал достаточно. Ему не терпелось уйти.

— Вы обещаете...

— ...не убивать Бура? Я даже пощечины ему не дам. И, вероятно, не выставлю его за дверь — он наш лучший фотограф. Как видите, вам нечего опасаться. Спасибо, что просветили меня. Рабю добьется ее оправдания. Они будут счастливы и народят кучу детей.

Он направился к двери, остановился на полпути, вернулся и протянул руку комиссару.

— Простите. Забыл. До скорой встречи. У вас наверняка будут для меня новости.

Он вознаградил себя тем, что, проходя мимо старика дежурного с серебряной цепью на шее, бросил ему:

— Спокойной ночи, кролик!

VII

Он не поехал в редакцию. Он не желал видеть «их». А может быть, хотел доказать себе, что ни в них, ни в ком-либо другом не нуждается. Он вел свой красный автомобильчик вперед, не выбирая дороги, и сам не заметил, как очутился в Булонском лесу, где так же бесцельно принялся кружить по парку.

Он хотел убить время, только и всего. Глядел на деревья, на желтые сухие листья, на двух всадников, которые ехали шагом, беседуя между собой.

Слишком уж много неприятных вещей узнал он за эти три-четыре дня. Сразу и не переваришь.

Виски больше не хотелось. Но отступать от своих привычек он не желал и остановился у незнакомого бара неподалеку от заставы Дофина. Он смотрел на людей, пивших вокруг него, и спрашивал себя, неужели им так же трудно, как ему.

Ну, нет, едва ли! С ним случилось нечто из ряда вон выходящее. Хотя едва ли. В общем-то, люди ведь похожи друг на друга.

У некоторых, как и у него, глаза устремлены в пустоту. Что они видят там? Что ищут?

— Кажется, мы где-то встречались,— проговорил вполголоса какой-то толстяк с багровым лицом изрядно выпившего человека.

— Вы ошиблись,— сухо ответил Ален.

На сегодня линия поведения была намечена твердо, и он не намерен от нее отступать. Ален поужинал в одиночестве в незнакомом ресторане на авеню Терн. Здесь было много постоянных клиентов, на столиках лежали салфетки, просунутые в деревянные кольца.

Ален не был голоден, но все же съел тарелку супа и жареную сосиску с картофелем. Хозяин исподтишка наблюдал за ним. Повезло, что на фотографии, помещенной в газете, он мало на себя похож.

Люди задерживали на нем взгляд, всматривались, морща брови, но потом пожимали плечами, считая, что ошиблись.

Он купил билет в кино на Елисейских Полях; капельдинерша провела его в зал и усадила на место. Он не знал названия фильма, но актеры оказались знакомые, американские. Впрочем, он не следил за действием.

Намеченный план выполнялся им пунктуально: он убивал время час за часом. Вечером вернулся домой, поднялся на лифте, открыл ключом дверь.

Пустота и тьма. Минна не посмела остаться. Конечно, она подумывала об этом, но слишком форсировать события побоялась.

Он зажег свет. На подносе стояли бутылка, стакан и сифон с содовой.

Он опустился в кресло, налил виски и почувствовал, что его отделяет от людей такая глухая стена, как еще ни разу в жизни. Хотя нечто подобное он уже однажды испытал: когда завалил экзамены на бакалавра. Он припомнил, как стоял на балконе их квартиры на площади Клиши и смотрел вниз, где закипала ночная жизнь Парижа.

Знали ли эти движущиеся по панели черные фигурки, что́ их ждет впереди? Его вдруг потянуло тогда назад, в комнату, захотелось сесть к письменному столу и попытаться выразить свои чувства в стихах. Но победило природное чувство юмора. Он остался стоять на балконе, силясь отыскать выход из положения, но ничего не мог придумать.

Сколько раз в детстве и позднее, в отроческие годы ему задавали вопрос: «Кем ты хочешь стать?»

Будто это от него зависело! С самых ранних лет его не оставляло предчувствие, что будущее зависит от случая, неожиданной встречи, мимоходом услышанной фразы. Одно только он знал твердо: ездить на нем не будут. Он не вступит, как отец, на узкую колею, чтобы плестись по ней всю жизнь, так ничего и не обретя в конце пути.

Прошлое проходило в его памяти. Вот родители сидят в столовой. Судя по тому, что голоса их понизились до шепота, разговор идет о нем; они не хотят огорчать его, напоминать об его провале.

«Ты подготовишься и будешь держать экзамены в октябре».

Перед домом столкнулись две машины, сбежался народ. Сверху похоже на развороченный муравейник. Муравьи размахивают руками! Слепые, жалкие.

Выход оставался один. Конечно, это было не бог весть что, но на худой конец можно примириться. Он пойдет служить в армию.

Кругом ни звука. Ален вздрогнул, когда в углу гостиной скрипнула деревянная панель.

Ему не следует ни с кем видаться, пока он не примет решения. Ведь тогда, на балконе, он вернулся в комнату лишь после того, как все решил.

«Ты еще не ложишься?» — спросил, выйдя к нему на балкон, отец.

«Нет».

«Тебе не холодно?»

«Нет».

«Спокойной ночи, сын».

«Спокойной ночи».

Мать тоже пришла пожелать ему доброй ночи. Она не уговаривала его лечь. Как и отец, она немного побаивалась за сына: они знали, что у него повышенная чувствительность, и боялись неосторожным словом толкнуть его на отчаянный шаг.

Но никакого отчаянного шага он не совершил. Он отслужил свой срок — не лучше и не хуже других. Солдат как солдат. Служба в армии, если следовать христианской терминологии, стала для него своеобразным «искусом». Подготовкой к жизни. Он научился выпивать. Сначала только раз в неделю, потому что денег у него не было.

Ален насмешливо посмотрел на бутылку. Она словно бы дразнила, подначивала его. Стоит лишь безотчетно, привычным движением протянуть руку.

Он встал. Крыши домов, силуэт собора Парижской богоматери на фоне не совсем еще потемневшего неба, купол Пантеона.

Смехота!

Он вошел в спальню, бросил взгляд на пустую постель и начал раз-

деваться. Спать не хотелось, не хотелось ничего. Почему он здесь, а
где-нибудь в другом месте? Все дело случая. И Мур-мур тоже — де
случая. И Адриена, которую он окрестил Бэби. Откуда у него эта м
ния — давать людям прозвища?

— Дерьмо! — произнес он вслух.

Ален повторил это ругательство еще раз, когда чистил зубы пер
зеркалом в ванной.

Бур, наверно, сидит сейчас, дрожит за свою шкуру, ждет его пр
хода. Может, даже пистолет купил для защиты своей драгоценной жи
ни? Или уже смылся из Парижа?

Ален презрительно улыбнулся, надел пижаму, пошел потушить
гостиной свет, но к бутылке не притронулся.

— Спокойной ночи, старик...

Раз нет никого рядом, приходится самому себе желать доброй ноч

Он заснул не сразу — лежал неподвижно в темноте и гнал от се
неотвязные мысли. Все же, как видно, сон вскоре сморил его. Разбуди
Алена внезапное жужжание пылесоса в гостиной.

Простыни на постели были сбиты: вероятно, он метался во сне. Ал
не помнил, что ему снилось, осталось лишь смутное сознание, что е
преследовали кошмары.

Он поднялся с постели, прошел в ванную, почистил зубы, прич
сался. Затем открыл дверь в гостиную. Минна выключила пылесос.

— Так рано? Я вас разбудила?

— Нет.

— Сейчас сварю кофе.

Ален проводил ее взглядом. Сегодня пальцы его не дрожали, к
накануне. Голова не болела. Все в порядке, если не считать ощущен
пустоты, впрочем вполне терпимого.

Странное чувство! Будто все окружающее не имеет к нему болы
отношения и теперь он свободен от всякой ответственности.

Однако что значит ответственность? Разве человек может нес
ответственность за другого человека, кем бы тот, другой, ни был — му
чиной, женщиной, даже ребенком?

— Смехота!

Это слово не входило в его обычный репертуар. Оно привязалось
нему недавно. Ничего, слово неплохое. Он повторил его два-три ра
глядя на утреннее, еще неяркое солнце.

Минна принесла ему кофе и рогалики.

— Вы поздно вернулись?

— Нет, крольчонок.

Взглянув на дверь спальни, Минна спросила:

— Там никого нет?

— Сегодня мы с тобой наедине.

Он разглядывал ее холодно, оценивающими глазами. И вероятно,
трудно было угадать по его лицу, о чем он думает. Ему казалось, ч
теперь он непроницаем для взоров обыденности, неподвластен общепр
нятой мерке.

— Хотите просмотреть газету?

— Нет.

Она стояла, отбросив назад плечи, чтобы лучше выделялась гру
Под прозрачным нейлоновым халатиком на ней были только бюстга
тер и трусики.

Ален размышлял, взвешивая «за» и «против». Вначале Минна п
ощряюще улыбалась, потом на ее розовом личике появилось выраж
ние легкой досады.

К рогаликам он не притронулся, но кофе выпил. Закурил сигаре
протянул ей пачку, потом спичку.

Она снова улыбнулась ему. Он поднялся и, стоя, оглядел ее с головы до ног. С ног до головы. И когда его взгляд встретился с ее взглядом, в его глазах был немой вопрос. Минна поняла его мгновенно, как понимает бармен, что пора наполнить стаканы.

Она засмеялась. Иного ответа ему не требовалось.

— Мне самой раздеться?

— Как хочешь.

Она положила сигарету в пепельницу, сняла через голову халатик.

— Почему вы на меня так смотрите?

— Как я на тебя смотрю?

— Будто вам грустно.

— Грустно? Нет.

Минна расстегнула лифчик. Теперь она стояла нагая. И ее вдруг охватило чувство неловкости перед ним. Она смешалась, не зная, как себя вести.

— Пойдем,— проговорил, наконец, Ален, притушив недокуренную сигарету.

Они вошли в спальню.

— Ляг,— произнес он просто и ласково, словно укладывал ее спать. Он смотрел на нее без вожделения, казалось, он только хочет запечатлеть в памяти ее тело.

— А вы?.. Ты... не ляжешь?

Он снял пижаму, лег рядом с ней и провел рукой по ее нежной коже.

Она удивленно смотрела на него. Она ожидала другого. Он совсем не походил на того человека, которого она видела накануне.

— Ты давно живешь с мужчинами?

— С четырнадцати лет.

— Первый был молодой?

— Нет, это был мой дядя.— Она улыбнулась.— Смешно, правда?

Но Ален не засмеялся.

— А последний раз давно?

— Три недели назад.

Он привлек ее к себе и поцеловал долгим нежным поцелуем. Поцелуем, который не предназначался только ей, как не предназначался ни Мур-мур, ни Адриене, ни какой-либо иной определенной женщине.

— Тебе грустно? — повторила она.

— Нет, я же тебе сказал.

— У тебя печальные глаза. Можно подумать...

— Что можно подумать?

Теперь он улыбнулся ей.

— Не знаю. Поцелуй еще, так меня никогда не целовали.

У нее была очень белая кожа. Он не встречал у женщин такой белой кожи. И очень нежная. Он гладил ее, но мысли его были далеко.

Он овладел ею бережно, с любовной медлительностью, удивившей его самого. Он тоже себя не узнавал. Он ласкал ее всю нежными прикосновениями губ и рук, и ей не верилось, что так обращаются с нею.

Они долго лежали, сплетенные воедино, и когда Ален заглядывал ей в глаза, он видел в них все тот же вопрос, на который был не в силах ответить.

Вставая с постели, он отвернулся.

— Ты плачешь?

— Нет.

— Ты, наверно, не очень-то часто плачешь, а? Прости, что я с тобой на «ты». Вот надену халатик и снова буду говорить «вы». Ты не обиделся?

— Нет.

— Можно мне выйти в ванную?

— Конечно.

Она хотела прикрыть за собой дверь, но он вошел следом за ней. Слегка озадаченная, она позволила ему разглядывать себя. Это тоже была своего рода близость, но уже иная. Знакомая. И каждое движение Минны было знакомо... Точь-в-точь как другие женщины.

— Знаешь, это первый раз в жизни...

Она не решилась договорить, все еще робея перед ним. Он казался ей теперь таким близким — и в то же время далеким.

— Что в первый раз?

— Со мной так... уважительно.

Ален открыл душ и стоял неподвижно под струями воды, обтекавшими его тело.

— Можно и я приму душ?

— Пожалуйста.

Он надел халат, налил себе стакан виски и, отпивая маленькими глотками, смотрел в окно на панораму Парижа. Он слышал, как полощется под душем Минна. Для него это уже было прошлое. Он больше не думал о ней. Она стала частицей невозвратимого, но не была способна это понять.

А кто способен понять? Он сам, например, понимает? Понимает все до конца?

— Чудно! — заметила Минна, одеваясь в большой комнате.— Мужчины после любви словно в воду опущенные. А мне — легко, весело, хочется петь, прыгать, колесом пройтись.

— Ты умеешь?

— Ага! У меня здорово получалось, когда девчонкой была.— Она сделала стойку на голове и ловко прошлась по комнате колесом.— А ты разве не умел?

— Умел.

Воспоминания детства ничего не изменят. Скорее, наоборот.

— Застегни, пожалуйста,— попросила Минна, протягивая ему концы бюстгальтера.

Та же просьба, что у Мур-мур и у других. Интересно, как женщины умудряются застегивать бюстгальтер, когда бывают одни?

— Спасибо.

Он налил еще немного виски, выпил одним духом, закурил сигарету и вышел в коридор. Он раскрыл стенной шкаф, выбрал серые брюки из шерстяной фланели, твидовый пиджак, туфли на каучуке. Под пиджак вместо рубашки надел свитер.

— Тебе хорошо в спортивном.

Он не отозвался. В нем ничто больше не отзывалось на окружающее.

— А пальто не наденешь? Сегодня прохладно, хотя и солнце.

Он снял с вешалки замшевую куртку, посмотрел вокруг себя. В последнюю минуту его глаза остановились на Минне. Она поднялась на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ.

— Попрощаемся?

Он поколебался.

— Хорошо.

Ален поцеловал ее так, как поцеловал бы сестру.

— Вы вернетесь к вечеру?

— Возможно.

Он медленно спускался со ступеньки на ступеньку. Дважды он останавливался. В квартире на третьем этаже звенели детские голоса. Внизу он чуть было не толкнул двустворчатую стеклянную дверь, ведущую в привратницкую, но передумал: поручений для привратницы у него не было, а письма его не интересовали.

Он сел в машину и доехал до своего гаража на улице Курсель.
— Здравствуйте, мосье Ален! Возьмете «ягуар»?
— Ты заправил бак, малыш?
— Все в порядке. И смазка и тормоза. Опустить верх?
— Да.

Ален сел за руль и повел машину в сторону Сен-Клу. Миновав тоннель, он помчался по Западной автостраде. Теперь никто не сидел рядом с ним, никто не просил его ехать потише.

Мур-мур пытается сейчас наладить свою жизнь в Птит-Рокетт. Смехота!

Он сбавил скорость и поехал до того медленно, что многие машины обгоняли его, а водители недоуменно оборачивались. «Ягуар», спортивный автомобиль экстра-класса, ползет по шоссе, как улитка! Такое не часто увидишь.

Спешить было некуда. Часы показывали четверть двенадцатого. Он смотрел на деревья так, словно видел их впервые в жизни. У них были рыжие, золотистые и даже темно-зеленые кроны. Иногда в стороне он замечал неасфальтированную, всю в выбоинах дорогу. Как давно не ездил он по таким дорогам!

Луга. Одинокая ферма со стадом черно-белых коров. Вдали стелется легкая дымка — должно быть, над извилистым руслом Сены.

Было прохладно, но он не чувствовал холода. Его обогнала колонна тяжелых грузовиков. Такие машины ему случалось водить в Африке. В общем, он немало дел переделал на своем веку.

Он чуть не прозевал знакомого съезда с автострады, но спохватился, свернул направо, проехал под автострадой и вывел машину на дорогу к вилле. Обычно про поворот напоминала ему Мур-мур. На дороге было пустынно, машины почти не попадались.

Когда перед ним возникла кирпичная крыша и квадратная башня его загородной виллы, Ален вспомнил, что ни разу после Парижа не закурил.

Над невысокой оградой маячила старая измятая шляпа Фердинанда. Патрик наверняка вертелся где-нибудь возле него.

Ален въехал в ворота, которые днем всегда стояли открытыми, поставил машину во дворе перед скромным каменным крыльцом-террасой. Дверь ему открыла мадемуазель Жак. На ней было строгое синее платье, что-то вроде формы, которую она, должно быть, изобрела сама.

Высокая женщина, спокойная, с правильными чертами лица. Трудно сказать, хороша она собой или нет. Весьма возможно, что фигура у нее красивая, но на это почему-то никто не обращал внимания.

— Я не знала, приедете ли вы. Патрик в огороде.

— Я так и подумал, увидев над оградой шляпу Фердинанда. Патрик ничего не знает?

— Нет, я всех предупредила. Впрочем, кроме почтальона и поставщиков, к нам почти никто не заходит.

Он смотрел на окна с частыми квадратными переплетами, на белые стены. Сколько души было вложено в этот дом, сколько хлопот. Почти воплощенная мечта детства. Как хорошо родиться в таком доме, а еще лучше приезжать на каникулы к бабушке.

В просторной кухне пол выложен красными плитками. В комнатах паркет натерт до блеска. Сверкают белизной — под известку — стены отделанной в крестьянском стиле гостиной, оконные занавеси в цветочках.

— У вас усталый вид.
— Нет, сегодня я уже немного пришел в себя.
— Представляю, как вам было трудно.
— Да, нелегко.
— И никого рядом?

Он утвердительно кивнул.

— А как ваш зять?

— Держался довольно стойко, гораздо лучше, чем я ожидал.

Ален направился к огороду, окруженному шпалерами винограда. Повсюду виднелись огромные, налитые янтарной желтизной груши. Ветви яблонь гнулись под тяжестью плодов. За яблоками Фердинанд ухаживал особенно заботливо. Едва они начинали созревать, он на каждое яблочко надевал мешочек, чтобы уберечь плод от гусениц.

Ровные дорожки. Прямые, как по нитке протянутые, тщательно прополотые грядки.

Садовник и Патрик рвали бобы. Заметив отца, мальчик бросился к нему. Ален подхватил его на руки, и Патрик крепко обнял его за шею.

— Как рано приехал! А где мама?

Он искал глазами мать.

— Мама задержалась в Париже.

— Она приедет завтра?

— Вряд ли. У нее много работы.

Патрик не слишком огорчился. Фердинанд снял свою замызганную шляпу, обнажив бледную лысину, которая заблестела на солнце, будто полированная кость. Это было неожиданно при его обветренном, загорелом до темноты лице. Неожиданно и немного жутко.

— С благополучным прибытием, мосье Ален.

— А мама не приехала, Фердинанд, у нее много работы. Ты не забыл, что обещал мне сделать лук?

Огород был как картинка из книжки. Дом тоже словно сошел с красочных страниц видового альбома.

— Патрик! Идем, пора завтракать!

— Колокол еще не звонил.

У них был даже колокол, рядом с кухней, и Лулу, жена Фердинанда, звонила в него перед каждой трапезой.

— Здравствуйте, Лулу!

От нее пахло кроликами, луком, душистыми травами.

— Добрый день, мосье Ален!

Она только пристально посмотрела на него, не осмеливаясь ни о чем спрашивать при ребенке.

— Мама не приедет,— объявил Патрик.

На кого он похож? Глаза как у матери, темные, то живые, то задумчивые. Переменчивые. Нижняя часть лица — его, Алена.

У Лулу был большой, выступающий под клетчатым фартуком живот, толстые ноги; на макушке жидкий узелок туго скрученных седых волос.

— Завтрак поспеет через несколько минут. Будете есть филе из селедки? Я его приготовила по просьбе Патрика.

Но Ален, должно быть, не расслышал. Он прошел мимо столовой в гостиную. Здесь в одном из углов в старинном шкафу треугольной формы стояли бутылки и бокалы. Ален налил себе виски, и Патрик с любопытством смотрел, как он пьет.

— Вкусно?

— Нет.

— Вкуснее лимонада?

— Нет.

— Так зачем же ты пьешь?

— Все взрослые пьют. У взрослых не всегда поймешь, почему они поступают так, а не иначе.

Тревожный взгляд, брошенный на него мадемуазель Жак, предупредил Алена, что следует выбирать выражения.

— А гости завтра приедут?

— Нет, сынок, не приедут.
— Никто-никто?
— Никто.
— О, тогда мы весь день будем играть с тобой вдвоем!
— Меня тоже не будет.
— Ты уезжаешь? Когда?
— Скоро.
— Зачем?

А в самом деле, зачем? Но как объяснить пятилетнему человеку, что ива-три часа в атмосфере этого дома для его отца невыносимы? Слишком о многом напоминает ему здешняя обстановка.

Экономка тоже была удивлена. Спускавшаяся по лестнице горничная спросила:

— Внести чемоданы, мосье?
— Я ничего не взял с собой, Ольга.

Зазвонил колокол. Об оконное стекло, звеня, билась оса. Он и забыл, что на свете есть осы.

Обедать сели втроем: он, Патрик и мадемуазель Жак. Овальный стол был украшен синей фаянсовой вазой с большим букетом цветов.

— Ты не взял филе, папа.
— Сейчас возьму, я задумался.
— Что с тобой, ты устал?
— Да, было много работы.

Он не солгал, работы было много. Грязной работы. Той, какую обычно человек проделывает лишь раз в жизни: нисхождение в глубины своего «я». Он соскреб с себя оболочку, соскреб все, до самого нутра, до сердцевины, так что кровь выступила. Теперь это уже позади. Раны не кровоточат. Но можно ли от него требовать, чтобы он стал прежним человеком?

Минна не догадалась, что сегодня утром ей выпало на долю соприкоснуться с чем-то таким, что ей наверняка никогда больше не доведется испытать.

Но и здесь, дома, никто об этом не догадывается: ни Патрик, ни няня, ни Лулу...

Ален ел, улыбался сыну.

— Мусик, можно налить мне в воду капельку вина?
— Завтра. Ты же знаешь — вино только по воскресеньям.
— Но завтра не будет папы.

Мадемуазель Жак вопросительно посмотрела на Алена и налила Патрику в стакан несколько капель вина.

Завтрак тянулся бесконечно. Окно было раскрыто. Слышалось пение птиц. Иногда в комнату залетали мухи, кружили над столом и стремительно уносились в открытое окно, навстречу солнцу.

— Подать кофе в салон?

Салон. Холл. Будто никогда и не было слова «гостиная».

Ален прошел туда, сел в кресло, обитое коричневой кожей. Он увидел, что капот «ягуара» жарится на солнце, но не было душевных сил подняться и отвести машину в тень.

— Пойду посмотрю, позавтракал ли Фердинанд. Он обещал сделать мне лук.

Мадемуазель Жак не знала, уйти ей или остаться.

— У вас будут какие-нибудь распоряжения, мосье Ален?

Он долго думал.

— Нет, пожалуй, никаких.
— Если позволите, я пойду посмотрю, что делает Патрик.

Ален допил кофе, поднялся по лестнице и обошел все комнаты второго этажа. Потолки были низкие, обстановка почти вся в деревенском

стиле. Грубая крестьянская мебель. Но в целом все выглядело весело и просто.

Нарочито просто. Поддельная, фальшивая простота. Чтобы гости, приглашенные на уик-энд, ахали и удивлялись. Таким же поддельным, фальшивым был интимно-вкрадчивый тон журнала «Ты».

И таким же фальшивым был... Не к чему! Слишком поздно! А может быть, слишком рано? Он открыл дверь в спальню. Волнения он не почувствовал.

Ален спустился вниз и застал Патрика в обществе садовника, который мастерил ему лук. Неподалеку стояла мадемуазель Жак.

К чему медлить? Ален подошел к ним, нагнулся к Патрику и поцеловал его.

— А на будущей неделе ты приедешь с мамой?

— Наверно.

Лук сейчас интересовал Патрика больше, чем отец.

Ален молча пожал руку мадемуазель Жак.

— Вы уже уезжаете, мосье Ален?

— Дела, Фердинанд.

— Вам ничего не нужно? Может, захватите в Париж немного фруктов?

— Нет, спасибо.

Ален пошел попрощаться с Лулу.

— Кто бы мог подумать, мосье Ален! — соболезнующе затараторила она, утирая глаза краем передника.— Женщина — такая...

Какая? Он отошел от Лулу, так и не узнав этого. Ален включил стартер, и машина вихрем вылетела за ворота усадьбы «Монахиня».

VIII

А теперь он будет пить. Теперь можно и должно. Все, что было сегодня, вплоть до мельчайших подробностей, и даже близость с Минной — все было решено и обдумано заранее. Как странно, что роль эта выпала на долю молоденькой фламандки, которую он впервые увидел только вчера и только потому, что случай привел ее к нему в дом.

Возможно, роль не бог весть какая значительная. Во всяком случае менее значительная, чем это воображает Минна.

Времени в запасе оставалось еще много. Он пробыл на вилле меньше, чем рассчитывал. Он чувствовал, что задыхается там. Его отъезда он хотел уехать спокойно и никого не удивляя — походил на бегство.

Ален гнал машину на полной скорости, но не в направлении Парижа. Он достиг Эвре, через который ему уже не раз случалось проезжать. Он искал бар, но по сторонам мелькали фасады ярко-желтых или сиреневых бистро, где виски, конечно, не подавали.

Несколько минут он блуждал в лабиринте похожих друг на друга улиц, пока не заметил дорожный знак и надпись: «Шартр».

Шартр так Шартр. Он не проехал и пятнадцати минут, как заметил туристский мотель. Его вывеска изображала стоящую на газоне старую коляску. Раз мотель — значит, непременно есть и бар.

Действительно, бар в мотеле был. Бармен слушал по радио репортаж со скачек.

— Двойное...

Он чуть было не передумал, но бармен понял его на лету и схватил бутылку «Джонни Уокер». Не он один употребляет этот термин. Двойной скоч, двойное виски, двойное... От одних этих слов его мутило.

— Неплохая погодка для автомобильной прогулки.

Он рассеянно буркнул «да». Плевать ему на погоду. К его программе она отношения не имеет. Он едет не на парад.

— Еще раз двойное!

— Кажется, вы у нас бывали.

Конечно бывал, старина. Все и повсюду его уже знают. Даже там, где он никогда не бывал. Просто-напросто потому, что его фотография напечатана на первых страницах газет.

— Счастливо оставаться!

— До скорого!

Наверно, «ягуар» вызывал зависть. Ален снова дал полную скорость, хотя дорога не была приспособлена для такой езды. На двух поворотах он чуть не перевернулся.

Вот и Шартр. Прекрасно. Он знал знаменитые витражи Шартрского собора, но особенно запомнил ресторан с уютным баром на углу одной улицы. Разыскать его не стоило труда.

— Двойной скоч!

Кажется, пошло веселей. Алкоголь делал свое дело. Ален вновь приобрел в свое обычное приподнятое состояние. По всегдашней манере ошарашивать людей, он решил подшутить над барменом, но шутка обернулась против него самого.

— Помнится, вы тут работали уже два года назад? А?

— Нет, мосье, я поступил сюда в прошлом месяце.

— Где же вы жили раньше?

— В Лугано.

Ален никогда не бывал в Лугано. Промах! Ну и начхать! Не имеет он, что ли, права промахнуться?

Ален ехал вперед, смотрел на встречные машины, на водителей, крутивших с серьезным видом баранку.

А он всю жизнь поступал как раз наоборот, делал все с самым несерьезным видом, и люди верили, что он и вправду таков.

Глядя на его развязность, никто не заподозрил бы в нем робкого мальчика, изображающего из себя отважного индейца.

А между тем он был подвержен таким же страхам, что и его ближние. Иногда он даже бывал трусливей их. Например, не решался смотреть людям прямо в глаза. И чтобы побороть робость, он небрежно бросал им:

«Привет, заинька!»

Или:

«Ах ты глупышка!»

Это помогало. А они — они покорно терпели. Но в действительности освобождало ли это его от страхов, давало ли подлинную уверенность в себе?

Нет, он мало выпил. Сейчас, проезжая Сен-Клу, он снова сделает остановку. Там большое кабаре, где по субботним вечерам играет оркестр и можно потанцевать. Как-то он провел там субботу с одной из своих машинисток. Воспользовался отъездом Мур-мур в Амстердам: она отправилась туда брать интервью. У какого-то американского ученого, если память ему не изменяет.

А с машинисточкой они устроились на берегу Сены и занялись любовью прямо на траве.

Не они первые изобрели этот способ. Ален не боялся женщин, до этого не доходило. Но он преклонялся перед ними. Так было с детства, с первых прочитанных книг. В душе он ставил женщин на пьедестал, смотрел на них снизу вверх.

И чтобы победить в себе это, он задирал им юбки и подминал их под себя. Пьедесталы летели к черту.

Ален снова очутился на Западной автостраде, доехал до Сен-Клу, не пропуская по дороге ни одного кабачка. Пейзаж изменился. Вид домов тоже. Но бары были повсюду.

— Двойное виски!

Все же виски действовало медленней, чем это было третьего дня. Он сохранял хладнокровие, помнил советы комиссара Руманя. Он дал комиссару слово. Симпатяга этот комиссар, свой в доску. И он многое понял, даже слишком. Да, быть бы таким человеком, как комиссар Румань...

Положительным, крепко стоящим на ногах человеком, который не нуждается в...

Слишком поздно! Он по уши в дерьме!

— Сколько с меня?

Ну, и занудливое же это дело! Однако решение, принятое вчера вечером, было непоколебимо. Он рассчитал всю программу до мелочей и ничего в ней не изменит.

Чепуха! Он вдруг понял, что досадовать сейчас на что бы то ни было нелепо. Образы пережитого отступили куда-то вдаль. Лица знакомых людей стерлись и расплылись. Он с трудом вспоминал их черты.

Елисейские Поля! Взгляд Алена проник в глубь улицы Мариньян, задержался на фасаде здания, на котором каждый вечер вспыхивало огнем огромное «Ты».

Он поставил машину на Биржевой площади. Зашел в бистро. Здесь часто бывали журналисты: в квартале расположены редакции многих газет. Иногда и он забегал сюда закусить.

— Красного, сынок!

Молоденький официант в синем переднике, видимо, еще не помнил постоянных клиентов в лицо. Алена он явно забыл, хотя тот заходил сюда совсем недавно.

— Еще стаканчик!

Терпкое красное вино. Это в программу не входило. Нет, надо быть точным.

— Сколько с меня?

Он ничего против них не имел, ни против одной, ни против другой. Мур-мур шла за ним, пока могла. Может быть, она верила в него, думала, что она ему необходима? Не все ли равно!

Просто ей надоело быть Мур-мур, вечно плыть в его фарватере. Ей тоже захотелось играть первую роль.

Первую роль! Смехота.

В старое здание на улице Монмартр Ален вошел, как к себе домой. На лестнице с выщербленными ступеньками валялись окурки. С той поры, когда он бывал здесь, стены ни разу не перекрашивались. На дверях висели все те же эмалевые таблички. Исчезла только одна — на дверц за которой помещалась редакция еженедельничка, где он сотрудничал. Собственно, не исчезла: вместо старой появилась новая:

АДА
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ

А может, это всего только камуфляж и на самом деле там не цветы, а дом свиданий? Возможно, эта Ада изготовляет заодно и траурные венки? Отлично моющиеся, не боящиеся дождя венки из пластмассы.

Еще два этажа. Алену стало жарко. Наконец он вошел в коридор. На третьей двери слева была прибита не эмалевая табличка, а визитная карточка, обернутая в целлофан:

ЖЮЛЬЕН БУР
ФОТОГРАФ-ХУДОЖНИК

Фотограф-художник! Только и всего. В замке торчал ключ. Ален открыл дверь и оказался в довольно просторном салоне. Повсюду стояли юпитеры. Над дверью в соседнюю комнату горела красная лампочка. Мужской голос крикнул:

— Не открывай. Я сейчас выйду.

Это был голос Бура. Кого он ждал? Может быть, комиссар предупредил его о приходе Алена?

В углу, установленный на четырех деревянных обрубках, помещался пружинный матрас, покрытый марокканским ковром. Он служил хозяину одновременно диваном и кроватью. Ален толкнул вторую дверь. Она вела в крохотную туалетную комнату с сидячей ванной. От времени под кранами образовались ржавые борозды.

Он прикрыл дверь, обернулся и оказался лицом к лицу с Буром. Фотограф был в жилете, без галстука. Он застыл на месте и побледнел, как мертвец.

— Не волнуйся, глупыш!

Бур оглянулся на дверь, словно намеревался бежать.

— Садись. Не бойся. Я тебе ничего не сделаю.

Почему вчера вечером ему казалось, что этот визит так уж необходим? Видеть жалкого, до смерти перепуганного Бура не доставило ему ни малейшего удовольствия. Так же равнодушно смотрел он и на диван, на котором поочередно валялись его жена и свояченица. Он попытался представить себе рядом с ними голого Бура. Но даже и тут ничто не шевельнулось в его душе.

— Клянусь вам, патрон...

— О господи! Да плевать мне на это на все! Просто захотелось посмотреть, где ты живешь и на тебя заодно. И вот смотрю и думаю: пожалуй, ты прав, что не следишь за собой. Наверно, есть женщины, которым это нравится.

Он закурил сигарету, подошел к окну и посмотрел на двор, загроможденный ручными тачками. Вероятно, это был один из немногих парижских дворов, где вместо машин стояли ручные тачки.

— Ты ждешь кого-нибудь?

— Должна прийти натурщица.

Ален вглядывался в Бура. Непривычно так внимательно рассматривать человека, от которого тебе ничего не требуется, о котором ты даже не собираешься составить мнение. Так рассматривают какое-нибудь животное. Видишь, как оно дышит, как косит на тебя настороженными глазками. Отмечаешь, что губы у него тревожно дергаются, а над верхней губой от страха проступил пот.

— Сфотографируй меня, а?

Это тоже не входило в программу. Случайно промелькнувшая мысль.

— Зачем? Вы не шутите?..

— Какие могут быть шутки.

— Сделать портрет?

— Можно и портрет.

Бур встал, нетвердыми шагами подошел к одному из юпитеров и включил его. Повернулся и двинулся к стоявшему в углу аппарату на штативе. По тому, как он втянул голову в плечи, было видно, что он ждет выстрела или удара ножом в спину.

Ален сидел, не шевелясь.

— Анфас?

— Все равно.

Бур навел аппарат. Его пальцы дрожали.

— А Мур-мур ты снимал?

— Нет, честное слово. Клянусь вам!

— Что за привычка клясться по любому поводу! Сказал «нет» — баста. И тебе ни разу не захотелось снять ее голой? У тебя на диване?

— Что вы!

— А Адриену?

— Адриена сама меня попросила.
— И ты ее снимал?
— Да.
— Пленка сохранилась?
— Нет. Она ее уничтожила. Она только хотела посмотреть, как он выглядит.
— А в какой позе ты ее снял?
— В разных.
Ален услышал, как щелкнул затвор.
— Второй раз не надо?
— Нет. Выйдет хорошо.
— У тебя есть виски?
— Осталось только немного вина.
Ален еще раз пристально посмотрел на Бура, глаза в глаза.
— Прощай!
Что ему было здесь нужно? Чего он ждал от этой встречи? Помощник комиссара зря опасался. Все обошлось самым лучшим образом. В Алене ничто не возмутилось при виде соперника. По совести говоря, во всей этой истории Бур ни при чем, ему выпала случайная роль.
Где же машина? Ален искал ее на улице, потом вспомнил, что оставил «ягуар» на Биржевой площади.
Теперь торопиться больше некуда. Времени — пропасть. Надо только найти побольше приятных баров. Желательно таких, где его не знают. Говорить с людьми не хотелось.
Надоедало лишь отыскивать всякий раз стоянку для машины. Ни отыскав стоянки, нельзя попасть в бар. Ну и нуда.
Ален ехал по улице Фобур-Монмартр. Нет, на площадь Клиши он не завернет. С этим покончено, как и с «Монахиней». Он последователен.
Он очутился на площади Мадлен. Какой-то бар с девицами, поджидающими клиентов. Девицы его не интересовали.
— Двойное виски!
Красотки подмигивали ему, а он смотрел на них, как недавно смотрел на Бура, будто это — не люди, а рыбы или кролики, в общем, всего навсего какие-то живые твари, которые двигаются и дышат. Правда, когда смотришь, как они дышат, становится чуть-чуть не по себе.
— Еще стаканчик, старина!
Не легко отыскивать бары, где его не знают. Он попытал счастья на бульваре Осман. Какой-то новый бар. На бармене была красная куртка.
— Двойной!
— «Джонни Уокер»?
Как медленно действует на него алкоголь! И вкуса у виски никакого.
— Я похож на пьяного?
— Нет, мосье.
Верно, Ален убедился в этом, посмотрев на себя в зеркало, но ему хотелось услышать подтверждение. Глубина зала тонула в полумраке. Какая-то парочка сидела на мягком диванчике, держась за руки.
Видно, все-таки, любовь есть на свете! Есть! Ален пожал плечами, чуть не забыл заплатить. Впрочем, ему напомнили бы.
— Привет, Боб.
— Меня зовут Джонни, мосье.
— Привет, глупыш!
Он невольно продолжал разыгрывать индейца.
Допустим... Нет! Слишком поздно менять решение. У него было довольно времени для размышлений. Но допустим. Просто так, из интереса. В понедельник он приходит в редакцию... Прекрасно... Все, и первый — Борис, делают вид, будто ничего не случилось...

Вот только он, Ален, не сможет больше делать вид... И это главное! Ни перед другими, ни наедине с собой.

Все дело случая, пусть так. Когда Мур-мур пожалела Жюльена Бура и потом влюбилась в него, она не могла предвидеть, что это приведет ее к убийству родной сестры.

Теперь и она знает. Знает. Как комиссар Румань. Потому и передала через Рабю, что не хочет его видеть.

«...Лишь на суде...»

Она уже обдумала все детали и мелочи. Это женщины умеют: обдумывать детали и мелочи. На это-то и уходит вся их потрясающая толковость.

А он оказался идиотом. Вполне достойным идиотских статей журнала «Ты».

— Двойное, бармен!

— Мартини, мосье?

— Виски!

Это было где-то за Бурбонским дворцом, неподалеку от дома его зятя. Интересно, осмелился ли Бланше после всего, что произошло, заглянуть себе в душу при свете дня? Ну нет, не так-то он глуп! Знает, наверно, что это дело опасное.

Начать все сначала?.. Только вот с какого конца, спрашивается... И что, собственно, начинать?..

Если бы он не завалил бакалаврские экзамены... Э, не надо искать для себя оправданий! Завалил бы что-нибудь другое.

— Налейте-ка еще стаканчик!

Бармен посмотрел на него и помедлил, прежде чем налить.

Значит, заметно, что он пьянеет. Теперь пойдет быстро.

— Не бойтесь, я привык.

— Все так говорят, мосье.

С чего это сегодня бармены так важничают?

Ален допил стакан и пошел к двери с подчеркнутым видом собственного достоинства. Он пытался скрыть неуверенность походки. В машине он с трудом зажег спичку, чтобы закурить сигарету.

«Ты ему нужен, Ален».

Слова матери. Казалось, он слышит их, видит тусклый взгляд ее глаз. Глаз женщины, никогда не знавшей радостей жизни. Впрочем, не знал этих радостей и его отец.

Что он, Ален, может дать Патрику? Не больше, чем Мур-мур. Они ничего не значат для сына, ни он, ни она.

Патрик гораздо лучше чувствует себя с мадемуазель Жак, с Мусиком, как он ее называет, со стариками Лулу и Фердинандом. Он никогда не поймет, что «Монахиня» это «липа», неудавшаяся мечта.

Патрик унаследует много денег. Миллионы читателей и читательниц — в особенности читательниц — принесли Алену богатство.

Несправедливо! Его отец всю жизнь, изо дня в день работал от темна до темна, чтобы свести концы с концами, а он, Ален, за стаканом виски в ночном кабаре, пошучивая с приятелями, напал на золотую жилу.

Где это он едет? Голова перестала соображать. Бульвару не было конца. Он хотел выехать к Булонскому лесу, а вовсе не на Большие бульвары. Он вел машину наугад, куда глаза глядят. Полицейский свисток заставил его остановиться. Его охватил страх, как бы из-за этого дурацкого свистка все не рухнуло.

— Проезд закрыт. Вы что, не видели?

Только бы полицейский не заметил, что он пьян.

— Прошу прощения. Будьте добры, как проехать в Булонский лес?

— Булонский лес позади вас. Сверните направо, потом еще раз направо к мосту Александра III.

Фу! Он заслужил последний глоток виски. Не сейчас, конечно. При въезде в лес. Места были знакомые. Он вошел в кафе. Во рту был вкус перегара.

— Виски?

— Простое. Или лучше...

Ален указал на полке квадратную бутылку «Джонни Уокер».

— Большой стакан.

Он больше не стыдился. Конец. Он держался молодцом до последней минуты. Может быть, он что-то забыл? Поздно думать. Мысли путались.

Мысли? Он взглянул на соседа. Увидел, как тот дышит. Вот именно: к чему мысли. Надо просто дышать.

— Налейте-ка еще.

И здесь гарсон посмотрел на него и заколебался.

— Я вас прошу. Очень.

Ален выпил стакан залпом и бросил стофранковую бумажку на мокрую стойку.

Сдачи не требовалось.

Тут где-то неподалеку есть дерево. Огромный платан. Как раз на повороте. Только бы его найти. У него были в парке приметные места.

Если бы Мур-мур...

При чем тут Мур-мур? С другой женщиной было бы то же самое. Он бы и ту, другую, назвал Мур-мур или еще каким-нибудь уменьшительным именем. Мало ли уменьшительных имен. Заинька, глупышка и так далее.

Потому что все дело в том, что, в сущности, им всегда владел страх перед жизнью. И Мур-мур теперь это знает. Они все теперь это знают.

Вот оно, его дерево. До него метров сто. Ален вогнал педаль газа до упора. «Ягуар» рванулся вперед. Все понеслось. Алену казалось, он всасывает встречные машины.

Всю жизнь им владел страх.

Только не сейчас. Нет.

Он не почувствовал удара, не услышал оглушительного скрежета металла, ни яростного визга тормозов чужих машин, ни топота бегущих ног, ни криков, ни возгласов, ни нарастающего воя санитарной кареты.

Для него все было кончено.

ФАЙЯД ХАМИС

ИЗ РАЗНЫХ ЛЕТ

Перевод с испанского
Н. БУЛГАКОВОЙ

Мне садом детства не был Аушвиц*

Мне садом детства не был Аушвиц. Я вырос
средь трав, среди зверей, и в нашем доме
свечи огарок бедность зажигала ночью.
С ветвей свисали гнезда птиц и звезды,
и лошадь белая бродила по дорогам.

Мне садом детства не был Аушвиц. Я помню
лишь козни ящериц, туманный, тусклый
свет очага дождливыми ночами
и девушек, купающих улыбки
в реке, от пота мокрую рубаху
отца и страх лишь перед воем вод.

Мне садом детства не был Аушвиц.
Я ел конфеты, веселился,
на маленьком фанерном самолете
я ездил по траве — не по костям людским.
Да, я счастливец нынешних времен: я вырос
под жгучим солнцем родины моей (ни разу
меня никто не ставил на колени).
И если мое узнать вы захотите имя,
в тени гуа́симы его осветит луч.

Ночь в Париже

Ночь. Кто зовет меня?
Грузовики, проходящие улицами,— кого они ищут?
Какого умершего от голода нищего?
Волны сна в город бьют прибоем.
О камень споткнувшись, падает пьяница,
встает и снова падает, посылая проклятья с тоскою.
Волны сна в мою дверь бьют прибоем.

---

* Немецкое название гитлеровского концлагеря Освенцим.

Я не знаю тебя, паук, я не знаю
гебя, стакан, лишь молчаньем и пылью полный.
Кто встает, чтобы настежь утро открыть?
Кто сумеет сонный прибой переплыть?
Грызет мое имя проснувшийся пес,
идет первый луч за скрипом колес.
Бушует ветер по улице, ударяя
в дверь за дверью, и нищета
поднимает кулак. Рассветает.

Никого

I

Нет, не она позвала. За этой чужою дверью
лишь пыль кружится и мне, кружась, задает вопросы.
Никого.
Нет ответа на зов. Я знаю одно —
никого.
Рядом с телом моим слышу только шаги теней
и годов, улетающих бегом зеленых коней
без грив — далеко, и удары, сухие удары копыт.
Никого.
О, часов одиночество темное.
Глаз обманут, но слух мой открыт, слух открыт...
Никого.
Нынче, завтра, всегда, никогда — никого.
Ее голос стал камнем спаленным.

II

Я вам расскажу о доме, о доме и серых стенах,
стенах старых и голых. Я вам расскажу
о девочке, что вечерами
когда-то здесь проходила
близ моего молчанья, трепетного и печального.
Я вам расскажу о дороге, длинной, большой дороге,
каменистой и белой, что до реки простиралась
в то далекое, чистое время, давно поглощенное ныне
алчными водами смерти.
В том времени все было светом, и девочка возвращалась.
Дом наш не был веселым,
но брат мой и я играли, а в сумерках вечерами
мать нас баюкала тихо. Об этом я тоже помню.
Сегодня на все смотрю я, как раньше смотрел когда-то:
вот дворик и пегая лошадь — на ней мы ездили в город,
пятнистая Дике. И снова со мною прошлое рядом,
и бьется воспоминанье с биением крови в жилах.

III

Никого.
Откройте же настежь двери.
Никого.
Безмолвные спят ступени.
Нет огней, темнота. Сжег огонь все дотла,

и пеплом покрыта земля.
Деревья в саду — будто праха глаза,
звери бежали, и даже цветы апельсинов
увяли. Здесь время огня царило
над временем вечным покоя,
здесь вихрь моих снов
умчался вместе с весною.
Никто на вопросы мои не ответит,
и даже летящий ветер полон печальным словом —
никого.

А ну, заткнись!

А ну, заткнись, ведь я не кончил песню:
я жив, я прохожу по улицам эпохой,
кулак мой крепко сжат, а вот твое лицо
лишь стать старинною монетой сможет;
кулак мой сжат — бегут из-под пера
названья, камни, кошки и моторы,
и ветер Революции — слова,
что жизнь зажгла, отныне полны жизнью.
Я начинаю, отточив едва
свое оружие, но в путь недолги сборы.
Из детства я принес и птиц и реки,
мечты, удары, горе, униженья,
и голову пробитую, и сердце,
что от любви и красоты безмерно,
из манговой коры корзины, чемоданы,
безделок полные, серьезность адвоката,
и радость, и сознанье человека,
что честно прожил жизнь; еще костюм поэта,
он навсегда к моей привязан тени.

Эй, тише, помолчи! Тебя я знаю:
ведь это ты стоишь на перекрестке
(Контрамаэстре, Гуайоса, Прадо)
и сумрачно,— дрожа, как курица больная,—
все ждешь чего-то. Бедный. Ну, заткнись!

Автобус и город

Бежит автобус вперед.
Блещут улицы в мареве солнца и жара.
Полнится музыкой город, на мир зеркальный похожий.
Вот женщина поднимает в автобус свое огромное тело,
ищет места. Рядом рабочий смотрит, куда бы пристроить
с инструментами ящик. В проходе девушка чернокожая
светится, словно прекрасная черная лампа.

Медленно, долго, разрушаясь и строясь,
менялся города облик,
выраставший из моря. Встали стены, омытые светом,
под ударом ветров и дождей, средь мечты бесконечной
и пролитой крови.

Я видел однажды, как исчез последний трамвай;
а кто-то последние видел упряжки, коляски, кареты,
как они, повернув за углом, навсегда потерялись.
В этом городе — видел я — переулком брела нищета,
головой натыкаясь на зданья, чтоб как призрак растаять.
Да, это видели те же глаза,
что обычно
привыкли следить, как она пробирается к людям,
а сегодня смотрят городу прямо в лицо,
озаренное дымом заводов и новою красотою.

Какой-то старик говорит соседке,
старой накрашенной женщине, однако держащейся скромно:
«Как черепаха ползет наш автобус. Этак мы никуда не доедем...»
(Будто во время иное бегал автобус быстрее.)
Болтает старик неумолчно. Его тонкий, скрипучий голос
хочет пробиться сквозь гул голосов, автобусный скрежет
и шумы городские.
Он болтает о жизни, о чем-то простом и серьезном,
об успехах своих небольших и о стульях, от времени дряхлых.
Мы прижаты друг к другу — тесный слиток из зноя и пота,
но всегда хватит места, чтоб кто-то
еще сел в автобус:
маляр, машинистка, поэт, а быть может, торговец
(только путь его мрачный давно уже закончен).
Места хватит, чтоб кто-то еще сел в автобус. Мы — плотный слиток
из зноя и пота.
Входит, выходит народ, галдит, теснится, толчется,
временами кто-то ругнется.
А иной раз и кажется, что автобус вот-вот опрокинется на перекрестке.

Девушка перекрестилась — мимо церкви проехал автобус.
Мы на девушку смотрим, и на ум мне приходит
облик древних мадонн Боттичелли, здесь, в Гаване
шестьдесят третьего года.
Кричит, галдит, болтает народ, скрипит и скрежещет автобус —
это город шумит и живет; нас его голоса окружают,
рассыпаются голоса светлым всплеском весенним,
развеваются голоса, пламенея,
как штандарты грядущих времен.
Мы прижаты друг к другу — плотный слиток из зноя и пота,
но всегда хватит места, чтоб кто-то
еще сел в автобус.
Болтает старик неумолчно. Останавливается автобус
у Сан-Ла́саро на перекрестке. И он говорит соседке:
«Вон дощечка на двери. Там живет адвокат. Это сын генерала,
героя Освобожденья*.
Он и сам человек хороший». «Адвокат — и хороший?!.
Бандит и разбойник!»
«Но отец его был генералом и героем Освобожденья».
«Отца я не знаю, зато сын мне известен. Вы уж лучше молчите».
А старик продолжает болтать. Вот он смотрит на зданье
и называет нам имя того, кто велел это зданье построить,—

---

* Имеется в виду Освободительная война кубинского народа против испанского гнета в конце XIX века.

жалкий труп, чья могила сегодня полна лишь землею,—
ну а здание нынче заполнил народ.

Места хватит, чтоб кто-то еще сел в автобус.
«Проходите вперед!» «Кто выходит?»
Полнится музыкой город, на мир зеркальный похожий.
Блещут улицы в мареве света. Входит девушка чернокожая
с мокрыми волосами, как у крестьянки, что в реке искупалась.
Хватит места, чтоб кто-то еще сел в автобус.
«Сзади едет пустой!» «Ну и пусть. Наплевать!
Мне нужно на этот.
Мне нравится быть впереди. Не хочу, не умею я ждать!»
Ждать не хочет никто. Ну какой интерес на углу оставаться,
от жары задыхаясь. Все хотят
побыстрее до цели добраться, даже если они не спешат,
этим вечером звездным.

Люблю я серые улицы города моего.
Люблю его полдень палящий и лица людские,
что мелькают в окошке,
и старые мирные уголки, укрытые тенью прохладной.
Я руки люблю, изменяющие улиц лицо,
и свет, озаряющий переулки;
люблю я спешащих людей, чьи страданья все меньше и меньше.
Я парки люблю, где весело дети играют,
тенистые парки, хранящие сны последних бродяг,
парки, которые нынче любовью пьяны.

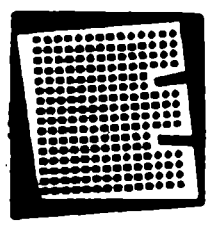
Нет, я не спешу. И куда мне спешить?
Я вовремя буду на месте,
ни раньше, ни позже. Я вовремя буду, ведь наше время сегодня —
время зрелости, время труда,
любимой руки в руке и хлеба к обеду.
Нет, я не спешу. Мы доедем.

СЕРДЖО ТУРОНЕ

Верблюд святого Франциска

В основе крупных состояний, секрет приобретения которых неизвестен, всегда лежит чисто сработанное и потому всеми забытое преступление.

БАЛЬЗАК



го снова обуял страх. Кавалер труда коммендатор * Джелонда, один из заправил цементной промышленности, был во всех отношениях примерным католиком, но мысль о собственном богатстве преследовала его как наваждение.

Несмотря на преклонный возраст, он еще вполне мог пожить: с виду был крепок и на здоровье не жаловался.

В сумраке церкви, где, пробиваясь сквозь цветные стекла окон, робко играли солнечные лучики, освещавшие его коленопреклоненную фигуру и седовласую голову, Джелонда часто ловил на себе женские взгляды. Даже если предположить, что он ошибался и повышенный интерес дам был плодом его воображения, уже сам ход его мыслей свидетельствовал о том, что Джелонда отнюдь не чувствовал себя старым.

Но годы все же брали свое: время не остановишь...

Смерти, как таковой, Джелонда не боялся, он боялся ада. Хоть он и знал, что прожил жизнь как истый христианин, однако, о чем бы он ни думал, из головы не выходило евангельское изречение, которое он вычитал еще мальчишкой и которое уже тогда потрясло его как угроза незаслуженной кары. То были знаменитые слова: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие небесное».

А коммендатор Филиппо Джелонда был страшно богат. Как велико было его богатство, знал только он. Налоговые агенты, например, имели о его доходах весьма отдаленное представление — во всяком случае, налог с него взимали смехотворно малый. Выход у Джелонды мог быть только один: пожертвовать свои капиталы на богоугодные дела и доживать жизнь в бедности. По крайней мере так советовал ему исповедник. Но легко сказать — лишиться всего!

Положим, здоровье у него неплохое, но желудок — капризный. Только повар норвежец, служивший у Джелонды с незапамятных времен, знал, как и чем следует кормить хозяина. Стало быть, отказаться от повара норвежца было равносильно самоубийству, а церковь, как известно, самоубийство осуждает.

Против подобного решения имелись и другие, еще более веские доводы: обрекая себя на бедность, Джелонда был бы вынужден уволить всю прислугу. Имел ли он право выкидывать на улицу столько людей лишь на том основании, что ему хочется попасть в рай?

Следовательно, выход был, но только в теории.

Стоило Джелонде просмотреть биржевой бюллетень и прикинуть, сколько он заработал за одни сутки, как он погружался в глубочайшую меланхолию. Ему каза-

---

* Коммендатор — почетное звание, присваемое в Италии за «заслуги перед отечеством». *(Прим. перев.)*

лось, что он связан по рукам и ногам и при малейшей попытке освободиться узы затягиваются еще туже.

Иной раз надежда появлялась вновь... В конце концов, почему быть богатым — грех?! Филиппо Джелонда с малых лет самым строжайшим образом выполнял все предначертания церкви: молился от души, много раз предоставлял свои виллы в Стрезе и в Санта-Маргерите бойскаутам для слетов и экскурсий, щедро одаривал духовную семинарию; посланцы благотворительных учреждений никогда не уходили от него с пустыми руками. Разве он виноват, что цементная промышленность — такое прибыльное дело?

Однажды после очередного приступа отчаяния он решил попытаться сократить свои доходы — перестал переводить капиталы за границу. Но через пару месяцев, видя, что эта мера не дала существенных результатов и поступления не сокращаются, он снова прибегнул к услугам банка Лугано, где его знали много лет.

В политическом отношении Джелонда тоже безоговорочно следовал указаниям церкви. Несколько раз давал деньги на предвыборную кампанию даже крайне правым. (Такие славные ребята эти крайне правые! Энтузиасты своего дела, патриоты... Как им откажешь?) Но основную поддержку он оказывал, конечно, партиям, ратующим за порядок и религию.

И тем не менее, несмотря на столь ревностное исполнение христианского долга, пугающие слова «Легче верблюду»... и так далее возникали в его памяти все чаще и чаще.

Джелонда стал еще набожнее. Забросил завод, стал манкировать делами (которые, однако, неплохо шли и без него) и так усердно посещал церковь, что сам приходил в умиление. Но и этого оказалось мало. Если ему и удавалось на некоторое время убедить себя, что безграничная вера спасет его от геенны огненной, то одного вида монетки или новой порции купонов было достаточно, чтобы вновь ввергнуть его в пучину страха.

Джелонда таял на глазах. Врачи внушали ему, что надо взять себя в руки, встряхнуться, однако он совсем сник, перестал есть. Чтобы возбудить у него аппетит, врач разрешил повару норвежцу отступить от обычного режима питания. Джелонда очень любил, например, фаршированный перец; повар расстарался — приготовил любимое блюдо. Когда перец был подан на стол, Джелонда хотел было отослать его обратно на кухню, но, чтобы не обидеть повара, решил немного попробовать. Жуя перец, он размышлял, если и впрямь придется доживать жизнь в бедности, то надо же когда-нибудь испытать выносливость своего желудка — ведь придется довольствоваться грубой пищей простого люда. Фаршированный перец годился для этой цели как нельзя лучше.

Джелонда съел сначала два стручка, потом разохотился — взял третий, четвертый... Повар сиял от счастья, чего нельзя было сказать о докторе: в два часа ночи его подняли с постели.

Он застал Джелонду в полном сознании и распорядился, чтобы позвали священника. Получив отпущение грехов, Джелонда на несколько минут затих, успокоился. Умереть в таком умиротворенном состоянии казалось не страшным. Но достаточно было горничной произнести вполголоса несколько слов — попросить у управляющего сто лир на чай церковному служке,— как тема «деньги» всплыла снова и Джелонда опять погрузился в знакомое состояние тоски и тревоги. Так он и умер, терзаясь. На бледном челе благообразного старца застыло выражение неизбывной тоски.

Очнувшись на том свете, Джелонда с удивлением обнаружил, что над ним с добродушной улыбкой склонился бородатый святой.

— Ну, смелее! К чему все эти страхи насчет ада? Взгляните: вы в раю! — проговорил он и широким жестом показал на гряду бело-голубых облаков.

Коммендатор Джелонда не верил своим глазам и растерянно молчал. Святой Петр отгадал причину его замешательства.

— У вас не выходит из головы мысль об иголке и верблюде, не правда ли? Все это так. Могу подтвердить, что слова осуждения по адресу богачей действительно были высказаны.

— Ну и что же? — спросил Джелонда и тотчас пожалел, что не нашел менее обыденных слов для того, чтобы выразить чувство сожаления, пришедшее на смену забрезжившей было надежде.

Святой Петр улыбнулся отеческой улыбкой, чуть окрашенной мягкой иронией.

Не будь Джелонда в таком смятении, он бы тотчас заметил, что старик-святой нарочно затягивает объяснение, нагнетает атмосферу, приберегая приятную новость напоследок.

— Как «ну и что же»? Идите-ка за мной! — сказал он и подвел Джелонду к площадке, похожей на огромную верфь, где на металлических помостах весело трудились праведники-рабочие. Они сооружали какую-то огромную штуку, которую коммендатор Джелонда принял сначала за длинную межпланетную ракету.

— Это что, новый спутник? — все еще в смущении спросил он.

— Нет,— не переставая улыбаться, ответил святой Петр.— Это игла длиной в сто шестьдесят пять метров!

И снова многозначительно умолк.

Джелонда, который начал кое-что соображать и приходить в себя, мысленно отметил, что святой Петр, при всей его доброте и обходительности, обожает дешевые эффекты: святой с видимым удовольствием наблюдал, какое впечатление производит на собеседника каждая тирада, каждая пауза.

Не желая огорчать старика, Джелонда притворился, будто все еще ничего не понимает и ждет не дождется, когда тот объяснит ему, что здесь происходит. Наконец святой Петр откашлялся и изрек:

— Нам пришлось соорудить эту иглу, потому что, сами понимаете, из-за пресловутого изречения насчет верблюда мы были вынуждены преграждать доступ в царствие небесное сливкам общества — людям, которые, подобно вам, всегда щедро одаривали церковь и вина которых (да и можно ли это почитать за вину?) состояла лишь в том, что они были богаты.

На сей раз, чтобы выразить свое безмерное счастье, коммендатору Джелонде не понадобилось притворяться. Страх уступил место безграничному блаженству.

Святой Петр продолжал:

— Как видите, игла, сооружение которой уже подходит к концу, простирается от этого облака вон до той тучи. Размер игольного уха — семь метров на четыре. Наши конструкторы не поскупились — припустили пошире!

— Эй, святой Франциск! — крикнул он.— Проведи-ка верблюда!

Святой Франциск, приставленный в раю к животным, взял под уздцы верблюда, пасшегося между двумя грядами облаков, поманил его куском сахара, и тот послушно прошел через игольное ушко.

— Видали? — воскликнул святой Петр, обращаясь к Джелонде.— А могли бы пройти и два!

Перевод с итальянского Ю. ДОБРОВОЛЬСКОЙ

УИЛЛ КЭППИ

Клеопатра

Клеопатра VII, королева Египта, была дочерью Птоломея XIII. Имя ее матери неизвестно. Впрочем, это не имеет значения. Кто же, находясь в здравом уме, заинтересуется Птоломеем XIII или его супругой?

Его называли «Птоломеем-свистуном» — он целыми днями играл на флейте. (Точности ради его стоило бы назвать «Птоломеем-флейтистом».) Египтяне изгнали его. Но он, само собой разумеется, вернулся и умер в 51 году до нашей эры, оставив Египет Клеопатре и ее десятилетнему брату Птоломею XIV.

Клеопатра постоянно ссорилась с Птоломеем XIV. Не могла она поладить и с находившимися у власти политиками. (Настоящим боссом в Египте был тогда евнух Фотий.)

В конце концов Клеопатру согнали с ее половины трона. Спасаясь, она бежала в Сирию. Девице в то время шел двадцать первый год, и она считала себя неудачницей. Ей казалось, что она так ничего и не достигнет в жизни.

Примерно в это же время Юлий Цезарь, величайший из римлян, наведался в Египет, вынюхивая, нельзя ли обстряпать какой-нибудь бизнес. Клеопатра вернулась в свою вотчину, чтобы потолковать с ним о делах. (В Галлии Цезарь вырезал ни много ни мало миллион мужчин, женщин и детей и примерно столько же обратил в рабство. Ни один римлянин даже не приблизился к этому рекорду.)

Клеопатра организовала дело таким образом... словом, ее внесли к Цезарю завернутой в постельные принадлежности. Остаток ночи прошел в ее рассказах об увлекательном путешествии. Как честный мужчина, Цезарь вновь посадил ее на трон вместе с ее малолетним братом Птоломеем XIV. Впрочем, брат вскоре ухитрился каким-то образом утонуть.

Недолго жил и Птоломей XV, отравленный Клеопатрой. Не ставьте ей это в вину, она лишь придерживалась придворного этикета тех времен. Тогда считалось модным отравить как можно больше родственников. И она вовсе не травила свою сестру Арсинию, это было поручено кому-то другому.

Цезарю было 54 года, Клеопатре 21. Но этот худенький, жилистый, маленький человечек все еще нравился женщинам. В Египте он задержался с начала октября до конца июня, приводя в порядок государственные дела. Новорожденный оказался мальчиком, его назвали Цезарионом, или маленьким Цезарем, и это было вполне

логично. Как видим, у Клеопатры имелись все основания считать себя — для практических целей — помолвленной. Возможно, Цезарь и женился бы на ней, но дома у него уже была жена. Вот так всегда — не одно, так другое мешает людям оформить фактический брак.

Как и Александр Македонский, которого он очень уважал, Цезарь упорно считал себя чем-то вроде божества. Он был уже лысым, когда развернулась его дружба с Клеопатрой, и седые бакенбарды торчали у него, как у крысы. (Это выглядит очень импозантно, если у вас куча денег.) Кроме того, он страдал припадками. К его достижениям можно смело отнести написанную им книгу о резне в Галлии и полное уничтожение знаменитой Александрийской библиотеки, подожженной искрами от каких-то там кораблей, которые он спалил в гавани.

В 44 году до нашей эры Цезарь был убит в римском Сенате своими лучшими друзьями. Клеопатра, которая в это время была в Риме с визитом, довольно поспешно покинула город. (Джеймс Энтони Фруд считал, что вся история об отношениях Цезаря и Клеопатры была выдумана потомками. Я не помню, правда, как он объяснял появление на свет их сына.)

Три года спустя Клеопатра встретила бородатого толстяка Марка Антония. Они рассчитывали завоевать Азию и худо-бедно править всем миром. Кстати, именно этого она пыталась добиться вместе с Юлием Цезарем.

Я не верю в россказни историков о том, что Клеопатра будто бы растворила в уксусе жемчужину стоимостью в 375 000 долларов и выпила раствор, чтобы потрясти Антония своим богатством и расточительностью. Причина моих сомнений проста — жемчуг не растворяется в уксусе. В целом это был брак по расчету: царственная особа явно нуждалась в покровительстве, чтобы сохранить свой трон. Антоний же всегда умел пустить в дело наличные, когда они ему подвертывались. Сплетники, само собой, развивали бешеную деятельность: Антоний и Клеопатра не могли завести пару близнецов, не вызвав этим двусмысленных толков и пересудов. Не следует забывать, в конце концов, что близнецам не исполнилось еще и четырех лет, когда Антоний и Клеопатра тайно обвенчались.

Антоний никогда не был титаном мысли. Но Клеопатре казалось, что он очарователен. Даже Клеопатра никогда не могла угадать, какой фортель он выкинет.

Сходство вкусов и склонностей помогало им великолепно развлекаться. Напялив лохмотья, они резвились по ночам, колотя в двери и разнося вдребезги окна египтян. При этом они хохотали до упаду. Словом, они были созданы друг для друга.

Вскоре после появления на свет близнецов Антоний отправился навстречу очередному поражению. Пропадал он три года. Фульвия, его третья жена, умерла, и он женился на Октавии — сводной сестре Октавиана, одного из его коллег по триумвирату. Но когда все деньги были истрачены, он вернулся к своей Клео.

Он, конечно, женился на Клеопатре, но полагал, разумеется, что об этом можно не сообщать жене. Он оставался с Клеопатрой до конца своих дней. Он то уходил от нее, то возвращался. Был у них еще один ребенок, и Антоний иногда пытался покорить Азию. Но это легче сказать, чем сделать. То есть покорить Азию.

Антонию стукнуло пятьдесят. Теперь он и вовсе растолстел, обленился и запил. И Клеопатре пришла в голову мысль — а не было ли все это ужасной ошибкой?

Тем временем римлянам до смерти надоели все эти инциденты, происходившие в Александрии. И Октавий, отдаленный племянник и приемный сын Юлия Цезаря, расколошматил Антония в Актии.

Говорят, что Клеопатра ускорила его конец, предав его и покинув. Будто бы в разгар битвы она послала ему ложное донесение, которое и заставило его покончить жизнь самоубийством. Как бы там ни было, она просто пыталась выпутаться из сложной ситуации. («Все для любви» — таков был девиз Антония. Сами видите, что из этого получилось.)

Клеопатре ничего бы не стоило договориться с Октавием. Но у него имелись на этот счет другие планы. Это был гадкий человек с рыбьими глазами, он носил длинные шерстяные подштанники и считался блюстителем высоких моральных принципов.

Одним словом, ему пришла в голову идея — отвезти Клеопатру в Рим и выставить там как пленницу для общего обозрения. Потому-то она и решила кончить со всем этим, хотя ей едва исполнилось 39 лет. (К сожалению, мне почти ничего не удалось выяснить насчет знаменитой змеи.) Она была последней королевой Египта, страны, которая в конце концов, в соответствии с пресловутым планом Октавия, стала частью того, что известно в истории как Римская империя.

Клеопатре завидовали — ведь ее бурная карьера воспевалась в стихах и прозе, хотя нет никаких доказательств того, что она пожимала чьи-либо руки, кроме худенького старого Юлия Цезаря или глупого толстого Марка Антония. Впрочем, если вы еще считаете, что ее жизнь была сплошной оргией, это ваше личное дело.

Мнения о красоте Клеопатры, цвете волос и длине ее носа расходятся. Я не стал бы биться об заклад, уверяя, что она была яркой брюнеткой и что нос ее был совершенством. Но доподлинно известно, что, используя элементарные средства косметики, она своей внешностью никого не пугала.

Для истории и историков могу заметить: трое детей Антония и Клеопатры были воспитаны Октавией, бессовестно обманутой вдовой Марка Антония. Клеопатра Селен-

ская вышла замуж за Юбу, короля Нумидии. Александр Гелиос, видимо, ничего путного в жизни не сделал. Что касается Птоломея Филадельфуса, то каюсь: след его я просто затерял. Говорят, что Октавиан казнил Цезариона. Что ж, на него это похоже.

Октавиан — впрочем, вы это, вероятно, сами знаете — стал императором Августином и, в общем, считается одной из видных фигур в истории человечества. Он властвовал в Римской империи сорок с лишним лет вопреки многочисленным хроническим заболеваниям, ставившим в тупик лучших медиков его эпохи. Как весна, так мучения от гипертрофированной диафрагмы. Страдал он и от глистов. (Римские врачи любили говорить, что у них отличные пациенты: «Они никогда не умирают и никогда не исцеляются».) С каждым годом дела шли все хуже; Октавиан боялся даже купаться. После каждого купания ему становилось плохо. И слава богу, что он так и не влюбился в Клеопатру. У нее и без него хватало хлопот.

Перевод с английского Т. ГИЛЯРЕВСКОЙ

ДЖЕЙМС ТЭРБЕР

От чего страдает человечество?

Человек просуществовал достаточно, если не слишком долго, так и не набравшись мужества признать простую истину: Человек страдает от того, что он — Человек. Начиная с Эзопа, или вот уже почти три тысячелетия, он сваливает свои слабости и недостатки на птиц, зверей и насекомых. Обычай баснописцев награждать бессловесных тварей наиболее отталкивающими чертами Человека восходит к незапамятным временам, и благодаря именно этой вековой привычке Человек нашел возможным приписывать всем прочим существам нашего на редкость неправдоподобного мира свои ошибки и изъяны.

Homo sapiens говорит, что в нем проснулся зверь, на самом деле это означает, что в нем проснулся человек. Кстати, человек вовсе не косолап, а кривоног, и переставшая следить за собой дама толстеет не как корова, а как женщина. Именно наш, а не какой-нибудь другой биологический вид ершится, петушится, проливает крокодиловы слезы, соловеет. Не осьминог, а ростовщик опутывает вас щупальцами; ехидне и в голову не придет ехидничать, а самец нашего вида, предпринимая униженные попытки к примирению с женой, оказывается затем не в ежовых рукавицах, а в ее руках.

Я, естественно, предполагал, что Человек приобрел свою способность стервенеть, или разъяряться, от стервятника, но толковый словарь скромно замечает, что точное происхождение слова «остервенеть» — неизвестно. Приятно отметить, что выражение «пустить утку» не имеет отношения к нашему пернатому другу, а восходит к истокам французского языка. Впрочем, это не помешало людям приписать зайцу собственную трусость («труслив, как заяц»), которую удается преодолевать лишь с помощью спиртного («заяц во хмелю»).

Чтобы мои друзья и коллеги, не говоря уже о Федеральном Бюро Расследования и Американском Легионе, не заподозрили, будто под одеждой я покрыт мехом или перьями и являюсь агентом животного царства среди представителей вида, отличающегося чисто человеческим, а не ослиным упрямством, я перечислю те немногие хвалебные выражения, которые мы заимствовали для себя у животных, птиц и насекомых. Так, мы говорим о бульдожьем упорстве человека, о его собачьей преданности и о том, что он охраняет то или иное учреждение — чаще всего финансовое,— как сторожевой пес. Мы не прочь одарить своих собратьев львиным сердцем, орлиным взглядом, кошачьей ловкостью, оленьей быстротой, муравьиным трудолюбием, лебединой грациозностью, соловьиным голосом; об ином мы, случается, говорим, что у него слоновья память и что он работает, как лошадь (почему он при этом устает, как собака,— никому не известно).

Я сижу и размышляю, а тем временем перед моими человеческими, а не рыбьими или еще чьими-нибудь глазами рисуется сценка из времен «сухого закона»: сыщик, словно ищейка, принюхивается к ничем не примечательному кирпичному дому, в котором, как ему донесли, старый волк торгует зубровкой. Он не верит блеянию хозяина, некоего Джо, который врет, как сивый мерин. Лисьи повадки Джо будят в сыщике зверя, он начинает играть с ним в кошки-мышки. Сыщик уверен, что в этом логове клиенты пьют, как лошади, напиваются, как свиньи. Джо петляет, как заяц, извивается, как уж, но сыщик убежден, что сумеет разгадать всю эту мышиную возню.

— Что ты прилип, как пиявка? Журавля в небе все равно не поймаешь,— хрюкает Джо, а у самого от страха гусиная кожа (кстати, люди бессовестно оклеветали гуся, приписав ему «гусиный шаг» нацистов. Пожалуй, бóльшие издевательства приходится терпеть только собаке, кошке и некоторым насекомым).

— Хорош жук,— говорит легавый и продолжает идти по следу.

Вдруг он резко толкает дверь: за ней стоит в чем мать родила премилая кошечка, которую Джо недавно приголубил. Сыщик берет ее за жабры. В потайном ящике он обнаруживает крупные купюры.

— Вот они, золотые рыбки,— ржет он.— Если ты честная рабочая лошадь, откуда у тебя столько зелененьких? Теперь попробуй доказать, что ты не верблюд.

— С волками жить — по-волчьи выть,— глубокомысленно замечает хозяин, после чего его уводят в тюрьму или он дает полицейскому взятку.

Англо-американский словарный состав сказочно расширился и, полагаю, обогатился благодаря множеству плеоназмов, единственная цель которых — оклеветать и опорочить бессловесную тварь, но столь безнаказанная диффамация прочих биологических видов привела к росту и без того раздутого человеческого самомнения. Мы располагаем тысячами унизительных понятий, кои можно применять только по отношению к людям, как то: негодяй, подлец, мошенник, злодей, прохвост, шваль, скряга и тому подобное, но в состоянии аффекта человек вместо приведенных слов использует иные, например: шакал, ишак, осел, павиан, верблюд, вша, гад, жаба, индюк, баран, клоп, паук, свинья, крыса, змея подколодная. (Между прочим, прошу прощения за «шваль», по-французски это значит «лошадь».)

Минуя пренебрежительные, порочащие, оскорбительные и недоброжелательные выражения, выдуманные человеком, женская особь нашего вида может похвастаться сравнениями, которых лишена мужская. Женщина, холодная как рыба, например, не имеет мужского аналога. Слово «выдра» происходит от названия маленького пушного зверька, которого издавна — и ошибочно — считают худосочным. Бесспорно, выдры имеются как женского, так и мужского пола, но это такое прозвище, которое употребляется только по отношению к женщине. Слово «лиса», правда, используется с равным успехом применительно к женщинам и мужчинам, но в первом случае имеет оттенок мелкой хитрости; во втором, особенно когда речь идет о политическом деятеле или полководце, как правило, употребляется с оттенком уважения.

Все же «выдра» и «лиса» более не фигурируют в домашних ссорах и перебранках — хотя бы уже потому, что эти слова не ставят под сомнение чьи-либо мыслительные способности, а наш вид особенно благоволит к эпитетам и словечкам, намекающим на умственную неполноценность. Наши словари «крылатых выражений» пестрят такими перлами, как «кретин», «тупица», «болван», «дурак». Впрочем, это не мешает существованию таких клеветнических измышлений, как «баран», «куриные мозги» и т. д. (Должен признаться, что мое любимое выражение этого рода отличается значительно большей тонкостью и иронией: «Крупный мыслитель современности».)

Поскольку каждое новое поколение вносит свою лепту в наш животный словарь, можно предвидеть удивительные метаморфозы. Например, одинокий мужчина, который начинает преследовать девушку на танцевальной площадке, будет уже не бирюком, превратившимся в кобеля, а гончей. А если обиженная особа огрызнется, она скажет не «проваливай!» или «иди в болото!», но «залезь в свою конуру!» А может быть, он услышит нечто совершенно иное, вроде «засунь лапу обратно в капкан!» или «ползи под обои!»

Боюсь, однако, что никакие мои просьбы не заставят человечество относиться лучше к кошачеству, собачеству и насекомству. Я что-то не слышал, чтобы индюк попал в суп именно потому, что он думал. Человек, о котором сказали «пес с ним», вряд ли находится в обществе собак. «Блошки», которые приходится вылавливать редакторам и корректорам, отнюдь не порождены блохами, а являются следствием торопливости, безответственности или безграмотности людей.

Давайте будем снова считать овец. Мне кажется, что причина нынешней бессонницы американцев кроется в том, что они перестали считать овец и взялись считать людей.

Перевод с английского В. ПОЗНЕРА

ЮРИЙ ЖУКОВ

ЗЛОБА ДНЯ

К итогам парижского литературного сезона

По правде говоря, малость грустновато становится при мысли, что эти строки, которые пишутся ранней весной, когда литературный сезон в Париже подходит к концу и последние его книги ложатся на стол читателя, дойдут до подписчика, в силу наших печальных полиграфических обстоятельств, лишь в конце лета. Начнется уже новый сезон — сезон 1968—1969 годов, и все внимание будет привлечено к новым произведениям, чьи авторы вступят в традиционный ежегодный бой за литературные премии.

Но, быть может, это и к лучшему — в конце концов, на расстоянии легче разглядеть, что из сотен книг, выброшенных за год волной рынка на читательский берег, войдет в обиход, а что останется желтеть на складах. Не зря осторожные парижские издатели, выпуская в свет новинку, нередко начинают с тиража в несколько сот экземпляров, а уж потом, ежели читатель ее признает, пойдут и на тысячные и десятитысячные тиражи...

Для французской литературы давно стал характерным годичный цикл. Уже с весны, когда книгопечатные машины начинают постепенно ускорять свой ход, издатели лихорадочно ищут «надежные» книги, которые к осени могли бы стать бестселлерами. Это отнюдь не обязательно книги маститых, известных писателей. Чаще всего — совсем наоборот: литературные жюри, присуждающие ежегодные премии, с наибольшим удовольствием венчают славой — а стало быть, и тиражами, ибо читатель весьма и весьма считается с мнением жюри! — новых, еще никому не известных авторов.

Но как угадаешь, какие именно книги выхватят из обильного потока жюри, скажем, Гонкуровской премии, или премии Ренодо, или премии Фемина, Энтералье, Медичи и других? Начинается большая игра — нечто вроде лотереи. Выясняется, какая нынче будет мода,— говорят, что «новый роман», к примеру, стареет, что критики опять приветствуют реалистический подход; говорят, что эротика все еще окупается, но одной эротики вроде пресытившемуся читателю маловато — требуется еще что-то. А как его угадать, это «что-то»?

Чем ближе сезон премий, тем острее лихорадка в издательствах. Если издателю кажется, что рукопись, попавшаяся в его руки, сулит успех,— ее тут же бросают на типографский конвейер, чтобы она поспела на суд литературных жюри. Стоило, к примеру, популярному в Париже хроникеру «Франс-суар» и телевизионному комментатору Филиппу Лабро принести Галлимару 23 сентября 1967 года рукопись своего первого романа «Плохо погашенные огни» (о войне в Алжире), как она тут же была пущена в производство, и уже 26 октября — через месяц! — продавалась в магазинах. Издательством Сёй роман Эрве Базена «Супружеская жизнь» был подготовлен к печати и издан за тринадцать дней. А ведь тысячи рукописей (тот же Галлимар получает 2500 рукописей в год, а печатает лишь два процента из них!) либо вовсе не видят света, либо ждут очереди годами.

В сентябре—октябре лихорадка литературного сезона достигает пароксизма. Осенью 1965 года на рынок было выброшено 90 романов, осенью 1966 — 104, осенью 1967 — 118. Примерно четверть этой продукции приходится на долю всесильного

Галлимара, за ним идут Деноэль, Сёй, Лаффон, Меркюр де Франс, Жюллиар и другие издательства.

Начинается жаркая страда в литературных жюри. Их члены едва успевают перелистывать обрушившиеся на них романы. «Семьдесят процентов романов года скапливаются на моем столе начиная с первого сентября,— говорит член Гонкуровской академии Эрве Базен.— Это значит, что я должен прочесть 150—200 книг». Со всех сторон гремят голоса покровителей и опекунов: этой и только этой книге дать премию! Эта и только эта книга — шедевр, превосходящий все, написанное за века! Самые осведомленные критики сообщают, что такой-то роман обязательно получит премию Гонкура,— спешите приобрести! Самые-самые осведомленные опровергают: нет, премию получит не этот, а тот роман — уже три члена жюри его прочли и поддержали...

В конце концов литературные судьи, уже совершенно очумевшие от сутолоки и споров, проведя десяток туров голосования и, не договорившись ни о чем, идут на компромисс. Тогда, как это было в 1967 году, обладателем той же Гонкуровской премии вдруг становится отнюдь не молодой автор *, а 58-летний писатель Андре Пьейр де Мандьярг за свою девятнадцатую, и притом далеко не самую лучшую, книгу «В стороне от жизни» — подробно я расскажу об этой книге ниже. Но что из этого? Главное, что новый лауреат Гонкуровской премии назван, и счастливый издатель премированного романа уже может давать типографам заказ на стотысячный тираж — доверчивый читатель автоматически приобретает книгу, опоясанную красной лентой со словом «Гонкур».

Ну вот, а дальше на страницах газет начинается традиционный ворчливый спор — до самого конца сезона будут публиковаться возражения против решений жюри, напоминая о том, что на протяжении десятилетий многие наилучшие произведения оставались непремированными, в том числе и классические. Стало быть, надо покупать и те романы, которые были обделены вниманием критики. Покупать, покупать, покупать...

Но спрос на книги уже начинает падать. Издатели все реже выбрасывают на рынок новые романы. Теперь лучшие рукописи припрятываются до следующей осени. И только телевидение вдруг вносит неожиданные поправки в конъюнктуру рынка: стоило ему передать недавно инсценировку «Троянской войны не будет» по Жироду, как его старые книги стали буквально расхватывать — издатель подвозил их грузовиками в такие крупные магазины, как «Пресс юниверситэр де Франс», что на углу бульвара Сен-Мишель и площади Сорбонны.

Сезон заканчивается...

Пытаясь, видимо, оправдать далеко не самый удачный выбор романа Пьейра де Мандьярга для увенчания его главной литературной премией года, Эрве Базен сказал журналистам: «Этот сезон был, пожалуй, плоским». Это мнение уважаемого французского писателя разошлось с мнением подавляющего большинства читателей, которые сейчас с величайшей охотой раскупают многие и многие романы этого года, в том числе и великолепный роман самого Базена «Супружеская жизнь» — он стал одним из главных бестселлеров.

По-моему, напротив, этот сезон был одним из самых урожайных. На полках книжных магазинов стало невероятно тесно: с новыми романами выступали и виднейшие писатели старшего поколения, принадлежащие к самым различным направлениям — от Луи Арагона и Труайа до Анри де Монтерлана и Жана Жионо,— и выдающиеся писатели среднего поколения — от Андре Стиля и Робера Мерля до Эрве Базена и Жан-Пьера Шаброля,— и талантливо заявившая о себе литературная молодежь — Клер Эчерелли, автор увенчанного премией Фемина романа из жизни рабочих «Элиза, или Настоящая жизнь», Сальва Эчар, написавший удостоенный премии Ренодо роман о колониальных нравах Мартиники «Мир, как он есть», и другие. Вышли в свет новые книги Мориса Дрюона, Армана Лану, Элен Пармелен, Ле Клезио, Беатрикс Бек, Клода Симона и многих других известных французских писателей.

И все же у некоторых взыскательных критиков состояние дел во французской литературе вызывает беспокойство.

В начале 1968 года издатель Робер Лаффон вдруг отважился выпустить в свет горькую книгу Франсуа Фонтена «Литература, распродаваемая с молотка», которую никто не хотел печатать целых десять лет. Франсуа Фонтен настроен очень мрачно и, я бы сказал, даже агрессивно по отношению к современной французской литературе. Он заявляет, что во Франции после Золя не было великих писателей, что до второй мировой войны еще водились писатели выдающиеся, но с 1940 не появилось-де ни одной приметной писательской личности; правда, за последние тридцать лет промелькнуло несколько коммерческих литературных успехов, но у них — недолгая жизнь. Обращаясь к издателям, Фонтен говорит:

«Если французская литература существует — покажите ее, помогите ей высказаться, предоставьте в ее распоряжение необходимые для этого возможности, даже если она и не дает вам прибылей. Либо занимайтесь только прибылями и не говорите больше о литературе».

Как всегда бывает в острой полемике, здесь истина сплелась с отрицанием оче-

---

* В завещании, составленном в 1896 году, Эдмон Гонкур, утверждая литературную премию, писал: «Мое наивысшее желание...— чтобы премией венчалась молодость».

видности. Верно то, что в Париже, как и в Лондоне и в Нью-Йорке, забыли мудрую мысль Дидро о том, что нельзя вести торговлю книгами так же, как торгуют тканями. Все подчинено погоне за прибылью, и тот же Робер Лаффон, который, сделав либеральный жест, издал колючую книгу Фонтена, заявил в своем предисловии к ней, что издателей не в чем упрекнуть: раз сенсационные репортажи, книги о насилии, «голубые цветочки» продаются хорошо — значит, это то, чего требует публика. «Публикациями, рассчитанными на немногих, не проживешь,— говорит он.— Если литература, которую вы именуете подлинной, нерентабельна, мы не в состоянии заниматься ее производством».

Но, во-первых, подлинная литература во Франции есть, и это признает сам Робер Лаффон, а, во-вторых, эта подлинная литература чахнет лишь тогда, когда она замыкается в узком мирке глубоколичных авторских переживаний, утрачивая интерес к народной жизни. И, наоборот, если писатель находит в себе достаточно мужества, чтобы затронуть актуальную тему,— успех к нему приходит, и часто это бывает поистине феноменальный успех. Вспомним хотя бы вышедший еще в 1966 году и успешно продаваемый даже сегодня роман Эдмонды Шарль-Ру «Забыть Палермо!», он разошелся уже тиражом свыше 320 тысяч экземпляров — цифра, для французского книжного рынка поистине фантастическая.

И, по-моему, был прав обозреватель газеты «Монд» Робер Эскарпи, когда он так ответил Франсуа Фонтену:

«Наша литература чахнет от интеллектуальной изнеженности. Она отказывается от необходимого риска общения с читателем, превращаясь в одностороннее средство самовыражения. Рассказывать о себе, выражать самого себя неизмеримо легче, даже если в техническом отношении это связано с трудностями. Во всяком случае это менее опасно, нежели сотрудничество с читателем — то «взаимное усилие», в котором Сартр видит основу литературного творчества. Таким образом, наши литераторы отказываются от диалога с читателем, который не имеет ничего общего с тем обменом денежными знаками, о котором говорит Робер Лаффон. Отчаявшись в своих намерениях изменить состояние вещей, Франсуа Фонтен решается на то, что он именует «геометрией одиночества», под которой понимает отказ от безудержного сочинительства и от участия в ярмарке литературных премий. Конечно, можно было бы сделать и иной выбор — быть может, более наивный, но, быть может, и более мужественный: вновь обрести подлинную гражданственность... Если бы в нашем литературном небе появился хотя бы крохотный Золя, он быстро обратил бы в бегство ночные призраки, которые страшат Франсуа Фонтена...»

Падение читательского интереса к холодной и бездушной, полной болезненных вывертов изнеженной «литературе самовыражения», о которой так язвительно высказался Эскарпи, и поистине громовой успех тех книг, авторам которых удается затронуть гражданскую струну в сердце человека,— вот характерные черты современной мыслящей Франции. Оба эти явления тем более многообещающи, что большинство французов пока для литературы, что называется,— неподнятая целина. По данным недавно опубликованного исследования Института по изучению общественного мнения 58% французов вовсе не читают книг. Покупает книги главным образом молодежь. Самые активные покупатели — люди в возрасте 33 лет: они приобретают в среднем по пять книг в месяц. Именно этот, молодой и динамичный, читатель бунтует против эгоистического мелкого копания писателя в собственной душе и требует, чтобы он откликался на все то самое важное и острое, что волнует сегодня мир.

Вот почему и свой обзор парижского литературного сезона 1967—1968 года я начну с тех произведений, которые сделали погоду в Париже вопреки ворчанию снобов и недовольству тех, кто хотел бы загнать литературу в душные парники «самовыражения».

Пример Луи Арагона

Французский литератор, как правило, плодовит. Жесткий ритм литературного сезона торопит его: надо сдать издателю очередную книгу к весне, чтобы осенью она включилась в извечное соревнование за внимание читателя. Писатели с именем, каждая книга которых — большое литературное событие, конечно, не нуждаются в таком подстегивании, они могут работать спокойно, не поглядывая на листки календаря. Иные из них молчат годами, прежде чем сесть за письменный стол. Но мастера литературы, чувствующие свою ответственность перед читателем и своей эпохой, стремящиеся активно участвовать в жизни общества своим творчеством, напротив, трудятся неустанно и непрерывно, даря читателю книгу за книгой.

Величайший пример большого творческого напряжения и огромного трудолюбия дает в эти годы хорошо знакомая нашему читателю литературная чета — Луи Арагон и Эльза Триоле. Они публикуют роман за романом и наряду с этим продолжают пользующееся большой популярностью совместное «Перекрестное собрание сочинений». В нынешнем литературном сезоне двадцать шестым и двадцать седьмым томами этого собрания вышел известный всем роман Луи Арагона «Коммунисты», заново переработанный автором; одновременно он был отпечатан массовым тиражом в серии «Карманная книга», доступной массовому читателю. В этом же сезоне Арагон опубликовал новый роман «Бланш, или Забвение», о котором «Иностранная

литература» уже подробно рассказывала*.

Два крупнейших произведения в один сезон — какое убедительное свидетельство отличной литературной формы, которую неизменно сохраняет в свои семьдесят лет этот замечательный писатель, поэт, трибун и политический боец, член Центрального Комитета Французской коммунистической партии!

Люди старшего поколения отлично помнят, каким огромным литературным и общественно-политическим явлением стало первое издание «Коммунистов» в острейший момент послевоенного периода — в 1949—1951 годах, когда в Европе бушевало пламя «холодной войны», а на Дальнем Востоке гремела канонада большого сражения в Корее. То было время крутого общественного размежевания, и Арагон вместе с другими прогрессивными мастерами культуры без колебаний занял свое место в борьбе сил мира против сил войны. Я работал тогда в Париже и хорошо помню, как активно участвовали Арагон и Триоле в этой борьбе — не случайно именно Дом мысли, основанный Национальным комитетом писателей, которым руководил Арагон, стал тогда штабом, где готовился первый конгресс сторонников мира, состоявшийся в апреле 1949 года в зале Плейель.

И вот в это самое бурное время Арагон писал. Писал большой роман. Роман о своей партии, о своих соратниках по борьбе. Рабочий класс Франции, коммунисты приветствовали книгу — роман выходил том за томом, и рабочие читатели буквально расхватывали его. Роман тут же переводился на многие иностранные языки, в том числе, конечно, и на русский. И только эстетствующая литературная критика пренебрежительно усмехалась: роман о коммунистах? Это не литература! Критики, как вспоминает сейчас Арагон, вопили об упадке, об утрате автором литературной квалификации, чуть ли не о его литературной смерти. Арагон отвечал врагам холодным презрением и продолжал свой труд. Его поддерживали рабочий класс Франции, коммунистическая партия, вся прогрессивная общественность. И Марсель Кашен, давая отпор клеветникам и хулителям, писал: «Наш товарищ Арагон внес новый выдающийся вклад в дело борьбы французского народа и борьбы за историческую правду. Его социалистический реализм обращен к зрелости и разуму нации». А Андре Стиль назвал «Коммунистов» «значительным фактом, который останется надолго в жизни нашего народа, важнейшим действием нашей партии».

Первоначально «Коммунисты» были задуманы как большая эпопея в трех сериях, которая посвящалась эпохе с 1939 по 1945 год. Но Арагон поставил точку, описав драматические события мая—июня 1940 года — это разгром буржуазной Франции и начало *настоящей* войны против фашистских захватчиков, на которую поднимался французский народ, его рабочий класс, коммунисты. В послесловии к нынешнему изданию романа Арагон объясняет, что его остановили не хулители из буржуазной прессы, а... сами друзья своими похвалами. Прислушавшись к этим похвалам, он счел, по его собственным словам, что в «Коммунистах» видят прежде всего то, что было сказано хорошего об «определенной политике», автора же привлекало прежде всего исследование человеческих судеб, человеческого сознания.

И вот теперь автор снова вернулся к своему нашумевшему роману. Он внимательно оглядел его, как мастер-строитель время от времени оглядывает сооруженный им дом — не обветшало ли что-либо в нем, не следует ли что-то подправить. Мастер остался доволен — в своих главных, основных чертах роман выдержал строгую проверку временем; следовало, конечно, теперь заново осмыслить пережитое в свете нового жизненного опыта, накопленного за эти пятнадцать лет, и для этого стоило заняться доработкой романа. Но суть его должна была остаться неизменной, и автор решил, что этот роман, как и другие книги цикла «Реальный мир», «на большом судебном процессе, который учиняют нынче реализму», должен фигурировать «в досье защиты».

Да, Арагон выставляет нынче своих «Коммунистов» свидетелем защиты перед лицом многих самозванных прокуроров, вопящих, будто реализм, дескать, устарел, что его пора сдать в архив, заменив безъязыким мычанием сомнительных «авангардистских» школ и школок, расплодившихся на белом свете — несть им числа. И Арагон при этом добавляет: «Я думаю, что нет нужды уточнять, о каком реализме я говорю. Всем известно, что я непоколебимо защищаю этот реализм.., Я, конечно, не употребляю данного выражения так, как все, но ни то, что иные дурно используют его, ни авторитарный характер, который он кое-где приобрел, ни его дискредитация в связи с этим в глазах некоторых — ничто не заставит меня отказаться от его уточненного применения, и когда я говорю просто реализм, речь всегда идет о социалистическом реализме».

Обратимся, однако, к нынешнему изданию «Коммунистов». Что нового внес Арагон и что он сохранил? Отметим прежде всего, что автор терпеливо переписал заново все две тысячи страниц этого огромного произведения. Он с величайшей требовательностью относится к себе — достаточно поглядеть, как много он изменил и в другом своем прославленном романе «Путешественники на империале».

«Перечитав «Путешественников на империале», я нашел, что этот роман плохо написан. И мне захотелось его переписать,

---

* См. рецензию Б. Песиса в № 7 за 1968 год.

прежде чем включить в «Перекрестное собрание сочинений»,— пишет Арагон.— Когда я заговорил об этом, люди начали кричать, что я не вправе так поступить. Но нет писаного закона, который запретил бы мне это, и я... переделал книгу по своему вкусу».

«Коммунисты» подверглись особенно тщательной обработке — Арагон вложил в это произведение весь свой творческий опыт, и притом не только чисто литературный, но и политический. Тем с большим подъемом теперь, полтора десятилетия спустя, автор работал над ним, совершенствуя его.

Во-первых, Арагон уделил огромное внимание шлифовке стиля «Коммунистов» — ведь роман писался в самое горячее время борьбы, когда было не до отработки каждой запятой, его первые главы были набросаны еще в гитлеровском подполье, и Арагон тщательно прятал тетрадки со своими записями; дальше были 1948, 1949, 1950, 1951 годы, насыщенные до отказа борьбой. Теперь автор перевел описание наиболее важных событий в настоящее время — как подчеркивает Андре Стиль, это усиливает «эффект присутствия» читателя. Сам Арагон называет этот прием «методом большого экрана» — словно в современном кинематографе, он в кульминационные моменты действия как бы проецирует описываемые им события на внезапно увеличенный экран, и события предстают перед читателем во всей своей полноте и силе.

Во-вторых, проделана большая редакционная работа, обусловленная тем, что Арагон окончательно отказался от мысли о продолжении своей эпопеи: опущены сюжетные линии, которые он намеревался развить шире в последующих романах этого цикла, изъяты персонажи, которые лишь начинали свой путь в «Коммунистах», но должны были широко проявить себя в дальнейшем: «Я выбросил из романа двенадцать бесполезных силуэтов»,— говорит Арагон.

В-третьих, автор окончательно решил сложную проблему своих так называемых «двойных героев». Дело в том, что, работая над «Коммунистами», он столкнулся с понятной трудностью: с одной стороны, ему хотелось рассказать о некоторых реально существовавших героях, сыгравших важнейшую роль в описываемых им исторических событиях; с другой стороны, когда в романе действуют реальные, взятые из жизни люди, возможности творческого домысла, естественно, ограничиваются, и от этого страдает художественная ткань произведения. И вот Арагон в то время решил создать «двойных героев»: они фигурировали то под своей настоящей фамилией, то под псевдонимом.

«Я не мог, например, обойтись без Жоржа Политцера,— поясняет он сейчас,— коммуниста, работника Центрального Комитета и в то же время философа. Потому что Жорж в 1940 году играл роль, которую нельзя было поручить другому: через Жака Соломона, молодого физика-коммуниста и зятя Поля Ланжевена, министр де Монзи в конце мая передал Политцеру запрос относительно того, какую позицию займет партия, если правительство решит продолжать борьбу против захватчиков. И именно Политцер передал ответ Центрального Комитета Соломону для Монзи, который с ним ознакомился 6 июня. Не могло быть и речи о том, чтобы показать здесь Политцера под псевдонимом, хотя я и ввел персонаж по имени Фельцер, чтобы в частной жизни он играл свою роль (в романе) и мне не пришлось бы заботиться о сходстве ситуаций. Таким образом, в первом варианте Политцер сохранял свое имя, в то время как Жак Соломон появлялся только под именем Филиппа Бормана. Результат — гибридная ситуация, несправедливая в отношении Соломона; это объяснялось тем, что Фельцеру я намеревался отвести определенную роль после Освобождения (в последующих романах.— *Ю. Ж.*)*. Отсюда исчезновение семи персонажей — Бормана, Фельцера и их семей — в новом варианте. Политцер и Соломон отныне выступают под их подлинными именами в той исторической роли, какую они играли в то время».

В-четвертых, Арагон заново пересмотрел в своем романе все то, что имело отношение к известным колебаниям, которые возникли у коммунистов и у сочувствовавших им прогрессивных французов в момент заключения советско-германского пакта 1939 года. В первом томе «Коммунистов» было весьма широко показано отношение различных слоев населения Франции к этому важному историческому событию. Были ярко описаны попытки реакции обмануть народ, вызвать в нем недоброжелательное отношение к Советскому Союзу, изображена самоотверженная деятельность коммунистов, которые в труднейших условиях того времени разоблачали эту клевету и говорили народу правду. То был весьма широкий показ событий той поры — ведь, как пишет сейчас Арагон, в дни, когда писался роман, «мы были недалеки от 1939 года, и для меня, как для большей части моих товарищей, колебания августа 1939 года оставались вопросами, требовавшими объяснения».

Нынче, когда история поставила все вещи на свои места, по мнению автора, уже нет нужды уделять этому событию столько же внимания, сколько уделил ему автор тогда. Между прочим, уже в 1953 году покойный И. И. Анисимов в своем предисловии к русскому изданию «Коммунистов», говоря о том, что в романе широко отражены «судорожные попытки реакции использовать этот пакт для того, чтобы обмануть и дезориентировать простых людей Франции», высказывал мнение, что «читатель вынужден слишком долго задерживаться на постепенном разоблачении провокационных уловок реакции».

---

* Жак Соломон и Жорж Политцер были расстреляны гитлеровцами в 1942 году.

«Конечно, теперь, четверть века спустя,— говорит Арагон в своем послесловии к новому изданию романа, — ни я, ни мои друзья не глядим на вещи теми же глазами. Я их понимаю лучше». И он решил снять целый ряд моментов, относящихся к колебаниям, охватившим французов в августе 1939 года. В частности, он изъял все, что касалось минутного колебания ученого Ланжевена, фигурировавшего в романе под именем Беранже; «Замечательная жизнь великого ученого, каким был Ланжевен, сделала малоинтересной причину разногласий, длившихся каких-нибудь несколько дней. Это, впрочем, относится не только к Ланжевену».

Так, взыскательно, глубоко продумывая заново все стороны описанных в романе событий, автор продвигался вперед, переписывая заново страницу за страницей. Он беспощадно изымал целые разделы — например, четырнадцатую, пятнадцатую, двадцать третью главы первого тома, восьмую главу второго тома. В то же время автор рисовал картины, проникнутые глубоким философским раздумьем о пережитом. Волнующее впечатление оставляют, например, заново написанные автором страницы, посвященные катастрофе в Дюнкерке, где зрелище, открывшееся глазам солдат побежденной армии, сравнивается со знаменитой картиной Брейгеля-старшего «Триумф смерти».

Но наиболее важны и глубоко принципиальны те изменения и уточнения, которые, как выражается Арагон, были продиктованы «духом ответственности», политическим и жизненным опытом, накопленным за эти десятилетия коммунистами, в том числе и самим Арагоном.

С волнением и искренностью пишет Арагон в послесловии, что он принадлежит к числу тех людей, «которые так пристально глядели всю свою жизнь на свет, что иногда они слепли от любви к нему», и «всегда верили сильнее, чем опасались». В те годы, когда он писал роман «Коммунисты», Арагон, по его словам, был одновременно охвачен той уверенностью, какая была ему свойственна, и ужасным сомнением, которое «неизвестно откуда бралось». Но, «может быть, потому, что свет был столь силен», в том, что он писал, «виден был *только* свет, как будто свет не порождает тени и как будто свет может быть светом, не отодвигая тьмы».

И вот сейчас автор, перечитывая свой роман, встречает такую, например, сцену. Один из героев романа, Жан де Монзи, видя происходящий разгром французской армии, с горечью говорит, что он ничего больше не понимает. Тогда водитель его санитарной машины рабочий-коммунист Рауль Бланшар откликается: «Это потому, что у тебя нет вот этой хорошей книги, которая есть у меня». И он показывает ему изданный на французском языке «Краткий курс истории ВКП(б)».

«Что бы вы сделали на моем месте сегодня? — пишет сейчас в послесловии Арагон.— Этот эпизод я почерпнул из своего личного опыта: в окрестностях Дуэ один из моих водителей, сидя за рулем грузовика, показал мне таким образом экземпляр этой книги. Следовало ли выбросить этот факт? Все произошло так, как я написал, но это не имело тогда того оттенка, какой приобрело впоследствии. И потом, сколько людей, думавших, как я, умерли под дулами немецких винтовок с именем Сталина на устах? Это одна из самых страшных трагедий современного мира. Я не счел возможным лакировать правду. Но мог ли я дать читателю возможность предположить, что в 1967 году, когда я переиздаю «Коммунистов», мое отношение к Сталину осталось таким же, каким оно было в 1940?»

И Арагон оставил этот эпизод в романе, но добавил несколько емких слов, которые говорят многое. В новом варианте романа Жан читает на обложке название книги, протянутой ему Бланшаром. Бланшар повторяет: «Когда у тебя есть этакая книжица... ты всегда понимаешь, что происходит». И Арагон добавляет от себя: «Чудесная вещь — доверие!»

Глубже проанализированы в новой версии романа отношения между коммунистами и социалистами. Роман отражал горький факт: эти отношения были до крайности обострены. Теперь, в свете опыта многолетней борьбы коммунистов Франции за единство действий с социалистами и всеми прогрессивными силами нации, Арагон по-новому посмотрел и на эти страницы романа. Правда, уже в первом варианте тот же Рауль Бланшар, например, говорил про себя после очередной острой стычки на заводе с социалистами:

«*Война на носу,* а попробуй-ка потягайся с войной, если нет единства рабочего класса! В Испании нас побили; нельзя, чтобы нас побили и во Франции... ведь речь идет не только о *нашей* защите...»

Сейчас это место в романе усилено: Арагон вписал: «*Социалисты, конечно, это социалисты. Но что сделаешь без них?*» И так — в ряде мест. Идея рабочего единства, идея национального единства в борьбе против предателей и иностранных захватчиков красной нитью проходит через весь роман.

А в целом, конечно, «Коммунисты» остались «Коммунистами». Как писал о новом варианте Андре Стиль в «Юманите», «этот роман ничто и никогда не сможет вырвать из истории, из истории нашей партии, из истории Франции. Это, в сущности, история, написанная до того, как она стала историей. *Это сама история в действии*». Мартин Моно, критик «Леттр франсэз», со своей стороны, справедливо назвала «Коммунистов» книгой, которая представляет собой «ключ ко вчера, к сегодня и к завтра». И не случайно буржуазная критика буквально немеет, когда дело доходит до «Коммунистов». Сейчас не 1949 год, и ей уже не удалось бы ошельмовать Арагона, как это она сделала тогда,— слишком велик и не-

---

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

перекаем его литературный авторитет в сегодняшней Франции. Ну что ж, остается молчать...

В послесловии к «Коммунистам» Арагон, как я уже отметил, вновь подтвердил свою преданность социалистическому реализму, хотя и подчеркнул, что он против примитивного толкования его. Арагон весь — в неустанном поиске нового. Он не за поиск ради поиска, не за эксперимент ради эксперимента, что так модно в современной западной литературе. Но вместе с Эльзой Триоле, которая в своем последнем романе «Великое Никогда» отстаивает право на творческий поиск (между прочим, свое послесловие Арагон заканчивает цитатой из этого романа), Арагон требует места в литературе для «экспериментального реализма».

Он требует этого и «у тех, которые приемлют реализм в его традиционных рамках», и «у тех, которые претендуют на монополию экспериментаторства». «Экспериментальным» Арагон называет «реализм, способный отвечать на вопросы, которые ставит жизнь, реализм, идущий в ногу с великими открытиями, с новыми науками... *Речь идет о реализме, который не может ограничиться констатацией, описанием происшедших событий — простым перечислением их.* Для него недостаточно описывать то, что другие видят и без него». (Курсив мой.— *Ю. Ж.*)

Ну что ж, насколько я понимаю, подобный «перечислительный» реализм — вовсе не реализм, а самый вульгарный бескрылый натурализм. Подлинный реализм оставляет широкий простор для поиска новых литературных форм, облегчающих взаимопонимание писателя и читателя и усиливающих эмоциональное воздействие произведения. Главное — это чтобы у автора было за душой нечто важное, что он может и должен сказать читателю, чем он способен обогатить его духовный мир, а не груда формалистических бирюлек, с которыми он играет ради того, чтобы щегольнуть мнимой оригинальностью. И Арагон со всей силой своей коммунистической убежденности обрушивается на таких игроков в бирюльки.

Раздумывая о будущем романа, Арагон считает, что он «должен опереться на открытия поэзии — так же, как другие науки добились прогресса, используя открытия математики. Я бы сказал, что гипотетически можно предположить: поэзия — это математика для всех видов литературы». Влияние этой «математики для всех видов литературы» все сильнее сказывается в последних романах Арагона, и в частности в романе «Бланш, или Забвение», который парижский комитет Объединения литературных критиков расценил как лучший роман третьего квартала 1967 года. Это влияние поэтического начала в современной прозе Арагона очень точно охарактеризовал Б. Песис в статье о романе «Бланш, или Забвение», опубликованной в «Иностранной литературе».

Об этом романе сейчас много говорят и спорят в парижских литературных кругах. «Бланш, или Забвение», конечно, литературное произведение совершенно иного характера, нежели «Коммунисты»,— оно обращено к неизмеримо более узкому кругу читателей. «Это книга не простая, но я хотел выразить не простые вещи,— сказал Арагон.— С другой стороны, я устал от простоватых вещей». По форме его новый роман — сложное произведение; реальное здесь сочетается с воображаемым, многочисленные авторские раздумья переплетаются с переживаниями героев литературных произведений других авторов, которыми Арагон дорожит: здесь и «Воспитание чувств» Флобера, и «Пармская обитель» Стендаля, и «Гипперион» Гёльдерлина, и «Луна-Парк» Эльзы Триоле, у которой автор позаимствовал даже имя своей героини.

Арагон терпеливо, трудолюбиво и настойчивс ищет новые творческие пути. Путь поиска — всегда нелегкий путь, и усеян он не розами, а шипами.

Раздумывая о литературе будущего, Арагон вспоминает написанные Гийомом Аполлинером в 1917 году, за год до его смерти, слова о том, что «надо было бы вернуться к самой природе, но не имитировать ее на манер фотографов». И Аполлинер шутливо добавил тогда: «Когда человек захотел имитировать ходьбу, он создал колесо, которое не похоже на ногу. Таким образом, сам того не зная, он поступил как сюрреалист».

«Эту фразу постоянно цитируют,— пишет Арагон,— ради слова *сюрреализм.* Но Аполлинер, умерший в 1918 году, не мог придавать сюрреализму того значения, которое с июня 1919 года мы начали придавать этому слову, когда Андре Бретон и Филипп Супо написали «Магнетические поля»... Колесо — это не покушение на реальность, но сама реальность, даже если современники изобретателя колеса смотрели на него, как на богохульника — ведь, глядя на колесо, он выдумал шатун»...

Пожелаем же Арагону успеха в его трудном поиске, чтобы он и впредь, оставаясь под знаменем социалистического реализма, соединял яркость и оригинальность формы с глубиной идейного содержания. Ведь именно эти черты его таланта обеспечили ему внимание и уважение его народа, французского рабочего класса, французских коммунистов и всемирное признание. Новое издание «Коммунистов» в сочетании с публикацией философского романа «Бланш, или Забвение» выразительно напоминает о неизменном соединении этих двух сторон в его творчестве.

Политика и литература

К чести лучших, наиболее глубоко мыслящих французских писателей, надо сказать, что им свойственна острая заинтересованность в решении важнейших проблем современности, и прежде всего проблемы войны и мира. Это хочется подчеркнуть

особо именно сейчас, когда буржуазные идеологи буквально лезут из кожи вон, пытаясь уговорить литераторов держаться в стороне от политики, посвящать свои досуги лишь копанию в закоулках собственной души и формальным изысканиям.

Нынешний литературный сезон в Париже ознаменовался выходом в свет целого ряда интереснейших *политических* романов видных писателей, которые сочли своим долгом активно включиться в борьбу против сил войны, угнетения и реакции и прежде всего — против американского империализма.

Начну с романа Робера Мерля * «Разумное животное», о котором «Иностранная литература» рассказала уже довольно подробно в своем апрельском номере. Сам Мерль охарактеризовал этот роман в предисловии к нему как «политико-фантастический»; однако содержание его настолько актуально, что читатель воспринимает это произведение не как фантастику, а как предупреждение о той страшной угрозе человечеству, которую представляют собой действия американской военщины.

Стремясь подчеркнуть актуальность угрозы, которую навлекает на весь мир американская военщина, Мерль вмещает действия, развертывающиеся в романе, в точные рамки времени: события начинаются 28 марта 1970 года и заканчиваются в ночь с 8 на 9 января 1973 года.

Напомнив о том, что многие писатели, и прежде всего Карел Чапек в своем знаменитом пророческом романе «Война с саламандрами», уже трактовали подобный полуфантастический - полуфилософский сюжет, Робер Мерль заявил в том же предисловии:

«Работая над книгой тридцать лет спустя после Чапека, я не должен был выдумывать, как он, одаренного разумом морского млекопитающего — наука достигла большого прогресса, и теперь мы знаем, что животное, действовавшее в мире фантазии Чапека, существует в реальной действительности: это дельфин... Фантастический роман? Научно-фантастический? Если смотреть на вещи псверхностно — да. На самом деле — нет **. Ведь я предсказываю то, что может произойти не через каких-нибудь 20—30 лет, а гораздо раньше — самое большее через 3—6 лет, да и то я не уверен, что правильно предсказываю...»

По словам Мерля, его роман представляет собой «произведение-гибрид», соединяющее философскую традицию французского романа с политической фантастикой. Но «гибридный характер» романа его не смущает. «В этом смешении нет ничего искусственного,— говорит он.— Кстати, это смешение отражает и мои чувства в отношении США, о которых так много говорится в романе. У кого, впрочем, авантюристическая политика руководителей этой большой страны не вызывает тревоги за будущее нашей планеты?»

Этим глубоким чувством тревоги за будущее нашей планеты проникнут и другой интереснейший роман нынешнего литературного сезона в Париже — «Рождественская елка» Мишеля Батая. На его обложке помещена уточняющая философская памятка, обращенная к читателю, в которой говорится: «Рождественская елка — это большой современный тотем. Говорят, что на ветвях индустриальной цивилизации подвешены разноцветные подарки на счастье для всех. Но на них висят также атомные бомбы, взрывная сила которых такова, что приходится в среднем по 20 000 килограммов классической взрывчатки на каждого человека».

«Рождественская елка» — это великолепно написанная пером опытного писателя * книга о страшной угрозе человечеству со стороны американской авиации, совершающей круглосуточные полеты над чужими территориями с ядерными бомбами на борту. Ее сюжет навеян трагедией испанской деревушки Паломарес, близ которой рухнул на землю американский самолет «Б-52» с четырьмя термоядерными бомбами на борту.

Парижанин Лоран, жена которого погибла год назад, проводит свой отпуск вдвоем с единственным сыном, маленьким Паскалем где-то на юге Корсики. Последний день... Лоран с Паскалем, найдя уединенный пляж, обосновываются на нем и выезжают в море на лодке порыбачить. И вдруг в небе вспыхивает яркая желтая точка, доносится глухой гул, и внезапно налетевший откуда-то легкий бриз подергивает волны рябью.

«— Папа, это летающая тарелочка?

— Все может быть, но вряд ли...

— Смотри!»

В небе возникают черные точки, потом они быстро увеличиваются в объеме, и вот уже обломки самолета и ядерных бомб падают в море.

«— Мне холодно,— вдруг жалобно восклицает Паскаль. обхватив плечи руками...»

Мгновение — и мальчик обречен на гибель: его затронул всплеск страшной радиации, ему остается всего три месяца жизни.

---

* Робер Мерль хорошо знаком советскому читателю, который помнит его острый и мужественный антифашистский роман «Смерть — мое ремесло». Мерль еще в 1949 году получил Гонкуровскую премию за роман «Уик-энд на Южном берегу» — о трудных днях Дюнкеркской катастрофы англо-французских вооруженных сил во второй мировой войне. Он — профессор английского языка Парижского университета в Нонтерре.

** В работе над романом Мерлю помогали французские ученые, изучающие дельфинов, Поль Бюдкер и Рене-Ги Бюнель, которым он и посвятил его. Французская пресса, комментируя роман, подтверждала, что уже сейчас США тратят 500 миллионов долларов в год на научные работы с дельфинами, имея в виду их возможное использование в войне.

* Мишель Батай еще в 1947 году был удостоен премии Стендаля за свой роман «Патрик». Большой популярностью во Франции и за границей пользуются его романы «Пять дней осени», «Небесный огонь», «Пирамида на море», «Город сумасшедших» и другие.

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

Автор показывает, как американское посольство предпринимает чрезвычайные усилия, чтобы скрыть катастрофу, хотя возможны страшные последствия; «и не удивительно,— пишет он.— Если упавший самолет — атомный бомбардировщик стратегической авиации США, то хвастать тут нечем». Но если хотя бы одна из бомб, лежащих на дне моря, взорвется... «Тем, кто не испарится мгновенно на месте, тем, кто на расстоянии сорока километров не сгорит дотла, тем, у кого не вытекут глаза от того, что они с расстояния ста километров взглянут на веселые огни этой рождественской елки, еще повезет: они будут умирать медленнее; люди будут погибать на протяжении целых ста лет после этого маленького праздника техники и войны».

Когда врач сообщает отцу, что его ребенок обречен, он приносит в жертву все, что у него есть, чтобы скрасить ему эти последние три месяца жизни. У ребенка — неожиданная страсть: он интересуется волками. Отец вдвоем с приятелем похищает волков в зоопарке и приводит их в замок в Оверни, где ребенок проводит свои последние дни. Немыслимая, нереальная ситуация? Может быть. Но автору хочется показать, что даже волки лучше людей, сеющих семена мучительной смерти над чужими землями. Паскаль умирает, играя с волками...

Роман Мишеля Батая высоко оценен парижской прессой. Он получил два голоса в жюри Гонкуровской премии при голосовании в 1967 году, ему присуждено Золотое перо газеты «Фигаро». И все же, по-моему, глубоко прав Андре Стиль, заявивший, что Мишель Батай, написав «почти шедевр», «прекрасную, полную величия книгу о великой тревоге людей», сам нанес серьезный удар своему детищу, уклонившись от того, чтобы «сказать, что должны делать, здесь и сейчас, люди на своей земле перед лицом столь хорошо показанной опасности».

Его герой разбит и подавлен обрушившейся на него опасностью. Атмосфера, которой дышит книга, отравлена ощущением безнадежности. Волки, которые, как казалось вначале, случайно забрели в этот роман, постепенно захватывают все большее и большее жизненное пространство в нем. Гордые и сильные, они неизмеримо выше человека.

Правда, Лоран всем сердцем восстает против злой и бессмысленной участи, которая так внезапно и жестоко обрушилась на его сына. «Я ненавижу армию, я ненавижу войну, я ненавижу бомбы, одна из которых отравила кровь моего сына»,— восклицает он. Но у него не хватает силы осудить убийц Паскаля. «Конечно, производство атомных бомб — это преступление, наихудшее из всех, которые когда-либо совершались,— рассуждает Лоран, но тут же заключает: — Но кого судить? Надо плакать. Надо во плоти своей ощутить стыд, стыд за кого-то, потому что они (те, по чьей вине погибает его сын.— *Ю. Ж.*) — тоже люди и их позор автоматически становится нашим — позором для всего человечества».

Только плакать?! Но этот вывод находится в острейшем противоречии с самим романом, который, независимо от того, хотел ли этого автор или нет, зовет к борьбе с термоядерными убийцами невинных детей.

Да, Лоран, преуспевавший парижский делец, оказался не в состоянии сделать логический вывод из той катастрофы, жертвой которой стал его сын, и это, в сущности, закономерно. *«Я не хочу изменять мир,— говорит этот верный сын своего класса.— Я его люблю таким, каков он есть»*. (Подчеркнуто мною.— *Ю. Ж.)*

И в Испании после того, как американские ядерные бомбы упали у Паломареса, и в Дании, когда американский ядерный бомбардировщик рухнул со своим смертоносным грузом у гренландских берегов, нашлось в правящих классах немало таких людей, которые предпочли склониться перед этим роком, исходя из тех же соображений. Но нашлась же в Испании мужественная женщина — герцогиня Сидонская, которая сумела понять всю глубину угрозы и *вопреки* классовой солидарности с американскими защитниками капитализма начала вместе с крестьянами протестовать и требовать прекращения полетов американских бомбардировщиков над чужими землями! Я уже не говорю о массовых, поистине всенародных протестах во всех странах Европы, организованных борцами за мир.

Мишель Батай нанес серьезный урон собственному роману, оставив все это, как говорится, за скобками и ограничившись во второй его части показом лишь того трагического микромира, в котором задыхаются обреченный ребенок и его несчастный отец в компании двух волков, украденных в зоопарке. И все же его произведение остается смелым политическим романом. Он заставляет читателей взволноваться, встревожиться и серьезно задуматься о том, какую огромную угрозу человечеству таит в себе грубая и бесцеремонная американская военщина, претендующая на роль мирового жандарма. И сам по себе тот факт, что *такому* роману присуждает ныне свое Золотое перо газета «Фигаро», которая еще недавно по всякому поводу и без повода грудью вставала на защиту всего, что делает Вашингтон, лишний раз напоминает о том, сколь многое изменилось во Франции за последние годы.

Газета «Юманите», учредившая свою литературную премию — премию имени Поля-Вайяна Кутюрье,—в свою очередь увенчала ею политический роман, направленный на разоблачение американского империализма, но еще более острый и последовательный, нежели «Рождественская елка» Мишеля Батая: это небольшой роман молодого писателя Эрика Вестфаля, вызывающе и полемически названный «Демонстрация».

Я прочел эту небольшую книжку, изданную Галлимаром, залпом, в один присест. Сюжет ее несложен: французский студент, путешествующий с попутным транспортом по Америке, случайно становится в городе Атланта свидетелем мощной демонстрации негров, требующих гражданских прав. Он оказывается втянутым в круговорот гроз-

ных событий. В разгаре демонстрации озверелый расист, укрывшийся за железными ставнями своего оружейного магазина, убивает выстрелом из ружья возглавляющего демонстрацию негритянского священника, верившего в успех ненасильственных действий. Начинаются беспорядки. В город вступают войска. Происходит страшная бойня. Президент США выступает с выражением лицемерных сожалений и объявляет день национального траура.

Вы скажете: да ведь это рассказ об убийстве доктора Кинга. Действительно, очень похоже; только события, связанные с убийством доктора Кинга, разразились в апреле 1968 года, а роман Эрика Вестфаля вышел в свет за полгода до этого — осенью 1967. «Я начал писать свой роман еще в 1964 году,— говорит автор.— Я был тогда в Америке, увидел своими глазами все то, что теперь описал, и мне захотелось выпустить в свет книгу, которая прозвучала бы как предупреждение».

Как видим, предупреждение оказалось пророческим. Совпало все, вплоть до деталей. Только Кинг был убит не в своей родной Атланте, а неподалеку оттуда — в Мемфисе, и в Атланту его привезли хоронить...

В этом небольшом увлекательном романе, написанном в прозрачно-ясной манере, упругим, динамичным языком, Эрик Вестфаль гневно разоблачает пресловутый «американский образ жизни», бичует тупоголовых и злых расистов, с любовью изображает человечных героев борьбы за гражданские права. Это Америка, как она есть, — Соединенные Штаты образца 1968 года, хотя роман, повторяю, был написан раньше. И звучит «Демонстрация» столь актуально, что после убийства Мартина Лютера Кинга газета «Юманите» начала публиковать полный текст этого романа, главу за главой, из номера в номер.

Несколько романов, ставших событиями этого сезона, посвящено проблемам борьбы колониальных народов за свое освобождение. Среди них я назову отмеченный премией Ренодо роман Сальва Эчара «Мир, как он есть» — о Мартинике; уже упомянутый мною роман Филиппа Лабро «Плохо погашенные огни» — об Алжире; роман Пьера Гюйота «Могила для 500 000 солдат», переносящий нас в некую воображаемую страну, в которой угадываются черты Вьетнама; наконец роман Анри де Монтерлана «Роза песков», написанный на материалах событий 30-х годов в Марокко (роман был написан тогда же, но полностью опубликован лишь сегодня).

Это очень разные и противоречивые по своему характеру произведения, и мне остается только пожалеть, что из-за недостатка места не удается подробно поговорить о каждом из них. Пока же хочется отметить главное: французские писатели, исповедующие самые различные и подчас прямо противоположные убеждения, прониклись сознанием того, что колониальный режим обречен на полное уничтожение и что американский империализм, упрямо пытающийся продлить его существование, используя грубое насилие, потерпит в этом неизбежный крах.

Конечно, не все из авторов названных мною произведений, и меньше всего Монтерлан, готовы сделать этот вывод в столь ясных и определенных выражениях. Но сама внутренняя логика их произведений подводит читателя именно к такому заключению.

Сальва Эчар, французский баск из Бордо, живет на Мартинике уже четырнадцать лет. Он вложил в свою книгу глубокое знание истории Мартиники и особенно истории революционной борьбы. К сожалению, он, как и Пьер Гюйота, автор «Могилы для 500 000 солдат», отдал дань модной в наше время манере «автоматического письма». В его книге фразы внезапно обрываются на полуслове, настоящее время переплетается с прошлым и будущим, реальное — с ирреальным; действующие лица смешивают воедино свои воспоминания и действия, мечты и свершения. Поэтому, как выразился критик газеты «Монд», читателю приходится «медленно пробираться, словно через девственный лес, в полную унижений жизнь негра». Подчас начинаешь испытывать раздражение, вызванное этим нарочитым усложнением письма. И вдруг перед тобой открывается страница, написанная острым, четким саркастическим языком, убийственно рисующая нравы колонизаторов, и ты готов простить за это автору многое. Вот как рисует он, к примеру, жизнь столицы Мартиники Фор-де-Франс:

«Фор-де-Франс собирает людей и обращает их в обезумевшее стадо, которое бродит между оглоблями и водопойным корытом, между хомутом и водопоем, между цепью и соломой, между кино и бойней... В этой долине остовов из штукатурки, зажатой между выходом канализации к реке Мадам, и вертепом у реки Мосье, барахтается в грязи и пребывает в состоянии брожения фактория... На берегу моря — улица Воров, подальше — улица Убийц, а вот — сквер Бордель, площадь Шпиков, тупик Канцелярских крыс...

И самое презираемое в городе, самое позорное, самое смешное, самое подозрительное существо — это не взяточник, не гангстер, не шпик, не вор, не сутенер, не проститутка, не доносчик, не предатель, не палач, а человек без денег. К ворам и убийцам претензий нет. Они — полноправные члены общества. Их не одобряют, конечно, за то, что они нарушают правила, но сами по себе деньги не могут служить предметом осуждения. Под вопрос ставится не золотой телец, а лишь способ им пользоваться. Перед лицом ортодоксов вор выглядит всего лишь как еретик: считают, что еще удастся его переубедить, перевоспитать. Между «честным человеком» и грабителем идет своего рода религиозная война... Но человек без денег, бедняк — это подлинный че-

---

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

ловек вне закона, опасный асоциальный элемент. Ничто не может его спасти. Это не заблудший брат — это дикарь».

Роман многопланов, и в нем уйма действующих лиц. Одна из наиболее интересных его линий — это рассказ об убийстве «блюстителями порядка» доктора Алена Аликанта, который основал газету «Голос трудящихся» и организовал первую коммунистическую группу на острове. Доктору Аликанту противопоставлен всемогущий капиталист Ле Понте де Курно — именно он распорядился уничтожить коммунистического вожака.

В той же сложной манере написан роман Пьера Гюйота, на котором лежат отблески мрачных видений апокалипсиса XX века: «Могилой для 500 000 солдат» является некая воображаемая страна Иноменас, книга переполнена тщательными и подробными описаниями пыток, насилий, убийств. Роман разделен на семь «песен». В «Могиле» находишь исторические и социальные ситуации, которые легко расшифровать: описанные в ней широкими мазками народные восстания, военный путч, карательные экспедиции, вырождение марионеточных властей невольно заставляют вспоминать то о Южной Корее, то о Вьетнаме, то об Алжире времен его национально-освободительной войны.

Надо честно, однако, сказать, что тягучая манера, в которой написана книга, доходящее до болезненности увлечение автора подробнейшими описаниями пыток, насилий и убийств, которые повторяются бесчисленное количество раз, какой-то рваный и к тому же тусклый стиль делают эту книгу малодоступной для читателя — надо совершить над собой усилие, чтобы дочитать этот объемистый том до конца.

В беседе с сотрудниками «Леттр франсэз» Гюйота пытался отстаивать свою манеру письма. Он принципиально против использования образов и сравнений: «Надо писать о вещах просто — без «как», достаточно *называть* вещи»; «надо писать, словно оперируя телевизионной камерой, находящейся в гуще событий». Но Гюйота забывает, что телевизионная камера показывает события во всех деталях, ничего к ним не добавляя и ничего не убавляя, тогда как он, автор, произвольно выхватывает из общей картины лишь то, что его заинтересовало. Тем более что он пользуется пресловутой «автоматической» манерой письма:

«Я использую пишущую машинку, а не перо. Я стучу на ней подчас целыми часами и почти ничего не зачеркиваю,— говорит Гюйота.— Мало-помалу я теряю ощущение того, что я пишу,— меня уже нет здесь... Некоторые вещи я писал в подлинно бессознательном состоянии. Я не скажу, что был одержим духом творчества,— я чувствовал, что мною владеет физическая потребность оставаться за машинкой и продолжать писать»...

А ведь у Пьера Гюйота есть *что* сказать, и он знает, *как* надо сказать. Он был в Алжире в годы национально-освободительной борьбы алжирского народа. Он сидел там в тюрьме по обвинению в содействии дезертирству солдат, не желавших сражаться с арабами. Он полон жгучей ненависти к колониализму, и сейчас мечтает поехать во Вьетнам, чтобы писать оттуда о борьбе вьетнамского народа против американских захватчиков.

Совершенно в иной манере ведет рассказ о событиях в том же Алжире Филипп Лабро в романе «Плохо погашенные огни», о котором я уже упоминал. Это ясный и отчетливый реалистический рассказ тридцатилетнего журналиста о юности своего поколения, опаленной страшной, несправедливой колониальной войной. Филипп Лабро служил в Алжире с 1960 по 1962 год. 23 405 его ровесников погибли, 208 — исчезли, 503 376 были искалечены. Ради чего? Ради несправедливого дела. Ради интересов колонизаторов. И они проиграли эту войну.

Филипп Лабро не приукрашивает того, что произошло. Не пытается оправдать себя и своих ровесников, бездумно выполнявших приказы начальства. Двадцатилетний герой романа, только что вернувшийся из путешествия по Америке, вдруг попадает в армию, и его посылают в Алжир. Высадка происходит в солнечный день. Это создает у солдат праздничное настроение. Война для них — это кровь, но чаще всего — кровь других, а не собственная. Это трудная война, но война — под солнцем, а не под дождем и снегом, и к тому же не каждый день. Это — ужас и пытки, но это в то же время доступные веселые девушки и свободные часы, которые можно проводить на пляжах.

Надолго запоминается такая, например, страничка романа: каждое утро с тюремного двора взлетает геликоптер, чтобы сбросить в море очередной груз мертвых тел или агонизирующих жертв пыток. Он пролетает над теми молодыми людьми, которые, сняв военную форму, нежатся на песке пляжа, зная, что происходит. Лабро напоминает, что несколько сот тысяч тридцатилетних французов сегодня вздрагивают, когда над пляжем, где они лежат, проводя каникулы у моря, проносится случайный геликоптер.

Лабро не спешит морализировать. Он лишь констатирует факты. И эти факты, тщательно подобранные, сами говорят за себя. «Несправедливо, что эта книга не получила в нынешнем году одной из крупнейших премий»,— заметил в «Юманите» Андре Стиль. Но от того, что жюри обошли роман Филиппа Лабро своим вниманием, он не стал менее интересным.

Особняком стоит роман «Роза песков», принадлежащий перу семидесятидвухлетнего академика, рафинированного аристократа, находящегося на правом фланге французской литературы, Анри Мари Жозефа Мийон де Монтерлана — он гордится тем, что на его фамильном гербе изображены две шпаги, скрещенные под пылающей башней.

Монтерлан прожил долгую и бурную жизнь. Свое первое литературное произве-

дение «Жизнь Сципиона» по Титу Ливию он написал еще в возрасте... шести лет. В четырнадцать лет он пробовал силы в бое быков в Испании — убил двух быков. Ученик ультрапатриота Барреса, он ушел добровольцем на первую мировую войну и в 1918 году получил свои семь осколков снаряда. В 1922 году публикует первый роман «Сон», в 1924 — «Похоронную песнь погибшим под Верденом».

Вскоре Монтерлан становится знаменит и неожиданно покидает Францию на несколько лет, чтобы путешествовать по странам Средиземноморья. Во время этой поездки — то в Алжире, то в Марокко — и был написан роман «Роза песков», романтическая история французского лейтенанта Люсьена Олиньи, который отправился в Северную Африку, чтобы там в боях с бунтующими арабами быстрее продвинуться по службе, но полюбил молодую дочь бербера, сблизился с кочевниками, проникся уважением к ним и отказался от участия в очередной военной вылазке, хотя это и угрожало ему серьезными последствиями. Кончается роман гибелью этого лейтенанта от руки повстанцев — его предает приятель, французский художник, беспринципный искатель приключений в Африке.

Монтерлан не решился тогда опубликовать свой роман. Лишь в 1938 году он напечатал его тиражом... в шестьдесят экземпляров, да и то с купюрами и под чужой фамилией. Сейчас, оправдывая свое решение оставить роман под спудом, Монтерлан поясняет в обращении к читателю, помещенном на обложке книги: «Когда я вернулся во Францию после трехлетнего отсутствия, я увидел, что война неизбежна: нацистская партия только что получила большинство мест в рейхстаге. Я увидел Францию, которая показалась мне слабой, ее грубо оскорбляли фашистская (итальянская) и гитлеровская партии. Я счел невозможным печатать книгу, которая была бы использована против Франции».

Но это объяснение не убедило критиков, которые, между прочим, помнят, что в годы фашистской оккупации Монтерлан чувствовал себя вполне спокойно — он писал и ставил пьесы в парижских театрах: премьера его «Мертвой королевы» в «Комеди франсэз» состоялась в 1942 году, а премьера пьесы «Ничей сын» — в театре «Сен-Жорж» в 1943.

Академик Пьер-Анри Симон справедливо напомнил в «Монд», что в те же тридцатые годы Андре Жид поступил куда мужественнее, опубликовав свое резко антиколониалистское «Путешествие в Конго» без всяких купюр. Критик журнала «Экспресс» Матье Гале высказался на сей счет еще резче: «Странная концепция государственных интересов — сознательно замалчивать скандалы, которые им вредят! Это напоминает «патриотические» мотивы антидрейфусаров. Подобного рода героизм навыворот в конце концов всегда приносит больше зла, чем добра. Ученик Барреса должен был бы это знать».

Но так или иначе, роман «Роза песков», пусть с тридцатишестилетним опозданием, вышел в свет и предстал перед судом читателя.

И хотя сам Монтерлан уверяет, что издал сейчас этот роман только потому, что он лишен политической актуальности и читается как исторический документ, в действительности «Роза песков» звучит сегодня не менее злободневно, нежели тогда, когда она писалась. Быть может, страшась этой злободневности, Монтерлан предпослал роману сочиненный им самим скептический афоризм: «Мир трагичен потому, что люди во всем видят трагедии». Но роман вопреки автору, всей силой своего реалистического показа колониального Марокко 30-х годов, непримиримо и сурово судит тех, кто *создает* трагедии.

Монтерлан хотел написать книгу, главной мыслью которой было бы «милосердие»; получилось же убедительное оправдание той самоотверженной суровой борьбы за свободу, которую арабы Марокко начали вести уже тогда, в самом начале тридцатых годов. И горькие слова беспощадного колонизатора маршала Лиотэ, приведенные в качестве эпиграфа к этой книге, проникнуты предчувствием неминуемой катастрофы:

«Внешняя Франция (французские колонии.— *Ю. Ж.*) охвачена моральным кризисом и политическим недомоганием, в особенности Индокитай (!) Этот кризис проистекает из нашей тенденции рассматривать расы, подчиненные нашей власти, как неполноценные. Несправедливо обращаться с берберами, аннамитами, арабами, мальгашами с пренебрежительной снисходительностью, которая порождает ненависть и готовит завтрашние восстания».

Вот почему никак нельзя согласиться с теми парижскими критиками, которые утверждают, как это делает, например, критик «Нувель обсерватер» Франсуа-Режи Бастид, будто «сегодня будут читать эту книгу, как подогретое экзотическое блюдо». Нет, хочет того сейчас сам Монтерлан или не хочет, его «Роза песков» займет место в строю современного *политического* романа, атакующего устои старого мира.

Чувство некоторой неудовлетворенности оставляет на этот раз роман хорошо известного у нас писателя Армана Лану, лауреата Гонкуровской премии, «Скрипка в огне», посвященный Израилю, куда он вместе с Эрве Базеном и Мишелем Бютором ездил летом 1966 года согласно программе франко-израильского культурного обмена. Написанный в свободной форме роман содержит в себе и отблески путевых впечатлений, и раздумья об увиденном, и воспоминания, разбуженные поездкой. Чувствуется, что автора в этой поездке не оставляло ощущение надвигавшихся собы-

---

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

тий — Израиль готовился к нападению на соседние арабские страны. Но в то же время Лану не смог, видимо, до конца разобраться в том, что происходило,— да и нелегко было это сделать, совершая краткую поездку, носящую к тому же полуофициальный характер; видимо, поэтому его книга, вышедшая в свет уже *после* израильской агрессии, не сказала читателю того, что она могла бы сказать.

Вероятно, Арман Лану сам понял это и с грустью написал в предисловии: «Израильская война, начавшаяся в понедельник утром, закончилась, нанеся ущерб перспективам этой книги, которая вчера несла в себе предупреждение: «Остерегайся, Израиль». Но теперь предупреждения было мало — читателя интересовал анализ самой агрессии и ее последствий не только для ее жертв — арабских народов, но и для израильского народа, который его правители ввергли в эту подлую несправедливую войну.

Книга Лану проникнута глухим беспокойством, какой-то неосознанной тревогой, предчувствием кровавых событий. И девятого июня 1967 года, когда «Скрипка в огне» уже выходила в свет, он торопливо приписал:

«Тяжкий удар судьбы, обрушившийся на других, снова напомнил мне о том, что пережил я сам 27 лет назад, в жаркие июньские дни 1940 года, когда Франция потерпела поражение. Вместе со своими голодными и почти безоружными товарищами, которые вскоре должны были лишиться своего солдатского достоинства, кружа по нашему Синаю — он был зеленым! — между Ретелем и Рейном. На этот раз я отождествляю себя с босоногими арабами, о которых сейчас рассказывает радио,— побежденный, как они, обожженный песками».

Лану не ставит в своей книге в прямой форме вопрос об ответственности Израиля за страшные мучения, которые претерпели арабы в результате агрессии, но он иносказательно говорит, напоминая о причудливом рисунке карты этого воинственного государства: «Израиль по своей форме напоминает кинжал. Кто же держит рукоятку?» Автор не отвечает на этот вопрос, но ответ известен читателю: израильский кинжал вонзили в живое тело арабской нации вероломные и хищные правители этой страны, поддержанные англо-американскими монополиями.

Итак, политический роман завоевывает все более широкое место во французской литературе. Пусть его авторы не всегда оказываются в состоянии дать четкий и ясный ответ на животрепещущие проблемы современности — не такое уж это простое дело! — пусть далеко не все литературные произведения, посвященные этим проблемам, совершенны, важен сам по себе знаменательный факт: французские писатели создают смелые злободневные произведения, посвященные борьбе против зловещих сил войны и международного разбоя. С каждым годом таких произведений становится все больше, и круг их авторов ширится. И в этом — верный признак душевного здоровья реалистического течения современной французской литературы.

Социальный роман и роман нравов

Со времен Бальзака, Гюго, Золя лучшими традициями французской литературы были глубокое исследование народной жизни, пристальное внимание к человеку, неподдельная заинтересованность в оздоровлении общественных нравов. Декаденты, модернисты немало потрудились над тем, чтобы отбить у литературы вкус к этой тематике; запираясь в пресловутой «башне из слоновой кости», они поворачивались к народу спиной. Но тем самым они обедняли, обкрадывали самих себя, их произведения становились вымученными, иссохшими, и читатель утрачивал к ним интерес.

Тем отраднее, что в последнее время во французской литературе отчетливо сказывается возрождение социального романа, романа нравов, семейного романа, причем их авторы все чаще не ограничиваются модными в наше время «моментальными фотографиями» того, что попало им на глаза, а размышляют над наблюденным, подводят читателя к глубоким выводам гражданского порядка.

В этой связи хочется особо отметить пользующийся сейчас большим успехом у французского читателя роман Клер Эчерелли «Элиза, или Настоящая жизнь», заслуженно отмеченный в 1967 году премией Фемина *. Это роман о французском рабочем классе; автор повествует о жизни и борьбе тружеников парижского автомобильного завода «Ситроен»; о трудных проблемах рабочих-алжирцев, подвергающихся дискриминации, и, в частности, об их далеко не простых и не легких отношениях с рабочими-французами — эти отношения становятся натянутыми потому, что доведенные до отчаяния алжирцы соглашаются работать за низкую плату; о мужественной деятельности коммунистов, сплачивающих рабочих и возглавляющих их борьбу за свои права.

Эчерелли удалось убедительно и правдиво показать мир рабочего класса «изнутри» потому, что жизнь Элизы — в значительной мере ее собственная. На долю этой тридцатилетней женщины выпала нелегкая судьба. Дочь докера, который в 1940 году был взят в плен гитлеровцами и в 1942 убит при попытке к бегству, Эчерелли, как сирота, воспитывалась за счет государства в лицее, но не закончила его.

---

* Член Гонкуровской академии Эрве Базен предлагал увенчать эту книгу премией Гонкура.

Потом — раннее замужество, ребенок, скорый развод, и вот она — в восемнадцать лет с младенцем на руках в Париже, в поисках средств к существованию.

— Это было трудно без диплома,— рассказывала Эчерелли в одном интервью.— Мне смеялись в лицо, когда я просилась на службу в контору: «Об этом не может быть и речи — вы не умеете даже стенографировать». Я стала искать работу продавщицы, но у меня не было рекомендации, и я не очень понравилась... Я жила в гостинице, и мне надо было как-то кормить ребенка, поэтому деньги были нужны немедленно Я попыталась пойти в услужение. И тут неудача: нашли, что я слишком тоща, мне был 21 год, я действительно не отличалась крепким сложением. Прочла объявление в газете: «Требуются работницы на конвейер у Ситроена». Это было в 1957 году. Я проработала там 17 месяцев...

Завод встретил будущую писательницу неприветливо:

— Усталость отсекала меня от других и от всего, что происходило вокруг меня... Конвейер — это тяжело... Условия работы не давали людям возможности вступать в контакт друг с другом. Разговаривать мешали шум и усталость...

Эчерелли продолжала:

— Я видела людей, которые работают в социалистических странах. По-моему, нет никакого сравнения: там у рабочего чувство, что он необходим обществу. Для меня же завод был олицетворением полнейшей бесчеловечности. Плюс к этому — полицейская система: на любом уровне всегда есть кто-то, кто за всеми следит. Это ужасно...

В 1963 году Эчерелли удалось устроиться в контору агентства «Досуг и каникулы молодежи». Стало немного легче. Она начала много читать. Родилась дерзкая мысль о собственной книге. Вставала в пять часов утра в своей крохотной комнатке «для прислуги» на шестом этаже и писала. Писала долгих три года. Потом начались мытарства в издательствах. Роман о рабочих?.. Издатели пожимали плечами. Отказал один. За ним другой. Наконец издательство Деноэль решило рискнуть. Но... из пятисот страниц рукописи было выброшено двести: в корзину ушла почти вся первая половина романа: французская провинция, детство Элизы. И все же, даже изуродованный, роман привлек внимание и читателя, и критики. Теперь издатель ходит именинником: премия Фемина присуждена его автору!

К сожалению, романы из жизни рабочего класса нынче крайне редки во французской литературе — да и только ли во французской! Слишком многие современные литераторы чураются этой тематики,— то ли потому, что считают ее старомодной, то ли просто в силу своей фактической отделенности от рабочей среды они предпочитают писать о том, что им ближе,— не знаю. Но факт остается фактом: среди сотен романов, лежащих на прилавках парижских книжных магазинов, редко-редко обнаружишь такой, который бы показал жизнь рабочего человека вот так же обстоятельно и всесторонне, как это сделала Эчерелли.

Мне думается, что это не столько вина, сколько беда,— и притом большая беда современной французской литературы. И это глубоко ощутили многие писатели в бурные майские дни 1968 года, когда Франция была потрясена до основания острейшим социальным конфликтом. Какими бледными, худосочными выглядели на фоне этих громокипящих событий еще вчера превозносившиеся критикой до небес иные модные сочинения, изобиловавшие экскурсами в подсознание человека, тщательно исследовавшие нюансы психологии, щеголяющие самоновейшими формальными приемами, но крайне далекие от жизни!

Один мой знакомый, опытный литературный критик, с горечью сказал: «События застали французских писателей врасплох. Они просмотрели истинные настроения народа и истинное состояние общества». Я думаю, что это слишком суровая оценка: нельзя требовать от писателя, чтобы он был оракулом. К тому же, события во Франции застали врасплох не только писателей, но и многих политических и государственных деятелей. Важно отметить другое: если бы французская литература шире и глубже разрабатывала социальную тематику, если бы французские писатели чаще обращались к жизни рабочего класса, крестьянства и прежде всего — молодежи, читатель лучше знал бы, в каком направлении развиваются глубинные социальные процессы, симптомом которых и явились майские события 1968 года.

В этом отношении современные писатели могут многому поучиться у своих знаменитых предшественников—классиков французской литературы, которые всегда пристально и с глубокой заинтересованностью изучали жизнь, быт, борьбу своего трудового народа. И не случайно именно сейчас в среде французских писателей усиливается интерес к этому классическому наследству. Пример Бальзака, Золя, Гюго вновь обретает свое пленительное обаяние.

— Кто из писателей больше всего повлиял на вас? — спросил Клер Эчерелли назавтра после присуждения ей премии критик «Леттр франсэз» Жан Жожар. Она ответила:

— Бальзак.

Да, влияние Бальзака вновь усилилось во французской литературе, хотя торопливые модернисты не раз готовились его хоронить, как «старомодного» писателя. По-прежнему сильно и влияние Флобера. Об этом невольно вспоминаешь, читая объемистый, обстоятельный, написанный в хо-

---

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

рошей реалистической манере роман Эрве Базена * «Супружеская жизнь», пользующийся огромным спросом в книжных магазинах и библиотеках.

Собственно говоря, «Супружеская жизнь» — вольный перевод названия этого романа; автор назвал его придуманным им самим словечком «Le Matrimoine»—оно сочинено в противовес понятию «Le Patrimoine», что значит «наследие»; это понятие происходит от мужского корня «patri», а неологизм «matrimoine» — от женского «matri». В эпиграфе к книге Базен полушутливо-полусерьезно поясняет: «Я именую словом «matrimoine» все то, что в семье обычно зависит от женщины и ей подчиняется, а также все то, что до наших дней ставит целью превратить долю льва в долю львицы». И академик Пьер-Анри Симон, анализируя роман в газете «Монд», добавляет:

— Это повествование о том, как может страдать муж от своей жены лишь потому, что она нормально осуществляет долг хозяйки дома, но это также гневная сатира на современные нравы и законы, усугубляющие это испытание, унижая льва перед львицей.

Но я больше склонен согласиться с критиком «Фигаро леттерэр» Робером Кантером, который видит в новом романе Базена нечто гораздо большее — широкую фреску нравов в традициях классической французской литературы. Сравнивая «Супружескую жизнь» с новомодными сочинениями парижских литераторов, он пишет:

«Когда прочтешь две-три главы «Супружеской жизни», больше всего поражает то, что ты как бы глотнул свежего воздуха, проникнутого ароматом того края, где развертываются события: это Анже и именно Анже!.. Роман Базена — в великой традиции французского провинциального романа. «Новый роман» не имеет родины. Не потому ли он обрел расположение почти исключительно в оранжереях американских университетов? Такие романисты, как мадам Саган и мадам Саррот, представляют салонную литературу. Действие романов Маргариты Дюра может происходить в любом месте — от Невера до Хиросимы. Ницца, фигурирующая в романах Ле Клезио, находится не то на берегах Леты, не то на берегах Ахерона... А Эрве Базен описывает — неважно, с плохой или хорошей стороны,— живую *провинцию Анже*... Вино его виноградников имеет собственный неповторимый вкус. И, может быть, именно поэтому Базеном упиваются не только в Анжу и в Бретани, в Эльзасе или в Провансе».

Напомню, что действие первого романа Базена «Гадюка в кулаке», на долю которого выпал крупнейший литературный успех 1948 года, происходило все в том же Анже — автор сильно и остро описал бунт разгневанного молодого героя, который порывал со своей буржуазной семьей. Нынешний герой Базена Абель Бретодо — куда слабее душой. Этот провинциальный адвокат, мечтавший поначалу о большой карьере, о богатой событиями интеллектуальной жизни, уходит с головой в обывательский омут, женившись на дочери местного богатого торговца. У него нет сил противостоять влиянию той среды, в которую он попал. Взнузданный родственниками, Абель Бретодо зло грызет свои удила, время от времени встает на дыбы, но потом смиряется и покорно тащит дальше свой тяжелый воз.

Базен поистине блистательно рисует нравы этого удушливого провинциального мирка, мелочность и пустоту его обитателей, абсолютную бесперспективность их тупого существования. Но провинция 1968 года — это уже не провинция Бальзака и Флобера и даже не провинция 1948 года; в нее вторгается *культ вещей,* несущих с собой мнимую модернизацию жизни,— французскую мелкую буржуазию нынче подавляет владычество стиральной машины, пылесоса и холодильника, рабами которых она становится

Абель Бретодо полюбил Мариэтт за то, что она «была чуточку стрекозой, но в гораздо большей степени муравьем». Однако очень скоро стрекозиная легкость его супруги исчезла, и Мариэтт стала всего лишь домашним трудолюбивым муравьем. Ее интересуют только дети, семейные праздники и приобретение всех тех новейших вещиц, которые ей властно рекомендуют торговая реклама и женские журналы. К тому же в жизнь Абеля бесцеремонно вторгаются ее многочисленные родственницы из племени торгового дома Гимарш.

У Мариэтт нет профессии, она нигде не работает — это не принято в буржуазных семьях; ее интересы ограничены постоянной заботой о совершенствовании комфорта в доме. Она поглощена чтением бесчисленных объявлений в газетах и журналах и хождением по магазинам — ей хочется купить все эти сложные кухонные и прочие машины, без которых, как ей представляется, не может обойтись ни одна «приличная семья». Деньги она тратит без счета, и в конце месяца Абель всегда испытывает трудности. Он робко пытается протестовать. Но Мариэтт, которая у нас на глазах превращается из трогательной невесты и милой молодой супруги во властную и требовательную мать большого семейства, подавляет его сопротивление.

Эрве Базен спокойно и, я бы сказал, деловито описывает эту супружескую жизнь год за годом — с 1953 по 1967. Эти четырнадцать лет медленного порабощения героя романа, мечтавшего о большой адвокатской карьере, не готовят взрыва, грозы. Автор лишь показывает, как постепенно голубое небо некогда счастливой супружеской четы затягивается тучами и становится давящим, гнетущим. Базен не навязывает своих выводов, но читатель сам приходит к выводу,

---

* Эрве Базен — один из виднейших писателей современной Франции, автор многих известных романов, его произведения переведены на 25 языков

что в конечном счете во всем виновата не только Мариэтт и даже не ее властные родственники — *виноват и породивший их общественный строй,* виноват тот образ жизни, который сделал поистине невыносимым существование Абеля Бретодо.

Кризису семьи посвятили свои книги в этом литературном сезоне и некоторые другие французские литераторы, в частности известный французский писатель Жан-Луи Кюртис — он еще в 1946 году получил премию Казе за свой первый роман «Молодые люди», а год спустя — премию Гонкура за «Леса ночи». С тех пор он издавал книгу за книгой и сейчас занимает видное место в ряду литераторов Франции.

Оставаясь верным последователем Бальзака и Флобера, Кюртис неустанно анализирует общественные и семейные нравы. В его произведениях сильна сатирическая струя — он беспощаден к своим пустым и ничтожным персонажам. И вот его новый роман «Молодая чета», опубликованный издательством Жюллиар.

Двадцативосьмилетний плохо оплачиваемый инженер Жиль Феррюс случайно знакомится в концерте с двадцатишестилетней Вероникой. Они вскоре женятся. Что это— любовь с первого взгляда? Не совсем так, просто Вероника свободна, как сейчас выражаются в «приличном обществе».

Случайно сформировавшееся супружество быстро дает трещину — ведь Жиль и Вероника, в сущности, совсем не подходят друг другу. Он — человек без больших амбиций, прямолинейный, образованный, добрый, но он лишен блеска, скучен. Она — претенциозна, жадна, тоскует по роскоши, которую Жиль не в состоянии ей предоставить, прикидывается снобом, любит поговорить о книгах, которые «нужно прочесть», но которых она не читает, о пьесах, которые «надо посмотреть», но которых она не смотрит.

Рождается ребенок. Положение в семье все ухудшается. Наконец развод. В день разлуки Жиль нежно глядит на крохотную дочурку и с горечью думает: «Она будет меня любить, пока не вступит в сознательный возраст,— это наверняка — всем своим сердцем, без расчета. Я могу еще быть счастлив в течение трех лет». А что будет дальше? Дальше, когда девочка вступит в сознательный возраст, бациллы стяжательства отравят и ее душу.

В этой связи критик еженедельника «Нувель обсерватер» Жан Фрести справедливо заключает: «В романе — три персонажа: Вероника, Жиль и наше общество, именуемое «обществом потребления», к которому Кюртис не без основания относится с омерзением. Роман напоминает памфлет...

Он показывает, что бессердечной сделал Веронику тот общественный строй, где законы человеческого поведения диктуют торгаши, которым надо обязательно продать свои ужасные автомобили, свою фальшивую мебель под Людовика XV, свои стиральные машины и прочее барахло».

Не менее интересен и поучителен популярный сейчас среди французских читателей роман Генриетты Желинек «Ход конем», посвященный все той же теме — кризису семьи в буржуазном обществе. (Между прочим, члены Гонкуровской академии Раймон Кено и Пьер Мак-Орлан настаивали на том, чтобы премию Гонкура за 1967 год отдать Желинек, а не Мандьяргу.)

«Ход конем» — уже пятая книга Генриетты Желинек. Она давно зарекомендовала себя как хороший бытописатель, у нее легкий, изящный язык, прекрасный диалог, саркастический, острый глаз. Героев своего нового романа Генриетта Желинек нашла в Париже. Кто же они?

Как и у Базена, в романе рассматривается, словно под микроскопом, семья мелкобуржуазных интеллигентов. Как и у Базена, персонажи серенькие, какие-то увядшие, с безнадежным видом оглядывающиеся по сторонам. Как и у Базена, им не о чем говорить друг с другом, и они не видят выхода из своего мрачного тупика и тем не менее углубляются в него все дальше и дальше.

Но конкретная сюжетная ситуация здесь иная. Персонажи Генриетты Желинек — Роже Бланшар и его жена — люди равноправные: оба служат на государственной службе, оба люди образованные, они способны при случае процитировать Канта или Бергсона. Но тем страшнее абсолютная пустота, которая гнездится в их холодных душах.

Сорокавосьмилетний Роже Бланшар, когда-то окончивший «Эколь нормаль», не сумел сделать большой карьеры: он всего лишь атташе в кабинете министра. Он женат на нелюбимой женщине Мари, с которой у него нет общих интересов. В семье двое детей — мальчик и девочка, они в значительной мере предоставлены самим себе. У Бланшара есть еще «штатная» любовница, которая ему давно уже надоела, как и жена.

Постоянные ссоры отравляют жизнь. В конце концов Роже и Мари расходятся. Расходятся без драмы, как-то даже механически. Все как будто бы быстро образуется. Место Роже в доме Бланшаров быстро занимает «друг детства» Мари Жан Андрие. Получивший внезапно свободу действий Роже заодно отделывается и от надоевшей ему старой любовницы и тут же сходится с двадцатидвухлетней секретаршей министра.

И это все? Нет. Родители забыли про своих детей. А дети страдают от крушения семьи. К тому же дочь Катрин становится жертвой несчастного случая. Отец ее навещает. Она просит его вернуться домой. И он тут же возвращается. Ничто не изменилось, все остается по-старому,— та же серенькая совместная жизнь людей, давно опостылевших друг другу. К чему же это возвращение? Так будет все же спокойнее. Мари

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

после возвращения супруга станет чуточку менее сварлива, в доме будет потише. «Моя цель — выиграть мир, — говорит Роже,— иной раз хитростью, делая ход конем».

«Это будет одна из тех стареющих супружеских пар, которые остаются вместе неизвестно почему»,— с грустной иронией заключает автор. Книга кончается так же, как началась. Сковывающая героев романа цепь, разомкнувшаяся на миг, сомкнулась снова. Ее герои объяты смятением — их мучат усталость, неудовлетворенность жизнью, страх, что жизнь уходит, а они ничего существенного так и не успели сделать.

Семейной жизни посвятила свою новую книгу и хорошо известная нашему читателю писательница Симона де Бовуар. В эту книгу, названную «Женщина, которая пошла на разрыв», входят три новеллы, посвященные грустным проблемам непрочной интеллигентской семьи, в которой царит разлад. Французская критика сурово отнеслась к новому произведению Симоны де Бовуар, считая, что оно ниже творческих возможностей писательницы. И все-таки книга пользуется немалым успехом у читателей — писательница затронула туго натянутую струну в душе французских читателей, и эта струна вибрирует...

Из Парижа мы перенесемся в дальний глухой угол юга — в Верхний Прованс. Один из старейших писателей Франции Жан Жионо там развернул действие своего романа нравов — диких и горьких нравов горцев. Роман называется необычно — «Эннемонд и другие характеры», да и на роман-то он не очень похож, это своего рода монолог писателя, который не спеша рассказывает о своем любимом крае и его людях.

Семидесятитрехлетний провансалец Жан Жионо — человек устоявшихся консервативных взглядов. Он весь в прошлом, и притом в далеком прошлом. Творения Гомера и библия — вот источники его жизненной философии и творческой манеры. Уже в двадцать лет Жионо написал «Рождение Одиссеи» — странную и красивую книгу, которую он опубликовал лишь в 1930 году,— в ней, любуясь родным Провансом, он изображает современного Улисса, античного сына извечного Средиземноморья, который, вернувшись из давних странствий, рассказывает поэтические истории.

Романы Жионо — это своего рода поэмы в прозе, из которых так и брызжет сок образной речи и которые напоены горькими ароматами горных трав. Поклонник Уитмена и Льва Толстого, он ищет спасения для человечества в возврате к библейской простоте, в развитии цивилизации видит одни опасности.

Провозгласив себя «интегральным пацифистом», Жионо перед второй мировой войной опубликовал памфлеты «Отказ от повиновения» и «Жить свободным», за что он даже преследовался по обвинению в «подрыве морали армии». Этот «интегральный пацифизм» не помешал ему, впрочем, легко найти общий язык с гитлеровцами и их марионетками в Виши после разгрома Франции. За сотрудничество с врагом Национальный комитет писателей в 1944 году внес Жана Жионо в свой черный список, и его в течение трех лет не печатали ни одна газета и ни один журнал и не издавало ни одно издательство. Но потом он снова появился на литературной арене.

И вот передо мной его повествование о долгой жизни Эннемонд, властной, жестокой и страстной крестьянки с провансальского нагорья и о ее соплеменниках. Жионо описывает весь жизненный путь своей героини — вначале мы видим ее юной красавицей, готовившейся стать учительницей, но провалившейся на экзамене в институт и вернувшейся пасти овец на отцовской ферме, а в конце перед нами разбогатевшая, хищная восьмидесятилетняя старуха, нажившая свои капиталы ценой жестокой борьбы с соперниками, не останавливавшаяся перед убийствами и мошенничеством. Она парализована. За ней ухаживают дети — она успела народить тринадцать сыновей и дочерей. Молча глядит Эннемонд часами на суровые и величественные горы; все в жизни проходит, лишь вечная природа неизменна.

В изображении Жионо это край сильных, злых и молчаливых людей, которые не выпускают ружья из рук и готовы перегрызть друг другу глотку ради наживы. «Некоторые потеряли свое сердце десяти лет от роду. У некоторых его не было вовсе»,— повествует он. Ему представляется все это вполне естественным: какова природа, таковы и люди. Они влекут его к себе, в них он видит что-то античное, первородное.

Жионо не мог не сказать о том, что и этот дикий уединенный край был опален дыханием войны, эсэсовцы добирались даже сюда, и эти дикие в его изображении горцы дрались с ними насмерть. В бою погибли муж и сын Эннемонд, но и эти волнующие моменты Жионо изображает по-своему: в его передаче эта схватка выглядит как своего рода азартная и бездумная ярмарочная борьба — недаром муж Эннемонд, участвующий и погибающий в бою,— бывший циркач. Кстати, участие в движении Сопротивления не мешает Эннемонд и ее семье наживаться на черном рынке...

Роман — а он лаконичен и занимает каких-нибудь 125 страничек небольшого формата — дополнен другим текстом, без названия; в нем Жионо воспевает дикие красоты пустынного приморского района — Камарги, рассказывая о том, как живут там люди и животные,— люди дерутся между собой, а животные безжалостно пожирают друг друга.

«Бессмертие души,— заключает Жионо,— это гримаса клоуна для забавы детей; а вот то, что очевидно, то, что бросается в глаза,— это бессмертие плоти, бессмертие материи, цепь превращений, колесо жизни, бесконечное чередование превратностей и перевоплощений...»

Бегство от цивилизации, уход в дикость, отрицание всего светлого, что есть в чело-

веке, прославление беззакония как якобы естественного состояния человека, свободного от предрассудков и условностей,— такова философия Жана Жионо, который при всем том остается, бесспорно, талантливым писателем. Я уверен, что горцы Верхнего Прованса не узнают себя в зловещих героях его романа — такими бессердечными он их изобразил. Ведь это люди как люди, с присущими им слабостями и хорошими чертами. Но рисуя свой собственный, воображаемый Верхний Прованс, подгоняя его под каноны своей библейской философии, Жионо все же собрал подлинные крупицы отсталых деревенских нравов и пережитков. Мы глядим на них как бы через увеличительное стекло, и это помогает нам в конце концов лучше разглядеть все то плохое, что все еще живет во французской деревне, отравленной ядом частнособственнической психологии.

Таковы некоторые наиболее популярные в нынешнем литературном сезоне в Париже романы, посвященные социальной теме, рисующие нравы общества и семьи. Они берут читателя за живое, заставляют его о многом задумываться, волнуют. Эти романы подсказывают, что если человек хочет остаться человеком, он не может и не должен мириться с мерзостью того образа жизни, законы которого диктует голый чистоган.

Новое слово и мертвый формализм

Луи Арагон, как я писал выше, требует места в современной литературе для «экспериментального реализма». Эксперимент, поиск нового живого слова, постоянное обновление стиля, неустанная забота о более глубоком содержании литературного произведения всегда были предметом особой заботы писателей, сознающих свою ответственность перед читателем: ведь задержка в творческом развитии — смерть для литератора.

Великолепное, вечнозеленое дерево реалистической литературы растет непрерывно, широко раскидывая свои ветви, постоянно обновляясь и развиваясь. Реалистическая литература — это мыслящая литература, а литература социалистического реализма — тем более. И эксперимент — цель которого искать и находить все новые связи, соединяющие сердца писателя и читателя,— коммуникации, как теперь принято говорить,— активнее вовлекать читателя в творческий процесс, побуждая его к совместному переживанию, постоянно обновлять литературную форму, этот благородный эксперимент является необходимейшим условием творческого роста литературы.

Но главное при этом — чтобы писатель денно и нощно думал не только о том, *как* сказать, но и *что* сказать. Иначе ему грозит страшная участь: читатель быстро пресыщается формальными изысками, если он обнаруживает, что за ними, в сущности, нет глубокой идеи и они существуют как бы сами по себе, в безвоздушном пространстве.

Сейчас многие прогрессивные писатели Франции вступили на путь творческого поиска и экспериментаторства. В «Юманите» и «Леттр франсэз» я прочел, например, что в Париже только что вышел в свет роман Андре Стиля, написанный, как сообщает сам автор, в совершенно новой манере. Я не успел еще с ним познакомиться, но хочу надеяться, что, включившись в поиски новой литературной формы, Стиль сохранил свою приверженность основным принципам социалистического реализма, которым он был верен всегда.

Творческому эксперименту отдали дань в своих новых романах также Жан-Пьер Шаброль и Элен Пармелен.

Шаброль — бывший корреспондент «Юманите», снискавший большую популярность своими реалистическими романами из народной жизни (его «Бунтари» и «Нищенка», например, разошлись тиражами по сто тысяч экземпляров!), выступил в этом сезоне с романом «Я буду любить тебя бесстыдно»; этот роман, как его характеризует Шаброль, представляет собой «своего рода сказку», причем она начинается, как «Ромео и Джульетта», а кончается, как «Тристан и Изольда». В центре этой сказки — драма девушки, которая беззаветно любит легкомысленного парня, он отвечает ей взаимностью, но это не мешает ему путаться с грязными девками. Тогда, по наущению своей тетки, героиня романа гримируется, надевает парик и поочередно предстает перед возлюбленным в двух лицах — то как влюбленная невинная девушка, то как роковая — «вамп». Парень колеблется, ему кажется, что перед ним две совершенно разные женщины, он не в состоянии сделать выбор. В конце концов он погибает.

Сейчас Шаброль переделывает свой роман в пьесу, ее будет ставить театр Коммуны, принадлежащий коммунистическому муниципалитету в парижском пригороде Обервилье.

Элен Пармелен, известная писательница, прославившаяся в свое время активным участием в борьбе за освобождение моряка Анри Мартена, брошенного в тюрьму за распространение листовок, разоблачавших «грязную войну» во Вьетнаме, сейчас написала экспериментальный роман, озаглавленный «Безделушки». Она задалась целью с точностью чуть ли не до секунды зафиксировать течение мысли одинокого путешественника за рулем своей машины на пути от Парижа до Брюсселя. «Придет день,— говорит писательница устами своего героя Жан-Лорана,— когда роман станет лишь

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

описанием мысли, когда писатель сможет писать по чудесно вычерченным кривым электроэнцефалограмм».

Но так ли уж важно для литературы детальное и дотошное воспроизведение случайного и хаотичного хода мысли? Когда-то этим увлекался Джойс. Возможно, подобные литературные опыты имеют свое значение для прикладных психологических наук. Но так ли уж обогащают подобные эксперименты литературу? Писатель собирает разрозненные мысли своего героя, глядящего по сторонам, словно безделушки, подобранные в манере пресловутого «поп-арта». Из них постепенно складывается подобие интриги, в роман входит множество самых разных людей, идей, вещей, о которых герой вспоминает по ассоциации с увиденным на дороге. Жан-Лоран раздумывает о делах, вспоминает о своих любовных историях, перебирает разные случаи из жизни, видит лица своих знакомых. Мелькают и мысли о больших проблемах современности — например, о войне и мире, о том, что происходит во Вьетнаме, но все это — как-то мимоходом, вперемежку с воспоминаниями о каникулах, о посещении музеев, о том, как Пикассо писал картину в ночь под новый год...

Конечно, и это эксперимент. Но пусть не обидятся на меня парижские друзья, если я позволю себе поставить им прямой вопрос: *ради чего* вы оставляете реальный мир и погружаетесь в зыбкую атмосферу мира призрачного, пускаясь в путешествие по извилистым кривым электроэнцефалограмм? Не кажется ли вам, что, совершая такой поворот, вы ограничиваете свои творческие возможности и уж во всяком случае делаете шаг назад от *гражданской* литературы, созданию которой вы отдали лучшие годы своей жизни?

В этой связи мне хотелось бы вернуться к книге Андре Пьейра де Мандьярга «В стороне от жизни», за которую ему, как я уже упоминал выше, в 1967 году была, как это ни странно, присуждена премия Гонкура — правда, минимальным большинством голосов (но все же большинством!). Ее автор тоже усердно путешествует по «кривым электроэнцефалограмм» своего героя, хотя внешне роман этот отнюдь не грешит какой-либо экстравагантностью — он написан, в общем-то, в спокойной, я бы сказал, даже подчеркнуто консервативной манере. Но это первое впечатление обманчиво — в традиционную форму вложено двусмысленное содержание. Это похоже на картину Сальвадора Дали, который, смешивая натуралистически выписанные детали, творит чудовищный и часто бессмысленный мир призраков.

Пытаясь оправдать решение Гонкуровской академии о присуждении премии этому роману, некоторые критики подчеркивали, что в нем Пьейр де Мандьярг открыто заявляет о своей ненависти к режиму Франко. Да, герой этого романа неоднократно называет генералиссимуса «фурункулом», размышляет о зверствах, совершенных в годы гражданской войны в Испании генералом Кейпо де Льяно, и, встретив старого антифашиста, плюнувшего вслед жандарму, подходит к этому старику и поет «Интернационал». Но все это — лишь *политическая приправа* к долгой истории отнюдь не героических похождений героя романа в Каталонии, которая, как писала газета «Франс-суар» еще в мае 1967 года — за полгода до присуждения Мандьяргу премии,— производит «впечатление, будто читаешь замечательный путеводитель по кварталу публичных домов Барселоны, замаскированный под роман».

Иной строгий читатель тут же прервет меня: позвольте, скажет он, вы же начали вести речь об экспериментальном романе, а ссылаетесь на произведение, смахивающее на путеводитель по кварталу публичных домов. Это что-то уж совсем из другой оперы — такого рода книги вообще лежат за пределами литературы!

Не спешите, однако, с такими выводами, мой строгий читатель. Как-никак жюри Гонкуровской премии увенчало книгу Мандьярга высшей во Франции литературной наградой, и уже это обстоятельство обязывает нас отнестись к ней с должным вниманием. Тем более что критика, подчеркивая наличие сюрреалистических корней в творчестве этого писателя, призывает читателей не воспринимать все, что он пишет, буквально, а искать в его натуралистических описаниях блужданий по грязным притонам какой-то глубокий второй смысл. Что же касается этих красочных описаний самих по себе, то что ж — французская литература 60-х годов XX века терпит все, ее нравы весьма огрубели.

О чем же идет речь в романе?

Безмятежный супруг и счастливый отец, Сигизмунд приезжает в Барселону. Цель поездки — полуделовая, полутуристская. Он получает письмо, присланное до востребования. На конверте — почерк его прислуги. Еще не развернув письмо полностью, Сигизмунд бросает на него взгляд и различает страшную фразу: «...Она тут же скончалась». Сигизмунд догадывается, что речь идет о его любимой жене Сержине, но он хочет отсрочить подтверждение этой догадки. Он снова запечатывает письмо, кладет его на столик в своей комнате и... уходит знакомиться с кварталом публичных домов, о котором он был столь много наслышан уже давно.

На протяжении долгих трех дней Сигизмунд исследует это «дно» Барселоны. Он со знанием дела, не торопясь выбирает себе проститутку по вкусу, некую Хуаниту, и три дня подряд пользуется ее услугами, причем все это Мандьярг описывает весьма дотошно, со всеми натуралистическими деталями.

Какую же философию пытался подвести Андре Пьейр де Мандьярг под странные деяния своего героя? Вот как он его рисует, я цитирую роман:

«Письмо, конечно, не будет вскрыто сегодня ночью, а по всей вероятности, и завтра. По крайней мере на двадцать четыре часа

его (Сигизмунда) действия и жесты гарантированы. Его шаги подчинены лишь одному закону: дойти до окончания этого срока, который, впрочем, можно и продлить. «Никогда,— говорит он себе,— я не был в такой мере хозяином своей жизни, как сейчас; я не мечтал о столь сверхчеловеческой свободе». Он мог бы назвать себя всемогущим, поскольку ничто не было важным для него в том интервале времени, которым он пользовался...»

Вы скажете: это похоже на пародию. Нет, отвечу я вам, это точный перевод!

Стараясь придать какую-то значительность своему герою, который столь сомнительно себя ведет, автор все время силится подсказать читателю, что в душе Сигизмунда, в его сознании и подсознании происходят какие-то необычайно сложные процессы. Вот он бродит по злачным местам Барселоны, и его Сержина — которая, как он знает, почти наверняка погибла,— незримо при сем присутствует: «Образ его молодой жены сливался теперь с ликами проституток, стоявших у стен в три ряда»,— подчеркивает автор. Вот он вдруг вспоминает, что Сержина любила ходить в картинные галереи, и в перерыве между двумя визитами в злачные места идет в музей. Вот он сидит в кафе гомосексуалистов и вспоминает, как Сержина рассказывала ему о зверствах франкистов. Подумайте только, какая сложная натура этот Сигизмунд!

Но на свете все кончается, кончается и этот роман. На третий день Сигизмунд вскрыл наконец письмо своей прислуги и удостоверился в том, о чем давно уже догадался: его жена покончила самоубийством, увидев, как у нее на глазах в пруду утонул их сын. Он садится в машину, выезжает из Барселоны и стреляется. Это все.

Друзья дорогие, рассудите сами: заслуживает ли такое произведение высшей литературной премии во Франции — премии Гонкура?.. Пусть Мандьярг, как он заявил журналистам, считает, что это «самая серьезная» из его книг. Пусть он утверждает, что «сюжет сам по себе не имеет значения. Важно то, что происходит за его пределами. Мой герой выглядит словно человек, из которого выкачали половину крови». Допустим, что Сигизмунд как-то по-своему, с этаким вывертом, переживает свою трагедию. Но есть же всему свои границы! Полная утрата элементарных человеческих реакций, не говоря уж о каких-то моральных устоях, нам преподносится как некое таинство души, как нечто такое, что заслуживает глубокого понимания и уважения. Глядите, какое благородство!

Нет уж, увольте нас от таких червивых антифашистов. И можно лишь приветствовать здравый смысл парижских журналистов, которые встретили свистом, криками возмущения и обструкцией сообщение генерального секретаря Гонкуровской академии Филиппа Эриа о присуждении премии Андре Пьейру де Мандьяргу за этот роман.

Я рассказал об этом так подробно, чтобы лишний раз подчеркнуть, в какой безнадежный творческий тупик заводит иной раз людей погоня за оригинальностью ради оригинальности, без должной заботы о содержании, об *идее,* которая только и может быть душой литературного произведения.

Позвольте в заключение коснуться судеб пресловутого «нового романа», который любители литературных новаций расхваливают нам уже добрых десять лет, убеждая нас, будто это и есть то петушиное слово, которое сулит полное обновление литературы и спасение ее от застоя. «Новый роман» все еще живет и размножается щедротами добрых издателей, но он уже утратил привлекательность новизны, и престиж его изрядно потускнел.

Недавно в Париже был издан острый памфлет известного литературного критика Пьера де Буадеффра, посвященный разоблачению этого «голого короля». Книга де Буадеффра называется «Кофейник на столе» — название взято из нашумевшего в свое время «нового романа» Алена Робб-Грийе «Моментальные снимки», в котором кофейник был одним из главных героев; Робб-Грийе без конца толковал о том, что облюбованный им кофейник стоит на столе, что это — круглый стол на четырех ножках, накрытый клеенкой в красную и серую клетку на нейтральном фоне, что кофейник — из коричневого фаянса, что он вылеплен в форме шара, над которым поднимается цилиндрическое горло, где помещается фильтр, и на нем крышка, похожая на гриб, и так далее и тому подобное. Фраза за фразой, абзац за абзацем, страница за страницей. На читателя обрушивался поток мельчайших, незначительных деталей, причем за этими деталями не было ни единой мысли.

Пьер де Буадеффр откровенно заявляет, что читателю начинает надоедать публикация подобных инвентарных описей под вывеской «роман». Он пишет, что книги Робб-Грийе и его последователей, написанные в этой нудной манере, пока еще продолжают покупать, хотя и в малом количестве; «это модно в среде снобов», но их никто не читает. И, обращаясь к Робб-Грийе, де Буадеффр со всей резкостью говорит, что он вовсе не романист, ибо не способен вдохнуть жизнь в своих воображаемых героев и придумать сюжет, в который можно было бы поверить.

— Сберегите наше и ваше время,— советует критик этому «папе» «нового романа».— Сожгите свои книги, Робб-Грийе!

Пьеру де Буадеффру вторит другой известный критик, Клебер Оденс:

— Новый роман — это обман,— со всей категоричностью заявляет он.

Конечно, такие резкие оценки, высказанные в пылу полемики, не следует принимать за истину в последней инстанции. Среди поборников «Школы Предмета и Взгляда», породившей «новый роман», немало одаренных литераторов, которые честно

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

ищут новых путей в литературе. Но, с другой стороны, нельзя не учитывать и того, что за десять лет своего существования Робб-Грийе и его ученики не дали читателю ни одного сколько-нибудь запомнившегося романа, который пробуждал бы у читателя какие-то глубокие идеи и, как говорил поэт, «глаголом жег сердца людей».

В этом литературном сезоне в ряды воителей «нового романа» перешла известная писательница Беатрикс Бек, автор реалистического романа «Леон Морен, священник», получившего Гонкуровскую премию в 1952 году и пользовавшегося заслуженным успехом у читателя. Ее проза была кристально прозрачна, ее романы будили у читателя много мыслей. И вдруг сейчас Беатрикс Бек публикует в издательстве Галлимара книгу с экстравагантным названием: «Бегает с отрубленной головой».

Раскрываем книгу и обнаруживаем, что по ее страницам льется мутный ручеек спутанных мыслей, мелькают какие-то фразы, оборванные на полуслове выражения, хлесткие словечки; оказывается, нам демонстрируют, что происходит в голове некоего докера Сюрнэна и его двух дочерей, причем трудно разграничить, в которой из трех голов рождается та или другая мысль. Можно подумать, что перед нами неправленная стенограмма, зафиксировавшая случайные реплики людей, не слушающих друг друга. Эти реплики переплетаются с обрывками авторских фраз, и получается вот что — я привожу абсолютно точную цитату из романа Бек с сохранением ее странного синтаксиса:

«Портовые проститутки удят рыбу в мертвой воде я и ты стервятники на ее падали я не стою веревки чтобы тебя повесить. Коврик с имитацией скрещенных тигровых лап наподобие летучих мышей прикреплен к двери большого амбара красный бобрик в лягушках их бросали в стену сарая чтобы оглушить танцовщицы на вертеле их ляжки в нашем биде звери еще прыгали в глубине сада. Моя голова в глубине сада. Пожиратель улиток воробьев бузины любитель бульона из ворон...»

Цитату эту можно продолжать до бесконечности, но вы все равно не поймете, о чем тут идет речь, ибо смысла в написанном нет никакого. И можно по-человечески понять критика Аннет Колен-Симар, которая в сердцах написала в «Журналь дю диманш»:

— Ни в коем случае не тратьте на эту книжку свои шесть франков — это все равно что выбросить деньги в окно... Мы просто ошеломлены тем, что Беатрикс Бек осмеливается подарить публике такую дребедень. За кого она нас принимает? За умственно отсталых?.. Это груда слов и фраз, значение которых непонятно... Если это литература, мы готовы пойти наниматься в китобойную флотилию. Если это наш родной французский язык, мы предпочтем перейти на санскрит.

Серьезную тревогу вызывает эволюция Ле Клезио, бесспорно одаренного молодого писателя из Ниццы, отмеченного еще в 1963 году премией Ренодо за роман «Протокол». Уже тогда читателя поражало в этом романе странное смешение по-настоящему талантливых реалистических описаний и нелепой зауми. Можно было думать, что это — от озорства юности, от желания эпатировать читателя. Но с годами эта заумь в романах Ле Клезио разрастается, словно раковая опухоль, поглощая здоровые клетки его творческого «я». Вместе с тем этого молодого, физически здорового писателя все сильнее охватывает какой-то необъяснимый страх перед течением жизни, более того, отчаяние: он все время пишет о том, что время безвозвратно уходит, что остановить его невозможно и что рано или поздно неизбежен роковой конец. А коль скоро это так — к чему заниматься созидательным трудом, творить, прилагать усилия к тому, чтобы жизнь стала ярче, осмысленнее? Ведь все равно в перспективе смерть, небытие, холодный, черный космический мрак. Этой мрачной философией был проникнут его «Протокол», эта же философия пронизывает и последующие романы Ле Клезио — «Лихорадка», «Поток», «Материальный экстаз», а в нынешнем литературном сезоне — «Терра амата» *.

В аннотации, помещенной на обложке, так излагается сюжет последнего романа Ле Клезио:

«Жил-был мальчишка четырех лет. Его звали Шанселяд. Можно было бы говорить о четырех этапах его жизненного пути: 4 года; 12 с половиной — смерть отца; 22 года — начало совместной жизни с Миной, своего рода длинный диалог о том, существует ли бессмертие души; и, наконец, переход в одну ночь от 22 к 80 годам. В действительности Шанселяд когда-то был потрясен тем, что восьмидесятилетняя бабушка ему сказала: «Жизнь так коротка»... Отсюда — воля и стремление Шанселяда жить интенсивно, не теряя ни секунды... «Шанселяд знает, что он не спасется». Он это всегда знал. Он знает также, что его палачи носят нежные и мягкие имена,— это цветы, деревья, капли воды. Их зовут также Мина (имя жены Шанселяда.— *Ю. Ж.*). Преступление здесь кроется, быть может, в спокойном дыхании, которое колышет грудь, или в пальцах с розовыми ногтями».

Не очень ясно? Если вы, вооружившись терпением, прочтете книгу до конца, как это сделал я, вам ее сюжет не станет яснее. Это хаотическое, как бы разорванное в клочья повествование сплетено из пестрых и противоречивых мыслей, диалогов, описаний, вопросников, описей предметов, столь милых сердцу адептов «Школы Предмета и Взгляда». Вдруг там и сям, словно напоминая о том, что автор прекрасно владеет пером, появляются мастерски сделанные реалистические картинки: женщина моет волосы, маленький мальчик встречает де-

---

* «Терра амата» в переводе с итальянского значит «Земля любви».

вочку на скале у моря, юноша встречается с любимой девушкой. Эти куски написаны в динамичной и немного нервной манере Сэлинджера. Потом снова и снова какие-то неясные тени ощущений, мыслей, предчувствий. Их квинтэссенция все та же: ужасающий, леденящий страх перед движением времени. Ужас обступает читателя со всех сторон — автор рисует ужас странных насекомых, присутствующих всюду, они словно заползли сюда из кошмарных рассказов Кафки, ужас замкнутых стен, среди которых живет человек, ужас человеческого тела, его дрожащих внутренностей, населяющих их микробов, раковых опухолей, ужас звезд и их мертвой тишины, ужас машин, ужас космических путешествий, ужас человеческой речи — да, даже человеческая речь страшит автора, и он вдруг то испещряет целые страницы точками вместо букв, то вклинивает в книгу главу «Говоря непонятными словами», где идет долгий диалог в манере достопамятной зауми «Дыр бул щел», выдуманной когда-то Крученых.

Философия книги предельно безнадежна: человек — это пылинка на грани безграничности атома и огромного звездного мира. К этому открытию Шанселяд приходит, пролежав трое суток со своей Миной на кровати в отеле «Атлантик-палас».

«И не существовало ничего, кроме этой бесконечной череды коробков, вложенных один в другой: кровать в комнате, комната в отеле, отель в городе, город в пейзаже, пейзаж в окружающем нас земном мире, мир в солнечной системе, солнечная система в галактике, галактика в скоплении галактик, скопление галактик в космосе, космос в космосе, космос в космосе, космос в космосе. И не было больше мужчины, не было женщины, не было ничего нигде. Только изумительный, идеальный простор — немой простор, без единого слова, без единой мысли, без единого жеста, который помог бы измерить, понять или в крайнем случае догадаться».

И рядом диалог Шанселяда и Мины:

«— Я читал, читал в одной книге, что все живое существует примерно одно и то же время — около 300 000 лет. Такой срок просуществовали все вымершие ныне животные. Через 300 000 лет любой вид умирает естественной смертью — от старости, как и люди...

— Гм...

— Да, и, насколько мне известно, полагают, что человеческий род прожил уже около 150 000 лет. Если теория точна, то это значит, что человеку осталось прожить еще столько же Потом люди постепенно исчезнут — вплоть до последнего человека...

— Это ужасно... Сколько шума из ничего.

— Да, но это нормально...»

И так от страницы к странице. Это, как выразился литературный критик Клебер Хеденс, «сумеречный роман», страницы которого буквально пропитаны мыслью о неизбежной гибели всего живого и, следовательно, о бессмысленности человеческого существования,— от них веет запахом тления.

Кончается книга меланхолической фразой, обращенной к читателю: «Но я достаточно говорил. Теперь ваш черед играть».

Играть? Но во что? В эту мрачную игру в предсказания? Использовать для игры вопросы, то и дело предлагаемые Ле Клезио? Вот вроде этих:

— Зачем вы читаете эту книгу?
— Хотели ли бы вы быть деревом?
— Садист ли вы?
— Хотели ли бы вы иметь рабов?
— Почему вы — не я?
— Где бог?
— Идиотизм ли это — задавать вопросы?

Ле Клезио сегодня — один из самых популярных писателей во Франции. Буржуазная пресса создает ему большую славу. Не потому ли, что его книги, подобно опиуму, отравляют сознание человека, который возьмется их читать, отбивают у него охоту к борьбе за лучшую долю, убеждая в том, что все на свете бессмысленно,— все равно рано или поздно все люди перемрут до одного?

Я далек от мысли, что Ле Клезио сознательно выполняет социальный заказ реакции, встревоженной все усиливающейся активностью трудящихся Франции, которые не хотят жить по-старому. Но, хочет он того или не хочет, его книги оказывают то влияние на читателя, какое желательно тем, кто хотел бы, чтобы эта активность угасла.

Могут сказать: но ведь и буржуазный читатель не застрахован от парализующего влияния мрачной, пессимистической философии героев Ле Клезио! А буржуазия хочет жить, существовать и отнюдь не рассматривает свое существование как бессмысленное. Конечно. Но у нее свой подход к подобным произведениям — циничный и скептический. «Сильные мира сего» — люди, которым чужды чувства, их поступками и действиями руководит холодный расчет. Я не знаю, стоят ли на книжных полках у господина Ситроена или господина Пежо романы Ле Клезио, хотя и в этой среде модно приобретать книги, которые хвалят в прессе и по телевидению. Но романы эти, конечно, отнюдь не помешали им занять самую непримиримую и жестокую позицию в борьбе с бастующими рабочими. А вот в среде творческой интеллигенции, среди известной части студенчества и служилого люда эта пессимистическая философия оказывает свое определенное воздействие.

Да и сам автор, по-моему, подчиняется ей. В бурные майские дни 1968 года очень многие писатели — и прежде всего Арагон и его единомышленники — выступали солидарно со студентами, боровшимися за реформу системы образования, и рабочими, властно требовавшими улучшения своей доли. Но

ЮРИЙ ЖУКОВ
ЗЛОБА ДНЯ

голоса Ле Клезио я что-то не слышал. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят...

Ведь вот как иной раз оборачиваются формальные изыски, на первый взгляд носящие чисто экспериментальный характер. Иной раз они уводят в сторону от магистральной борьбы даже творчество писателей, сознающих свой гражданский долг и готовых вместе с трудовым народом бороться за радикальные изменения в политической и экономической жизни страны.

В те же грозные майские дни многие писатели, принадлежащие к школе «нового романа», активно участвовали в борьбе рабочих и студентов. Но их книги в эти дни оставались на полках — что могли они сказать бастующим, чем могли они их воодушевить? Именно в эти дни с особой ясностью была видна социальная отчужденность далеких от жизни и борьбы произведений, творчество их авторов все чаще превращается в какую-то *игру* в слова и понятия. А ведь это не какие-то мистификаторы или несерьезные люди — это писатели, отдавшие литературе всю свою жизнь, сочинившие много книг.

Вот передо мною роман «История», написанный пятидесятичетырехлетним Клодом Симоном,— он удостоен в нынешнем литературном сезоне премии Медичи. Его знают во Франции, как «старейшину» течения «нового романа». «История» — его восьмое произведение. Как же он сам (в беседе с корреспондентом «Юманите») характеризует свое творчество? А вот как: «Писать и что-то открывать с помощью литературы — вот что по-настоящему интересует меня. Книга не всегда возникает случайно. Скорее она — как теннисный мяч, который отскакивает от стены. Нужно всегда быть наготове и суметь вовремя отбросить мяч. В моей «Истории» несколько плоскостей. Я начал с расплывчатых ощущений, расплывчатых восприятий, которые тут же деформировала, вмешиваясь, моя память. Затем появился второй план — динамика самого писания, которая в свою очередь трансформировала все то, что я готовился сказать».

Еженедельник «Леттр франсэз» отчасти конкретизировал это туманное объяснение. Оказывается, несколько лет назад Клод Симон нашел груду старых открыток — это была переписка его родителей в пору их обручения. Он испытал потребность написать о том, что эти открытки ему напомнили о родителях. Результат — повествование на пятнадцати страницах, которое было опубликовано им в 1964 году в журнале «Тель Кель». Но этого ему показалось недостаточно, он решил развить свой текст, и вот перед нами том объемом в 400 страниц. В нем «идеи и образы связываются, согласно внутренней необходимости».

Так сложился этот роман-головоломка, где прошлое сплетено с настоящим, факты с бредом, случайные мысли с неясными подсознательными ощущениями. Когда читатель, дойдя до конца «Истории», захлопывает книгу, у него остается лишь одно щемящее ощущение: жаль потраченного времени. И горький вопрос к автору: зачем все это?

В том же духе — изданный Галлимаром новый роман, пятый по счету, Клода Олье «Неудача Нолана». Олье — также известный писатель, его роман «Режиссура» еще в 1958 году был отмечен той же премией Медичи. Когда-то Робб-Грийе писал, что «писатель сегодня требует от читателя активного, сознательного, творческого соучастия, чтобы (совместными усилиями) *изобрести* книгу». Что касается «Неудачи Нолана», то здесь, как и во многих других случаях, когда мы имеем дело с «новым романом», речь идет не столько о том, чтобы изобрести, сколько о том, чтобы как-то *расшифровать* книгу, настолько все запутанно и туманно.

Судите сами. «Неудача Нолана» складывается из трех частей, озаглавленных «Доклад № 1», «Доклад № 2», «Доклад № 3». Надо думать (но уверенности в этом нет), что доклады написаны одним человеком. А, может быть, они привиделись ему во сне. Доклады предлагаются вниманию некоего агентства. Похоже на то, что это агентство послало своего следователя по следам одного из своих представителей — Нолана, который, может быть, погиб в авиационной аварии. Но о нем не сообщается ровным счетом ничего, кроме того, что он внезапно исчез.

Первый поиск проводится в Норвегии, второй — в Далмации, третий — на тропическом острове в Атлантике. Французский любитель кроссвордов быстро обнаружит, что слово Нолан, разделенное по слогам, присутствует во всех трех географических названиях, но что из этого следует — неизвестно.

Всякий раз следователь — а может быть, это сам Нолан, идущий по своим собственным следам? — сталкивается с неким человеком, имя которого начинается на Жи,— он знал Нолана в старые времена и жил с девушкой из его семьи, чье имя начинается на И.

Большая часть книги заполнена дотошными, в стиле «нового романа», детальнейшими описаниями всего, что попадает в поле зрения рассказчика: пейзаж, человеческие жесты, фотографии, маршруты движения. Читатель в конце концов устает расшифровывать эти криптограммы и откладывает книгу, не дочитав ее до конца...

■

Итак, три главные магистральные черты характеризуют нынешний литературный сезон в Париже: бесспорное увеличение удельного веса политического романа, тематика которого увлекает все большее число видных писателей, сознающих свою гражданскую ответственность перед лицом возросшей международной напряженности; дальнейшее развитие и углубление социального романа и романа нравов, берущих свое начало в богатейшем классическом наследии

и творчески развивающих его; неустанное экспериментирование и поиск новых литературных форм.

Не будем спешить с выводами — будущее покажет, какие из этих экспериментов окажутся жизнеспособными и какие отомрут, как сухие ветви. Во всяком случае, и ныне, как это бывало в прошлом, со всею очевидностью подтверждается, что любой творческий эксперимент только тогда имеет шансы на успех, когда форма неотделима от содержания, а содержание уходит своими корнями в жизнь.

Но как бы то ни было, итоги этого сезона подтверждают, что, как ни трудны подчас условия, в которых приходится работать писателям (и наиболее убедительный пример тому грустная история Клер Эчерелли, подарившей читателю отличный социальный роман «Элиза, или Настоящая жизнь»), французская литература живет и успешно развивается. И я никак не могу согласиться с Эрве Базеном, будто это «плоский сезон». В конце концов он сам блистательно опроверг это утверждение своим великолепным романом «Семейная жизнь». А книги Луи Арагона, Робера Мерля, Мишеля Батая, Эрика Вестфаля, Сальва Эчара, Филиппа Лабро, Генриетты Желинек и многие-многие другие?

Смело реагируя на злобу дня, мужественно ставя острые вопросы современного общества, лучшие французские писатели делают свое дело, выполняя свой долг перед народом. И читатель платит им за это своей признательностью.

И. БЕРНШТЕЙН

ВСЕОБЩЕЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ

(Из опыта литературы Чехословакии)

В размышлениях теоретиков и историков о судьбах литературы большое место занимает сегодня вопрос национального своеобразия и интернациональной значимости культуры того или иного народа. Во многих книгах, статьях, эссе и памфлетах рассматривается проблема роли национальной литературы в развитии художественного сознания человечества.

Марксистское литературоведение внесло важный вклад в изучение этой проблематики, разработав теорию типологической общности национальных культур, подчиненных общим закономерностям исторического развития. Однако надо сказать, что критерии международного значения тех и иных литературных явлений уяснены еще далеко не достаточно. Так, все согласны, что объективное значение литературы не определяется только популярностью того или иного произведения или творчества писателя в целом (в наш век высокого развития рекламы это особенно ясно). С другой стороны, если какое-то явление недостаточно известно за пределами родины писателя, то это не снимает вопрос о его объективном значении (так, исследователи справедливо говорят о мировом значении Пушкина, творчество которого, несомненно, является одной из вершин в художественном развитии человечества — независимо от того, что его произведения при жизни поэта были мало известны за национальными границами). Установлено также, что международное значение определяется не только ролью того или иного произведения в национальном контексте.

Но в чем же все-таки неповторимое своеобразие той или иной литературы? Чем определяется ее особый вклад в общечеловеческую духовную сокровищницу?

Мы остановимся на этих проблемах, исходя из опыта литературы Чехословакии.

Вопрос о вкладе в международный художественный процесс литературы численно малых народов особенно сложен. Здесь сыграла неблагоприятную роль традиционная буржуазная компаративистика с ее представлением о том, что назначение подобных литератур — воспринимать импульс литератур великих народов и пытаться «дотянуться» до некоего «мирового стандарта». Проблема так называемой «световости» литературы, то есть ее международного значения, в последние годы буквально не сходит со страниц чехословацких литературных журналов. Чрезвычайно интересно вспомнить мысли, высказанные некогда по этому поводу Карелом Чапеком. «Нам приходилось слишком много сил тратить на то, чтобы «догонять Европу», как принято говорить, и при наших географических и политических условиях это было совсем не просто...» — писал Чапек. Но он решительно отвергает мысль о том, что величие литературы как-то связано с размерами территории или количеством жителей: «Что касается «малых масштабов», то я думаю, что условия в Афинах, когда там писал Софокл, были ничуть не более благоприятными в этом отношении, чем условия, скажем, современной Плэни». Чапек делает вывод, чрезвычайно важный и для сегодняшней постановки вопроса: «Почему приобрел мировое значение Диккенс, этот самый английский из всех английских писателей? А в чем «световость» Гоголя и других писателей, создававших настолько русские произведения, насколько это вообще возможно?» И Чапек заключает: «Чем более английским, более русским, бо-

лее скандинавским является произведение, тем более оправданы его претензии на мировое значение: в этом и заключается парадокс того понятия, которое мы характеризуем как «световость».

С этой мыслью нельзя не согласиться. Думается, что слова Чапека можно отнести и к его собственным произведениям. Его мировая слава во многом объясняется тем, что трудно, пожалуй, найти более чешского по духу писателя.

Чешская литература дает еще один прямо хрестоматийный пример того, как произведение, воплотившее национальную специфику с удивительной силой, приобрело мировой успех. Речь идет о «Бравом солдате Швейке» Гашека. Уже никто не спорит, является ли он воплощением национального характера. Спорят о том, является ли Швейк национальной гордостью или национальным позором (последнюю точку зрения высказал совсем недавно проф. В. Черный). Видимо, зыбкость критериев в этой области чрезвычайно ощутима, впрочем «виноват» Гашек— настолько многообразен и неоднолинеен образ Швейка, который к тому же является в известной мере образом условным в смысле приемов художественной типизации. Но для нашей темы еще более интересен другой аспект спора о Швейке. Появилась склонность рассматривать его как воплощение неких абстрактных «экзистенциальных категорий». В этом плане, скажем, К. Косик сравнивает его с героями Кафки и видит в нем воплощение стихийного протеста человеческой личности против «манипуляций» над ней и «подчинения ее ранжиру». Другой критик (М. Угде) утверждает, что Гашек воплотил в Швейке некие первичные человеческие ценности, которые приходится защищать от неблагоприятного миропорядка. «Швейка нельзя назвать нехарактерным или бесхарактерным, потому что он не является персонажем в обычном смысле слова. Он создан на внехарактерном принципе, в своей открытости содержит основные гарантии человеческой свободы в сковывающей эту свободу исторической ситуации, агрессивной по отношению к индивидууму» (Л. Долежал). В этих мыслях много интересного, однако перенесение характеристики Швейка в область чистых абстракций, не отвечающее самой структуре образа в силу ее удивительной материальной конкретности, снимает вопрос о национальном характере и закрывает все возможности для его разрешения. «Философская» критика, подходящая к Швейку таким образом, утверждает, что «принцип народности закрывает все доступы к пониманию образа Швейка» (К. Косик).

Такое утверждение опровергают по существу другие чешские критики, например Р. Пытлик. В своих работах о творчестве Гашека он раскрывает связи Гашека с городским фольклором (использование анекдотов, пословиц, песенок). В кругу этих вопросов лежит и определение специфических представлений народа о добре и зле, о горе и радости, о морали и о красоте, словом, то, что является важным слагаемым понятия «национальный характер». Пытлик даже говорит о типично чешской манере повествования у Гашека, «содержащей элементы юмора, враждебного внешнему пафосу».

Но почему же все-таки именно Швейк вошел в галерею мировых образов? Как бы ни истолковывать этот образ, ясно, что его сила в поразительной пластичности и достоверности и один из источников неотразимой художественной убедительности — большая глубина в воплощении национального начала. В Швейке необычайно полно воплотилась та диалектика национального и общечеловеческого, о которой говорил Чапек. Это почувствовал известный чешский комический актер Верих: «Швейк — вовсе не герой отрицания, Швейк человек положительный, он знает, чего хочет, хорошо знает, что умно, что глупо. Он не хочет быть героем, кто в самом деле этого хочет? Героизм определяется особым стечением обстоятельств, мужество — это человеческое качество. И это качество присуще Швейку... Некоторые считают, что его «выжидательная позиция» — тенденция ни во что не вмешиваться — все это типично чешские качества... Но ведь он выступил один на один против чудовищной, бесчеловечной, идиотской военной машины. Разве это выжидательная позиция? В чем же она? В том, что он не схватил автомат, не перестрелял кого можно и затем не пал? Швейк был обыкновенный человек, как вы и я и три миллиарда нам подобных... Если в Швейке воплощен типично чешский характер, то именно в тех его свойствах, в которых он является типично человеческим».

Конечно, понять место Швейка в пантеоне мировых образов нельзя, не раскрыв его национальную неповторимость. Но это еще не все.

Гашек изображает национальный характер в определенный момент, который оказался чрезвычайно существенным для истории нации, и в такой исторической ситуации, которая позволила писателю воплотить действительно значительное общественное содержание. Типичное для чеха того времени отношение к чужой войне, которую ведет ненавистная Австро-Венгрия, оказалось историческим эквивалентом отношения простого человека к любой ненужной ему войне, чрезвычайно актуального для современной эпохи.

Еще одно важное обстоятельство: Гашек подошел к национальному характеру и вообще к образу Швейка с точки зрения большой исторической перспективы. Конечно, победный хохот Гашека был вызван тем огромным зарядом веры и убежденности, которую бывший комиссар Красной Армии вынес из страны победившей революции. Та оптимистическая уверенность. которую внес Гашек в свое отрицание всего «неразумного», как недействительного, связана с верой в дух перемен, неотделимой для Гашека от его веры в народ. Гашек не только не создает идеализированный облик людей из на-

---

рода, он развенчивает всякие иллюзии на этот счет. И все же народ — единственная живая сила, которая противостоит мертвой милитаристско-бюрократической машине.

Давая резко гротескное изображение действительности, Гашек совершенно не склонен ломать шапку перед «извечным и непостижимым» абсурдом. В этом особенность его идеологической позиции, резко отличная от позиции творцов любой модернистской литературы абсурда, с которой его порой сравнивают. И она определяет художественную структуру романа и образ Швейка. Добродушный бравый солдат, с такой готовностью выполняющий самые идиотские приказания начальства, доводя их своим рвением до абсурда, нарисован как противник милитаристско-бюрократической машины. Швейк противостоит ей не сознательным отрицанием, хотя его здравый смысл позволяет ему трезво оценивать идиотизм происходящего, а всем своим человеческим многообразием, своей хитростью, сочетающейся с наивной примитивностью «естественного человека», своим неиссякаемым юмором, по-плебейски неистребимой жизненной силой и аппетитом к жизни — словом, всем богатством человеческих качеств, которые не могут быть превращены в ту абстракцию, в которую пытается превратить человека античеловеческая машина. Гашек наделяет своего героя огромной силой сопротивления, и в этом комплексе живых, далеких от абстракции качеств доминирует национальная основа, придающая этому образу, связанному с глубокими корнями, особую устойчивость и особую значительность.

Таким образом, литературная интерпретация национального характера неотделима от идейной позиции писателя, от исторического смысла произведения, от живой художественной ткани. Эта проблематика не может рассматриваться в духе всеобщих «экзистенциальных» абстракций модернизма — по самой своей сути модернистская литература, как правило, вообще очень далека от национальных корней. И в то же время проблематика романа Гашека по своему философскому диапазону несводима только к конкретной критике милитаризма или институций разваливающейся Австро-Венгрии. Роман содержит свой оригинальный ответ на вопрос о положении человека в условиях во много раз усложнившейся, полной превратностей исторической действительности XX века, оказывающей колоссальное давление на индивидуум, он говорит об огромных силах человеческого сопротивления. По своей художественной глубине и оригинальности этот ответ обеспечивает роману Гашека единственное в своем роде место в европейской литературе после первой мировой войны. Этот роман необходимо рассматривать и в отношении к традиции классики, несомненна связь, скажем, с комической эпопеей Рабле или с «Дон-Кихотом» Сервантеса. Многие наблюдения, сделанные М. Бахтиным над спецификой комического в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», вполне применимы к «Бравому солдату Швейку». В романе Гашека также господствует стихия веселья, бесцеремонный, не стыдящийся своей громогласности смех, злая издевка над глупостью и ничтожеством власть имущих — все, что живет в сознании народа, что рождено его непобедимой, несломленной, несмотря на все страдания, силой.

Можно сказать, что вся чешская и словацкая революционная литература между двумя войнами связана с глубокими национальными корнями. О национальном облике левой чешской литературы 30-х годов хорошо сказала Мария Пуйманова, сама глубоко понимавшая чешский национальный характер и создавшая вдохновенный, поэтический образ Праги и чешской земли. Говоря о большом вкладе писателей-коммунистов в развитие чешской культуры, Пуйманова писала в те годы, когда чехословацкие поклонники Гитлера пытались «исключить» прогрессивных писателей из национальной культуры: «Не ирония ли судьбы в том, что первый современный «славянский миф» в Чехословацкой Республике создал левый писатель Иван Ольбрахт, перевоплотивший в своем романе «Никола Щугай-разбойник» образ легендарного народного героя Яношика?.. Мало кто из наших писателей нашел такие теплые тона для изображения чешской природы, как левая писательница Мария Майерова... А другой «левый», Владислав Ванчура, учится воплощать в своем стиле особый колорит чешского языка Кралицкой библии и сочность выражений народных поговорок». Из неиссякаемого источника национальной культуры и национальной жизни черпает и словацкий писатель-коммунист Петр Илемницкий. Традиции чешской и словацкой социалистической литературы межвоенного двадцатилетия, сделавшей определяющий вклад в развитие национальной культуры обоих народов, продолжает литература послевоенной Чехословакии.

■

Постановка проблемы о национальной специфике и международном значении литературы важна для понимания современного литературного процесса в такой стране, как социалистическая Чехословакия, где идейная и эстетическая близость двух литератур — чешской и словацкой,— существовавшая, конечно, и раньше, проявляется гораздо богаче, многостороннее, на новом качественном уровне. Однако и теоретический и практический характер этих взаимосвязей раскрыт, видимо, недостаточно и ждет своих исследователей, как и вообще проблема диалектики национального и интернационального.

В ряде выступлений в чехословацкой прессе по вопросу о национальной самобытности заметен элемент неисторичного подхода, тенденция измерять «малую» литературу некой абстрактной нормой «мировой литературы», то есть то, что Чапек называл тенденцией «догонять Европу». Сторонники этой точки зрения обычно сожалеют о том, что в чешской и словацкой литературе нет таких «разработанных систем», как абсурдный театр или «антироман», и признаки ус-

пеха часто видят в приближении к этим «разработанным» системам. Из бесспорного положения, что «силовые поля культуры» теперь «всегда выходят за пределы государственных границ», иногда делаются ложные выводы. Один вывод — необходимость тянуться к какой-то абстрактно сконструированной норме. Но ведь самое талантливое приближение даже к самым высоким образцам может привести к созданию литературы — в лучшем случае — второго класса, не может оградить литературу от неизбежного налета провинциальности, делает сомнительным грань между художественными критериями и модой. Доказательство пагубности подобного пути — судьба некоторых молодых талантливых чешских и словацких писателей, обрекших себя на роль эпигонов, пытаясь воспроизвести манеру того или другого модного «мэтра».

Нельзя не согласиться со сторонниками другой точки зрения, которые утверждают, что путь к международному признанию идет через развитие национального своеобразия.

В одной из статей 30-х годов выдающийся чешский критик Ф. Кс. Шальда высказал знаменательную мысль: «Назначение чешской литературы — «всечеловечность», стремление к «всечеловечности», сдерживаемое и направляемое любовью к своей стране, как к якорю спасения, к великому центру всей человеческой деятельности». Эта мысль чрезвычайно продуктивна для понимания многих явлений в литературе Чехословакии последних лет. А эти явления перекликаются с тем, что происходит в других социалистических литературах.

В самом деле, у многих писателей, чье творчество одушевлено социалистическим идеалом, намечается в последние годы особое внимание к проблеме национального. Это — один из аспектов более глубокого и зрелого взгляда на действительность, взгляда, свободного от всякой схемы и предвзятости. Обращение к национальным корням действительно помогает в борьбе против всякого рода дегуманизации. Мы наблюдаем такую попытку заново осмыслить простые, изначальные ценности в их национальной специфике в творчестве Ж. Амаду или Х. Лакснесса*. В латиноамериканской или исландской литературе, где еще живы фольклорные традиции, обращение к национальному началу имеет особо выразительный характер и связано с фольклорной основой. Впрочем, искания подобного рода ведутся в разных направлениях.

При этом нельзя согласиться с тем, что национальное якобы всегда аполитично и является своего рода противовесом идеологическому (иногда такая мысль высказывается в критике Чехословакии). Можно назвать для доказательства противного повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары». Она вся проникнута колоритом киргизской жизни, в ней необычайно выразительно запечатлен киргизский национальный характер — и все это придает самому изображению действительности особую устойчивость и жизненные соки. И в то же время в этой повести с большой остротой и смелостью поставлены те идеологические вопросы, которые волнуют все советское общество.

Обращение к глубоким национальным корням мы найдем и в чешской и словацкой литературе. И здесь с этим связаны поиски этических ценностей.

Из писателей Чехословакии, творчество которых отмечено особым вниманием к национальной стихии, остановимся на двоих: один чех, другой словак. Оба талантливые рассказчики — Богумил Грабал и Винцент Шикула. У них много общего: пренебрежение литературными канонами, незаданность и открытость характеров персонажей, своеобразная связь с народным творчеством и, наконец, то нелегко поддающееся определению национальное начало, которое ощутимо, так сказать, на ощупь. Грабал с большим умением воспроизводит бесконечные истории, которые рассказываются за кружкой пива, а в повествовании Шикулы как бы отражается мир словацких народных сказок и преданий. Грабала справедливо сравнивают с Гашеком. Анализ соотношения грабаловских и гашековских образов позволил бы сделать наблюдения относительно каких-то моментов эволюции чешского национального характера за последние богатые событиями полвека. Точно так же сопоставление Грабала с Шикулой дает материал для размышлений о национальной специфике чешской и словацкой литератур.

Разумеется, национальная специфика отнюдь не ограничивается непременной связью с фольклором. Размышления о судьбе нации, о национальных особенностях, своеобразная, порой трудно уловимая связь с тем наследием, которое определило особый облик народа, мы находим часто в произведениях, весьма далеких от фольклора, в образах большой интеллектуальной сложности (например, в романе Ивашкевича «Хвала и слава» или в последних произведениях Арагона). Эта проблема ставится и в ряде произведений чешской и словацкой литературы сегодняшнего дня.

Можно сказать при этом, что именно те произведения чешской и словацкой литературы, в которых рельефнее всего проявляется национальная самобытность, представляют собой наиболее заметный вклад в развитие мировой литературы.

В одной из своих бесед в Праге Ж.-П. Сартр заметил, что оригинальные достижения романа в будущем, по его мнению, зависят во многом от литератур социалистических стран, которые внесут свой неповторимый и чрезвычайно важный для человечества исторический опыт.

---

* Эти вопросы поставлены в статье Т. Балашовой «Социальная панорама и поиски философского жанра», «Иностранная литература» № 9, 1967 г.

Если говорить о вкладе словацкой литературы, то этот вклад связан в последние годы с изображением величайшего события в жизни народа — Словацкого национального восстания. Произведения об антифашистском Сопротивлении Минача, Яшика, Тяжкого явились тем вкладом, значение которого выходит за рамки чехословацкой культуры (об этом свидетельствует их большой успех за рубежом). Неутраченная связь с фольклором, то, что исследователи называют «яношиковской традицией» (имеются в виду легенды о народном мстителе Яношике), специфический интерес к этической проблематике, «обнаженная совесть», связанная с углубленным пониманием социалистического идеала (это особенно характерно для произведений Л. Тяжкого),— все это позволило создать роман-эпопею с выразительным действием, с острым конфликтом и с крупными, масштабными характерами. Большую роль сыграли традиции словацкой «лиризованной прозы» 30—40-х гг. В результате создается подлинно современное, многоплановое повествование с тонким психологическим анализом, в котором ставятся большие проблемы века. Эти романы следовало бы рассматривать в более широком контексте, скажем, рядом с советским или югославским военным романом. Так называемая «новая волна» военной прозы замечательна тем, что авторы стремятся не только создать монументальную панораму героической борьбы, но сосредоточивают свое внимание на судьбе индивидуума и, прежде всего, на тех острейших проблемах морального порядка, которые вставали перед отдельным человеком в обстановке исторических катаклизмов. Это проблемы свободы индивидуума, смысла совершаемого им выбора, определяющего степень и направление его активности, его ответственность перед самим собой и перед обществом. Кстати, весь этот круг философских и этических проблем часто объявляется монополией экзистенциализма. Роман в социалистических странах по-своему разрабатывает эту проблематику и дает свои ответы на эти острые вопросы с позиций социалистического гуманизма. Вопросы личной ответственности, исторического смысла личной активности в критических, «крайних» ситуациях составляют живой нерв словацкого романа. С особой остротой они поставлены в романах Яшика и Тяжкого, повествующих о судьбе словацких солдат, посланных фашистскими властями помочь немецким «союзникам» на Восточном фронте. Яшик в романе «Мертвые не поют», так же как Тяжкий в «Аменмарии», рассказывает о трудном пути людей, понявших, что они не могут стрелять в своих братьев.

Словацкий роман значительно отличается от чешского романа последних лет, более аналитического, с большей ролью юмора и иронии, с большим акцентом на проблематику «маленького человека», с большим интересом к философским вопросам и с меньшим размахом эпического воплощения значительных исторических конфликтов. Для художественного облика чешского романа, пожалуй, более характерны различные формы условности, гротескные элементы.

Правы исследователи, говорящие о взаимодополняющей функции двух литератур. Например, Ян Штевчек, который писал: «Плодотворные отношения между чешской и словацкой литературой определяются взаимовлиянием, предупреждением определенной односторонности, которая могла бы превратиться в ограниченность. Интерес к повседневности, к «маленьким людям» может стать опасным для чешской прозы. А ее поэтические и литературные качества, ее размышления над возможностями литературы могут помочь словацкой прозе. С другой стороны, дух мучительных терзаний совести и поисков правды, характерный для словацких писателей, может найти отклик в чешской прозе». Наблюдая, как взаимно дополняют друг друга чешская и словацкая литературы, можно говорить и о выработке некой общей традиции. Примером здесь может служить творчество Л. Новомеского, переживающее сейчас новый расцвет. Оно связано с традицией словацкой классики и вместе с тем неотделимо от поэтических завоеваний незваловского поколения в чешской литературе.

Естественно, что проблема сотрудничества двух братских литератур решается в социалистической Чехословакии на новой основе. Каждая литература сохраняет свой неповторимый национальный облик, свои традиции, свою идейно-художественную проблематику, и в то же время можно говорить о едином отряде писателей, объединенных общими задачами развития социалистической культуры, являющейся неотъемлемой частью дела построения социализма. Общая проблематика исторических судеб Чехословакии, этического облика человека социалистического общества, исторической активности и ответственности индивидуума, так же как и актуальные вопросы, вставшие перед обществом, строящим социализм, находят свое глубокое воплощение в произведениях и Отченашека, и Бржезовского, и Минача, и Яшика, и Тяжкого, и других чешских и словацких писателей.

С. ВИШНЕВСКИЙ

ПУТЬ НАВЕРХ— ПУТЬ ВНИЗ

(По поводу романа Джона Квирка «Победители без лавров»)

Это книга без божества, без вдохновения, без любви. Начал я ее читать, признаться, без воодушевления — серые лица, серый, скучный мир большого бизнеса.

И тем не менее книга притягивает к себе тем, что она приоткрывает дверь в те кабинеты и квартиры, которые обычно недоступны взору «непосвященных». Закулисная сторона жизни большого бизнеса тщательно охраняется от социологов, журналистов и литераторов.

Пять с половиной лет прожил я в шестидесятые годы на американском берегу. Человек по природе любопытный, я стучался во все двери. В помещении секретной службы Белого дома мрачноватый человечек деловито мазал мне пальцы черной краской и снимал отпечатки — без этой унизительной процедуры нельзя было получить пропуск в резиденцию президента Соединенных Штатов. Одна за другой открывались двери в «святая святых» Америки — в кабинеты министров, в оффисы сенаторов и конгрессменов, в особняки вашингтонских аристократов.

Больших бизнесменов я видел и слушал в разных ситуациях — на конференциях и банкетах, на ланчах и дома. Но в «святилища» монополий — в советы корпораций — путь был заказан. Жаловаться не было смысла: доступ туда был закрыт не только иностранцу, но и самому что ни на есть стопроцентному американцу, если тот из «другого бизнеса».

Я не хочу сказать, что видные бизнесмены прячутся от глаз общественности. Напротив, каждая крупная корпорация имеет свои «отделы отношений с общественностью» с многочисленным штатом сотрудников. Не скупясь на затраты, сноровистые пропагандисты из таких отделов — их зовут «паблик релейшнз мен» — денно и нощно прославляют свои компании и их «великих лидеров». На экранах телевизоров, на страницах газет и журналов едва ли не каждый день появляются иконописные образы воротил большого бизнеса. С усердно отретушированных фотоснимков смотрят приветливые, открытые, внушающие доверие лица. О, конечно же, они пекутся прежде всего о рядовом потребителе, о мелком держателе акций. Их главный помысел — вручить продукт самого высшего качества никому не известной миссис Мёрфи, живущей в самой отдаленной и самой крошечной общине. Их заветная мечта — обеспечить процветание Америки.

Разных я повидал пропагандистов. Но деятели из «отделов отношений с общественностью» — поистине виртуозы рекламно-пропагандистского ремесла. Дайте им Иуду Искариота — и они за неделю убедят всю округу, что Иуда и есть тот самый сын человеческий в белом венчике из роз. Дайте им Яго — и назавтра они внушат Дездемоне, что именно его она должна за муки полюбить.

Как-то я провел несколько дней в Чикаго на съезде этих деятелей. Ораторы столь сладостно воспевали добродетели своих патронов из большого бизнеса, что во рту становилось терпко. Ораторы говорили и говорили с неподдельным (хотя и щедро оплаченным) энтузиазмом.

Один известный деятель такого рода опубликовал не так давно книгу-оду о руководителях корпораций. Критики из большой прессы взяли на себя труд подсчитать, сколько раз автор назвал «великими лидерами» президентов и вице-президентов ком-

паний. Выяснилось, что «великих лидеров» в книжке среднего формата не меньше, чем Джонсов (американский эквивалент Ивановых) в пухлом телефонном справочнике.

Однажды в столичной газете «Нейшнл обзервер» появилось рекламное объявление под интригующим заголовком «Кому есть дело до прибылей?». Рекламодатель — «отдел отношений с общественностью» компании Дюпон де Немур — утверждал, что прибыли, загребаемые монополией, приносят благо каждому человеку, и обещал прислать всем заинтересованным веские подтверждения.

Мне было невдомек, какое такое благо даруют людям барыши Дюпонов. Послал запрос рекламодателям в Уилмингтон, штат Делавэр. Вскоре почтальон принес объемистый конверт со штампом «Дюпон». В конверт был вложен художественно изданный альбом «Мотивы прибыли». Искусно подобранные иллюстрации и цитаты — от стихов Горация до речей экс-президента Дуайта Д. Эйзенхауэра — внушали, что прекраснодушные Дюпоны наживают доллары не для своего обогащения, а для моего благополучия. Убедительные фотопортреты симпатичных улыбающихся бизнесменов подтверждали: стараемся ради вас, дорогой читатель.

Да, прав один из героев романа Джона Квирка, когда говорит: «На фасаде корпорации публика видит только сияющий лик. Президент автомобильной компании как живой человек существует лишь для тех, кто с ним близко знаком, для остальных же он не более реален, чем портрет маслом».

Какие же они, живые люди из верхушек корпораций? Чем отличаются их подлинные лица от «отлакированных изображений»? Чем они живут, как живут, что творят за плотно закрытыми дверями кабинетов и залов совещаний? Что у них на уме? Как они получают прибыли и как их тратят? Какой внутренний часовой механизм побуждает их, как выражаются американцы, «тикать»?

На все эти и многие подобные вопросы нелегко найти ответы. «Великие лидеры» монополистического капитала ревностно оберегают от посторонних «конфиденциальность» внутренней жизни корпораций, а тем паче «прайвэси» (приватность) своего личного житья-бытья.

В Лос-Анжелесе меня любезно принял вице-президент крупнейшей телевизионной корпорации. Пока мы говорили и спорили о телепрограммах, их качестве и количестве, об актерах и комментаторах и тому подобном, это был приятный, словоохотливый собеседник. Но вот речь зашла о движущем механизме корпорации, о влиянии рекламодателей из финансово-промышленного мира на тематику и содержание телевизионных программ. Лицо хозяина по-прежнему сохраняло любезное выражение, однако он заметно насторожился. Тень пробежала по физиономии руководителя «отдела отношений с общественностью», который присутствовал при беседе.

— Пожалуй, тебе сподручней ответить на эти вопросы, — сказал ему вице-президент.

Тот заговорил. Потекли заученные, обтекаемые словеса, мало что добавившие к тому, что уже известно о внутренней жизни телевизионного бизнеса.

Не удалась и попытка перевести разговор на конкретную почву. Почему, например, недавно выдворили из руководства корпорации талантливого и активного деятеля, старавшегося увеличить количество так называемых просветительных передач? Почему так редко в программах-диспутах ставятся острые актуальные проблемы шестидесятых годов, волнующие многих американцев?

Собеседник мой стал петлять, как заяц. Вице-президент демонстративно поглядывал на часы. И вдруг спросил:

— А не хотите ли посмотреть и послушать старика Армстронга? Или певицу Катарину Валенте? Они сейчас как раз репетируют в нашем здании.

— Конечно же, — ответил я совершенно искренне; было ясно, что на «проклятые вопросы» хозяева не дадут прямых ответов.

Пришлось обратиться к литературе. Меня журналиста, естественно, интересовали больше всего книги о том, что нельзя увидеть самому. Такие публикации чаще всего называются «инсайд-сториз» — книги о том, что «внутри»: внутри той или иной страны, партии, организации, влиятельного семейства. Выпущено немало «инсайд-сториз» о Белом доме и конгрессе, Пентагоне и государственном департаменте, даже о Центральном разведывательном управлении и Федеральном бюро расследований. Можно купить десятки «инсайд-сториз» о семействах Джонсонов и Кеннеди. Таких «инсайд-изданий» выходит множество, авторов и названий книг невозможно запомнить.

Зато серьезные и познавательные «инсайды» о большом бизнесе можно пересчитать по пальцам. Продавец в книжном магазине выпалит залпом:

— «Инсайд-сториз» насчет корпораций? Извольте: «Карабкающиеся на пирамиды» Вэнса Паккарда, «В немногих руках» покойного сенатора Эстеса Кефовера, «Коррумпированное общество» Фреда Кука. А вот бестселлер «Мои годы в «Дженерал моторс» Альфреда Слоуна-младшего.

Только один из названных авторов — Слоун-младший — описывал личный опыт: лишь он стоял на верхних ступенях иерархии бизнеса. И когда его мемуары вышли в свет, то даже самый завзятый вашингтонский скептик, злющий обозреватель Джозеф Олсоп, возбужденно объявил эту публикацию сенсацией: «Столь интересная книга должна рассматриваться как новость. Впервые — по крайней мере, насколько известно мне, — посторонние люди получили возможность увидеть, как на деле работает гигантское предприятие бизнеса и что приносит ему успех или неудачу».*

Читал я эту книгу-«новость». Она и впрямь небезынтересна, автор действительно откровенней большинства своих коллег—ли-

* "Washington Post", Jan. 27, 1964.

деров большого бизнеса. Откровенней, но откровенен ли он до конца? Сопоставляю его мемуары с некоторыми другими немногими фактами о закулисной деятельности «Дженерал моторс», которые просочились в печать, и невольно заключаю, что Слоун-младший кое-что замалчивает, кое-что утаивает, кое-где ему, мягко говоря, изменяет память. Перед нами по сути дела опять все то же «отлакированное изображение» крупной монополии.

В американской художественной литературе и кинематографии лица бизнесменов еще труднее рассмотреть за щедрой лакировкой. Раскройте, например, роман Уильяма Пирсона «Эта компания мужчин», вышедший в наши шестидесятые годы. Критик Орвилл Прескотт из газеты «Нью-Йорк таймс» так писал о романе: «Все персонажи ...симпатично человечны». Даже автор-сатирик не удержался от пропагандистского подхода, свойственного работникам из «отделов отношений с общественностью».

Пожалуй, больше всего запоминается книга Слоуна Уилсона «Человек в сером фланелевом костюме». Изданная еще в 1955 году, книга стала своего рода «классическим» романом о вожаках современных капиталистических корпораций США. С легкой руки Уилсона последних до сих пор называют людьми в серых фланелевых костюмах. Однако автор, к сожалению, только бегло касается внутренней деловой жизни корпораций. На передний план выдвинуты личные семейные перипетии главного героя — молодого «растущего» бизнесмена Тома Рэта. Кстати сказать, и Рэт до неправдоподобности «симпатично человечен».

Мне довелось увидеть немало американских фильмов о деловом мире. Посмотришь несколько таких картин, и герои сливаются в один облик кинобизнесмена — энергичного, развеселого и, конечно же, насквозь симпатичного. Зрителю чаще всего показывают не то, как герой делает бизнес, а то, как он развлекается со сногсшибательными модерными секретаршами.

Замалчивание закулисной стороны корпоративной жизни или ее, так сказать, «симпатизация» работниками рекламы, литераторами и кинопродюсерами — все это, разумеется, неспроста. Научно-техническая революция в развитых капиталистических странах существенно изменила формы управления монополиями. В фокусе зрения сегодня стоит уже не самовластный собственник-капиталист, единолично заправляющий всеми делами фирмы, а коллегиальный совет «мэнеджеров» — управляющих, который возглавляет акционерное общество. Формально собственниками корпорации являются многочисленные держатели акций, имеющие хотя бы по одной акции, а мэнеджеры объявляются всего лишь служащими корпорации, получающими годовое жалованье. В число мэнеджеров выдвигаются как владельцы наибольших пакетов акций, так и профессионалы — специалисты по управлению финансовыми организациями или торгово-промышленными предприятиями. Сложность управления современными предприятиями заставляет искать талантливых кандидатов не только в высших сферах делового мира, но и «на стороне» — в так называемом среднем классе, охватывающем различные слои и группы населения — от высококвалифицированного техника или клерка до среднего буржуа.

На первый взгляд, капиталистическая собственность «распылилась», в управление корпорациями проникли «некапиталисты» — все это дает повод американским идеологам и пропагандистам поднять шум о «революции мэнеджеров» и даже об исчезновении класса капиталистов и «трансформации капитализма» в некую надклассовую технострукту ру. В Соединенных Штатах появилось за последние десятилетия множество трактатов, утверждающих, будто мэнеджерам, как «просто служащим, уже не свойственно стремление к максимальной прибыли, они, дескать, горят желанием поставить корпорацию на службу всему обществу, решать социальные проблемы и т. п. А в будущем, мол, во главе экономической жизни встанут идеалистически настроенные ученые — технократы, «просвещенно» управляющие общественным прогрессом. Уже сейчас многие президенты корпораций любят становиться в позу этаких бескорыстных радетелей, пекущихся обо всем американском обществе.

— Бизнесмены в Соединенных Штатах ожидают, когда их попросят сделать еще больше, — декламировал на банкете в рекламном бюро Вашингтона нью-йоркский бизнесмен Стэнли Арнольд.— Они просто умирают от желания сделать нечто ради бизнеса, ради своей страны, ради всего на свете. Однако они не знают, что надо сделать. Думаю, что они могли бы сделать все что угодно, если бы кто-нибудь пришел к ним с окрыляющей идеей.*

Естественно спросить: если все эти Арнольды и им подобные столь возвышенны и благочестивы в своих помыслах, то отчего же они столь старательно прячут свою практическую деятельность от глаз людских?

Книги — такие, как роман Джона Квирка «Победители без лавров», публикуемый в этом номере «Иностранной литературы», — раскрывают глаза на многие тайны корпоративного мира. Эта книга в немалой мере помогла мне осуществить то, что было столь трудно сделать за пять с половиной лет жизни в Америке, — посидеть и послушать, о чем говорится в кабинетах президентов и вице-президентов, побывать на их тайных вечерях. И даже заглянуть в их души.

Итак, перед нами великие лидеры автостроительной корпорации «Нейшнл моторс», бизнесмены «нового типа», герои «революции мэнеджеров», живущие в наши шестидесятые годы XX века. Это уже не допотопные рыцари наживы — чудаковатые, неотесанные олигархи, каких мы помним по книгам Марка Твена, Джека Лондона и Теодо-

---

* "Washington Daily News", Sept. 18, 1963.

ра Драйзера. Мэнеджеры Джона Квирка образованны и внешне корректны, они окончили специальные факультеты институтов и университетов, превосходно разбираются в технологии производства, в сложных финансовых делах, в тонкостях торгового оборота, в мудреном искусстве управления предприятиями. Они энергичны, деятельны и инициативны.

Читатель может посетовать, что персонажи романа удивительно схожи. Но они схожи и в жизни. Во время конференций бизнесменов я часто ловил себя на мысли, что попал в компанию близнецов. Одинаково аккуратная и вылизанная внешность, одинаково приветливо-открытые выражения лиц, схожие серые костюмы из шерстяной фланели, схожие манеры. Случайно ли?

Весьма осведомленный американский писатель-социолог Вэнс Паккард свидетельствует в своем исследовании «Карабкающиеся на пирамиды», что руководители корпораций и их управляющие кадрами разработали стандарт «внешность мэнеджера». Кандидатов в мэнеджеры набирают еще с университетской скамьи в строгом соответствии с этими стандартами.

Как должен выглядеть претендент на место президента или вице-президента корпорации? Вот его суммарный портрет. Прежде всего, будущий мэнеджер должен производить впечатление «лидера», «вожака-отца», способного внушить уважение и вызвать доверие окружающих. Желательно, чтобы он был высок (не меньше шести футов роста) и строен. «Сейчас мода на крупных мужчин», — констатирует Джон Хэнди, специалист по подготовке мэнеджеров. Когда Вэнс Паккард спросил вице-президента крупнейшей финансовой корпорации, как выглядит типичный управляющий, то услышал в ответ:

— Полагаю, вы уже заметили, что все мы — худощавые.

Взгляд у «вожака-отца» должен быть открытым и ясным, он должен прямо смотреть в лицо собеседника, не отводя глаз.

Не допускаются прыщи, угри, шрамы и прочие «уродливости» на лице, кожа мэнеджера должна быть столь же свежа и чиста, как у регулярной посетительницы «салонов красоты». Усы и бороды должны быть сбриты; среди слушателей гарвардских курсов повышения квалификации бизнесменов обнаружили только четыре процента усачей и ни одного бородача. Профессор Корнелльского университета Эндрю Хэккер, специалист по корпорациям, отмечает, что в последнее время с точки зрения большого бизнеса особое значение приобрели подбородки — разумеется, волевые*.

Мэнеджеру надлежит быть чистоплотным и опрятно одетым: не обязательно в серый фланелевый костюм, но упаси боже от чересчур шикарного и экстравагантного одеяния. И, пожалуйста, никаких жилетов. Преподаватель школы дельцов-администраторов при университете штата Мичиган д-р Юджин Дженнингс подметил еще одну типичную деталь в туалете мэнеджеров: «Они всегда носят длинные носки». Пояснение: клиенту может быть неприятно увидеть невзначай голую волосатую ногу.

Все эти требования насчет внешности бизнесмена могут показаться шуткой. Но нет, лидерам монополий не до забав. Они всерьез убеждены, что кандидат, прошедший конкурс «корпоративной красоты», произведет на клиентов и подчиненных наиболее сильное впечатление, во-первых, апломбом, во-вторых, чувством собственного достоинства, в-третьих, естественностью и непринужденностью и, в-четвертых, хорошим воспитанием. Об этом свидетельствует все тот же знаток большого бизнеса Вэнс Паккард.

Помимо деловых качеств и соответствующей внешности, претендент в мэнеджеры должен обладать еще и многими другими «достоинствами». Иной читатель, возможно, недоумевал, узнав о тревогах Дэвида Бэттла — главного героя романа Квирка: Дэвид волновался, не повредит ли его карьере то, что он католик польско-еврейского происхождения. Обоснованны ли волнения Бэттла, если в шестидесятые годы католик занимал кресло президента Соединенных Штатов (Джон Ф. Кеннеди), а деятель польско-еврейского происхождения был выдвинут правыми консерваторами республиканской партии кандидатом в президенты США (Барри Голдуотер)? Более чем обоснованны. Волей автора романа Дэвид Бэттл в конечном счете стал президентом корпорации. В реальной жизни ему это было бы труднее, чем завоевать высокий политический пост.

Власть имущие большого бизнеса свято блюдут свою национальную, расовую и религиозную «чистоту». По неписаному правилу наиболее вероятный кандидат на высший пост корпорации должен быть УАСП (WASP). Четыре буквы, но весьма емкие. УАСП — это сокращенное выражение «белый протестант англо-саксонского происхождения». УАСПы составляют руководящее ядро крупнейших корпораций и не терпят в своей среде чужаков. Один американский исследователь побывал как раз в том пригородном районе Детройта, где живут мэнеджеры автомобильной промышленности — герои романа Квирка. Он познакомился с сотней таких управляющих. Вот что он обнаружил: «В одном случае из десяти управляющий является католиком ирландского или итальянского происхождения. Ни один из ста высших управляющих автомобильных компаний не оказался евреем, и ни одной еврейской семьи не живет в Блумфилд-Хиллз»*.

«Барьер национальности» воздвигнут во многих промышленных и финансовых корпорациях по всей Америке. Особенно остро ощущается негроненавистничество и антисемитизм. Негры на высоких постах корпораций — редчайшее явление. Относительно антисемитизма Вэнс Паккард приводит такие данные: «На верхних уровнях поистине всех ста крупнейших промышленных корпораций, в частности оперирующих в сталь-

* "New York Times Magazine", Apr. 2, 1967.

* Packard, V. The Pyramid Climbers, 1962.

ной, автомобильной, химической, нефтяной промышленности и в производстве электрооборудования, управленческие посты всех рангов остаются закрытыми для евреев; аналогичная ситуация — в пятидесяти самых крупных финансовых корпорациях Америки».

В свете этих фактов Дэвид Бэттл, право же, выглядит на редкость удачливым. Ему посчастливилось проникнуть сквозь расистско-клерикальный барьер.

Примечательно, что, достигнув корпоративных высот, Бэттл становится идейным УАСПом. На совете руководителей корпорации «Нейшнл моторс» он демонстративно подчеркивает свою ненависть к общественным организациям, ведущим борьбу с дискриминацией негров и евреев. По сути дела и он объявляет себя негрофобом и антисемитом. Его коллеги аплодисментами подтверждают, что им нравится расистское кредо Бэттла.

Помимо отсутствия усов, жилетов и наличия англосаксонской крови, вожаков корпораций делают схожими друг с другом некоторые качества поважнее. В романе Джона Квирка перед читателем проходит вереница прожженных дельцов, готовых вцепиться друг другу в горло ради власти и наживы. Чтобы пробиться к вершине корпоративной пирамиды, они предают все и всех — «священные принципы», воспетые дельцами из «отделов отношений с общественностью», друг друга, даже собственную любовь. Они лгут и обманывают, воруют и шпионят друг за другом. Они объединяют усилия главным образом ради умножения прибылей корпорации, а затем стараются урвать для себя лично наиболее жирный куш.

И это-то хваленые идеалисты — мэнеджеры, пекущиеся не о максимальных прибылях, а о благе общества? За закрытой дверью Дэвид Бэттл без обиняков откровенничает перед руководителями «Нейшнл моторс»:

«У нас есть инженеры, которые думают, что конструирование машин является целью, а не средством. Но если подходить к этому вопросу в масштабах корпорации, то им следует время от времени напоминать о том, что их работа имеет ценность лишь в той мере, в какой она помогает сбывать продукцию с выгодой для корпорации... Мне думается, нам всем не вредно помнить, что мы оправдываем свое назначение как служащие корпорации лишь в том случае, если способствуем прибыльной продаже автомобилей».

Ради умножения прибылей корпорации идут на всевозможные мошенничества, а подчас на прямые уголовные преступления. Они торжественно обещают потребителю самый отличный и самый дешевый товар, но во многих случаях подсовывают ему заведомый брак.

Высокий научно-технический уровень современных американских предприятий, великолепное мастерство инженеров и рабочих позволяют выпускать на рынок превосходную продукцию. Однако на практике мэнеджеры умышленно ухудшают качество товаров и при этом непомерно завышают цены.

За годы, прожитые на положении «среднего американца», я лично бывал не раз жертвой монополистических фокусов. К примеру, с автомашиной «монтерей-меркурий» я претерпел истинные мучения. Когда покупал ее, глаз не мог оторвать: загляденье. Поездил я на ней несколько месяцев — и началось: то гасли фары, то срывался тормоз, то не срабатывало сцепление. Я стал завсегдатаем в авторемонтной мастерской «Позови Карла» на 24-й столичной улице.

— Эх, мистер, — в сердцах обронил мастер, когда я второй раз на одной и той же неделе пригнал машину на «текущий ремонт». — Достался вам лимон.

— Что такое лимон? — недоуменно спросил я.

— Заведомый брак. Советую поскорей обменять ваш лимон. Наберетесь с ним горя.

Через некоторое время я уже не удивлялся, когда машина выходила из строя. Через год я стал получать любезные разноцветные открытки — приглашения от дилера, продавшего автомобиль. «Дорогой сэр, пора покупать новую марку «монтерея-меркурия».

Как раз в эти годы некто Ральф Надер, бескорыстный молодой американец, опубликовал нашумевшую книгу под заголовком «Небезопасные при любой скорости». С фактами в руках Надер доказал, что ездить на машинах многих марок опасно для жизни — и водителей, и пешеходов. Причем во многих случаях автостроители могли бы без особых издержек производства (иногда за 20 долларов) улучшить качество машины. 20 долларов — сущий пустяк в сравнении с общей ценой машины, составляющей несколько тысяч долларов. Однако, отлично зная, что они создают смертоносные «лимоны», корпорации сознательно избегают усовершенствования автомобилей.

Автокороли выдали себя с головой, когда начали гнусную травлю Надера. Были наняты детективы для слежки за молодым исследователем. Ищейки пытались раздобыть какой-нибудь компрометирующий материал на Надера, чтобы потом облить его грязью и уничтожить. Однажды Надер заметил, что за ним тащится «хвост»; детективы признались, что «приклеились» к нему по поручению крупнейшей автомобильной корпорации.

Надер не угомонился. Он стал изучать злоупотребления в других отраслях промышленности и доказал, что, например, в фармацевтической промышленности также стряпаются «лимоны» — на сей раз в виде баснословно дорогих лекарств. Во многих случаях лекарства, равноценные по своим лечебным качествам, продаются по разным ценам. И разница до неприличия велика.

В здании суда округа Колумбия я видел целую стену, завешанную судебными постановлениями об аресте тех или иных товаров за их недоброкачественность. А названия фирм — громкие, «всемирно знаменитые».

С. ВИШНЕВСКИЙ
ПУТЬ НАВЕРХ — ПУТЬ ВНИЗ

В комиссиях конгресса можно услышать выражение «прайсфиксинг плот» — то есть сговор по фиксированию цены. Речь идет о соглашении корпорации установить непомерно завышенную монопольную цену на товары. В таком сговоре были уличены крупнейшие корпорации, в том числе гиганты стальной промышленности*.

Итак, прибыль, а не качество превыше всего. Таков главный девиз современной капиталистической корпорации. Весь механизм монополии настраивается на извлечение наивысших барышей. Упомянутый уже профессор Эндрю Хэккер рассказывает на страницах «Нью-Йорк таймс мэгезин»: «Делающий карьеру вскоре учится думать прежде всего и преимущественно категориями бизнеса: специализированные знания, которые он получил в колледже, полезны только в том случае, если они применимы для умножения доходов фирмы. В определенный момент он может быть вынужден пойти на компромисс с профессиональными стандартами, создавая или развивая прибыльный, но недоброкачественный вид продукции. То, как он прореагирует на этот вызов, будет замечено его начальниками» **.

По мере продвижения по лестнице корпоративной карьеры стремление к максимальной прибыли становится символом веры. В одном американском журнале я прочитал примечательную мысль: «Руководящий принцип (в корпорации) — продвинуться как можно ближе к вершине внутри корпорации, которая находится как можно ближе к вершине среди других корпораций. Отсюда нужда в максимальных прибылях» ***.

Чем больше обогатится корпорация, тем выше личное вознаграждение управляющих, хотя они и получают не прибыль, как таковую, а жалованье. До прихода в Пентагон Роберт Макнамара (он был министром обороны США с 1961 по 1968 год) четырнадцать лет проработал мэнеджером в компании «Форд». Он помог превратить компанию из плачевного «инвалида» автопромышленности в процветающую корпорацию, получающую в год около полумиллиарда долларов чистой прибыли. Как отразился рост прибылей на благосостоянии Макнамары? Судите сами: первое его жалованье у Форда составляло 12 тысяч долларов в год, четырнадцать лет спустя, в 1960 году, заняв пост президента корпорации, Роберт Макнамара получал ежегодно 420 000 долларов. Вдобавок он получал дополнительные вознаграждения, премии, бонусы, пакеты привилегированных акций и в итоге стал миллионером ****. Вернувшись сейчас из Пентагона обратно в сферу бизнеса, Макнамара наверняка приумножит свои богатства.

Всеми правдами и неправдами администраторы корпораций увеличивают свои дополнительные доходы помимо номинального жалованья, составляющего для президентов от 100 тысяч долларов до полумиллиона в год. Они получают, в частности, исключительное право приобретать акции корпорации по резко — нередко вдвое — сниженной цене. Мало того, что привилегированные акции облагаются более низкими налогами. Их можно перепродавать с немалой прибылью. Коллеги героев книги Квирка из «Дженерал моторс» как-то купили пакет таких акций за 5300 тысяч долларов, а перепродали за 8400 тысяч, иначе говоря, получили прибыль в три миллиона долларов. Будучи президентом другой автостроительной компании — «Американ моторс», Джордж Ромни (ныне губернатор штата Мичиган) перепродал свои привилегированные акции с миллионным барышом.

Высшие администраторы автостроительной компании «Крайслер» избрали дополнительный источник личного обогащения. Они умудрились, как стало известно в начале шестидесятых годов, продавать «продукцию и услуги» своей собственной корпорации за значительное вознаграждение *.

Когда знакомишься с этими фактами обогащения верхушки корпораций, родственных компании «Нейшнл моторс» из книги Джона Квирка, то финансовые махинации героев романа кажутся мальчишечьей игрой. Но тенденцию автор подметил верно: умножая прибыли корпорации, мэнеджеры стяжают все большие личные капиталы. И становится предельно ясно, что управляющие компаний — никакие не «профессиональные служащие», а фактические капиталисты, прикрывающиеся корпоративной вывеской.

И, если вдуматься, не имеет никакого принципиального значения то обстоятельство, что часть этой прослойки финансовой олигархии вербуется не из сфер большого бизнеса, а «снизу» (в данном случае «низы» — весьма состоятельны). Автомобильный король Генри Форд Второй не смог одолеть премудрости учения в Йельском университете, он провалился на экзаменах и не получил диплома об окончании университета. Форду Второму дозарезу нужны были талантливые деловитые администраторы — неважно откуда. Король привлек к управлению корпорацией команду «мудрых ребят», в том числе Роберта Макнамару. Капиталистическая корпорация, как мы уже рассказывали выше, воскресла, капиталистическая прибыль приумножилась, и в конечном счете посвящение «неродовитого» Макнамары в рыцари большого бизнеса послужило интересам капиталистического предпринимательства. Смешно и глуповато трактовать приток деятелей из низов в финансовую олигархию как свидетельство некоей «трансформации капитализма» и «исчезновения капиталистов».

Дэвид Бэттл и его коллеги в романе Джона Квирка также предстают перед нами как капиталисты — по образу жизни, роду деятельности и мировоззрению. Дух капиталистического стяжательства, презрение к трудящимся, ненависть к прогрессу — таковы их движущие пружины.

---

* "Washington Post", Apr. 8, 1964.
** "New York Times Magazine", Apr. 2, 1967.
*** "Monthly Review", July-August, 1962.
**** "Look", Apr. 23, 1963.

* Galbraith, J. K. "New Industrial State", Boston, 1967, p. 120.

Символ веры, который изложил мэнеджер Дэвид Бэттл на заседании совета руководителей «Нейшнл моторс», почти ничем не отличается от символа веры старомодного магната капитала техасского нефтяного промышленника Ханта, прославившегося своим яростным антикоммунизмом и покровительством ультрамракобесам. Бэттл объявляет, что он против коммунизма, против рабочего класса, против профсоюзов, против движения негров за равноправие. Грим кусками падает с физиономии «современного» «просвещенного» мэнеджера, перед нами — типичный империалист-мракобес.

Публично лидеры корпорации нечасто высказываются столь откровенно. Чаще они разыгрывают из себя прогрессистов, поборников свободы и демократии, покровителей униженных и оскорбленных. Джордж Ромни как-то шел в рядах негритянской демонстрации за гражданские права. Роберт Макнамара, будучи президентом компании Форда, делал денежные взносы в ту самую Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения, которую клеймил Дэвид Бэттл, и даже в Американский союз гражданских свобод.

Но рано или поздно из Ромни и Макнамары выглядывал Дэвид Бэттл — ненавистник прогресса и свободы. «Друг негров» Ромни во время негритянских волнений в Детройте лично потребовал присылки воинских частей для усмирения «черных». Осенью прошлого года Макнамара хладнокровно наблюдал из окна своего пентагоновского кабинета, как приставы и военные полисмены истязали участников антивоенной демонстрации — черных и белых, пришедших к военному ведомству. Они пытались воспользоваться «свободой слова», но блюстители порядка по приказу либерала Макнамары внушительно доказали дубинками, что прочувствованные речи последнего о свободном волеизъявлении не стоят выеденного яйца.

Знакомство с крупными бизнесменами убеждает, что они по меньшей мере консерваторы, а по большей части — реакционеры правого толка. Однако большинство из них не стало бы повторять безапелляционное заявление Дэвида Бэттла, что он — «против правительства». Хотя Бэттл и осуждает на словах берчистов, но такое заявление звучит чересчур по-берчистски. Современные мэнеджеры достаточно осведомлены, чтобы понимать, что федеральное правительство США служит коренным интересам государственно-монополистического капитализма. Правда, они нередко брюзжат по поводу «чересчур высоких» налогов на корпорации, по поводу «чрезмерного вмешательства» федеральных органов в дела бизнеса, однако это брюзжание не следует принимать всерьез. Лидеры большого бизнеса отлично понимают, что Вашингтон оберегает их от революционных движений современности, от рабочего и массовых демократических движений в США, от «негритянской революции». В условиях растущей милитаризации экономики Соединенных Штатов государство в лице военного ведомства выступает поставщиком прибыльных военно-промышленных заказов. Десятки миллиардов долларов перекачиваются ежегодно из карманов рядовых налогоплательщиков через государственные каналы в сейфы фабрикантов оружия. Государственные научные центры опять же за счет налогоплательщика ведут дорогостоящие исследования, результатами которых в конечном итоге пользуются монополии.

Современная хирургия позволяет отделить друг от друга сиамских близнецов. Но нет такого скальпеля, который бы отделил монополистический капитал от государственного аппарата. Они слиты воедино.

Всевластие монополий, проникших во все поры государственной системы США, не сразу доступно взору. По сей день правительство публично становится в позу некоей надклассовой силы, служащей-де всей нации в целом. Государственные мужи любят подчеркивать свое «одинаковое внимание» ко всем «блокам избирателей» — к профсоюзному блоку, фермерскому, негритянскому, «академическому» и т. п.

Но вот гаснут юпитеры пропагандистского «паблисити», и все опять становится на свое место. Правительственная машина продолжает свою повседневную работу, как полномочный комитет по управлению делами государственно-монополистического капитализма. При разработке каждого важного государственного решения (внутри- или внешнеполитического) внимательнейшим образом учитываются рекомендации влиятельных людей из корпораций — лоббистов, «деловых советников», юристов крупных фирм и т. д. В последний период вошло в практику создавать «совещательные комиссии» при Белом доме по актуальным проблемам политики США. Влиятельнейшее место в этих комиссиях занимают нынешние или бывшие мэнеджеры большого бизнеса. Крупные управляющие корпораций сплошь и рядом занимают правительственные посты. На высших ступенях вашингтонской иерархии часто можно встретить людей, когда-то служивших в «Дженерал моторс», у Форда, Рокфеллера и т. п. Конечно же, они сохраняют самые теплые и доверительные отношения со своими прежними коллегами по бизнесу. После завершения государственной карьеры многим вашингтонским ветеранам предлагают почетные и щедро оплачиваемые посты в сфере большого бизнеса. Поистине, как говорится в персидских сказках: откуда приходим, туда и возвращаемся.

Неразрывная связь корпораций с государственным аппаратом предельно обнажается — как в большом, так и в малом — во время избирательных кампаний. Активисты обеих буржуазных партий — демократической и республиканской — организуют, к примеру, так называемые блюдовые обеды. Меню на редкость примитивно — кусок жареной говядины с зеленым горошком, но каждое блюдо стоит несколько сот долларов, а то и больше. Собранные на банкете

С. ВИШНЕВСКИЙ
ПУТЬ НАВЕРХ — ПУТЬ ВНИЗ

средства идут на финансирование предвыборных мероприятий. Кто может купить говядину с горошком по такой баснословной цене? Только «жирные коты» — так зовут партийные активисты крупных бизнесменов. И вот, забыв о своей «независимости», государственные мужи буквально охотятся за «жирными котами», в надежде продать пригласительные билеты на блюдовой обед. Билеты раскупаются оптом и в розницу. В награду «коты» получают удовольствие прослушать речь именитого правительственного лидера, а главное — после выборов — возможность сказать веское слово в государственных делах.

Двери Белого дома широко раскрыты перед представителями большого бизнеса. Президент Джонсон, например, часто говорил, что всегда готов «рассуждать вместе» с лидерами делового мира. И, действительно, такие совместные рассуждения были повседневным явлением в Белом доме. Пожелания, советы и рекомендации крупных бизнесменов всегда встречают благосклонное внимание в официальном Вашингтоне. А во многих случаях эти бизнесмены в лице высокопоставленного правительственного деятеля найдут своего вчерашнего коллегу.

В романе Джона Квирка рассказывается о предстоящей встрече представителей «Нейшнл моторс» и министра обороны, бывшего мэнеджера. Разумеется, им не трудно будет обрести общий язык.

Джон Квирк, показав галерею скучных, неинтересных мэнеджеров, не погрешил против реализма. Таковы они в жизни, лидеры большого бизнеса: невыразительные, неяркие, незапоминающиеся. На их лицах словно стерты человеческие черты. Мультимиллионер Поль Гетти, слывущий богатейшим человеком Америки и мира, как-то в порыве откровенности признался: «Я всегда хотел быть более яркой индивидуальностью, чтобы я смог привлекать людей и вести более занимательные беседы. Всегда меня тревожит, что я скучен» *.

Не каждый крупный бизнесмен повторит это признание, но профессор Эндрю Хэккер, превосходно знающий тузов делового мира, делает общий вывод: «Администраторы корпораций — не очень интересные люди»**.

* "Philadelphia Inquirer", Febr. 25, 1963.

** "New York Times Magazine", Apr. 2, 1967, p. 130.

Какой-то знаток большого бизнеса заметил, что среди крупных мэнеджеров есть лишь несколько интересных личностей, обладающих (о, редкость!) чувством юмора. Один из них — Роберт Макнамара.

Макнамару называют обычно «счетно-вычислительной машиной», но в аристократических салонах столицы он слыл «обаятельным, эрудированным, просвещенным» собеседником. Я часто слушал выступления Макнамары на пресс-конференциях в Пентагоне, где министр, лязгая челюстями, металлическим бесстрастным голосом чеканил цифры, цифры, цифры (казалось, он держит в мозгу все цифры военного ведомства) о «темпах убийств» во вьетнамской войне.

Неужто, думал я, этот механический человек-компютер может быть интеллектуалом-гуманистом, да еще с редким чувством юмора?

На литературном вечере в Библиотеке конгресса мы оказались в соседних креслах и разговорились о поэзии.

— Да, мне нравится поэзия, — улыбчиво сказал Макнамара.—В начале шестидесятых годов я даже читал по телевидению стихи одного из ваших поэтов.

— Какие стихи вам больше всего нравятся, мистер министр, не романтические ли?

Сидящий рядом знаменитый фельетонист Арт Бухвальд еле сдержал смешок.

Но счетно-вычислительный ум Макнамары не уловил иронии.

— Нет, романтические я не люблю. Скорее — стихи о значении жизни.

Он деловито, словно отщелкивая любимые им цифры, перечислил любимых поэтов. Да, он знал литературные имена, но трактовал поэзию так же бесстрастно-механически, как «темпы убийств» вьетнамцев.

Старый сенатор Рассел обронил замечание, которое часто вспоминают вашингтонцы: Макнамара понимает и знает все, кроме людей.

Мэнеджеры крупных корпораций в жизни и в романе Квирка понимают и знают многое, кроме людей. Им, по самой их природе, чуждо все гуманное и человечное. Их путь наверх — это путь вниз.

Мы закрываем книгу Джона Квирка и еще раз думаем: безликие, бездушные люди, страшный, бесчеловечный мир.

ПЕТЕР ВЕРЕШ

НА КРАЮ ХОРТОБАДИ*

Перевод с венгерского
Е. БОЧАРНИКОВОЙ

Прошло уже почти тридцать лет с тех пор, как мною была написана «Сельская хроника», иначе говоря, история моего родного села, а чтобы быть еще точнее, социологический очерк конца прошлого и начала теперешнего столетия. Настоящего конца у очерка не было, вместо него я написал небольшое послесловие, объяснив в нем, что у истории еще нет конца, ведь я верил, был убежден, что придет время больших перемен, время революции.

Это время пришло и принесло с собой изменения и много нового: сначала раздел земли, потом сельскохозяйственные производственные кооперативы и новое общество, которое нам хотелось бы не только называть, но сделать, воспитать социалистическим. Это оказалось труднее, чем мы думали.

Я не стану продолжать с того места, на котором остановился мой предыдущий очерк. Я расскажу о своем селе, каким оно стало теперь, вызывая в памяти прошлое и повторяясь лишь там, где без этого обойтись нельзя. С тех пор изменилось очень много, да и сам я изменился. Пожалуй, будет небезынтересно, что теперь я смогу рассказать о своих родных краях.

■

Поле, по каким-то неисповедимым законам венгерского языка и — добавлю — венгерской души, одно из самых удивительных слов нашей речи. В нем примерно такой же заряд красоты (конечно, не в звуках, хотя тайна заключена и в них тоже), как в словах «заря», «вечер». Когда Арпад ** привел наших предков в равнину, где текли Тиса и Дунай, Кёрёш и Марош, на задунайские зеленые холмы и долины, пастухи решили, что это самые лучшие и самые пригодные для них земли, а ведь пастушья логика основана в первую очередь на вкусах и самочувствии животных. Еще в бытность мою пастушонком я заметил, что если скот себя хорошо чувствует — а это даже у скота зависит не только от туго набитого брюха,— то после перегона на заре, когда не начали еще кусаться мухи, и ранним вечером на месте предстоящей ночевки, когда роса разгоняла комаров, животные, как по команде, ложились и принимались жевать жвачку. «Все улеглись! И все жуют!» — радостно сообщал я отцу, заглядывая в шалаш, где он был занят приготовлениями незамысловатого завтрака или ужина.

После обретения родины — а прошли с тех пор многие века — понадобился венграм хлеб к мясу и каша к молоку, и самые лучшие поля стали лучшими пашнями. Именно с них собирали лучшие урожаи, и они же меньше всего страдали от разлива рек. Да и наводнения в ту пору были не так уж страшны, потому что реки и ручьи текли свободно, куда и как им вздумается, а людей было мало, и жили они

---

* Степь, занимающая около двух тысяч квадратных километров за рекой Тисой. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

** Предводитель венгров, основатель первой династии Арпадов (889—907).

на холмах и возвышенностях, как на островах среди океана полей. (На таких островах были построены Балмазуйварош, Надудвар и многие другие населенные пункты Альфёльда.) Пашни оттеснили скот вместе с пастухами на менее плодородные земли, песчаные и солончаковые, в болотистые или слишком сухие степи.

Самая большая из этих степей — край Хортобади, она же со временем стала и самой сухой. Древняя Тиса многие тысячи лет, пока люди не отрегулировали ее течение, почти каждую весну выходила из берегов. (А если этого не случалось, то было еще хуже, засуха начиналась с весны, и даже у самой воды в жаркое лето не росли камыш, осока и горькие степные травы.) Вода, разливавшаяся через низкий берег Тисы, не следовала за большим изгибом реки между Токаем и Солноком, а устремлялась к югу по природному склону полей и степей, потом к юго-западу и смывала верхний слой почвы. Воде помогал ветер, постоянно дующий здесь с севера, северо-востока и уносивший в том же направлении все, что ему было под силу. Ручьи докатывались до речушки Хортобадь, оттуда в Береттьо, Кёрёш, Тису, Дунай и приносили в Черное море на съеденье рыбам все, что могло сделать степь плодородной. Ил же потяжелее, с гниющими остатками прошлогодних трав, с навозом, оставляемым скотом круглый год на полях, с падалью (утонувшими в воде мышами, кузнечиками, всякими жуками) и перегноем откладывался неравномерно у берегов около Нанаша, Бёсёрменя, Балмазуйвароша, Дебрецена, Собосло, у островов, питая и удобряя почву. (Находящееся в этих местах население и до сегодняшнего дня, можно сказать, живет этим перегноем.) Остатки ила откладывались в болотцах Хортобади, в маленьких, заросших травой или деревьями оазисах, а если наводнение было большим и течение сильным, то кое-что перепадало Шаррету, тому, что в Бихаре. Ил оседал черным слоем, а после вспашки делал землю такой же плодородной, как черная земля на холмах возле Дебрецена. И вырастали на этой почве тыквы, величиной с бочку, репа с детскую головку, а забредешь в кукурузное поле — и ничего, кроме неба, не видно, словно лес молодой вокруг. Все это так, но на своем пути согретая солнцем вода выщелачивала почву, оставляла за собой по берегам мелких водяных бассейнов солончаки, которые постепенно завоевывали всю пусту *. Лишь в низинах, в дубовых рощах у болот и на черных островах, где росли полевой синеголовник да молочай с длинными корнями, осталась малая толика плодородной земли.

Не все эти обширные поля принадлежат Балмазуйварошу. С древних времен селу принадлежит с восточного края полоса земли в двадцать—тридцать тысяч хольдов, большую же часть получил архиепископ Эгера и город Дебрецен. Кое-что досталось и находившимся дальше Собосло и Надудвару. Но записи в поземельную книгу — дело рук человеческих, и не имеют они здесь большого значения. Сама пуста от Балмазуйвароша до Тисафюреда, шириной километров в пятьдесят, оставалась такой же, как во время, когда по ней передвигался нотариус из Пелешке **, как ее описали Петефи и Йокаи ***, и любая деревня имеет на нее одинаковые права. А длина ее от Полгара и до Карцага или еще дальше, до Кунсентмартона, достигает ста или даже двухсот километров. Ведь земля и бесконечное небо и в ту сторону такие же, даже если и называются по-другому.

Но теперь эта земля уже не обетованная, как называл ее Михай Фазекаш ****. Возможно, она и была такой в его времена, на ее лугах паслись быстроногие с шелковистыми гривами скакуны, упитанные коровы, мощные буйволы, которым и тяжелое ярмо, и непогода — все нипочем, это и был Ханаан не только для скота, но и для владельцев стад, все больше набивавших свою мошну богачей из Дебрецена. Земля была богатая, хоть и не стоило ее пахать; у подножия небольших возвышенностей, на покрытых цветами склонах скот не только находил для себя достаточно пищи, но и жирел, наливался, его гоняли в Вену, в Аугсбург. Но и оставленной дома скотине было чем попастись, даже в самое жаркое лето в низинах и на болотцах — кисленькая болотная травка, и кувшинки, и даже луговой щавель, и чертополох. Словом, до осени можно было продержаться, а потом наступала пора дождей, и травы, давно уже приспособившиеся к такому климату, снова зеленели и становились сочными.

Теперь здесь все переменилось. Я говорю не о том, что привлекает жаждущих сенсаций журналистов, для которых пуста сама по себе ничего не представляет. Они умиляются тому, что над бывшими пастбищами вместо саранчи летают самолеты, распыляющие искусственные удобрения, что в хортобадьской чарде потомки диких табунщиков (я их вовсе не считаю такими уж дикими, все мои предки были или табунщиками, или чабанами), тех самых, о которых в «Желтой розе» писал Йокаи, пьют черный кофе. Меня же трогает, что природа остается природой, земля землей и вода водой и в дождливое время человеку по-прежнему со всем этим трудно справиться. Древние «реки», через которые находило себе путь полноводье, все эти Бекаш, Баракшо, Кадарч, Пеце, Кёшей, уж не говоря о менее известных и совсем мелких речушках, покрылись тиной, высохли, многие совсем исчезли, даже их русла распаханы. (Уж очень соблазнительно было: жирная луго-

* Так венгры называют степь.
** Герой поэмы Йожефа Гвадани (1725—1801).
*** Венгерский писатель (1825—1904).
**** Венгерский писатель (1766—1828).

вая почва обещала невиданные урожаи, но эту же почву легко уносили стремительные летние ливни.) Русла высохших речонок быстро заполнялись рыхлой землей, зарастали сорняками, камышом, осокой, где до пояса человеку, где до головы, а где и еще повыше, и теперь вода разливается не только по низинам и лугам, но и по хорошим пахотным землям. Главная причина, конечно, в том, что и Тиса не «тянет», как раньше. Еще до первой мировой войны началась вырубка лесов на внутренних склонах Карпат, водосборного бассейна Тисы и ее притоков, рубят там лес и по сей день. Много лесу пожрала и первая мировая война, и вторая, лес был нужен для развития промышленности, для больших строек, для отопления мерзнущих городов, нужен был лес и акционерной чешско-французской компании, созданной для использования огромных лесных массивов, принадлежавших когда-то Ракоци *, а потом графам Шёнборн-Букхейм, да и мало ли кому еще был нужен лес. Снег тает быстро, не залеживается под тенью густых деревьев, укрывавших его от весеннего жаркого солнышка, не впитывает воду и густой ковер облетевших с деревьев листьев, стремительные потоки уносят его каждой весной, и вода разливается, не умещаясь в тесных плотинах. Вот поэтому-то Тиса не притягивает к себе, а отталкивает воду других речек (здешние жители считают, что известную роль в этом сыграла и Тисалёкская электростанция) и даже умножает воды на равнине, когда заставляет разливаться свои потоки, да еще в период весенней вспашки и сева.

После спада Тиса становится совсем незаметной маленькой речкой, кое-где ее даже вброд можно перейти. Когда летом или ранней осенью мне приходится переходить реку по одному из мостов, в Солноке, Тисафюреде или в Полгаре, мне всегда становится не по себе: какая же ты маленькая, Тиса!

А весной все начинается снова, вот так и в этом 1967 году, а иногда при сильных дождях и поздней осенью край Хортобади превращается в озерный край или, еще лучше сказать, в огромный архипелаг с множеством островов, фиордов, маленьких и больших заливов, впадающих друг в друга. Некоторые из островов по три-четыре шага в ширину и длину, другие длиной более сотни саженей, а в ширину не больше двух шагов. То ли протянулась там бывшая насыпь с обозначением границ (ведь уже в далекие времена эту землю пытались распахивать), то ли берег речушки или фундамент овчарни.

По краям пусты с давних пор существуют и пашни, выделяющиеся небольшими пятнами или полосками. Иногда в засушливые годы пашни углубляются в пусту, на хорошую землю (я сам видел лет пятьдесят—шестьдесят назад следы этих пашен на пологом берегу Сеттинеша), чтоб потом снова отступить на более безопасный берег. Иногда вспаханный островок возвышается лишь чуть-чуть над залитым водой пастбищем, и никогда не утихающий ветер Хортобади одинаковой зыбью волнует серую воду и зеленые посевы. Здесь может расти и пшеница, и ячмень, и овес, и просо, если только корни не погружены в воду. К сожалению, вода часто губит растения, как это случилось и минувшей весной. В результате 20—30% посева, а иногда и 50—60% губит вода или наносит такой урон, что на сухой земле урожай бывает 16—20 центнеров, а на заливаемой водой едва собирают по нескольку центнеров с хольда. На солончаках же (земля везде плодоносит!) вырастает ромашка, ее иногда собирают, чаще оставляют на корню (жаль, ведь это валюта!), и она рассыпает миллиарды крохотных семян, заботится о потомстве.

Сверху, с насыпи, по которой проходит шоссе, или с самолета зрелище открывается примечательное, напоминает географическую карту земли: острова и материки, окруженные разливом воды, но в мои воспоминания маленького пастушонка закрадывается и много горечи. Не было на свете таких сапог — когда у меня вообще в то время бывали сапоги,— куда не попадал бы талый снег, не проникали бы апрельские росы, октябрьские холодные дожди и почвенные воды, такие чистые и прозрачные весной, что виден на дне хитиновый панцирь погибшего осенью жука и заржавевший нож, потерянный прошлым летом в густой траве. Вода дочиста вымывала из швов сапог всю грязь и весь жир, когда я целыми днями бродил за скотом. Лошадиным, коровьим и свиным копытам вода не вредит, и скот в поисках лучшей травы перебирается с островка на островок, а для меня это было такой мукой, что не забыл я ее и до сих пор, по прошествии более пятидесяти лет. И если даже моя голова за всякими и разными заботами могла позабыть об этом, то ноги никогда не смогут забыть, когда на дворе дождь, снег или холодный ветер с дождем, мои ноги зябнут даже у горячей печки.

Зато грязные в другое время ноги пастушонка отмывались за один такой мокрый день добела, становились белее и чище, чем у барышень, дважды в день принимающих ванну.

Кончаются дожди, земля выше выступает из воды, и тогда приходит другая беда — засуха. Я не стану ее описывать, а приведу анекдот, посланный из Балмазуйвароша одним писакой по имени Геза Денеш в «Сабад фёльд» **.

---

* Род венгерских князей из Трансильвании, самый известный Ференц Ракоци II, возглавивший борьбу венгров за независимость (1676—1735).

** Еженедельник по вопросам сельского хозяйства, выходит с 1945 г.

Маленькая история повествует следующее. В начале 60-х годов нашего века (значит, речь идет не о засухе 1863 года!) какие-то иностранцы ехали на машине из Тисафюреда через Хортобадь Машина уже пересекла пусту, и с ее восточного края, вдоль старой границы Балмазуйвароша у Салкахалома иностранцы натолкнулись на чабана с отарой овец Овцы на пыльном лугу искали, где бы им выщипать остатки полевицы или выносливой полыни, а чабан с собакой стоял у дороги, наблюдая за тем, чтобы глупые овечки не выскочили прямо под машину. Однако машина остановилась, и один из путешественников, умевший говорить по-венгерски, спросил у чабана: «Скажи мне, друг, когда тут в последний раз был дождь?»

Чабан сдвинул на затылок шапку и искоса посмотрел на иностранца. «Тут? Дождь? Да здесь, господин, есть пятилетние лягушки, которые еще плавать не научились».

Это и есть здешний юмор, юмор висельника, горький по содержанию, но полный ума и иронии.

■

В Хортобади есть и чернозем. На эту землю можно положиться. Она дает хлеб. Если тебе удастся раздобыть себе 10—12 хольдов этой земли, у тебя всегда будет хлеб, да еще и сало, потому что эта земля не подведет, вырастит кукурузу. И вода эту землю никогда не заливает. Пусть там, на краю Хортобади, на солончаках и в низинах столько воды, что дикие утки плавают над посевом озимой пшеницы и чибисы кричат на краю невспаханных полей, тут корни посевов не обнажатся, их не зальет вода. Даже в колодцах можно лишь очень длинным журавлем достать до воды или связав вместе два колодезных шеста. И вода здесь хорошая, питьевая.

Если ты увидишь пустующую пядь земли, посади в нее фруктовое дерево — и через несколько лет можешь собирать с него плоды, а если оно не фруктовое, то через время в три раза большее можешь получить от него балку для дома, который ты задумал построить. Хорошо бы, конечно, чтоб для каждой такой пяди земли нашелся человек, который посадил бы хоть одно дерево. Никто из нас не знает предела плодородия настоящего чернозема, может быть, такого предела вообще нет. Уже теперь мы можем убедиться, что чернозем может нам дать такое количество зерновых, сахарной свеклы, кукурузы и много другого, что весь земной шар можно выложить ломтями хлеба, ломтиками ветчины или засыпать сахарной пудрой.

И еще ты можешь взять из этой земли, прямо вот тут, глину для постройки хижины. Для этого достаточно копнуть разок лопатой, откинуть в сторону верхний слой черной земли с червями и корнями, сгрести небольшой смешанный желтоватый слой, и ты найдешь настоящую желтую глину, чистую, нет в ней ни камешков, ни ракушек. Из этой глины ты сделаешь такой саман, лишь бы мякина была сухая и светлая — не подмешивай в нее замшелой и потемневшей! — что если даже с самого верха стены случится тебе уронить вниз кусок, ни за что не разобьется. А если ты еще из этой глины с примесью мелкой, очень чистой половы сделаешь жидкий раствор и дважды обмажешь им изнутри и снаружи свою хижину, а жена твоя тоже два, а еще лучше три раза побелит ее. то у тебя получатся такие хоромы, что будут в них жить и твои потомки, лет на сто хватит им, если не больше. Лишь бы было чем питаться! Но и это даст тебе земля, если станешь обращаться с ней, как она того любит: вспашешь ее, вскопаешь, все в свое время. И плати ей навозом за все то, что берешь у нее зерном, соломой, сеном, кукурузными початками. Расположись посередине земельного участка, по возможности, и хуторок свой помести в самом центре, и все, чем унавоживают землю лошадь, корова, свиньи, куры, даже голуби, пусть земле и будет принадлежать.

Весенних сомнений и раздумий, обуревающих земледельца там, на солончаковой земле с февраля по май — с ячменем опоздал, надо овес посеять, а тут дождь зарядит дня на три, вода стоит в бороздах, и овес сеять не стоит, посеем просо,— не знает крестьянин на черной земле. Этим и можно объяснить, что главной едой жителей болотистых и солончаковых мест даже в начале XX века была пшенная каша да кулеш. Но и на черной земле пшеном питались батраки, пастухи и поденщики: дешевле проса ничего и тут не было Да и к чему баловать бедняков?.. И как только не назывались все эти каши: лапшевая, старая, гайдукская каша и еще каша с бараниной, с уткой. Моя бабушка даже колбасу делала из каши, заправляла пшенную кашу смальцем, перчила и начиняла ею свиные кишки, и пироги из той же каши пекла.

Здесь же на черной, чуть возвышающейся земле, как только сойдет снег и несколько дней обвевает землю ветер, облучает еще зимнее солнышко, покраснеет пашня, и уже можно сеять. А к тому времени, как зазеленеет трава, с севом уже расправились, можно выгонять скот на пастбище.

Такова примерно логика хуторского хозяйства, на которой было построено отношение к жизни, мышление хуторян...

Хуторские устремления жителей Балмазуйвароша были всегда обращены не к приписанным к их селу землям. Из 46 тысяч хольдов старого надела после осво-

бождения крепостных крестьянам досталось лишь две тысячи хольдов чернозема и примерно столько же солончакового, затапливаемого водой пастбища. Но и эту землю получили во владение сотня с небольшим крепостных хозяйств, а семьсот семей батраков как были, так и остались без земли.

Даже в аренду граф сдавал сельским жителям лишь участки на краю Хортобади, а черную землю отдавал арендаторам покрупнее.

Поэтому, если кто-то из жителей Балмазуйвароша и мечтал о земле и о хуторе (каждый, кто знает эти солончаковые места, найдет это вполне естественным), то его мечты обращались к черной земле у Дебрецена.

Но были тому и другие причины. На барские земли возле нас приходили батраки из Хевеша, и Боршода, и даже из Саболча. Именно с того времени и Балмазуйварош стал приобщаться к социализму, даже бастовать научился. Люди, приходившие к нам с севера и востока, были еще менее притязательны, чем мы сами, и в своем развитии даже от нас отстали на полвека. Жители Балмазуйвароша смотрели на них так же свысока, как на них самих крестьяне гайдукских городов *.

■

Не только в Венгрии, но, очевидно, и в других странах существует много странных географических названий. К ним относится и первая половина названия Балмазуйвароша.

Ученые считают, что Балмаз — древнее турецкое имя, а как оно пришло в венгерское село, этого уже никто не знает.

Село было возведено в степень города, может быть, еще во времена короля Матяша **. Крепостное село Балмаз и многие другие деревеньки получили «статут» и права сельскохозяйственных городов. Может быть, в этом был заинтересован местный помещик, пожелавший создать здесь свое владычество в противовес Дебрецену. (Сотни лет тянулась тяжба с городом.) Нам известны имена наших господ, все они были знатные и влиятельные. Первого, чье имя сохранила для нас история, звали Гуткелед. Затем земельные владения перешли к Хуняди *** (нашей госпожой была и столь любимая Яношем Аранем Эржебет Силади ****). Потом часть земель перешла в семью Ракоци (второй сиятельной госпожой нашей была Жужанна Лорантфи), некоторое время ими владели Запоя, затем Балинт Тёрёк из Эньинга. Ференц Ракоци II освободил жителей Балмазуйвароша от крепостной зависимости, признав за ними степень гайдуков, но после разгрома освободительного движения представители семей Халлер и Андрашши опять закрепостили их. Наконец, земельные владения были подарены императором Францем чиновнику венского двора по имени Шемшеи (после подавления мятежа имения, владельцами которых были знатные семьи, принимавшие в этом мятеже участие, переходили в собственность короля). Можно сказать, что в истории Балмазуйвароша немного отразилась и история Венгрии в целом.

Во время турецких нашествий село прозябало на своем островке среди болот, но название свое сохранило. Во второй половине XIX века, когда из гайдукских городов был создан комитат Хайду и Дебрецен наименован главным городом комитата, Балмазуйварош вместе с многими другими деревеньками Алфёльда был лишен звания и статуса города (были эти деревни и села признаны недостаточно развитыми для этого). В то время Балмазуйварош был большим грязным селом с населением, занимающимся исключительно сельским хозяйством. Ни промышленности, ни торговли не было, интеллигенция была представлена несколькими священнослужителями, в том числе и раввином (в селе была синагога), и несколькими учителями.

Средней школы в селе не было. Даже народная школа была создана только в тридцатых годах. Большую часть промышленных товаров покупали в Дебрецене. Мужчины в громадном большинстве носили готовые дешевые костюмы и купленные на ярмарке сапоги. Женщины сами шили себе белье и платье, лишь немногие обращались к деревенской портнихе.

Кабатчиков и лавочников было, конечно, вполне достаточно, сапожников тоже, но они главным образом торговали готовой обувью. Только самые зажиточные парни делали себе костюмы на заказ, ну и, конечно, почти все заказывали себе одежду к свадьбе, даже самые бедные.

Кузнецов и колесников было по надобности, а много ли приходилось пользоваться их мастерством людям, не имеющим ни земли, ни тягла?

И все-таки в XIX веке Балмазуйварош как-то по-своему, по-городски разросся. Население его увеличилось не наплывом извне или присоединением к нему соседних маленьких деревень (ближе, чем за 20—30 километров от Балмазуйвароша деревень нет), а приростом населения. Кроме Верхнего и Нижнего края, на ко-

---

* Города, жители которых в старое время пользовались некоторыми привилегиями.

** Первый венгерский король из династии Корвинов ((1443—1490).

*** Династия венгерских князей (XV в.).

**** Жена Яноша Хуняди (XV в.), о ней написал поэму Янош Арань (1817—1882).

торые с древних пор делятся все венгерские села (в Балмазуйвароше они называются Верхняя и Нижняя улица), появилось еще Неметфалу, где жили перевезенные сюда графом немцы-кальвинисты. Затем были построены Кишкалло, Уйвилаг и Банлак. Потом было застроено и маленькое озерцо Киш Сик, простиравшееся в самом центре села почти до реформатской церкви, первыми здесь поселились цыгане, вслед за ними там же построили себе лачуги самые последние сельские бедняки. Наша семья жила там, летом в нашем огороде одни лягушки квакали. Примерно в 1910 г., когда министром земледелия был Игнац Дарани, были построены рабочие дома на долгосрочную государственную ссуду. Эту часть села назвали Дарутелеп. После первой мировой войны возник новый район пастухов и свинопасов Уйкерт. К старому поселку Дару прибавился Дару-Уйтелеп, но эти последние строились уже исключительно на солончаке и болоте. Место древнего поселения окружено со всех сторон рекой Кадарч, болотом Леши и озерами Надь Сик и Магдольна; чтобы расти в ширину, надо строиться на болоте или перебираться на другой берег. Первым таким скачком в сторону был Дарутелеп. А на краю села в глиняных ямах — принадлежащих не графу, а селу — снова возникла маленькая цыганская деревенька, которую в насмешку стали называть поселком Гинденбурга или Миглакхатс *. Сначала там жили одни цыгане, потом и бедняки венгры стали возводить свои лачуги. Земля была почти совсем даровая.

После второй мировой войны дома стали строить на лучших местах. Новый поселок, по величине превышавший деревни за Дунаем или в Сатмаре, был назван Сигеткерт. А теперь, когда после дождливых 1965 и 1966 гг. несколько сотен домов или совсем сгнили, или собираются сгнить, а из домов, которые в 1925 г. были пожертвованы графом на постройку Дару-Уйтелеп и Банлак-Уйтелеп, большинство стали непригодными для жилья, начал строиться второй остров на местности, которая с давних пор называлась Эрдёсигет **. (Так исстари называются здесь небольшие возвышенности, со всех сторон окруженные водой.) Эрдёсигет находится между двумя рукавами реки Кадарч (в действительности это небольшой ручей), но водой его не заливает.

Понятен тебе этот мир? В нескольких километрах от села превосходные земли, чернозем, и названия там какие: Надьхат, Вермешхат, Гуйахат, но все это раньше принадлежало графу! Во всем селе нет ни одного сухого подвала, больше половины домов (около двух тысяч) давно пора снести, земля под ними пропитана водой. Деревянные полы в домах встречаются чрезвычайно редко. Не было смысла тратить деньги на застилку полов, даже у кого эти деньги были: сырость, скапливающаяся под досками или паркетом, не высыхает, и дерево начинает гнить. А земляной пол можно сменить, заменить мокрую землю сухими отходами самана. (Обычная глина здесь не годится, в ней еще идет почвенная жизнь, и в доме от нее скверно пахнет. Мне случалось видеть такие полы из свежей глины и половы, на которых взошли оставшиеся в полове ростки пшеницы.) На каменных или деревянных фундаментах дома не возводились, ни камня, ни дерева взять было негде, даже за деньги до начала строительства железных и шоссейных дорог нельзя было купить.

В Балмазуйвароше быстро погибали дома, рано умирали молодухи и дети, уж не говоря о стариках. Но Балмазуйварош со всеми его новыми поселками и пристройками, хоть и задыхался, но показывал упорную волю к жизни и был маленькой копией своей большой родины Венгрии.

■

Типичный батрацкий народ — жители нашего села, потомки тех семисот батрацких семей, о которых я уже говорил раньше, и их жизнь всегда шла на грани между возможностью и невозможностью существования. Поэтому их главной заботой, центром их жизни с давних пор был вопрос о «заработке». Сюда входила любая оплата труда: батрацкое жалованье, плата за сдельный труд, поденщина, почасовая оплата, все виды испольщины — половина, две пятых части, треть, четвертая часть. три или четыре процента, десятина и г. д. Им всю жизнь приходилось считать каждый крайцар; если удавалось подрядиться на работу больше чем за десять крайцаров в день, то из недельной оплаты можно было сэкономить и на платок для дочки или хоть на ленту, а может быть, и на входной билет на пасхальный бал или на празднование троицы.

Такое выражение, как «находить расчет» — теперь употребляется повсеместно,— нам тогда было еще неизвестно, потому что не было никакого выбора, и все-таки по своему происхождению оно досталось нам с тех времен. Так говорят теперь люди. у которых помимо удовлетворения непосредственных нужд ежедневного существования имеется и более отдаленная цель: купить или построить дом, жениться («создать семью»), обставить дом мебелью, дать детям образование, ку-

---

* В дословном переводе: **«Живи, пока удастся»**.
** Лесной остров.

пить мотоцикл и т. д. Вот до чего «сузились» возможности стяжательства в наши дни! Но в те далекие времена желания бедняков не шли дальше «хлеба до нового урожая» да сала к нему хоть немножко. И дальнейший прицел: «Вот бы землянку себе смастерить, хозяином быть у себя дома». А все остальное: земля, скот, хозяйство — конкретно являлось в мечтах лишь очень немногим, разве кто надеялся получить наследство или пойти к богачу в зятья. Ведь бывало, что молодому батраку доставалась в жены хромоногая хозяйская дочь-перестарок.

Земельный голод и мечта о постоянном заработке сконцентрировались в Балмазуйвароше в политическую силу, в то время как в уже упомянутом имении Шемшеи никаких движений до 1918 г. не наблюдалось. Именно поэтому крестьяне-бедняки Балмазуйвароша видели свое будущее в революционном социализме: еще в 1897 г. (в тот год, когда я родился) в селе были волнения, жандармы стреляли в народ, был убит Габор Тот. Поэтому у нас социалистическая революция победила уже весной 1919 г. и твердо держалась до конца. Поэтому в 1921 г. в самый период белого контрреволюционного террора в нашем селе уже был земельный бунт, а в 1922 г. во время выборов Иштван Ваги * получил у нас 80 % голосов. 7 апреля 1932 г. жандармы у сельской управы снова стреляли в народ, и в 1945 и 1947 гг. представители левых партий собрали у нас 86—88% голосов.

Но все это было давно и много раз сказано, рассмотрим лучше вопрос, который до сих пор оставался в тени; какова была у нас судьба богачей.

По-настоящему богатых крестьян у нас было мало, да и то их земельные владения находились в сторону Дебрецена, там же стояли и хутора. У некоторых из них и своей земли было мало, больше арендованной. Все они были или потомками крепостных крестьян, имевших собственный земельный участок, или ловкими, удачливыми людьми. Вчерашние ловкачи (чаще всего торговцы, потому что с крестьянина ничего не сдерешь, разве только покупая у него скот) через два-три поколения стали коренными хозяевами.

По сложившейся исторически земельной иерархии жители Балмазуйвароша не могли считаться на одном уровне с коренными жителями Дебрецена даже в том случае, если у них было больше земли и хутора получше, чем у тех. Свататься, например, к дочери дебреценского жителя было напрасно. Хозяева из Балмазуйвароша, как потомки крепостных, долгое время оставались в ряду простых крестьян, даже если у них было порядочно земли и скота. Не становились они и мещанами. Ни у одного из них никогда не было на чистой половине пианино (того самого пианино, над которым так много смеялись и смеются). Они как были, так и оставались суровыми земледельцами; кроме земли, урожая, скота их ничто не интересовало.

Никакой гражданской сознательности у них не было, хотя их положение в стране стало более заметным, даже по налоговому цензу многие из них имели право голоса. Судьба страны, заботы народа и нации не очень-то их интересовали, хоть и голосовали они всегда за партию 1848 года, даже за ее левое крыло. Перед первой мировой войной депутатом в парламент был у них Янош Юшт, младший брат Дюлы Юшта, который возглавил борьбу за независимость левого крыла партии. Я говорю об их депутате, потому что у нас, бедняков, не было права голоса, хотя на сборища и мы ходили (ходил и я, уже тогда жаждавший общественной деятельности), и не только для «количества», но еще и с тайной надеждой, а вдруг что-нибудь случится, вдруг «вспыхнет революция» или что-нибудь в этом роде.

Наше село принадлежало к избирательному округу Хайду-Собосло, партия 1848 года не имела там по-настоящему своей организации. Политические собеседования бывали лишь в читательских кружках, да и то в зимнее время. И выдающихся политических лидеров, даже местного значения, тоже не было.

Я не разбирался в политике ни при короле Франце Иосифе, ни тогда, когда уже во времена Хорти первый представитель Партии мелких сельских хозяев Иштван Надятади Сабо ** занял место в правительстве. Богатые крестьяне одобряли Хорти за то, что он «побил красных», но сердца их к нему не лежали. Партия 1848 г. и у нас превратилась в Партию мелких сельских хозяев, но настоящей партийной жизни, как в комитатах Бихар, Хевеш или Боршод, не было. У нас только батраки «занимались политикой» (в устах богатых крестьян это звучало презрительно), а иногда и жаждавшие земли бедные крестьяне.

От моих сверстников я тоже ничего не мог узнать об истории, потому что из них мало кто учился в средней школе, а до 1914 года, насколько мне известно, вообще никто. Вместо школы для подросших сыновей арендовали хутор или отдавали половину своего хозяйства. А дочери их (ух, какие красивые были эти хозяйские дочки, вскормленные на молоке, мясе и белом хлебе!) выходили замуж не за ученых, а за таких же хозяйских сынков. (В прежние времена богатые крестьяне не выдавали своих дочерей даже за жандармов или мелких чиновников.)

---

* Иштван Ваги (1883—1940) — активный борец венгерского рабочего движения, участник революции 1918—1919 гг.

** Иштван Надятади Сабо (1863—1924) — основатель Партии мелких сельских хозяев, проводил политику богатой части крестьянства.

Настоящие господа, во всяком случае лучшие из них, такие, как Сечени*, Вешелени** или им подобные, а также некоторые представители мелкопоместного дворянства испытывали еще какие-то чувства — может быть, это и были пережитки феодализма,— к «нашему дорогому народу», к «нашим дорогим венграм», но богатые крестьяне никогда не питали никаких чувств к беднякам, даже не задумывались о том, что и бедняки им братья, такие же, как они, венгры. Даже у самых благожелательных хозяев была людям одна оценка: хороший батрак, верный слуга, трудолюбивый поденщик.

Совершенно естественно, что и у бедных не было к богатым никаких чувств, которые можно было бы назвать национальным единством. О богачах они говорили: добрый хозяин, или наоборот: такой и шкуру с тебя спустит.

Наше многочисленное бедное крестьянство недоверчиво и неприязненно относилось к сельским богачам еще до 1914 г., а еще больше между двумя мировыми войнами, после того как в 1919 г. был проведен частичный раздел земли, а позже в стране проводилась политика аренды земли небольшими участками, что порождало большее, чем до этого, число мелких хозяйчиков, жаждавших стать хозяевами крупными. Они с завистью смотрели на тех, кому это уже удалось. Но наступил мировой кризис 1929—1933 гг., и обогащения крестьян не произошло, лишь немногие успели проскочить в зажиточные хозяева, но и их число сильно уменьшилось, за неуплату долгов имущество многих из них пошло с молотка.

Неприязнь безземельных крестьян к богатым не только не уменьшалась, а продолжала расти. Имущественная разница между безземельными и землевладельцами начинала превращаться в классовую разницу, приобретать политическую окраску. Неприязнь к кулакам перерастала в неприязнь и к средним крестьянам. Это происходило еще и потому, что партия 1848 года, превращенная в Партию мелких сельских хозяев — во главе ее стоял Надятади Сабо,— стала правительственной партией, и в таком правительстве, которое громило не только социалистов, но и всех крестьян, да и мастеровых ни в какой счет не принимало. Богатые крестьяне молчали, им было наплевать на бедняков. Позже, в период усиленной фашизации страны, когда Партия мелких сельских хозяев попыталась объединить хозяев и безземельных крестьян под знаменем антинемецкого сопротивления и нежелания воевать, отчуждение между богатыми и бедными несколько уменьшилось, но в наших краях этого не произошло, потому что наши мелкие хозяйчики и тогда не пожелали «заниматься политикой». Бедняки же приобщились к диктатуре пролетариата, привычное чувство зависти получило зарядку классовой борьбы на местной арене, это уже наблюдалось и до 1914 г., и в 1919-м и, конечно, в 1945-м.

Итак, весной 1945 г. началась новая эра, когда работники физического труда получили если еще не власть, то, во всяком случае, первое слово и участие в правительстве. Никогда до этого, как бы далеко мы ни оглядывались назад, наш народ и близко не допускался к правительственной коалиции. У него не было никакого опыта ни в руководстве, ни в управлении даже в узких рамках одного села. Они ждали многого от нового строя, ждали избавления от всех своих бед, хотя последние двадцать лет не дали еще полного ответа на вопрос: когда же, наконец, мир станет лучше и что надо делать для того, чтобы он действительно стал для них лучше? Наши бедняки всегда относились недоверчиво и неприязненно и к государству, и к правящим кругам, и ко всему, что от них исходило. Это чувство распространялось не только на уездных начальников и жандармов, но и на всех чиновников, даже на священников и учителей. Они считали своими врагами торговцев, кустарей, вообще всех, кто не был крестьянином или пастухом. Отсюда и появилась разновидность «крестьянского социализма».

Когда начало исчезать исторически сложившееся отчуждение между бедными и бывшими богатыми крестьянами? Это случилось в 1949—1953 гг.

Матиас Ракоши и другие не заметили, что бедняки начинают жалеть зажиточных крестьян, попавших в кулацкие списки, что классовая борьба в деревне затихает, та самая классовая борьба, на которой они строили свою политику среди крестьян на селе. Они не заметили социальных сдвигов в деревне, и это вылилось в политическую близорукость.

В 1951—1952 гг. ухудшилось самочувствие даже самых левых из бедных крестьян. Многие из них потеряли веру, стали сомневаться: может ли это вылиться во что-либо хорошее? Из нескольких сотен членов местной коммунистической партийной организации настоящих коммунистов в марксистско-ленинском смысле слова было очень мало. «Отрыв от масс», о котором так много толковали, не имел здесь смысла. От сельского общества невозможно оторваться, разве что не смотреть никому в лицо. Люди, жившие в селе, будь то партийный работник или государственный служащий, не могли оторваться. «Не может человек до такого бесстыдства дойти»,— как говорят в этих местах. И я от них оторваться не мог. Это

* Прогрессивная семья венгерских аристократов. Имя Ференца Сечени носит Государственная библиотека Венгрии. Его сын Иштван Сечени был крупнейшим государственным деятелем XIX века.

** Миклош Вешелени (1796—1850) — прогрессивно мыслящий государственный деятель.

были самые горькие годы моей общественной деятельности! В лицо мне не говорили, но я и так слышал, душой слышал: «Вот и Петер Вереш бросил нас к черту. Ему-то хорошо, большое жалованье получает, а мы тут мучайся с этим проклятым кооперативом!» Местные руководители, не будучи большими политиками, но желая доказать свою верность идее, пытались радикальными мероприятиями выпрямить плохое настроение большинства...

...И все-таки в 1956 г. бывшие зажиточные крестьяне нашего села не стали контрреволюционерами. Вполне возможно, что и в этом случае, как всегда, они проявили осторожность. Их сыновья в большинстве случаев покинули село, переселились в Дебрецен или в другие города, стали рабочими. Во многих венгерских селах председатели сельскохозяйственных производственных кооперативов и члены правления все из местных крестьян, многие из них бывшие зажиточные хозяева, но в Балмазуйвароше это не наблюдается: в кооперативах очень мало бывших хозяев, еще меньше их сыновей. А тот факт, что в кооперативах все же хозяйничают успешно, означает одно: научились хозяйничать бывшие безземельные крестьяне и батраки...

■

При разделе земли были учтены и качество, и расположение участков, каждый кооператив получил и болотистую, солончаковую землю, и чернозем. Надо еще сказать, что народ здесь очень работящий, работают люди и по-старому, и по-новому. По-старому в том смысле, что в страдную пору встают на заре и работают не восемь часов, а сколько сил хватает — десять, двенадцать, четырнадцать. Когда же бывает так, что людей много, а работы мало, каждый старается заработать для себя лично как можно больше трудодней. Новое же в их работе то, что теперь они и с религиозными праздниками не считаются, пашут и сеют и на пасху и на троицу, раньше этого никогда не было.

После неудачных попыток коллективизации 1949—1953 гг., когда местные руководители объявили Балмазуйварош социалистическим селом, после развала кооперативов в июне 1953 г., после неудач нового передела земли в 1956—1957 гг. уже начиная с 1960 г. сельскохозяйственные кооперативы Балмазуйвароша крепко стали на ноги, члены кооперативов живут зажиточно, хоть и не покупают себе легковых машин. Я как-то поинтересовался: из 2800 членов кооперативов ни у кого нет своей машины, кроме главного бухгалтера и полевода. Даже у председателя нет своей машины. В кооперативе «Красная звезда», имеющем много наград за хорошее ведение хозяйства, есть служебная машина, но я не раз видел председателя этого кооператива, садящегося перед сельсоветом на велосипед.

Речь здесь идет не о материальных возможностях членов кооператива, не об их балансе, дело скорее в том, что в селе, у которого от околицы до околицы где пять, а где и шесть километров, имеются лишь четыре улицы, ведущие к асфальтированному шоссе, по которым можно проехать на машине. По другим же улицам и дорогам в течение трех четвертей года бывает такое разливанное море грязи, что преодолеть его могут лишь огромные грузовые машины и тягачи, оставляющие за собой такие глубокие колеи, где по колено, а где и выше, проехать по которым не отважится ни одна легковая машина.

Но я думаю, что некоторую роль в таком нежелании иметь собственные машины играет и суровый крестьянский демократизм. Председатели колхозов и большинство руководителей — почти все местные жители, и к тому же из бедных крестьян, а здешняя поговорка говорит, что «не пристало хвостом трясти», если кто оказался в верхах. По сравнению с другими районами у нас и мотоциклов мало, из 2800 членов кооперативов лишь у 187 есть мотоциклы, зато велосипедами обзавелись почти все. Расстояния здесь большие, велосипед всем необходим. Чрезвычайно интересно и удивительно, что за весь 1966 год не было ни одной аварии сельскохозяйственных машин. Из этого видно, что людей здесь на все хватает и работу на дорогостоящих машинах не доверяют кому попало.

Зато телевизоров и стиральных машин в селе много и с каждым годом становится все больше, а пылесосов и полотеров почти совсем нет, мало тут и ковров и полов деревянных. Иначе говоря, вековой практицизм бедняков сохранился и в наши дни и не дает места для возникновения мелкобуржуазного чванства. Даже для тех, кто хорошо зарабатывает, первая мысль не о своей машине, а о доме и о мебели.

Мы слишком широко использовали и слишком много применяли статистические данные, статистика, как мерило благополучия, потеряла в наших глазах доверие. Чувство уверенности в завтрашнем дне значит гораздо больше, чем подсчет доходов и расходов. Человек может зарабатывать 5—6 тысяч в месяц, но не чувствовать уверенности в будущем, а при 2—3 тысячах жить спокойно, без заботы о будущем (меньше двух тысяч никто не зарабатывает). И все-таки мне хочется привести несколько цифр.

В селе к концу 1966 г. было около 17 тысяч жителей. Из них, по данным сельсовета, трудоспособных совершеннолетних мужчин и женщин 9460 человек.

Из них

работают в сельском хозяйстве	3050
в промышленности	850
в торговой сети	289
прочие	366

1200 человек из сельских жителей, опять-таки по данным сельского совета, постоянно работают в других местностях, в первую очередь в Дебрецене, несколько меньше в промышленных предприятиях Мишкольца и понемногу на заводах и в строительных предприятиях по всей стране.

По данным сельсовета, число работоспособных жителей села ненамного превышает половину всего населения. А где же остальные, что они делают, чем занимаются? Неужели и в селе существуют бездельники и тунеядцы? Но где же они и на какие средства живут?

Где? Сельсовет на этот вопрос, конечно, ответить не может. Некоторые из них, очевидно, помогают в работе членам своей семьи, но сами нигде в штате не значатся. Другие живут на средства мужа или родителей. Какая-то часть зарабатывает себе на хлеб частной работой, иные — люди с уменьшенной трудоспособностью, полубольные, полуинвалиды, не способные выполнять тяжелую работу, не имеющие на то ни физических, ни духовных сил. В селе у них нет возможностей заработка, которые представляются для таких людей в городе. Живут, как могут. Устраиваются. Сидят на шее у родственников. И, наконец, есть еще достаточно сезонных рабочих, разнорабочих, которые берутся за любую работу, главным образом в государственных хозяйствах Хортобади и на лесозаготовках.

Остальные — «трудовые резервы». Девушки, не попавшие в среднюю школу, в селе нет для них работы, в город не пускают родители. Такого же возраста парни, которым не удалось устроиться в среднюю школу, а в ремесленное училище сами не захотели. И еще, конечно, жены и матери. Они не могут оставить дом и ребят, поросят, кур, гусей и уток. Кое-что зарабатывают и они на яйцах и домашней птице, но если бы даже кто-то из них захотел уйти на постоянную работу, такой работы для них в селе не найдется.

Бывает и так, что муж и старшие сыновья зарабатывают достаточно, чтобы иметь на своем иждивении жену и мать, младших сестер и братьев: потребности остались почти что прежние, крестьянские — дешевая еда, скромная одежда, экономия на топливе, освещении и т. д. и т. п. Да и покупать для хозяйства почти ничего не надо. Хлеб, сало, молоко, яйца, свинина — продукты домашние для всех, кто еще не отказался от приусадебного участка.

Такова статистическая основа социологической картины села. Картина не так уж плоха, но и слишком хорошей назвать ее нельзя. Надо, однако, учитывать, что в Балмазуйвароше на каждого члена кооператива приходится по 6 хольдов земли — а не по 10—12 или даже 16, как в некоторых других кооперативах,— да еще из этих шести 2—3 хольда солончаки или болотистая почва, что нет у членов кооператива ни виноградников, ни фруктовых садов, ни даже больших огородов, и все-таки из таких же бедных кооперативов Балмазуйварош безусловно выдвигается на одно из первых мест. С 1960 г. меньше сорока форинтов за трудодень никогда не выплачивали.

Однако меня, писателя, да и читателя, жаждущего познать самую настоящую действительность, самую ее суть, одни лишь статистические данные удовлетворить не могут. За ними могут еще скрываться различные настроения, различные позиции: от хороших — или, чтобы смотреть вполне реалистически, достаточно хороших — до очень скверных. Картина села в этом смысле представляется далеко не единообразной. О самочувствии и поведении бывших сельских богачей я уже говорил. Середняки, так долго мечтавшие о белых стенах и красной черепичной крыше собственного хуторка, начинают постепенно выздоравливать от этой мечты. Первая стадия выздоровления: «Очевидно, лучше этого не будет...» Вторая стадия, брошенное доброжелательно: «Все-таки, кажется, из этого что-то получается». Доказательством служат 20—22 центнера пшеницы, собранные с некоторых полей, 250—300 центнеров, а кое-где и больше сахарной свеклы (в кооперативе «Красная звезда» с некоторых полей собрали до 380 центнеров) и в некоторых случаях 50—60 центнеров початков кукурузы И к тому же еще деньги в твердых денежных знаках форинтах, сумма которых в месяц достигает или превышает тысячу, а у очень многих и две тысячи форинтов.

Третья стадия — принятие коллективного хозяйства уже по убеждению и от всей души: «Будем, братцы, работать лучше, ведь на себя работаем!» Полное слияние человека с коллективом — вопрос будущего. Но уже и теперь можно с полной уверенностью сказать, что в кооперативе, где люди перешли ко второй стадии выздоровления, неминуемо последует и третья, если достигнутая степень производительности и благополучия укрепится или еще больше возрастет.

И все-таки это еще не счастье, не то счастье, в которое мы когда-то верили. Такого счастья и не может быть. Оно несовместимо с динамикой человеческой натуры. Но если мы можем достичь слияния личного и общественного в стремлении

к тем же целям, улучшится и общее настроение, а это уже своего рода счастье. Новые поколения позабудут о своей лошади и телеге, позабудут о хуторе с красной черепичной крышей, особенно если будет у них быстрый мотоцикл и хороший дом. Для ведения прогрессивного хозяйства, на какой бы высоте ни была уже техника, нужно много молодых работников, предъявляемые к ним требования все растут, машины становятся все сложнее, не каждый в них разберется, для садоводства и огородничества требуются все большие знания, уж не говоря о возросшей роли в сельском хозяйстве химии. Теперь не достаточно иметь физическую силу, здоровые руки и ноги, надо, чтоб и голова соображала. Без способностей и инициативы теперь и в сельском хозяйстве никуда не денешься.

Люди, занимающиеся земледелием, часто ругаются, проклинают все на свете, огорчаются или отчаиваются (для всего этого в каждодневной борьбе с силами природы много бывает причин), но пессимизм, который теперь в Европе называют «отчуждением», никак не может ужиться с трудом земледельца. Каждый крестьянин, чем бы он ни занимался, будь у него в руках баранка машины или кнут пастуха, обязательно залюбуется волнующейся полосой пшеницы, такой густой, что «по ней сверху змея проползти может», зеленеющим полем молодой кукурузы, красотой фруктового сада...

Сто, тысяча, десять тысяч человек в конюшнях и коровниках государственных хозяйств ухаживают за скотом, кормят его, убирают навоз, словом, занимаются своим привычным делом. Где-то в другом месте сто, тысяча, десять тысяч разнорабочих мешают бетон, гасят известь, подносят кирпичи, помогают строить дом, в котором они сами никогда не будут и не хотят жить, их дом в деревне и жена там работает в кооперативе...

Мечущиеся души, большинство из них никогда не высыпаются, выходные дни проходят в погоне за добавочным частным заработком или за развлечениями. Это способствует не только развитию в них алчности или приверженности к вину, но и подчиняет общие интересы частным, своим. Их уже не удовлетворяет сознание, что не они одни, но и отпрыски их бывших хозяев на заре ходят на «поденную» работу, чувство справедливой мести давно уже испарилось и унесено ветром истории.

В социалистическом обществе живут такие люди, которые занимаются любимым трудом, выбирают себе работу по своим способностям и призванию, но есть и другие — у нас их пока еще очень много,— которые делают лишь то, что надо, что они вынуждены делать. Обеспеченное существование становится иногда большой бедой, если превращается в самоцель. А если у человека нет ничего, кроме физической силы, то обеспеченность становится его главной заботой, как урожай для земледельца, прибыль для торговца.

Да, «реализм ежедневного существования» — вещь неплохая, с ним можно работать, идти вперед, строить большие дома, заводы, хорошие дороги и каналы, силосные башни и холодильники (все это чаще всего стоит дороже, чем запланировано), но этого еще недостаточно. У человека есть еще душа, и эту душу надо питать — давать ей духовную пищу, расширять кругозор,— надо сделать так, чтоб она вмещала в себя весь народ, а потом и все человечество, а если понадобится, то и весь космос. Не можем мы долгое время, а тем более вечно жить «трактирной философией», надо воспитывать в людях чувство коллектива, заботу об обществе, чувство национальной ответственности — словом, все то, что может быть духовной пищей человека. Раньше люди получали духовную пищу от религиозных обрядов, народных песен и прикладного народного искусства. Надо добавить к этому замечательные народные обряды свадеб и крестин, запоминающиеся на всю жизнь до самой глубокой старости (в Балмазуйвароше и до сих пор далеко не все отказались от этих обрядов).

Все это очень важно. И я думаю, что в ближайшем будущем станет самой большой заботой социалистического строя.

■

В Балмазуйвароше, как и по всей стране, в области культуры нам надо прежде всего покончить с теми иллюзиями, которые мы сами — революционеры и социалисты-гуманисты — вырастили, в которые мы впали.

С грамотностью, с уменьем читать и писать никаких затруднений у нас нет.

Восьмилетняя школа Балмазуйвароша выпускает ежегодно 340—350 человек, но из них лишь 100—120 поступают в среднюю школу, да и то лишь с тех пор, как года два тому назад в селе была создана гимназия. Примерно столько же идет в ремесленные училища, остальные остаются дома, обрабатывают землю или работают на стороне. Девушки рассчитывают выйти замуж, стать домашними хозяйками, а фактически они работают и дома и в поле, делают все, что понадобится.

В Балмазуйвароше постоянной средней школы нет. Во временном помещении открыли первые два класса гимназии, думали строить для нее новое здание, а тем временем была поставлена под сомнение целесообразность существования учебного заведения типа гимназии вообще, и здания так до сих пор и не построили. В

соседних городах — Дебрецене, Бёсёрмене, Собосло — существуют и гимназии, и другие средние школы, но в них нет места для приезжих, а главное, нет места в общежитиях. Расстояние между Балмазуйварошем и городами порядочное, 20—25 км, ближе других находится Бёсёрмень, но туда нет ни железнодорожной ветки, ни постоянного автобусного сообщения.

Отцы и матери относятся к гимназическому образованию критически, знают, что за окончанием гимназии последует не «чистая» работа в каком-либо учреждении или даже докторский чин, а сплошной туман и мучительный вопрос: «Что же нам с ним дальше делать?»

И зачем нужно гуманитарное образование тем, кто не чувствует в себе живой духовной заинтересованности, жажды знаний, способностей и восприимчивости? Из таких людей может сформироваться лишь псевдоинтеллигенция, бюрократы, мещане или неудачники, потому что лишь у немногих будет достаточно мужества и силы воли, чтобы после окончания гимназии стать каменщиком, трактористом, земледельцем. А если кому-нибудь из них все же придется это сделать, он будет себя чувствовать незаслуженно обиженным судьбой или, что еще хуже, государством и обществом.

В общем, положение в Балмазуйвароше и в этом отношении лучше, чем во многих других районах страны, здесь еще достаточно работы в любой отрасли для всех, молодежи есть из чего выбирать. В большинстве семей считается вполне естественным, что их сыновья пойдут работать, а не будут стремиться «делать карьеру», как до сих пор еще называют любую интеллигентную профессию. Да и среди молодежи еще достаточно таких, кто не уклоняется от тяжелого физического труда в сельском хозяйстве, но зато все стремятся иметь постоянное место работы и обеспеченный заработок. Не шататься по свету, а каждый вечер ложиться под бок к жене в кровать. Такие люди рано женятся, строят себе новые дома и обязательно у себя в деревне, на них всегда можно рассчитывать в любом земледельческом труде. Если они еще и не социалисты по своему мировоззрению, то привычно и охотно работают в коллективе, а время формирует из них хороших и полезных граждан своего отечества. Но это всего лишь какая-то часть молодежи, потому что последствием усиленной механизации и недостаточной интенсификации сельского хозяйства является постоянное уменьшение числа занятых в земледельческом труде крестьян.

Но каков же все-таки средний образовательный уровень и культурные запросы в селе?

Почти все получают по подписке газеты, многие семьи уже завели себе радиоприемники, телевизоры, количество читателей в местной библиотеке равняется среднему количеству по всей стране. Однако традиционное недоверие к «чужакам», к людям других, главным образом интеллигентных профессий почти совсем не изменилось. Это распространяется и на учителей. Член кооператива или сезонный рабочий, зарабатывающий от двух до трех тысяч форинтов в месяц, до сих пор еще считает барином учителя, зарплата которого колеблется от 1300 до 1600 форинтов. И самое большее признание, на которое может рассчитывать «ученый» человек, работающий не покладая рук на ниве общественного просвещения,— эпитет «порядочный» человек.

Внешний вид села изменился, люди одеваются по-городскому. Внутренние изменения пока еще мало видны, но они, конечно, зреют где-то в самой глубине и проявятся позже, может быть, в другом поколении.

Если общество построено на здоровых началах, то в нем происходит такой естественный отбор, такое капиллярное проникновение (внутренних духовных течений и взаимовлияний), при которых достижения умственные, духовные и моральные могут распространяться и реализоваться во всем коллективе, во всем обществе

Проводниками, через которые все это проникает в села и на хутора, как раз и являются те несколько сотен способных людей, живо интересующихся всем, что думают, пишут, говорят, как действуют передовые люди страны и всего человечества. Это может быть бригадир или любой член бригады в сельскохозяйственном производственном кооперативе или в государственном хозяйстве, вообще любой член коллектива, в котором рядом с профессиональными, техническими познаниями укоренились и общеобразовательные, гуманитарные познания, обуславливающие и его моральное поведение (последнее очень важно в непосредственном человеческом общении, при котором слово не должно расходиться с поведением и делом). Это и может послужить ключом к пониманию культурного развития, постепенного, относительного, необходимо иерархического. Так было всегда, начиная с самых древних времен. Самый ловкий охотник, лучший землепашец, изобретательный кустарь и, конечно, самые честные, с точки зрения данного коллектива, достойные своим поведением самого большого уважения люди всегда служили примером в каждом развивающемся обществе. А там, где этого не было, исчезали, рассеивались племена.

Ни школа, ни кино, ни телевидение не могут заменить коллективного взаимовлияния Это и есть диалектическое единство народного образования и коллектива.

Нам еще далеко до этого, но мы уже чувствуем, как нам этого не хватает, и думаем над осуществлением такого единства. Твердое мировоззрение социализма, поведение, достойное члена человеческого коллектива, могут быть привиты людям путем их умственного и духовного воспитания.

■

Мне самому закралось уже в душу подозрение — представляю себе, насколько сильнее оно в других! — не создаю ли я миф из моего села, из моего народа только потому, что я сам там родился? Могут ли люди, живущие идеологическими вопросами, общественной работой, личными и общественными успехами, могут ли такие люди понять тех, даже если они выходцы из их среды, чьи дни заполнены лишь заботами о своем существовании?

Могут. Я прочитал все, что важно прочитать, из литературы половины земного шара (во всяком случае все то, что считается важным), и все-таки могу ли я отрицать, что впитанное мною в этом селе — не только привычки, автоматические жесты и мысли, но и все то, что повлияло на мой разум, душу, вкус,— до сих пор живет во мне?

Человечество знает все больше, с каждым днем все больше о том, что происходит на земле и на небе, а что такое народ в смысле общества и в смысле группы людей одного языка и привычек, мы все еще знаем слишком мало. А ведь если когда-нибудь критик или литературовед захочет глубже понять, кто я такой, то источник моего существования он должен искать тут, на краю Хортобади.

Племя, группа или ветвь венгерского народа в Балмазуйвароше еще достаточно динамична, способна к дальнейшему развитию, причем способна во всех отношениях, даже к тому, чтобы по-настоящему понять историю. Таких племен в нашей стране много, они большинство. Люди, которые не способны к революционным метаморфозам, к диалектическому преобразованию тела и души, инстинктов и разума, будь то бывшие помещики, капиталисты, мелкобуржуазный элемент или зажиточные крестьяне, а иногда и рабочие, выпадают из истории, люди, умеющие приспособляться, думающие лишь об одном своем существовании, выпадают из коллектива и из общества, но страна, Венгрия будущего, будет принадлежать тем, кто способен на такое своеобразное внутреннее преобразование, которое требует от нас социалистическая история. И опять я задаю себе вопрос: что такое народ? И опять отвечаю, что я этого не знаю, знаю лишь одно: народные группы или коллективы — основа для жизни и развития всей нации. Любая идея, мысль, план, желание и цель, искусство, наука и идеология могут быть осуществлены только в народе.

А для того чтобы не было никаких недоразумений, скажу, что народом я называю не только крестьян, но и рабочих, интеллигенцию, всех, кто принадлежит коллективу и обществу и живет по его законам.

Лишенному веры в бога, в небеса человечеству — всему человечеству — нужно что-то другое, а что может быть лучше той истины, которая осуществляется в коллективизме и демократии в тех пределах, которые могут быть ограничены лишь противоречиями существования и возможностями человеческой натуры. А такие пределы если и не безграничны, то во всяком случае очень широки...

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Л. АННИНСКИЙ

ПОЛЬСКОЕ КИНО В СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ

Термин «польская школа кино» придумали французы.

Сами поляки в это время писали о кризисе своего кинематографа. Может быть, в этом парадоксе вообще заключена какая-то необходимая для душевного равновесия механика — замечено, что в бесплодные периоды искусства обычно пишут о расцвете искусства, и напротив, момент, оставляющий нам шедевры, как правило, наполнен сетованиями на отставание. Поляки стали писать о кризисе своего экрана с середины пятидесятых годов. Критик Мечислав Валясек удачно пошутил, что в польской кинематографии имеет место «непрерывный кризис». Этот кризис продолжается «с момента зарождения послевоенной польской кинематографии» — и дай бог на будущее.

Разумеется, и тогда и теперь в Польше делалось и делается много проходных картин, которые в лучшем случае дают представление о временной моде. Есть модные штампы западного образца, есть штампы противоположные. Есть картины дурного вкуса, легковесно-развлекательные или представляющие так называемый «эксперимент», за которым не оказывается никаких серьезных исканий, а то и просто компрометирующие идею художественной активности, псевдоответы на запросы зрителя. Эту продукцию оставим пока в стороне — поговорим о лучшем, о том, чем славно польское кино, о том, что вошло в мировой опыт.

Относительно «момента зарождения» новой польской школы мы еще поговорим — здесь есть разные точки зрения. Однако рождение мировой легенды о польской школе датируется совершенно точно: Канн, 1957 год, премьера и триумф «Канала» Анджея Вайды. Отсюда берет начало и термин, и все споры, с ним связанные. Отсюда возникает вокруг польских фильмов та качественно неповторимая атмосфера, в которой ни один польский фильм не смотрится, как «просто фильм», как лента, как единица, но прежде всего соотносится с тем общим представлением о польском кино, которое стало частью нашего знания о мире. Мы смотрим не картины. Мы смотрим состояние, выражающееся в картинах. Мы спорим не о «польской школе» кинематографического мастерства. Мы следим: **что** с ними происходит? Польское кино прозвучало как резкая сольная партия в духовной симфонии послевоенного человечества, все остальное менее существенно; можно принимать или не принимать термин «польская школа», но нельзя мимо него пройти, потому что событие состоялось.

Французы придумали термин.

Советские кинокритики, исследователи польского кино, реагируют на термин.

Автор книги об Анджее Вайде М. Черненко приемлет термин: он стремится раскрыть стоящее за ним содержание и пишет о стилистике польской школы.

Автор книги о Кавалеровиче Р. Соболев термина не приемлет, он говорит, что «школы» не было и нет,— а потом тоже пишет о стилистике польского кино как целого.

Позиция И. Рубановой в ее работе «Польское кино» выражена так: «Когда миф о польской школе уже развеялся...»

Я намерен помирить всех троих. Хорошо, «школы» нет. Но—чувствуете?— **что-то** есть.

Впрочем, страхи перед термином, кажется, уже не актуальны. Они развеялись даже скорее, чем можно было ожидать. Через год после И. Рубановой издает свое исследование «Кино Польши» Янина Маркулан (1967), и она не только употребляет слова «польская школа» без всяких извинений, но пишет специальный параграф «Польская школа — что это такое?», и этот параграф, отвлеченный от конкретного материала и эмпирических «примеров», кажется одним из интереснейших.

В явлении польской школы есть как бы два аспекта. Есть ее польское происхождение и есть ее мировой резонанс. С точки зрения национального генезиса триумф польского кино неудивителен; здесь все можно объяснить логически; здесь все четко выводится из традиций прошлого и условий настоящего; здесь ни вайдовская усугубленная символика, ни виртуозная утонченность Кавалеровича не кажутся неожиданными; здесь нет никакого «чуда», а есть закономерность: опять перед нами вековой польский сплав гордости и горечи, романтической спонтанности темперамента и саморазъедающей иронии интеллекта — то, что С. Герасимов как-то точно назвал **воспаленной** любовью к отчизне. Если смотреть изнутри, то вся прошлая история рождает в польском искусстве ту готовность к переживанию трагического, которая в середине XX века, воплотившись в несколько великих кинокартин, поразила мир. Польская школа вовсе не кажется чудом, если выводить ее, конечно, не из слезливых лент Херца и довоенной компании «Сфинкс», а из польской истории как целого. Но польская школа является чудом XX века, как явление его духовной жизни, как общечеловеческий феномен. Появление «Канала» и «Пассажирки» логично в плане развития традиций «Чолувки» и Лодзинской студии. Но тот факт, что **мир увидел** в фильмах Вайды, Мунка и Кавалеровича символ сопротивляемости человеческого духа, тот факт, что для мира эти фильмы стали вехой духовной истории, тот факт, что мир оказался готов принять польскую трагедию, как свою трагедию,— вот чудо. В том смысле, что человеческое достоинство даже и в безвыходных ситуациях всегда было и всегда будет чудом, на котором стоит мир.

Послевоенное польское кино явилось одним из взлетов социалистической культуры, одним из сильнейших аргументов в дискуссии о человеке, которая развернулась в мировом искусстве. В этом споре за социалистическим искусством стояла вера в человека, в его нравственные силы, в его неистребимое достоинство; гуманистический пафос обусловил мировой резонанс польской школы. Без этой главы нельзя представить себе развитие послевоенного социалистического искусства. Без этой главы немыслимо представить себе теперь и мировое искусство. Польское кино принадлежит уже не только полякам, но всему человечеству... в его прогрессивной части, конечно.

И. Рубанова точно определила суть дела. Есть польское кино и есть легенда о польском кино. А легенды, как писал Честертон, в известном смысле реальнее фактов — факты говорят правду об отдельных людях, легенды говорят правду о миллионах.

За фактами надо идти в польскую кинопрессу. Советские исследователи успешно делают это, отмечу сразу во всех четырех книгах эту черту: детальнейшее знание источников, уважение и любовь к материалу, безусловный польский контекст, который в академичных трудах И. Рубановой и Я. Маркулан приобретает подчеркнутую роль методологического принципа. Не пытаясь ни в коей мере тягаться с авторами в знании фактов, рискну все же заметить, что чтение немногих переведенных у нас польских киноработ (например, книги Б. Михалека) оставило у меня сложное впечатление именно прикованности к фактам. В то время как на мировом экране польские фильмы пятидесятых годов производили буквально переворот в душах — у себя на родине они вызывали дискуссии, пожалуй, чересчур практического толка. Я имею в виду не только обычные прения о том, удался или не удался фильм, имел или не имел автор право «замкнуться в психологии» и т. п., вплоть до организационных взаимодействий мастеров с киностудиями,— нет, даже и в более высоких спорах кино являлось не более чем доводом: реабилитация рядовых аковцев, оценка Варшавского восстания, даже «проклятый» вопрос о практических плодах героизма, имеющий на польской почве характер общенациональной исторической проблемы; ввязанное в эти дискуссии, рождавшееся на их фоне польское кино было активнейшим участником бурного периода разви-

---

Л. АННИНСКИЙ
ПОЛЬСКОЕ КИНО В СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ

тия польского сознания в прошлом десятилетии... Но повторяю: все это, вместе взятое, все-таки не покрывает того воздействия, которое произвело польское кино, когда оно вышло на мировой экран и из факта польского стало фактом общечеловеческим... или, если хотите, когда из леса фактов оно воспарило в небеса легенд.

Здесь уже становится интересным и другое: именно отношение к легенде, история ее признания, то, чем отложилось в нашем сознании увиденное на польском экране. У меня нет охоты сравнивать нынешнее отношение нашей критики к «Пеплу и алмазу» с тем, что писалось у нас об этом фильме, скажем, в 1959 году. Но вот что важно: восемь лет назад наше восприятие польского кино было почти настолько же ввязано в конкретные фактические споры, как восприятие самих поляков. Большое видится на расстоянии? Может быть. Нынешние книжки о польском кино, при всем их скрупулезном проникновении в материал, в источники, в фактуру, имеют одну и ту же сверхзадачу: характеристику польского кино как явления целостного, единого, ставшего словом в мировой дискуссии о человеке нашей эпохи. И это самое интересное в них.

М. Черненко, автор книги об Анджее Вайде, идет к цели прямым путем. Из трех китов польского кино (Вайда — Кавалерович — Мунк) автор «Поколения» и «Канала» — не просто первый, кого мировая критика назвала создателем нового стиля, именно Вайда воплотил этот новый стиль в его синтетической завершенности. В рубановской характеристике (мощная пластика Вайды — виртуозность Кавалеровича — интеллектуальность Мунка) уловлено соотношение индивидуальных попыток. Равно как и в мысли Я. Маркулан об «импровизационности» Вайды, «эстетизме» Кавалеровича и «рационализме» Мунка. Вайда был тем, кто выявил эстетику польского кино как целое, кто дал эмблему, кто нашел суть, главный и принципиальный контур. И он был первым — настолько первым, что казался «импровизатором»...

Размышляя о стилистике этого режиссера, М. Черненко, в сущности, создает как бы символический портрет польского кино вообще.

«В крайних ситуациях герои обнажают самое существенное и определяющее». Крайняя ситуация — это точка, когда отступать некуда, это Ясь, бросающийся в пролет лестницы, по которой его догоняют каратели, это мгновенье выбора, когда уже нет возможности выбора и остается только одно — умереть человеком. Трагическая ситуация не знает среднего пути; здесь вопрос стоит так: или — или, и здесь ключевая черта — контрастность: Вайда медлителен в режиссерских ритмах, и он же ищет в актере «конвульсивную впечатлительность», которая в «спазматических ситуациях» взрывалась бы мгновенно, бесповоротно и непоправимо. М. Черненко дает четкие профессиональные характеристики фильмам Вайды, но я пытаюсь прочесть в этих характеристиках не профессиональные секреты и не тематические приемы, а именно жизненный принцип этого кинематографа, его бытийный нерв, его дыхание. Трагические диссонансы, столкновение крайних пределов (в темпераменте игры, в фактуре живого и мертвого, в ритме), мгновенье крайнего выбора, взрыв энергии на последней грани. «Человек **наедине** с историей», я выделяю центральное слово в этой формуле Черненко.

Р. Соболев, автор книги о Кавалеровиче, идет к этому центру с другого конца.

«Одно из самых высоких достоинств польского кино в целом — необыкновенная изобразительная культура, возвращение кадру того значения, что было частично утеряно после появления звука...»

Общее наблюдение Р. Соболева над стилем «польской школы»: ее живописность, ее интерес к кинообразу как к остановленному мгновению, делающемуся символом, знаком, эмблемой,— черта, которая должна бы противоречить текучей динамике кинематографа, коль скоро он освобождается от болтливой статуарности звукового периода. Однако — не противоречит! Р. Соболев поглощен фильмами Кавалеровича, как **виртуоза** экрана, он часто вынужден мыслить категориями мастерства, стиля, но и он приходит к тем же проблемам: человек наедине с историей. «Польская школа кино (здесь Р. Соболев проговаривается: ведь он клялся, что «школы» нет.— **Л. А.**) с ее вниманием к эмоциональной жизни людей, с ее акцентированием страданий людей, ни в чем не повинных...»

Эта формула одновременно и слишком широка, и слишком узка: широка в первой части («внимание к эмоциональной жизни» — где этого нет?), узка во второй («ни в чем не повинных»? — не только, не только...). Но Р. Соболев точно улавливает чисто польскую черту: пристальное, акцентированное внимание... как бы сверхкрупный план духовности, психологический стоп-кадр — торможение перед взрывом. У Вайды это торможение может показаться «живописностью», для Кавалеровича придуман другой ход: его секрет — внутрикадровый монтаж... малое количество склеек (и что же из этого?)... замедленность ритмов (так! а это что значит?)... пристальность характеристик (стоп! это то, что мы ищем).

Вышеприведенную цепочку рассуждений, связывающих личную виртуозность Кавалеровича с общим стилем польской

школы, Р. Соболев заимствует из статьи И. Рубановой. В свою книгу «Польское кино. Фильмы о войне и оккупации» И. Рубанова эту статью о Кавалеровиче не включила: не подошла по тематике. Но по сути, как видим, подошла бы. Это еще раз показывает, что польское кино — не количественный набор фильмов, сделанных в Польше, это духовный феномен, черты которого улавливаются во всякой тематике: «про войну» ли, «про оккупацию» или про тайную страсть монашенки.

И. Рубанова перечисляет признаки польской школы, как они мыслятся в европейской критике: «интеллектуальность и дискуссионность идейного смысла; напряженная конфликтность сюжета, в центре которого всегда кризисный момент в жизни человека; юношеское презрение к принятым в обращении формам киновыразительности; бурная увлеченность эстетическим освоением материала». Этот смутноватый перечень верен, пожалуй, по всем частным признакам, но он не выявляет исходной черты, единства и смысла всех этих частных признаков.

Рубанова чувствует общий исток. «Обостренное чувство судьбы нации и личности на переломе истории...»

Теперь этот общий посыл надо соединить с тем каскадом «признаков», которым жонглировала европейская критика.

«Вайда, Мунк и кинематографисты их призыва осознали **механизм** героического деяния». Сопоставьте эту точную формулу с профессиональными наблюдениями Черненко и Соболева: наезд камеры на лицо отдельного человека... психологический стоп-кадр... динамика импульсивной, спазматической ситуации, мгновенно заторможенный, как бы разложенный на моменты поступок. Не просто последний выбор — **процесс** выбора, его структура, его механизм.

«Мунк, Вайда, Ружевич,— пишет И. Рубанова,— подробно исследуют пути героики. Они... расщепят подвиг интеллектуальной рефлексией, включат его в парадоксальный контекст...»

Это же сочетание спонтанной целостности и разъедающей рефлексии приковывает внимание Янины Маркулан. Она пишет о «растрепанной» режиссуре, сквозь кажущуюся неорганизованность которой проступает монолитная страсть. Слово «растрепанность», наверное, не слишком удачное; пожалуй, Я. Маркулан находит точный образ там, где она пишет о рассеченности нашего внимания при просмотре «Канала». Форма, как бы рассеченная материалом,— не прием кинопрофессионала; скорее так: рассеченность означает как бы тип судьбы в польской школе, ее воздух, условия действия. Недаром здесь так часты сгущенные символы — они были бы ходульны на реально-бытовом фоне; они поразительны на разряженном, разорванном, **рассеченном** фоне того бытия, которое знает польская школа. И вот вновь собирается, концентрируется над бездной, побеждает вопреки абсурдной ситуации, утверждает себя даже ценою гибели человеческое достоинство. И эта отчеркнутая горечью духовная победа есть то, что Я. Маркулан называет «романтическими пристрастиями» и «преобладанием эмоций над логикой». Назовите это как угодно: «эмоцией», «интуицией» или даже «поэтичностью атмосферы» — сквозь приблизительные слова уловится одно: значит, в духовном составе человека есть все-таки что-то более сильное, чем безвыходная логика обстоятельств.

Ценнейшее в советских книгах о польском кино — стремление выявить в этом кино то, что внесло оно в мировую духовную культуру, то, что дал миру именно этот, а не другой кинематограф. Фильмы ставятся в любой развитой стране, между тем уровень здесь выявляется элементарным вопросом. Спросите зрителя (или себя): что такое австрийское кино? Финское? Индийское? Последует перечисление отдельных фильмов. Теперь скажите ему: «кино Италии», скажите: «кино Польши» — и он вспомнит не фильмы, но состояние души, ассоциирующееся с этими словами. Итальянский неореализм и польская школа — недаром, разумеется, сравнение двух этих явлений — непременная тема всех, кто осмысляет кино Польши.

Итальянский неореализм — это гомонящая толпа, это прямая сила простых истин: свободы, честности, коллективизма — и это прямая связь толпы в кадре и людей в зрительном зале, это прочность человека, которого нельзя душевно оторвать от других людей, даже если его и отделяет от них сюжет.

Польская школа — это обратная ситуация. Там была толпа — здесь человек, оставшийся наедине с судьбой. Там была реальность, выплеснувшаяся на экран,— здесь романтическое напряжение, выявляющееся в условных, очищенных от случайного, почти эмблематических по зрелищности ситуациях. Здесь человек изначально отсечен от других людей и должен делать выбор сам, даже если он по сюжету и ввязан в общее действие.

По точному наблюдению И. Рубановой, польская школа начиналась как «огромный общий план, исполненный тысячной массовкой», «наезд камеры» и резкое выявление лица — это уже потом... Вообще говоря, итальянский неореализм проделал аналогичный путь: от тысячной массовки к резкому выявлению лица (Феллини, это, конечно, «наезд камеры» на человеческую душу). И там и здесь камера проделала одну и

Л. АННИНСКИЙ
ПОЛЬСКОЕ КИНО В СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ

ту же эволюцию. И все же решающими остались разные этапы: в Италии — «огромный общий план», впоследствии раздробившийся; в Польше — «огромный крупный план», предварительно бывший общим. Мы отсчитываем от точки, которая зафиксировалась в мировой дискуссии о человеке: Польша дала этой дискуссии «крупный план», раскрыла механизм истории, взятый под увеличительное стекло, испытала личность **одии на один** с историей.

Теперь зададим себе вопрос: откуда, как в этой растоптанной, окровавленной стране возникло искусство мирового звучания? Ведь если взять и просто сопоставить беспросветную провинциальность довоенного польского синематографа и то, что дала Польша мировой культуре после войны (причем между двумя этими полюсами — не праздничные будни культурного развития, а национальная катастрофа!) — так вот, взвесьте все это, и опять выйдет: чудо.

По остроумному замечанию Р. Соболева, польским кинематографистам пришлось оглядываться не назад, а по сторонам.

Позади ничего не было — кроме жалких официозов (это были так называемые «фильмы на «Прошу встать!» — после демонстрации билетер кричал: «Прошу встать!» — публика вставала и пела «Еще Польска не згинела...») и кроме таких же жалких попыток завлечь публику заемным бонтоном с французского стола. «О том, что в Польше существует кинопроизводство,— пишет о довоенном времени И. Рубанова,— в Европе нередко догадывались лишь из биографии Полы Негри, кинозвезды 20-х годов, польки, покинувшей родину в поисках выгодных контрактов и славы». Заштатное кино буржуазной Польши не оставило даже и дурных воспоминаний, молодые мастера послевоенного польского кино действительно могли не оглядываться назад.

Разумеется, «по сторонам» им было у кого учиться. Среди учителей были советские киноклассики 30-х годов, были итальянцы, французы. И все-таки это не объясняет главного: в небольшой, разгромленной войной стране, где не было, кажется, ни достаточных сил, ни сколько-нибудь ощутимых традиций, возникло киноискусство, обновившее мировой экран.

Здесь мы и подходим к главному — к тому страшному национальному опыту, который вынесла Польша из второй мировой войны, к тому нравственному потрясению, которое даже на фоне охваченного войной полумира остается по своей трагичности уникальным.

Да, не одна Польша была захвачена гитлеровцами.

Но проиграть войну мгновенно и не по стечению обстоятельств, а в безнадежно-отчаянной борьбе, проиграть, имея «лучшую в мире кавалерию»,— это не просто утрата независимости, это подчеркнутый крах.

Да, не в одной Польше фашизм убивал людей.

Но гибель каждого пятого, но уничтожение трех четвертей интеллигенции! — это не количественный уровень, это нечто качественно иное.

Да, не в одной Польше нацизм унижал человека.

Но унижение, дошедшее в оккупационной практике до степени биологического издевательства над нацией,— причем унижение, выпавшее на долю одного из самых романтических народов Европы, особо остро ощущавшего категорию достоинства, приносившего чуть не сам здравый смысл в жертву этому достоинству...

Потом, после войны, Польшу называли страной пятнадцатилетних солдат и семнадцатилетних офицеров.

Потом, пятнадцать лет спустя, ее называли страной тридцатилетних...

Апокалипсическая демография.

Поколение детей, вступивших в борьбу раньше, чем они могли не то что выиграть борьбу — просто осознать ее; поколение, начавшее эту борьбу в теоретически проигранной, логически безнадежной ситуации; поколение, которое после полного краха дела их отцов должно было еще вынести раскол в собственных рядах... В Польше не было коллаборационизма — гибель была единственной ценой, которой человек мог вернуть себе достоинство... Воистину детская наивность, раздавленная в этом поколении поляков немецкими танками в 1939 году, так и не сменилась нормальной зрелостью, она сразу пришла на грань последнего отчаяния, за которой ничего не остается, как только взвешивать обреченную жизнь на весах чистого героизма, иными словами — погибать, отвоевывая гибелью одно только символическое достоинство.

С точки зрения разумной практики польский героизм мог казаться сумасбродным, и поляки писали о нем с горечью и иронией, далекой от снисхождения.

С точки зрения мирового духовного опыта потрясение польского народа дало импульс для искусства огромной силы и качественно неповторимого склада.

Если — по известной кулешовской кинометафоре — лишь содранной кожей можно нащупывать секреты вещей, то решусь на сравнение: поляки содранной кожей почувствовали логику фашизма.

Страна, где до войны делали «фильмы на «Прошу встать!», где в войну не посещали кино в знак протеста (там шли нацистские ленты, но дело не только в этом,— сам факт посещения зрелища был кощунством по отношению к горю), страна, где уцелело от войны пять (пять!) кинотеатров,— страна эта после войны дала миру великое кино.

Очертим теперь границы явления. Его

центр — трилогия Вайды: «Канал», «Пепел и алмаз», «Поколение». Это не требует обоснований. Сложнее с Кавалеровичем. Любопытно, что в книгу И. Рубановой он вообще не попал — не прошел то по одному, то по другому признаку: «Тень» и «Настоящий конец большой войны» кажутся Рубановой недостаточно значительными, хотя они о войне, то есть «на тему»; «Поезд» же и «Мать Иоанна» (в значительности которых сомневаться смешно) посвящены «невоенной» тематике и, значит, «не на тему». Здесь как раз и начинается та периферия явления (если фильмы Вайды — его центр), где надо очень точно знать, чего мы ищем, чтобы не ошибиться. Чисто тематический подход хорош только для бесспорных случаев. Тема может уйти, а душевное состояние остается.

У Маяковского есть прекрасная формула: сейчас можно писать не о войне, но нельзя не писать **войной.**

Вайда — это о войне и войной.

Кавалерович?

«Многие раны, нанесенные войной, зажили, но остались незажившими самые горькие из них — в нашей психике. Такие раны наше поколение уже не вылечит. Для них нет конца войны...»

На «мирных» темах отслаивается то, что внесла польская школа в душевную жизнь людей: «тема» исчерпана, а радиация темы действует.

Здесь-то символический счетчик Гейгера, с которым смотрит фильмы И. Рубанова, и начинает врать. Он безукоризненно чувствовал «золотой» период явления: середина пятидесятых годов, наезд камеры, лицо выделено из толпы, вскрывается механизм подвига, пафос неотделим от темы: «Поколение», «Канал», «Пепел и алмаз»...

«Серебряный» период начинается на переломе 50-х и 60-х годов. Напряжение спадает. Великие образы созданы. Идет стабилизация идейных и художественных открытий. Идут фильмы, в которых школа уже не создается, а распознается по внешним признакам. Хас, Пассендорфер, Петельские...

Вкус И. Рубановой, однако, настолько **проканален** Вайдой, что всякое отступление от его эстетики кажется ей уроном, она интуитивно отбрасывает кинокомедию; прочтите, как она «хвалит» ленту Ленартовича «Джузеппе в Варшаве»: слава богу, мол, что за смехом не пропали нравственные моменты... то есть в данном случае Ленартович дела не испортил, но, вообще говоря, комедия о войне на польской почве по меньшей мере кощунство... и я понимаю здесь И. Рубанову: после «Канала» никакая Бабетта, никакой мистер Питкин не пойдет в голову, в данном случае инерция простого восприятия, оказавшаяся у И. Рубановой сильнее академического уважения к жанрам, вызывает у меня уважение.

Однако инерция эта мешает в некоторых более важных случаях.

Вот пример. Вернее, два примера. Два фильма «серебряной» поры польского кино. Похожие, типично польские и типично «вторичные», то есть отрабатывающие уже ранее созданные приемы. И — оба шли на советском экране, так что зритель может судить сам.

«Как быть любимой» Войцеха Хаса и «Возвращение» Ежи Пассендорфера (в нашем прокате — «Поиски прошлого»).

Начнем с Пассендорфера (хотя бы потому, что его фильм мне нравится). И. Рубанова его отвергает. Почему?

«Некто Седой, красивый мужчина в хорошем возрасте, приезжает из-за границы на родину. За несколько дней он успевает многое. Увидеть город, каналами которого он уходил от врага. Постоять у мемориальных досок на местах, где погибли его товарищи по оружию. Повидаться с теми из них, кого милостивая судьба оставила в живых... И убедиться в том, как глубоко, как жалко деградировали все те, кто с мужеством и дерзостной отвагой сражался с ненавистным врагом... Режиссер отводит от себя подозрение в «очернительстве»: в последнем кадре Седой, элегантный, высокомерный Седой сгибается в полупоклоне перед своим хозяином и садится за руль его «мерседеса». Стало быть, лакей...»

Надо отдать И. Рубановой должное: ее ирония здесь настолько академически тонка, что не мешает нам уловить суть дела. Вкус же и глаз ее здесь, как обычно, точны, так что сквозь неуловимую ухмылку («некто», «в хорошем возрасте», «милостивая судьба» и т. д.) мы четко прочитываем существо картины: человек ищет прошлое, оно невозвратимо, и человек опустошен без него.

И. Рубанова этой тоски не чувствует. А когда она почему-либо не приемлет фильм, то начинает ругать или хвалить его за какие-нибудь чисто профессиональные моменты. Так и здесь: монтаж фильма драматичен — резкие наезды — броская светотень и т. д. Верный признак: И. Рубанова недовольна. Чем же? А вот чем:

«Прекрасное горение может дать человеку только война — вот смысл «Возвращения». До сих пор польские фильмы о войне были фильмами антивоенными. В работе Пассендорфера впервые слышен вздох о минувшем...» И. Рубанова избегает категоричности в тоне: «Впрочем... здесь идеология вторична. Внимание отдано зрелищу, стремительному, нарядному, во всех отношениях приятному, но и безнадежно пустому»... так что режиссер, конечно, безответствен, выводы, видите ли, двусмысленны, но уж

доброты ради спишем все по части «бойкой мастеровитости...»

Нет уж, знаете, если мы так методичны, давайте не будем искать лазеек, давайте разбираться, где тут что. Если фактура фильма драматична, и мы это безошибочно чувствуем — кто ж поверит, что это «зрелище, во всех отношениях приятное» (??). И если отчетлива разлитая по всему фильму тоска по героическому времени — как же можно говорить, что фильм «безнадежно пуст»? Неприятен? Ладно. Оскорбителен? Пускай. Но — «пуст»?.. Это уж из другого словаря. Все упреки И. Рубановой («вздохи о минувшем», «двусмысленность выводов») вообще сделаны со стороны, извне, по внешнему параметру, без учета внутренней темы фильма. «Вздох о минувшем» — уж не призыв ли к прошлому? Ага!

Нет, не призыв к прошлому. И поверьте, не желание высмеять постаревших бойцов Сопротивления. Тоска о прошлом — здесь форма тоски о настоящем. Герой Пассендорфера опустошен, поэтому он мечется между настоящим, где он несчастен, и прошлым, которое еще страшней. Я думаю, И. Рубанова понимает, чем опустошен этот седой поляк,— она об этом книгу написала. Опустошение это — след войны, след фашизма.

Ужас же, который испытывает Пассендорфер при мысли об этом опустошении,— ответ человеческой личности на историческую травму. Ужас этот свидетельствует, что человек не убит. Искалечен. Но не убит.

Это и делает картину необходимым звеном в раздумье польского кино о войне и фашизме. Не по внешним параметрам. А по духовной атмосфере.

Фильм Хаса «Как быть любимой» — нечто прямо противоположное. По первым признакам — полный набор всех тематических и формальных элементов польской школы. Внешние контуры тут, во всяком случае, недвусмысленны: фашизм людей ломает, загоняет в щели; несчастная полька прячет от немцев своего возлюбленного, спасает его страшной ценой чести (сцена, когда немцы насилуют Фелицию, а возлюбленный, спрятанный рядом, боится шелохнуться от страха,— это ли не эмблематичная польская символика ужаса?), спасенный Фелицией человек опустошен, он кончает с собой... а она... она много лет спустя все вспоминает эту жуть, все вспоминает...

Посмотрим, однако, и внутрь. Что наш критик видит в этой картине, помимо внешней схемы?

Что Збигнев Цибульский, главный актер польской школы, равнодушен к своему герою. Что он не столько играет, сколько изображает; раз нужно по сюжету изображать «деградацию личности» — изображает деградацию, хотя ему и скучно, и неприятно.

Что партнерша Цибульского, Барбара Крафтувна, действительно вжившаяся в судьбу героини, играет двусмысленность (богата и нища духом, глупа и умна одновременно), и самое страшное: двусмысленность ее жалкой и героической судьбы не становится предметом беспокойства, но покрыта флером какой-то умиротворенной элегии.

Что «концепция Хаса — частичная концепция» и что сам он осознает ее «ограниченность».

Изящество последней формулировки побуждает меня поставить некоторые точки над «i».

Правильно писали некоторые критики Хаса, что его фильм — «отвлеченная штудия неразделенной страсти».

Правильно (хоть и жестоко) писал Кшиштоф Теплиц в «Культуре» (№ 5, 1963), что фильм этот делался «для фестиваля», делался на намеренно броских приемах модной школы, а не получил в Канне приза, ибо такова судьба всех картин, снимающихся подобным образом.

Фильм вроде бы «на тему». Но между опустошением, которое фашизм производит в жизни людей, и сознанием художника, рассказывающего об этом,— нет непримиримости, нет, если хотите, трагического несоответствия. Здесь опустошенность слишком красива, слишком артистична. К ней привыкли.

У Пассендорфера был ужас от опустошения.

У Хаса — ужас опустошения.

Там были метания в поисках выхода.

Здесь элегия безвыходности.

Там человек дрался за себя на грани последней, внутренне безвыходной ситуации.

Здесь ситуация по внешности безвыходна, а способность человека драться атрофирована.

Я мог бы возвратить И. Рубановой ее иронию, потому что только при атрофии сопротивления гибель может показаться «приятной во всех отношениях», а фильм «Как быть любимой», увы, приятен при всей отчаянности сюжетных ходов. Но дело не в частной оценке того или иного фильма, дело в главной теме польского кино, в его внутреннем открытии.

«Не просто о войне и оккупации».

«Войной!»

О чем бы ни говорилось — войной!

Теперь от периферии явления пойдем к центру. Я хотел очертить границы польской школы, взяв два фильма, сделанные на спаде. Давайте посмотрим, как оценивает наша критика коренные, главные явления польского кино, что она извлекает из них.

Каннский триумф Вайды («Канал» был награжден Серебряной пальмовой ветвью в 1957 году) символизирует лишь одну сторону прогремевшей на весь мир польской школы; другая ее сторона не столь празднична: расцвет сов-

пал с «периодом дискуссии», и каждый фильм Вайды, взывавший к высшей истине, корнями уходил в эти горячие, злободневные, политические и научно-исторические дискуссии, каждый фильм становился, кроме всего прочего, еще и доводом спорящих сторон. Инерция подобных оценок держалась вокруг вайдовских лент годами: «Поколение» доказывало, что в сопротивлении немцам участвовали не только сознательные герои, но и обыкновенные люди со слабостями; «Канал» врезался в полемику о практическом смысле восстания Бур-Комаровского; «Пепел и алмаз» был воспринят как слово в споре о реабилитации рядовых аковцев. Всечеловеческий смысл вайдовских лент медленно высвобождался из сети живых обстоятельств времени.

Книга Мирона Черненко, вышедшая в самом начале 1965 года, и книга Ирины Рубановой, вышедшая год спустя, фиксируют как бы этапы такого высвобождения смысла. Черненко чаще берет поправки на относительные ценности, он чаще вынужден спорить с Вайдой и чаще вынужден защищать его по конкретным поводам. Рубанова идет следом, она имеет возможность писать вайдовский портрет крупнее и обобщеннее, опираясь на книгу Черненко, развивая и истолковывая его находки. Еще свободнее чувствует себя Я. Маркулан, которая методично высвобождает классические фильмы польской школы из-под наслоений сопутствовавших им споров (лишь там, впрочем, где она признает фильмы классикой; «Возвращения» Пассендорфера и она не приемлет, так что и судит эту ленту почти по прикладному вопроснику: почему изображен «негероический» персонаж и т. д., как будто дело в том, кто **изображен,** а не в том, кто и как **изображает...** Но о Пассендорфере уже говорили. Главное: советские исследования польского кино стремятся выявить его общегуманистический смысл.

Черненко видит в «Поколении» не только картину борьбы молодых польских патриотов с оккупантами, он выявляет внутреннюю борьбу в душе самого Вайды, когда вопреки его первоначальному замыслу на первый план картины выходит мечущийся, мучимый совестью Ясь Кроне, «нервно прислушивающийся к тому, что происходит внутри». Его самопожертвование, его страшный прыжок в пролет лестницы (отвлечь на себя внимание карателей, спасти товарищей!) — этот знаменитый эпизод «Поколения» М. Черненко толкует уже не в эмпирическом, а в философском плане, как ответ человека, поставленного в заранее безвыходную ситуацию, в которой последней ставкой делается само достоинство.

Вспомните: «Человек **наедине** с историей». Других выходов нет. Расплачиваются собой.

В обреченной, бессмысленной борьбе героев «Канала» М. Черненко ищет внутренний смысл: «грандиозный жест духовной независимости народа» — вот то единственное, что оставалось повстанцам, загнанным в вонючие катакомбы Варшавы, вот что возвращали они себе ценою жизни.

У Вайды в многозначной символике его образов всегда открыто перед человеком несколько возможных путей. Но в конце любого из путей все равно настигает человека последний, смертный выбор. В «Пепле и алмазе» трагическая коллизия «жизнь — долг» ушла внутрь души.

Мацек — такой же невольник долга, как Ясь Кроне, как Задра, спускающийся в канал, чтобы погибнуть во имя долга. В «Поколении» героическое самоубийство Яся возвращало ему достоинство, оно спасало в нем человека. В «Канале» бессмысленность борьбы трагически уравнивает силы сторон: Задра остается несчастным, выполняя свой долг,— в противном случае он был бы несчастен еще более. В «Пепле и алмазе» идея долга выворачивается наизнанку: поляк должен стрелять в поляка; здесь невольничество долга — сквозная тема трилогии Вайды — приобретает зловещий, гротесковый, причудливый характер.

Трагедия Мацека Хелмицкого, рядового аковца, стреляющего в коммунистов во имя абсурдно понятого долга,— это трагедия нормального, полного сил и энергии человека, поставленного в безвыходную ситуацию. Трагизм «Пепла и алмаза» разобран в критике детально. (Черненко делает это с блеском, вспомните истолкование сцены гибели Мацека: кровь на простыне — красное и белое — польский национальный флаг.) Меньше обращалось внимания на другую сторону сюжета — на ту фарсовую, вымороченную, почти балаганную картину фона, на котором действует и гибнет Мацек. Судорожные усилия террористов... Идиотский, напыщенный полонез, который в финале танцуют полупьяные гости... Какая горькая усмешка, какая жуткая мысль о фарсовой несерьезности истории буржуазной Польши, какой апофеоз провинциальной абсурдности всего этого «шика» и какой трагический контраст с нервной, пружинной фигурой Мацека-Цибульского, который буквально слепнет в этом царстве призраков.

Вот прекрасная формула М. Черненко: вайдовский герой поставлен в ситуацию, изначально безвыходную; он действует импульсивно, потому что размышление заведет его в тупик.

М. Черненко начинает очень интересную мысль... а потом... потом... потом я вдруг перестаю понимать его. М. Черненко вдруг словно пугается своего от-

---

Л. АННИНСКИЙ
ПОЛЬСКОЕ КИНО В СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ

крытия и начинает подступать к Вайде с претензиями, что тот завел его в опасные тупики.

И вот уже претензия: **почему** Задра опускается в канал искать отряд, когда нам ясно, что отряд погиб?

Отвечаю: потому что, по точной оценке самого М. Черненко, все восстание Бур-Комаровского было «полной бессмыслицей».

Почему Вайда непоследователен?.. **Почему** герои психологически не развиваются?

Вот что. Задам-ка я М. Черненко встречный вопрос: а что, если избавить фильмы Вайды от этой «непоследовательности»? Если выпрямить в них «логику»? Если бы каждое «почему», которое ставит М. Черненко перед Вайдой, вдруг чудесным образом переорганизовало бы картину,— не кажется ли вам, что таких исправленных лент мы просто не заметили бы вовсе? Великолепно чувствуя нравственный смысл вайдовского состояния, М. Черненко вдруг начинает взвешивать это состояние на относительных весах внешней причинности.

«...Ибо в ту минуту, когда Мацек задумывается, он уже мертв»,— пишет сам же М. Черненко, чувствуя, что импульсивность героя и есть ответ живого существа, попавшего на ложный путь. Пишет — и тут же глубокомысленно «задумывается».

Истина вайдовской трилогии — это мысль о человеке, втянутом в трагические катаклизмы истории. Это обреченность человека, если он одинок перед лицом истории. И это предельное страдание от сознания этой обреченности.

Вспомните финал «Пепла и алмаза» — длинную агонию Мацека Хелмицкого, уже застреленного, уже мертвого, уже бывшего, нескончаемо и обреченно царапающего землю. Писали о внешней символике: отщепенец умирает на свалке, над ним воронье кружится. Ладно, для прочтения такого символа хватило бы пятисекундного статичного кадра. Но сама долгая агония, поразительная эта актерская сцена Цибульского, вздрагивающие ноги, вся эта подробно данная, а главное, долгая, очень долгая патология смерти,— попробуйте это убрать! Даже в самой гибели, даже в абсурдной, даже в преступно-абсурднейшей ситуации живой человек у Вайды продолжает безнадежно пытаться жить. «Фильм о преступнике я бы сделать не мог»,— говорил Вайда.

Судьба Мацека — это судьба человека, ставшего преступником по стечению исторических обстоятельств, судьба, рассказанная художником, который всем сердцем взывает к тому, что могло бы остановить этот чудовищный ход.

«Вайда сораспинается со своим поколением»,— точно замечает И. Рубанова. Относительное у Вайды обесценено, абсолютное доведено до святости — середины нет. Мучительный поиск общей идеи — вот что встает символическим мостом над этой бездной страдания.

Мысленно я соединяю эти точные выводы с фразой Вайды о «человеке **наедине** с историей».

Вайда исследует трагизм одиночества, восставая против одиночества. В старину сказали бы так: он видит «богооставленность» человека, но не мирится с нею, он взыскует святыни в человеке. Но мы, материалисты, знаем земные термины: фашизм и война — вот что исследовано в трилогии Анджея Вайды; он проклял фашизм именем растерзанной, раздавленной души человека, который даже в безнадежном духовном одиночестве все-таки ведет против фашизма отчаянную борьбу, даже в безнадежной ситуации сохраняя лицо человеческое... Любопытно сравнить эту нравственную коллизию с противоположной, свойственной некоторым версиям человека в западном кино «для элиты». Там человек одинок в комфортабельном мире, полном людей. Здесь человек даже в драматическом вакууме военного поражения сохраняет готовые развернуться социальные потенции. Там человек страдает от людей — здесь страдает без людей. Там человек по идее асоциален — здесь по идее социален. Польская школа созидает ценности, по самой своей природе социальные, и именно это делает трагическое польское кино закономерным явлением социалистического искусства. Все дело в том, кем мыслится человек.

Открытия польской школы, сделанные на трагическом материале войны и оккупации, вышли за пределы этого материала. На ином материале эти открытия сохраняют свою силу, хотя тут-то и надобно отличать материал фильма от его содержания.

В этом смысле творчество Ежи Кавалеровича — замечательный пробный камень. Парадокс в том, что фильмы о войне и оккупации у Кавалеровича — не самые удачные; мировые же его шедевры, принадлежность которых к польской школе бесспорна, далеки от войны по теме. Поэтому И. Рубанова, связанная своей темой, и выпускает Кавалеровича из сферы внимания. Р. Соболев занимается им специально, он убедительно разбирает военные ленты Кавалеровича: «Тень», «Настоящий конец большой войны», но самое интересное и сложное начинается как раз там, где война из кадра уходит, между тем как фильмы потрясают все больше.

«Поезд» — фильм виртуозный. Р. Соболев это знает и, как профессионал, исследует. Его поражает психологическая драма, раскрытая в узких проходах вагона. Он безошибочно улавливает тревожные ритмы картины, явно расходящиеся

с тем будничным, что происходит в кадре (а в кадре — вагонная интрижка). За обыденными репликами чувствуется «что-то». Что?

Р. Соболев ищет аналогий. «Герои разговаривают о будничных и мелких делах... но за обычными, затасканными словами постоянно чувствуется глубина раздумий о жизни...» Будничные, мелкие дела, а за ними... что-то. Чувствуете, еще мгновенье, и аналогия поведет нас за собой: где же это было?.. Люди едят, пьют, а в это время... Чехов! Чехов становится ключом, с помощью которого Р. Соболев хочет разгадать Кавалеровича. Там «подтекст» и тут «подтекст». Там «горлышко бутылки», и здесь нечто подобное: будни, а за ними... И вот результат: в совершенно чеховском духе истолкован финал, когда герой Кавалеровича, отказавшись от любви встреченной в поезде Марты, идет к жене, уходя, как пишет Р. Соболев, «от большого счастья». И вот уже гениальная сцена ночной погони за беглецом, когда нормальные люди вдруг превращаются в озверевшее стадо, кажется чуть ли не вставным эпизодом, досадно прерывающим акварельный интим чеховской интриги, этой польской «Дамы с собачкой».

Нет, давайте-ка вернемся к истоку разговора. И давайте разом и целостно сравним два явления.

Чехов и Кавалерович.

Конечно, за «будничностью» и у того и у другого «что-то» стоит.

Только — что?

У Чехова — вселенская скука. Пустота обнаруживается за внешней мельтешащей деятельностью. Печаль охватывает Чехова от сознания этой мнимости дел, печаль и тоска по идеалу.

У Кавалеровича — обратное. У него сверху скованность, сжатость, заторможенность, внизу же — смертные бездны. Иная эпоха. Чеховская чуткая тоска перед взрывом и горечь польского кино, герои которого оглушены историческим взрывом,— увы, это слишком разные «подтексты».

В чем виртуозность «Поезда»? В том, что статическое, медленное развитие действия поставлено на вздрагивающий, неустойчивый, катастрофический по кинофактуре фон поезда, пустота спального вагона монтажно стыкуется со скученной перенаселенностью общего вагона; и этот стык есть, конечно, совершенно польская «пограничная ситуация», создающая ощущение неуравновешенности. В том, что ночная погоня толпы — не разрыв лирического действия, но типично польский эпизод-знак, эпизод-символ, эпизод-эмблема: Кавалерович прямо называет здесь то, что тяготеет над скованными душами его героев,— кошмар войны, кошмар лагерей, кошмар фашизма.

Обернитесь же на финальный разрыв пресловутого чеховского треугольника. Усталый, онемевший душой человек идет к жене. За его спиной остается усталая, несчастная, смирившаяся с горем Марта («вагонная интрижка» окончена...). «Уходит от большого счастья»? Чтобы этот вывод Р. Соболева оказался верен, мы не должны увидеть лица той, которая стоит «на пути» счастья. Или мы должны увидеть... мегеру, ведьму, пустышку — что угодно. Что угодно — только не то лицо, которое показывает нам Кавалерович. Но мы видим такое же прекрасное, такое же тонкое и доверчивое лицо этой женщины, такое же, как у Марты, усталое и тревожное — один только удар, и она не вынесет и сломается... Никакой это не традиционный треугольник с «настоящим счастьем» в одном из углов и с «обманом» в другом. Кавалерович показал другое: смертельную душевную усталость людей, изголодавшихся по чувствам и не имеющих сил чувствовать. Как боятся они нарушить, сломать скудное равновесие своего душевного бытия (все боятся: Немчик, Винницкая, даже Цибульский, немеющий от нерешительности, он здесь словно Мацек Хелмицкий, если бы он тогда не погиб, а смирился бы, отдался течению...). Трагедия этих людей: у них нет душевных сил рискнуть покоем, сломать жизнь ради любви, кинуться очертя голову навстречу чувствам, плюнуть на все, а там будь что будет... Выстрадавшие себя до конца, они берегут друг друга, словно всякое резкое душевное движение грозит сломать их. «Все хотят быть любимыми, но никто не хочет любить»,— шепчет Марта. Любить — сколько надобно сил на это... А где силы?

Помните слова Кавалеровича? «Для них нет конца войны...»

Я не буду анализировать сейчас «Мать Иоанну». Можно и здесь за «антирелигиозной» проблематикой открыть духовную катастрофу — отчаянное исступление разума, понимающего, что у него нет сил ответить на зов любви и жизни. Жизнью расплачиваются и здесь за чувство, в буквальном смысле слова — жизнью. Меня, однако, интересуют сейчас не особенности того или иного фильма Кавалеровича, но то общее, что есть в его картинах. Более того, общее, что связывает его с другими польскими режиссерами, что делает его одним из создателей «нового польского кино».

Вайда исследовал историческую ситуацию.

Кавалерович исследует ее психологический результат.

Мунк завершил поиск: он вернулся к ситуации, зная результат. Он дал формулу приговора — Анджей Мунк, интел-

---

лектуальный апостол польского кино. Он сделал «Пассажирку» *.

Он не успел закончить картину — погиб во время съемок, ленту склеили его товарищи. Незавершенный автором фильм завершил поиски польской школы, такова была внутренняя завершенность взгляда на мир, воплотившегося в картине.

Этот фильм шел в нашем прокате, и те, кто видел его, знают, что никакой словесный пересказ не передаст его воздействия. Точно так же, как видимая деловитая сухость мунковского повествования о концлагере (спокойно о страшном — бабелевский прием) лишь усиливает чудовищность документов,— спокойный критический разбор режиссуры Мунка яснее открывает мир его фильма, чем это сделал бы патетический пересказ, который все равно показался бы выспренним.

Мунк спокоен, аналитичен. В его глазах апокалипсический мир лагеря обнажает свою логическую рентабельность; уничтожение людей приносит доход; нужны дисциплина и порядок... Так сквозная тема польского кино — алогичность мира, терзающая человека,— завершается у Мунка как бы кодой: его портрет фашистской логики линеен, прост, протокольно точен. Вещи, груды вещей, учет вырванных золотых зубов. Восприятие Мунка, пишет Рубанова, «это потрясение посетителя музеев, нового вида музеев, который оставила после себя война... Взгляд Мунка на прошлое — это взгляд мирного поколения, которое восстанавливает конкретность минувшего по музейным экспонатам, случайным раритетам страшных лет...» Мунк использует детали быта, но быт не становится у него категорией киномышления: в лагере нет быта.

Интонация Мунка строится на отсутствии внешнего пафоса — это немота горя, это молчание траура, это бессловесные перегоревшие чувства. Слез уже нет — есть молчаливый поединок человека с системой. И вот впервые личность, совершенно не защищенная перед деловитым убийством, отвечает убийце не последней конвульсией уничтожаемого живого существа, а спокойствием превосходства.

Душевный поединок Марты и Лизы, потрясающе сыгранный Анной Цепелевской и Александрой Шленской,— поединок жертвы, сохраняющей самообладание, и палача, теряющего самообладание,— идет на страшном фоне перемалывания живых людей лагерной машиной. Мунк не акцентирует подробностей, он скользит камерой, но как! На втором плане палками добивают упавшего — это фрагмент, мы не видим продолжения... Девочка, идущая в газовую печь, гладит овчарку — немецкий солдат улыбается ей...— и все это фоном. Мечущиеся толпой раздетые узницы (у Пастернака есть слова «тайна обнажения» — обнажение тела есть святыня, таинство)... Мунк дает бегущую толпу раздетых женщин средним планом, застывшей камерой, он смотрит, сжав зубы, боясь пошевельнуться,— так, как смотрела бы сама Марта, остриженная и обреченная узница, спокойно и молча, видя сквозь насильственную наготу неуниженные души. С уровня психо-физического, импульсивного Мунк переводит поединок личности с фашизмом на уровень духовный.

Раздетая, выставленная на позор узница встречается глазами с Мартой, мгновенный властный кивок Марты — и та поднимает голову: человека можно опозорить, но нельзя унизить, пока он не примирился с унижением. Суверенная духовность, идущая изнутри личности и не подвластная фашизму,— вот ответ польского кино на то историческое потрясение, которое выпало на долю его народу.

Пятнадцать лет назад «новое польское кино» существовало в сознании его будущих авторов: они кончали тогда киношколу в Лодзи, ассистировали мастерам, готовились к дискуссиям и носили в душах своих неутолимую горечь пережитого.

Десять лет назад «новое польское кино» стало отснятыми лентами, шумными просмотрами, плотью и практикой бурно развивающегося социалистического искусства.

Теперь открытия польской школы стали частью духовного состава человечества. Они вошли в его опыт. В наш опыт. Это и определило стиль и пафос нашего разговора.

---

* Фильм снят по одноименной повести Зофьи Посмыш; повесть была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 8, 1963.

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛГАРИН О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Одно из излюбленных измышлений буржуазной печати, «ниспровергающей» социалистический реализм, состоит в том, что реалистические и гуманистические традиции в искусстве якобы безнадежно устарели, что художники, развивающие эти традиции, движимы конформизмом, а широкой публике их произведения навязываются государственной и партийной культурной политикой вопреки «современным» запросам и вкусам читателей и зрителей. Если бы этот лживый тезис еще нуждался в опровержении, то таким опровержением в ряду множества других могло бы послужить изучение литературно-эстетических взглядов современного болгарина, которое взяла на себя секция эстетики Института философии Болгарской Академии наук. Но этим не исчерпывается значение проведенного опроса. Оно свидетельствует и о том, насколько поднялся средний культурный уровень современного болгарина.

Болгарский еженедельник «Народна култура» по этому поводу пишет:

> «Непосредственный опрос самых широких слоев трудящихся, касающийся сложных проблем литературы и искусства, приобретает определенный смысл лишь на таком этапе развития экономического и культурного социалистического строительства, когда наука, литература и искусство входят в быт народа и становятся все более действенным фактором его интеллектуальной жизни. Чем больше растет общая и художественная образованность трудящихся, тем более компетентными ценителями произведений искусства они становятся, тем более возрастает значение сознательной общественной оценки этих произведений».

Проводя исследование, секция эстетики поставила перед собой задачу охватить представителей разных слоев населения: были опрошены рабочие и инженеры доменного цеха и рудника металлургического комбината в Кремиковцах, швейного предприятия «Витоша», винодельческого завода в Софии, Государственной типографии имени Георгия Димитрова, инженерно-технический состав работников «Энергопроекта», кооператоры земельного кооператива села Семеново, служащие предприятия внешней торговли «Булгарплод», студенты Высшего медицинского института, ученики IX политехнической гимназии в Софии, учителя, пенсионеры и домашние хозяйки Благоевградского района столицы.

Каждый из тех, кто отвечал на вопросы, поставленные анкетой, свободно выражал свое мнение, ему даже не надо было указывать свою фамилию. Отвечающий имел возможность сообщить, принимает ли он (полностью, а быть может, только частично) или отвергает то или иное произведение искусства, причем речь могла идти как о его отношении к конкретной книге или картине, так и о его отношении к определенному направлению в литературе и искусстве. С художественными произведениями, которые подвергались обсуждению, можно было при желании ознакомиться: книги читались, музыка прослушивалась по высококачественным магнитофонным записям, живопись и графика показывались в подлинниках, репродукциях и диапозитивах, кинофильмы демонстрировались в одном из столичных кинотеатров.

Результаты опроса оказались чрезвычайно интересными, даже в том случае, когда задавались общие вопросы. Так, выяснилось, что из опрошенных 73% активно интересу-

ются значительными явлениями литературы и искусства, а 25% стараются читать, смотреть и слушать все самое выдающееся. Больше всего оказалось интересующихся киноискусством (66%), затем — театром (59%), далее — легкой музыкой, эстрадой и джазом (50%), художественной прозой (42%), народной музыкой (35%), поэзией (34%), оперной музыкой (27%), симфонической музыкой (21%) и изобразительным искусством (19%).

О степени эстетического развития опрошенных говорит число авторов, имена которых они назвали в качестве наиболее предпочитаемых ими (или, напротив, отвергаемых). Более десяти таких имен были названы 100% учителей и школьников, 88% инженерно-технических и сельскохозяйственных специалистов, 87% студентов, 85% рабочих моложе 30 лет, 81% служащих моложе 30 лет, 81% рабочих старше 30 лет, 62% служащих старше 30 лет, 58% пенсионеров и домашних хозяек.

Большинство опрошенных показали сравнительно высокую степень образованности; внушительно выглядит процент тех, кто предпочитает произведения труднодоступные, требующие известной предварительной подготовки (22%). Любителей легкого чтения оказалось 35%. При этом характерно, что только 4 человека из всех опрошенных ответили, что предпочитают произведения, предназначенные для узкого круга «избранных».

Среди прочих заданий участникам опроса была предложена сравнительная оценка произведений, созданных талантливыми и известными мастерами, но резко различающихся по своему направлению: а) бесспорно декадентских, б) бесспорно гуманистических и реалистических, в) идейно и художественно противоречивых и потому наиболее трудных для оценки. Произведения первого типа были отвергнуты более чем 90% опрошенных. Так, стихотворение одного из родоначальников современного сюрреализма Андре Бретона «Земной ключ» было встречено недоумевающими и ироническими оценками: «Неясное», «Глупости», «Абстрактное», «Бессвязный набор слов», «Нет ни содержания, ни музыкальности». Такие же оценки получила абстрактная картина Ф. Пикабии «Композиция» («Бессмыслица», «Абстрактное», «Категорически: нет!») и произведения для скрипки с оркестром современного польского композитора Аугустина Блоха «Диалоги» («Это не музыка», «Дичь», «Ужас», «Кошмар», «Пожалейте нас», «Разве такое можно понять?», «Музыкальный скандал», «Вы нас разыгрываете: это не искусство», «Может быть, это и отвечает нашему атомному веку, но мне не нравится»).

Столь же беспощадно отнеслись слушатели к Симфонии № 3 болгарского композитора Константина Илиева. «Народна култура» характеризует ее как «сочетание крайнего экспрессионизма с безликой опустошенностью, беспросветного буйства со стилизованными архаическими мотивами». 98% слушателей оценили это «авангардистское» произведение отрицательно, написав: «Безвкусица», «Отвратительно для слуха», «Много шума из ничего», «Музыкальный террор».

> «Некоторые могут подумать,— пишет еженедельник,— что то ничтожное меньшинство, которое подчеркнуло в анкетной карточке слово «нравится» по отношению к названным выше произведениям, и представляет собой «разбирающуюся», эстетически развитую часть публики. Увы, приходится их разочаровать. Почти все голоса «за» принадлежат или несовершеннолетним ученикам, которые поставили это «за» совершенно определенно лишь шутки ради, или рабочим с начальным образованием, которые... подчеркивали механически подряд одно и то же. Разумеется, звучат тут и голоса отдельных снобов».

За реалистические, гуманистические произведения, хотя и не без указания на слабые стороны некоторых из них, высказалось подавляющее большинство опрошенных.

Так, 80% одобрили «Вьетнам» и «Японский фильм» Валерия Петрова, «Звезду» и «Историю» Александра Герова, «Апрельское восстание» Георгия Апостолова, «Оборону Петрограда» Александра Дейнеки, «Потерянное время» и «Сад» Жака Превера и др. С единодушным одобрением была принята «Фантастическая симфония» Берлиоза, исполнявшаяся оркестром Софийской государственной филармонии.

Несмотря на бесспорную сложность и яркое своеобразие произведений таких композиторов, как Прокофьев и Онеггер, большинство из опрошенных высказалось за них (56% одобрили Симфонию № 5 Прокофьева и 60% — Симфонию № 2 Онеггера). Большинство положительных отзывов были достаточно аргументированы: «Мне нравится из-за современного звучания и богатства тем», «Значительно труднее предыдущего (Берлиоза), но мне нравится», «Эта музыка выражает борьбу, отсутствие успокоенности и веру в то, что настанет царство света», «Нравится благодаря идейному содержанию, благодаря тому, что отражает эпоху, бурную и динамичную».

Опрошенные в большинстве своем смогли уловить внутренние противоречия произведений третьего типа. Так, фильм всемирно известного режиссера Антониони «Приключение», в котором трагическая разобщенность людей, характерная для капиталистического мира, представляется чуть ли не вечным законом бытия, был, очевидно по этой самой причине, отвергнут 60% опрошенных безоговорочно, почти всеми остальными — с оговорками, в которых воздавалось должное режиссерскому мастерству. Большинство тех, кто отнесся к фильму положительно, одобрило его потому, что увидело в нем сатиру на буржуазное общество.

Еще большее число опрошенных (85—87%) высказали отрицательное отношение к таким произведениям, как роман Натали Саррот, отрывок из которого под названием «Лица» был предложен опрашиваемым, «Эдипов комплекс» К. Павлова, картины Сальвадора Дали и др. Мотивировки достаточно выразительны. Вот, например, что писали о «Лицах»: «Трудно уловить смысл», «Плоско», «Много слов — мало содержания» и т. п.

Суждения опрошенных о различных видах джазовой музыки оказались весьма любопытными. И здесь крайние проявления авангардизма были встречены неодобрительно. Однако вообще по отношению к джазу большинство опрошенных, особенно молодежь, проявило некую всеядность, не умея разграничить интересную, свежую мелодию от однообразия и примитивизма, буйное жизнелюбие и импульсивность от эротизма, светлую лирику от слащавой сентиментальности.

Если в первой части исследования роль участвующих в нем была более или менее пассивной, поскольку от них требовалось лишь ответить на поставленный вопрос (правда, с мотивировкой), то во второй части они должны были выразить свои эстетические взгляды активнее. Здесь очень существенно, чьи имена были названы при ответе на вопрос: «каких авторов произведений литературы и искусства вы цените особенно высоко?» Перечень этих имен очень велик. Тут и классики мирового искусства, такие как Шекспир, Сервантес, Мольер, Бальзак, Флобер, Золя, Мопассан, Твен, Лондон, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рембрандт, Рубенс, Гойя, Делакруа, Роден, Ренуар и другие. Тут и великие русские писатели, композиторы, художники: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь, Толстой, Чехов, Достоевский, Чайковский, Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Суриков, Верещагин, Айвазовский и другие. Тут и основоположники социалистической литературы: Горький, Маяковский, Шолохов, тут и выдающиеся зарубежные писатели: Хемингуэй, Ремарк, Сэлинджер и др. И, разумеется, деятели болгарского искусства, такие как писатели Ботев, Вазов, Дебелянов, Каравелов, Яворов, Славейковы, Елин Пелин, Йовков, Смирненский, Вапцаров, Караславов, Димов, Танев, Фурнаджиев, Багряна, Радичков, Венев, художники и скульпторы: Бешков, Бояджиев, Зограф, композиторы: Кутев, Левиев, Хаджиев и др.

Хотя «Народна култура» приводит все эти имена в алфавитном порядке и мы, таким образом, не имеем возможности выяснить их сравнительную популярность, не трудно, однако, убедиться, что симпатии опрошенных всецело на стороне искусства, неразрывно связанного с жизнью и проникнутого духом гуманизма.

На просьбу высказать свое мнение о роли искусства в современной жизни откликнулся 91% участвовавших в опросе (9% заявили, что по этому вопросу мнения не имеют). 13% утверждали, что искусство нужно только для отдыха и развлечения. Огромное же большинство заявило, что считает искусство «необходимым и своеобразным способом познания жизни и человека, средством прогрессивного политического и морального воздействия и источником эстетического наслаждения».

Когда опрашиваемым было предложено выбрать одну из двух формулировок: Ленина («Искусство принадлежит народу»), и Ортега-и-Гассета («Искусство существует для художника, а не для масс») — как отвечающую их убеждениям, 99% выбрали формулировку Ленина. И в этом едва ли не главный итог опроса.

Примерно то же соотношение взглядов наблюдалось и при выборе между двумя формулировками, относящимися к главному объекту искусства — человеку. Формулировку Хейдеггера («Человек покинут и беззащитен. Он живет под властью Ничего, и ему остается только отчаяние и смирение») приняли 4% отвечавших, формулировку же Горького («Чело-век!.. Это звучит... гордо!..») приняли 95%.

Больше 99% отвечавших пришли к заключению, что

> «наша литература и искусство призваны ставить и решать художественными средствами сложные идейные, нравственные и психологические проблемы, стоящие перед нашими современниками, создавать правдивые художественные образы, которые вдохновляют, ведут вперед, разоблачать современных реакционеров, мещан, эгоистов, бездельников, карьеристов, подлецов, низкопоклонников и т. д., быть разнообразными по форме, жанрам, стилю и творческому почерку».

Заканчивая краткий обзор проводившегося Институтом философии БАН социально-психологического исследования, еженедельник «Народна култура» приходит к следующему выводу:

> «Полученный материал в полном виде гораздо богаче. Но и изложенные бегло результаты опроса убедительно свидетельствуют о зрелости и прогрессивности эстетического сознания трудящихся. Они показывают, что партийная художественная политика правильно отражает и выражает эстетические потребности народа — строителя социализма. Одновременно они доказывают, что несмотря на огромные успехи в создании и распространении художественных произведений... задача приблизить искусство к народу и поднять народ до искусства все еще остается в силе».

А. ОПУЛЬСКИЙ

К ПРОБЛЕМЕ СЕРОГО ГУСЯ

Нельзя сказать, чтобы споры вокруг эволюционного учения занимали только специалистов-биологов, тем более в Англии, где это учение родилось. Но нельзя и сказать, чтобы споры эти особенно волновали массового потребителя газетной и журнальной продукции, которому в Англии последнего времени есть над чем задуматься и помимо членистоногих, ископаемых, а также наследуемых стереотипов общественного поведения в животном царстве.

Однако с середины прошлого года на страницах английских периодических изданий замелькали статьи, в которых проблемы палеонтологии, генетики, антропологии обсуждались с такой же запальчивостью, как перспективы отставки Вильсона в связи с девальвацией фунта, а новая область науки — этология и один из ее главных «героев», именуемый на языке ученом *Anser*, а на языке житейском «серый гусь», заняли в газетах едва ли не такое же видное место, как шансы сборной Англии в Кубке Европы и спортивная форма ее нападающего Бобби Чарльтона.

Что же такое этология и почему она привлекла к себе такое внимание? На первый вопрос «Британская энциклопедия» отвечает следующим образом:

«Этология — термин, которым европейские зоологи обозначают направление в науке о поведении животных, ставящее целью дать максимально полное описание поведения организма в окружающей его естественной среде. Этологи занимаются преимущественно спонтанными аспектами поведения, в силу чего их работы вызвали новый интерес к понятию инстинкта. Основной материал черпается в экспериментальном анализе поведеиия низших животных форм».

Чтобы ответить на второй вопрос, нужно обратиться к списку бестселлеров, где среди мемуаров Эйзенхауэра и новых справочников по цветоводству довольно долго фигурировали сочинения «отцов» этологии: «Императив пространства» Роберта Ордри, «Голая обезьяна» Десмонда Морриса и книга австрийского натуралиста Конрада Лоренца «Об агрессивности». Последняя привлекла к себе в кругах специалистов особое внимание; научные достоинства произведения Лоренца отметил виднейший английский биолог Джулиан Хаксли.

Однако газетных рецензентов интересовало у Лоренца отнюдь не «новое истолкованне поведения позвоночных», которое, по мнению Хаксли, намечено в его книге; их привлекали весьма широкие параллели, которые Лоренц, а также Моррис и Ордри проводят между низшими животными и человеком. По мнению этих исследователей, любой биологический вид (в том числе и человек, не колеблясь добавляет рецензент «Обзёрвера» Кэтрин Уайтхорн) помимо хорошо известных инстинктов страха, голода, размножения и т. д. обладает еще и инстинктом территориальным, инстинктом защиты пространства, им занимаемого. Только давление обитающего по соседству вида вынуждает животных вести себя миролюбиво по отношению друг к другу, устраняя тем самым внутривидовое истребление; и лишь развитие этого инстинкта, считает К. Уайтхорн,

> «составляет истинное основание морального чувства; в нем причина живущего в нас импульса, который побуждает поступаться личными интересами для общего блага, совершать отчаянные поступки и даже погибать не ради нас самих, а ради других людей».

Как видно, идеи этологов произвели на К. Уайтхорн, как, впрочем, и на многих других, потрясающее впечатление. Если в первой половине века революцию во взглядах произвел фрейдизм, утверждает она, то ныне пришла пора нового переворота, и виной тому — этология животных. Даже спортивные состязания воспринимаются теперь К. Уайтхорн совсем в ином свете:

> «Я поняла, что желание превзойти другую команду — нечто большее, чем проявление юношеской порывистости, что гораздо лучше, чтобы юные сорвиголовы метали спортивное копье, чем ручную гранату, ибо они не могут не метать либо то, либо другое».
>
> «Желание отнимать у другого и защищать свое,— спешит обрадовать читателей К. Уайтхорн, — с воплями набрасываться на соседей и возвещать «Мое, только мое» — все это в нашей природе. Ордри и его единомышленники вынудили нас более не мнить себя совершенством».

Что и говорить, мрачноватая картина! Впрочем, не так все страшно. Есть, оказывается, и другой путь, и подсказан он самой природой, точнее сказать, нашим знакомцем серым гусем. Конрад Лоренц, настаивая на определенном сходстве между общественной организацией животных и социальной организацией людей, намечает четыре типа такой организации и в своей книге характеризует их так:

> «Первый тип — толпа анонимов, свободная от всяких видов агрессивности, но также и не наделенная присущим индивидам сознанием своей личности и своей взаимосвязи с другими. Тип второй: семейная и общественная жизнь ночных цапель и других птиц, гнездящихся колониями, структурная основа которых являет-

ся пространственной, то есть сводится к защите занимаемой видом территории. Третий тип находит выражение в «большом семействе» крыс, члены которого не признают друг друга как индивиды, но лишь по выдающему их племенную принадлежность запаху... они яростно набрасываются на всех крыс, обитающих в другой колонии. Четвертый тип социальной организации тот, в котором внутривидовая ненависть и борьба предотвращаются чувствами любви и дружбы между индивидами. Этот тип общества, по структуре своей во многом аналогичный обществу людей, детально описан на примере серого гуся».

Вот почему дискуссия по социальным аспектам этологии, развернувшаяся в весенних номерах журнала «Марксизм тудей» за этот год, носила не совсем обычное название — «О гусях и людях». Открывший дискуссию антрополог и философ Джон Льюис высказался резко отрицательно не только о попытках распространить утверждения этологов на общественную организацию людей, но и о самом этом направлении в целом. Справедливо отметив, что бурный успех этологов объясняется не научными достоинствами их трудов, а возможностями строить на их основе произвольные концепции «подлинного человека», Джон Льюис далее пишет:

«Этология... выражает растущее чувство отчаяния и разочарования в природе человека, порожденное войной, послевоенными экономическими кризисами, провалом попыток остановить рост бедности и безысходным антагонизмом между двумя мирами... Нам теперь известно, почему человек бессилен, подл, не способен изменить мир и осуществить на практике свои идеи, — иронизирует Льюис. — Вопреки распространенному вздору на тот счет, что человек в душе своей миролюбив, нам говорят, что представители вида «человек» с самого начала были убийцами, владеющими смертоносным оружием... Этологи рассматривают человека как некий стереотип, определенный, в точности как у низших животных, биологической информацией, унаследованной им от его предков».

Таким образом, в трудах этологов и особенно их не слишком сведущих в биологии, но скорых на глубокомысленные выводы приверженцев вроде Кэтрин Уайтхорн нам предлагается еще один вариант физиологического объяснения духовной и социальной жизни. Можно спорить о сугубо научном значении идей Лоренца или Морриса. Льюис его отрицает, полагая, что человек отделен от низших животных настолько большим расстоянием, что едва ли правомерна сама мысль о сопоставлении коллективного поведения людей, с одной стороны, и животных, с другой. Гусь, например, птица, а не млекопитающее, и уже поэтому, считает Льюис,

«совершенно невероятно предположение о том, что образ жизни серого гуся может служить моделью, при помощи которой можно объяснить поведение человека».

Выступивший в дискуссии обозреватель «Морнинг стар» Айвор Монтегю высказывается более сдержанно:

«Даже изучение групп, наиболее резко отличающихся от человека, может оказаться небесполезным хотя бы потому, что самая простота их подчас чрезмерно стереотипного поведения, вероятно, поможет нам обнаружить проблемы, завуалированные у людей благодаря их чрезмерной сложности».

В конечном счете, это частный спор: быть может, более прав Монтегю, считающий, что

«следует критиковать не сравнительную этологию саму по себе, а преувеличения и дешевую сенсационность, с которой ее невежественные истолкователи делают из ее данных ложные выводы», —

например, о том, что добродушный серый гусь являет кровожадному и неискоренимо агрессивному человеку пример, достойный всяческого подражания, или о том, что политическая агрессия есть лишь внешнее выражение искони присущего человеку «императива пространства».

Против такого рода скоропалительных заключений и выступили как Монтегю, так и Льюис. «Новое эволюционное антиевангелие», как окрестил Льюис доктрину этологов, оказалось в центре всеобщего внимания вовсе не потому, что оно настаивает на наследуемости образов поведения, а не только анатомических признаков; и хотя Льюис весь запал своей подкрепленной многочисленными ссылками на новейшие достижения палеонтологии и антропологии критики расходует на опровержение именно этого тезиса, пафос выступлений английских марксистов определяется другим. Псевдонаучная оболочка, которую, воспользовавшись книгами Лоренца и Морриса, немедля попытались придать своим речениям защитники откровенно реакционных идей, апелляции к учению этологов, когда, подобно К. Уайтхорн, заводят разговор о том, что «без соперничества человек падет духом, утратит сознание цели и вступит в период загнивания», попытки оправдать социальное зло ссылками на биологическую природу человека — вот главный объект критики, прозвучавший со страниц «Марксизм тудей».

«Надо быть не обезьяной, а ослом, — пишет по этому поводу Монтегю, — чтобы усмотреть хотя бы самую отдаленную связь между этологической «агрессивностью», какой наделены приматы... и «агрессивностью» политической... Гитлер захватил Судеты не потому, что происходил от какого-то существа, которое отличалось поведением, свойственным приматам... «Миролюбие» приматов... не имеет ни малейшего отношения к миролюбию Чемберлена, которое объяснялось отнюдь не стереотипностью, но рассудочно (?) взвешенным, во всяком случае, обдуманным планом усиления Гитлера и натравливания его на социалистическое государство... Если турецко-греческий конфликт на Кипре как-то связан с территориальными и групповыми стычками наших предков-приматов, то почему он возник не много веков назад, а лишь недавно, под давлением из-за рубежа?.. Что, кроме социальных причин, могло побудить американцев опасаться Вьетнама и сбрасывать напалм на людей, которые живут от них за 10 000 миль и которых те никогда не видели?»

Нельзя не согласиться и с Монтегю, и с Льюисом, решительно выступающими против намерения отказаться от попыток совершенствования общества, поскольку нет возможности совершенствовать человеческую природу. Спор этот возник не вчера и даже не век назад, но к нему возвращаются снова и снова, и по сути дела к нему сводился общественный смысл дискуссии «о гусях и людях». Можно понять и резкость тона, в каком говорит Льюис о произведениях самих этологов, ибо, хотели этого их авторы или нет, они дали в руки апологетов социального бездействия новый аргумент — идею изначальной агрессивности человека, призванную в наши дни заменить обветшавшую доктрину первородного греха. Конечно, ученый не отвечает за те выводы, которые без всяких на то оснований может сделать из его труда бульварная пресса, готовая и серого гуся превратить в еще не описанную орнитологией утку. Однако если прав Монтегю, утверждающий:

> «Сознательные этологи, даже предполагая, что в человеческом поведении есть элемент «агрессивности», ни в малой мере не полагают, что в этом главная или сколько-нибудь необходимая и достаточная причина войны и что с этим ничего не поделать. Они говорят прямо противоположное: если «агрессивность» и является одним из компонентов поведения человека, тем более необходимо каким-то образом препятствовать ей проявиться»,—

то по-своему прав и Льюис, когда он говорит:

> «Многие найдут в идее агрессивности и ненависти как ведущих человеческих инстинктов самое удобное объяснение бесчеловечности в отношениях между людьми... Как тут не раздаться давним сетованиям на то, что «нельзя изменить человеческую природу», что «человек по своей сущности эгоистичен и враждебен к другим» и т. п. А вывод всегда один: нужно изменять человека, апеллируя к его нравственным чувствам, нужно преобразить людей, и лишь тогда станут реальными мечты о мире и социализме».

Ведь из книг этологов, Ордри и Морриса в первую очередь, поборники такой аргументации почерпнут достаточно обильный и свежий материал.

Означает ли это, что английские марксисты вообще отрицают элементы жестокости в отношениях между людьми? Нет, ни Льюис, ни Монтегю, ни Энн Лоуренс не стремятся представить картину радужнее, чем она есть на самом деле. Жестокость, «агрессивность», ненависть — все это не искоренено за двадцать веков прогресса, но, по единодушному мнению участников дискуссии, отсюда не следует, что все эти явления объясняются наследством приматов, от которого не в силах избавиться человек, и не могут быть в конечном счете преодолены. Однако им необходимо давать конкретное, социальное объяснение, не отверзая слух от правды, ибо без знания ее не сделать и шагу вперед в такой бесконечно сложной области, как мир человеческих эмоций, но и не возводя временное в конечное, историческое — в абсолютное, преходящее — в непреодолимое.

Идея биологической детерминированности социальной жизни далеко не нова, что и продемонстрировал Джон Льюис, уместно вспомнивший в этой связи и о тезисе Освальда Шпенглера «человек должен быть хищником», и о наивном биологизме отдельных произведений Джека Лондона, и о Герберте Спенсере, и о Ницше. Нет нужды напоминать, какие зловещие цветы произрастали на этой болотистой почве. Хочется напомнить о другом: в книгах многих писателей и прошлого и настоящего поднимались проблемы, во многом созвучные тем, которые обсуждали участники дискуссии на страницах «Марксизм тудей». Были среди этих произведений и книги честные, внушающие читателю сознание не безнадежной обреченности, а необходимости глубже понять самого себя; но гораздо больше было литературных поделок, варьирующих модную тему о том, что человек — не венец творения, а средоточие мерзости. С каждым годом мутный поток этой сомнительной беллетристики усиливается; вполне вероятно, что и этологические романы и драмы не заставят себя долго ждать. Вот почему итоги дискуссии в «Марксизм тудей», начавшейся с невинного серого гуся, значительны для всех, кто стремится дать верную оценку новым веяниям в литературе стран Запада.

А. ЗВЕРЕВ

НАШИ ГОСТИ

Сэнгийн Эрдэнэ

ДРУЗЬЯ ИЗ «СТРАНЫ СИНЕГО НЕБА»

В огне народной революции двадцать первого года родилась современная монгольская литература. В 1929 году была создана первая организация литераторов Монголии, увидел свет первый — коллективный — сборник под названием «Свод изящных слов».

Зачинателям новой литературы — Д. Нацагдоржу, Ц. Дамдинсурэну и другим — приходилось выступать во многих жанрах, они писали стихи и песни, рассказы и очерки. Крупные, эпического плана произведения появились намного позже.

— Основной признак зрелости литературы — развитие прозы,— говорит Сэнгийн Эрдэнэ, известный прозаик, секретарь Союза писателей, посетивший нашу редакцию вместе с поэтом Мишигийном Цэдэндоржем и критиком Г. Жамсаранжавом.— А последнее десятилетие ознаменовалось у нас прежде всего развитием романа. Тематически вышедшие в свет романы можно довольно отчетливо разделить на две категории: историко-революционные и те, которые посвящены современной проблематике.

С историко-революционным романом Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Тамир», охватывающим большой период нашей истории, советский читатель уже знаком — он вышел отдельной книгой в издательстве «Прогресс» и напечатан «Роман-газетой». На русском языке опубликован также многоплановый роман «Тревожные годы», принадлежащий перу другого нашего известного писателя Д. Намдага.

С. Эрдэнэ упоминает произведения многих талантливых романистов: некоторые из них посвящены историческому прошлому страны, но появление их в основном продиктовано духом и проблемами современности. Молодые прозаики, естественно, тяготеют больше к темам сегодняшнего дня, они стремятся рассказать о коллективизации, о рабочем классе, о жизни и интересах молодежи. К сожалению, их произведения не всегда еще отвечают высоким художественным требованиям.

Какое же прозаическое произведение из числа тех, что появились за последнее время и правдиво отражают сегодняшний день страны, могло бы представить интерес для советских читателей?

— Я мог бы назвать сравнительно небольшой, хорошо написанный роман Дашдоорова «Гобийская высота»,— не задумываясь отвечает наш гость,— а также превосходную повесть «Мельник» нашего молодого талантливого прозаика Мягмара. Очень отрадно,— подчеркивает тов. Эрдэнэ,— это большая наша удача, что за последнее время монгольские прозаики много внимания уделяют такому жанру, как повесть.

А что же пишет сам Сэнгийн Эрдэнэ, один из лучших новеллистов страны?

— Как всегда, пишу рассказы,— улыбается он.— В 1961 году в русском переводе вышел сборник моих рассказов, но попали туда и старые, и незрелые вещи. А поскольку я уже вступил в зрелый возраст, то решил переходить к более объемному жанру и написал повесть. Печататься она будет в журнале «Цог», но пока вашему вниманию предлагать ее не решаюсь. Прежде я писал лирические, говорили даже — психологические рассказы. Теперь меня привлекает, так сказать, мужественный реализм; может быть, это диктует мой уже не лирический возраст.

Монголы очень поэтический народ. Всё—

Мишигийн Цэдэндорж

Г. Жамсаранжав

каждый их шаг, каждое событие — сопровождается песней. Едет ли монгол на коне или верблюде, строит ли юрту, участвует ли в скачках или состязаниях в ловкости— всюду с ним песня, как всюду над ним синее небо. В столице ежегодно отмечается день поэзии, который проходит при огромном стечении народа.

— Поэтому все монгольские писатели начинают с поэзии,— говорит М. Цэдэндорж.— Поэтому короткие рассказы монгольских прозаиков, начиная с Нацагдоржа, так поэтичны. Если писателю удается уловить и передать эту черту нашего народа, который все обычное, будничное поэтизирует в своих песнях, его ждет удача. Народ наш небольшой, но у него древняя культура, и в очень многих странах изучают литературу и поэзию Монголии.

Палитра монгольской поэзии становится все богаче и красочней, а формы ее многограннее. Поэты ищут решений и в эпике, и в лирике. Большим вниманием по-прежнему пользуется гражданская лирика.

— Монгольская поэзия вообще очень лирична,— продолжает М. Цэдэндорж.— У нас популярны стихи народного поэта, лауреата Государственной премии Лхамсурэна, поэзия Цэдэнжава, Пурэвдоржа; сродни народным традициям лирика Явуухулана. У Маяковского учился Ц. Гайтав, и это явственно ощущается в его творчестве.

Ц. Гайтав, автор поэмы «Ленин с нами», поэм о Сухэ-Баторе, о Марксе, был награжден недавно премией за свою последнюю поэму «Коммунисты» и новые стихи. Как удается ему соединить такие формы стиха, какие, скажем, характерны для Маяковского, с традициями монгольской национальной поэзии? И совместимо ли это вообще?

— В нашей поэзии сейчас,— поясняет М. Цэдэндорж,— наблюдается очень интересное явление: достижения мировой поэзии сливаются с национальными традициями, и в результате рождаются непривычные поэтические приемы. Этот любопытный процесс, очевидно, будет развиваться, но уже и теперь созданы какие-то новые формы, в которых отражается сегодняшняя наша жизнь.

Нашего гостя спрашивают: какие поэты — заслуженные или молодые — выступили в последнее время с запомнившимися читателям книгами?

— Наш хороший поэт Ч. Чимид,— говорит тов. Цэдэндорж,— в качестве председателя Комитета мира много путешествует по странам Азии, Африки, Европы. Неким поэтическим итогом его наблюдений явилась книга под названием «Эра». Для привлечения в литературу свежих сил мы объявили конкурс, на который поступило 126 сборников стихов. Три из них были отобраны и изданы. Поэтические кадры пополнились именами Пурэвсурэна, Шагдара и Сурэнжава.

А над чем работает наш гость и автор Мишигийн Цэдэндорж?

— Сравнительно недавно, год назад,— рассказывает он,— вышел мой сборник «Девять желаний», который вскоре появится и на русском языке в издательстве «Прогресс», через месяц выйдет из печати новая книга — «Радости живых». Почему, спрашиваете вы, желаний девять? Потому что число девять считается у нас счастливым числом, и слова «девять желаний» означают все желания.

Известно, что в Монгольской Народной Республике вскоре должен появиться двухтомник советской поэзии. Это плод огромного и напряженного труда М. Цэдэндоржа — составителя, переводчика, автора предисловия и помещенных в нем эссе. С чего

же началась эта увлекательная работа и когда она будет завершена?

— Пятнадцать лет назад,— отвечает он,— я впервые перевел два небольших стихотворения Расула Гамзатова. И с тех пор начал переводить советскую поэзию, постепенно готовя антологию. Первый том выйдет из печати уже на днях. В нем представлено 48 советских поэтов разных направлений: 24 — стихами, остальные — посвященными им статьями. Каждому автору отведено примерно 500 строк. Стихами представлены: Бровка, Гамзатов, Евтушенко, Есенин, Зульфия, Маяковский, Межелайтис, Рождественский, Симонов, Смеляков, Солоухин и другие. В статьях рассказывается о творчестве Горького, Вургуна, Джамбула, Маршака, Прокофьева, Райниса, Суркова, Тихонова, Турсун-заде и др. Во второй том войдут стихи Блока, Пастернака, Цветаевой, Винокурова, Вознесенского, Твардовского и др. Открывается антология высказываниями крупнейших писателей мира о советской поэзии.

Совсем еще недавно критика и литературоведение были самым уязвимым участком монгольской литературы.

— Да, наша критика долго не выходила за пределы рецензий,— рассказывает Г. Жамсаранжав.— На первом съезде писателей в 1948 году присутствовало лишь 3—4 человека, которых можно было назвать критиками. А на четвертом съезде речь шла уже не только о недостатках, но и о достижениях нашей литературной критики.

Теперь,— продолжает он,— наши критики, как и литературоведы, пристально следят за развитием литературного процесса. Появляются уже не только рецензии, но и обстоятельные статьи, серьезные исследования, обширные монографии о творчестве лучших наших писателей.

Прежде,— вспоминает тов. Жамсаранжав,— мы не могли создать историю монгольской литературы, сейчас она существует. Наш ученый Дамдинсурэн закончил большой труд — историю монгольской литературы XIII—XVI веков и сейчас пишет историю литературы XVII—XVIII столетий. В свет выходит история дореволюционной литературы конца XIX—начала XX века, в которой мне принадлежат три главы. Критики Цэнд, Лувсанвандан, Мунхо создают историю современной, послереволюционной монгольской литературы.

Главная сейчас задача,— добавляет он,— разработка теоретических проблем. Дореволюционные ученые много внимания уделяли восточным литературам — индийской китайской и др., но не занимались теоретическими основами своей, национальной литературы. После ревслюции наши ученые многому учились у советских монголоведов

Тов. Жамсаранжав высоко оценивает труд советских ученых Б. Я. Владимирцева Л. К. Герасимович, Г. И. Михайлова, многс сделавших для укрепления связей между советскими и монгольскими литераторами тепло вспоминает и о беседах с большими нашими художниками слова К. М. Симоновым, В. П. Катаевым, неоднократно приезжавшими на его родину.

Он с удовлетворением упоминает о том что в этом году в Иркутске намечается встреча советских и монгольских критиков Да, она несомненно обогатит ее участников, как обогащает человека каждая встреча с истин-ым другом.

С. ЧЕРНИКОВА

ПОЭЗИЯ ВЕДЕТ ОГОНЬ

Поэзия ведет огонь. Фронтовые стихи поэтов Вьетнама. Составитель и автор предисловия Евг. Долматовский. Москва, «Известия», 1968. 190 стр.

У меня на столе лежит осколок самолета, сбитого зенитчиками над заливом Ха-лонг. Я часто смотрю на него и вспоминаю ту не столь давнюю ночь, когда шли мы с вьетнамскими друзьями на катере по заливу, огибая скалистые острова. Три тысячи островов в этом легендарном заливе, воды которого омывают берега Хон-Гая, угольной сокровищницы Вьетнама. И каждый из островов по контурам своим напоминает какое-нибудь животное: Медведь. Слон. Тигр. Буйвол.

Тогда рядом со мной сидел известный вьетнамский поэт Хоанг Чунг Тхонг, участник войны Сопротивления, переводчик Пушкина. Он читал нам свои стихи на вьетнамском языке. И снова возникла передо мной та ночь, когда я увидел стихи Тхонга в книге поэтов-фронтовиков Вьетнама.

Сливаются море и горы,
Туманны вдали острова.
В предутренней песенке ветра
Едва различимы слова.

Обстрел начинается снова,
Но джонки выходят на лов,
Как будто не выстрелы это.
А гром океанских валов.

(Перевод Евг. Долматовского)

Она заставляет сильнее биться сердце, эта маленькая книжка, опаленная порохом битв. И опять возникают передо мной и тенистые улицы Ханоя, и хайфонский порт, и прибрежные заросли могучей реки Бать Данг, среди которых по всему берегу расположены были зенитные позиции. Сжимая винтовки, дежурили здесь, сменяя друг друга, группы деревенских ополченцев. В военной форме, в пробковых шлемах, увитых зелеными маскировочными ветками. Ведь именно там, в деревне Фук-Ле, расположенной над Бать Дангом, комсомольский вожак, хрупкая и отважная Си читала нам фронтовые стихи и пела песни о любви.

Никогда не забыть наших творческих занятий в доме над Западным озером, где собрались (многие прямо с линии огня) молодые литераторы Вьетнама, курсанты Литературной школы. Там сидели рядом и ветераны Сопротивления (среди них израненный, слепой прозаик Чанг Конг Ньуан, участник сражения при Дьен-бьен-фу); и совсем юные Нгуен Данг Лыонг — рабкор с хайфонского цементного завода, Ви Тхи Ким Бинь — невысокая девушка с тонкими чертами лица, санитарка, первая писательница народности таи, Бак Лиен — юная поэтесса из Тханьхоа, провинции, которую жестоко бомбили американцы, самый молодой поэт зенитчик До Тю, сбивший немало американских самолетов. Везде, в любой обстановке слышали мы стихи и песни вьетнамских поэтов.

И вот лучшие из них — в этой книге, со вкусом иллюстрированной тонкими, во вьетнамском стиле штриховыми заставками (художник Л. Катаев), книге, составленной Евгением Долматовским, не так давно вернувшимся из Вьетнама, немало посвятившим и собственных боевых строк героическим борцам.

В переводах вьетнамской поэзии приняли участие и многие наши поэты-фронтовики, и поэты более молодого поколения. Это как бы страстная, суровая и лирическая перекличка сердец. Михаил Матусовский, Ольга Берггольц, Бронислав Кежун, Всеволод Рождественский. И побывавший во Вьетнаме Илья Фоняков. И В. Корчагин, Н. Злотников, Т. Жирмунская. Б. Ахмадулина, О. Дмитриев, И. Кашежева.

Открывается сборник стихами одного из виднейших поэтов и общественных деятелей Вьетнама То Хыу. Суровый и строгий эпос сплетается здесь с тонкой, проникновенной лирикой.

Я хотел бы писать спокойно и плавно,
но как же я смогу,
если строки мои, объятые пламенем,
спотыкаются на бегу?..

Я не раз встречался с То Хыу, слышал стихи его. И меня всегда глубоко волновал этот взрывчатый сплав ненависти к врагам и беспредельной любви к своему народу:

Как могу я писать о деревьях и птицах,
сохраняя спокойный вид,
если даже травинка и та трепещет,
когда ветер с Юга летит?
И когда я слушаю вести с Юга,
я надолго лишаюсь сна...

И дальше:

...к любым испытаниям я готов,
к самым трудным готов делам,
когда вижу Отчизны моей чело,
рассеченное пополам...

(Перевод Мих. Матусовского)

И тут же лирические стихи То Хыу, посвященные девушке Ли-Чан Тхи Ли, героине освободительного движения в Южном Вьетнаме, и замечательная, широко популярная «Зеленая рубашка»:

Да, милая,— в белой
Нельзя мне в бою.
Зеленою сделай
Рубашку мою!

(Перевод В. Корчагина)

В партизанских джунглях родилась муза Нгуен Динь Тхи, воина, поэта и прозаика. Борьбе против захватчиков посвятил он свои первые стихи и очерки. Известностью пользовалась поэма его «Песня о Черном море», посвященная государственному деятелю Тон Дык Тхангу, принимавшему участие в восстании французских моряков на Черном море в 1918 году. Повесть Нгуен Динь Тхи «В огне» была напечатана в журнале «Иностранная литература» (№ 5 за 1966 г.). Последняя книга его «Фронт неба» — о славных вьетнамских летчиках. Взволнованные строки посвятил в свое время Тхи французскому моряку Анри Мартену, отказавшемуся воевать с вьетнамцами и брошенному в застенки Бреста и Тулона. А совсем недавно член ЦК французской компартии Анри Мартен в составе делегации ФКП как друг и соратник посетил Вьетнам, сражающийся с американскими агрессорами.

Многообразны стихи Нгуен Динь Тхи, включенные в сборник. Здесь и лирический «Рассказ о разлученных влюбленных», и «Баллада о Дьен-бьен-фу», и отрывки из поэмы о «Солдате Шане и его матери», и гневный поэтический памфлет о массовом отравлении заключенных в страшном концлагере Фу-лоя (Южный Вьетнам).

Поднялся народ, в гневе един.
И гнев над врагами занес.
А в горсти риса, который едим,
Есть привкус яда и слез.

(Перевод Н. Злотникова)

Молодой поэт Тхюи Тоан рассказывает о героическом городе Винь (близ 17 параллели), разрушенном тоннами американских бомб и все же продолжающем жить и бороться.

Потом, порохом, сталью, теплой землей
пахнет, город, твоя ладонь.
Никаким огнем погасить нельзя твой
живой, светящий огонь!

(Перевод И. Фонякова)

Примечательны стихотворные новеллы старого друга нашего Те Ханя. Жизнь Вьетнама с его горестями и надеждами отражена в стихах поэтессы Ань Тхо. Я помню, как мелодично, певуче звучали поэтические строфы ее, когда она, полузакрыв глаза, читала их нам в Ханое. И вслед за мягкими, лирическими созвучиями — тревога, громкие звуки гонга, призывающего к отпору врагу.

Гонг... Гонг...
Время не ждет.
Секунда так дорога.
Гонг... Гонг...
Снова налет.
Опереди врага!

(Перевод Евг. Долматовского)

Я встречал Че Лан Виена и в Ханое, и в Москве. Я слышал стихи его и на вьетнамском, и на французском, и на русском языках. Как делегат вьетнамской интеллигенции он побывал весной в Париже, где читал стихи свои французским студентам. В Москве на встрече со студентами Литературного института он прочел одно из лучших своих стихотворений, посвященное американцу Мориссону, который сжег себя перед Белым домом в знак протеста против политики правящих классов.

Глубоко значительны стихи Нгуен Суан Шаня — «Я в доме Маяковского». К возмездию зовут стихи Суан Зиеу, посвященные зверскому уничтожению школы в поселке

Хыонг-кхе, гибели детей под американскими бомбами.

Слез не надо! Пусть ненависть бродит
в стихе.
Кровь... И синие губы... И красный огонь...
Быстроногая девочка из Хыонг-кхе,
Вот как храбро воюет с тобой Пентагон!

(Перевод Евг. Долматовского)

Впечатляющими частями этой симфонии являются и стихи Тинь Хыу, Ван Дая, Хай Исна, Ханг Фыонга, Фам Хо, Нонг Куок Тяна, Суан Хоанга, Хюи Кана, Лыу Чонг Лы.

Включены в сборник и стихи братских поэтов Южного Вьетнама, присланные прямо с линии огня из джунглей, свидетельствующие о несгибаемом мужестве борцов Национального фронта освобождения. Зианг Нам, Ле Ань Суан, Ким Чинь, Тхань Зианг, Тхань Хай, Хоай Ву, Хай Ле, Тим Чанг, Тху Бон. У каждого своя тема. Свой голос. Свой поэтический почерк.

Включены в него и песни разных народностей Южного Вьетнама.

Мне хочется закончить эти заметки несколькими строчками из посвященного Родине стихотворения Суан Зиеу «Клятва», которое как бы конденсирует в себе основную направленность этого боевого сборника.

Если стали седыми твои виски,
в волосах моих новая прядь седая.
Если целятся в сердце твое враги,
прямо в сердце мое они попадают.
. . . . . .
Пусть еще терзают тебя враги,
сделав землю твою сплошным
пепелищем,—
Мы за все потребуем дать ответ,
где б ни скрылись они, мы их след
отыщем.
Пусть у них отрастет миллион голов —
миллион мечей мы обрушим, карая.
Мы очистим тебя от сорной травы
из конца в конец, от края до края.
Мы тебе возвратим навсегда весну,
чтоб тебя напоила весенняя влага.
Это то, во что верю я, чем дышу,
это клятва моя и моя присяга!

(Перевод Мих. Матусовского)

Теперь рядом с осколком сбитого американского самолета на моем столе лежит и эта страстная, боевая книга вьетнамских друзей: «Поэзия ведет огонь».

АЛЕКСАНДР ИСБАХ

КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ

Ли Ги Ен. Родная сторона. Роман. Перевод с корейского А. Хана и Д. Приемского. Предисловие В. Ивановой. Москва, «Художественная литература», 1967. 440 стр.

Старейшего корейского писателя Ли Ги Ена знают у нас по роману «Земля», переведенному и на русский и на другие языки народов СССР. Теперь читателям предоставлена возможность познакомиться с более давней его книгой—романом «Родная сторона», повествующим о жизни корейской деревни 20-х годов. Это лучшее, что создал писатель в период до освобождения Кореи.

Деревушка Вонтхо, где живут его герои, прилепилась у подножия горы Маннитче. Рисовые поля, жалкие хижины. Половина урожая — помещику, да налоги, да повинности. Одна мечта, одна цель — дожить до нового урожая. И так — поколениями.

Главный герой книги — интеллигент. Хи Чжун—человек действительно незаурядный, с твердыми принципами, твердой волей, живущий исключительно для других. Он сделал много хорошего, многим помог, но беда в том, что сам он недостаточно четко себе представляет, каким путем идти.

Молодежная организация в соседнем с Вонтхо уездном городке, в работу которой Хи Чжун активно включился после приезда в деревню, занята нелепыми спорами с другой такой же организацией, проведением никчемных дискуссий и собраний. Попытки Хи Чжуна перестроить ее работу ни к чему не приводят. Да и к чему они могли привести, если большинство членов организации—сынки купцов и богатых служащих?!

Тогда Хи Чжун организует в Вонтхо туре (нечто вроде кооператива или бригады). Слов нет, дело нужное и полезное, но односельчане Хи Чжуна психологически оказались не готовыми к коллективному труду. Туре распадается.

Бесплодной оказалась и попытка Хи Чжуна организовать бесплатную вечернюю школу: какая уж тут школа, если детишки от зари до зари в поле.

Борьба, которую ведут Хи Чжун и его друзья с управляющим имением Ан Сын Хаком, заканчивается, правда, успешно: крестьяне заставляют Ан Сын Хака снизить арендную плату. Но победа их добыта попросту с помощью шантажа. А кроме того, и в Вонтхо и в уездном городке и без управляющего немало темных личностей, борьба с которыми, в сущности, еще не начиналась. Если Ан Сын Хак — злодей безоговорочный, то ростовщик Квон Сан Чхор более скрытен, отчего, впрочем, никому не легче. Есть еще пройдохи, засевшие в буддистском монастыре Илсимса, есть христианский священник Чон, не лучше буддистов.

А сами крестьяне? Не меньшее зло, чем вековечная угнетенность, — ими же защищаемые дикие обычаи. Женят в четырнадцать лет Хи Чжуна — жизнь искалечена, искалечена жизнь и его жены Бок Им. Во имя чего?

Чуть было не погибла из-за нелепой ссоры Гук Сир, судьба которой и без того печальна: пятнадцатилетнюю, ее выдали замуж за придурковатого Све Дыка, потом знахарскими врачеваньями погубили ребенка. Опять-таки во имя чего?

Судьба женщины в «Родной стороне» трагична, и женские образы, пожалуй, заслуживают особого разговора. Но как-то необыкновенно, щемяще жалко ребятишек. Конечно, в качестве игрушки может сойти и привязанная за ниточку стрекоза, но как

быть, если дети пухнут с голоду? Украдено детство — украдена жизнь. Слишком много такого вокруг, с чем нелегко бороться полумерами, призрачными просветительскими мечтами. Его герой, в конце концов, убеждается в бесперспективности своих начинаний. Жизнь нужно переделывать, а переделать ее только с помощью молодежных организаций, туре и вечерних школ немыслимо.

Писатель сумел разглядеть ту силу, которая со временем переделает мир, и невозможно не отдать должное его проницательности. Речь идет, повторяем, о Корее двадцатых годов (с высоты наших шестидесятых кое-что в этой книге, может быть, и покажется несколько наивным). Рабочий класс— в самом еще зародыше. Но рядом с Вонтхо писатель помещает ткацкую фабрику, где работают некоторые из героев. Да, там тоже трудно, может быть, даже трудней, чем в деревне («тюрьма, а не фабрика»), но там уже есть то, чего нет в Вонтхо, — единение.

Конечно, и фабричная жизнь, и забастовка — все это выписано, если так можно выразиться, пунктиром, но сам факт обращения писателя к «рабочему материалу» чрезвычайно характерен.

Роман Ли Ги Ена — трудная книга. В ней много тяжелого, подчас страшного. И в то же время много оптимизма. Ее герои растут. Начинает понимать что к чему обыкновенный крестьянский парень Ин Дон. Резко рвет со своим кругом дочь управляющего Гап Сук. По-новому смотрит на жизнь, попав на фабрику, деревенская девушка Ин Сун. Время движется только вперед.

С момента появления романа прошло немногим более десяти лет — и в Корее севернее тридцать восьмой параллели родилась новая жизнь. Есть еще, правда, Корея и южнее ее, но можно ли сомневаться, что рано или поздно справедливость восторжествует на всех параллелях?!

ВАЛЕРИЙ МАКИЕВ

ПЕСНИ ПЯТОГО КОНТИНЕНТА

Поэзия Австралии. Переводы с английского. Составление и примечания Е. Домбровской. Москва, «Художественная литература», 1967. 316 стр.

Ровно двести лет назад корабль «Эндевор», которым командовал капитан Джеймс Кук, обогнув Новую Зеландию, поплыл на запад в сторону нынешнего Большого Барьерного рифа, держа курс на «неведомый огромный остров Terra Australis». Наконец он достиг восточного побережья нового материка и водрузил над ним английский флаг. С этого момента, как принято считать, начинается история освоения Австралии европейцами.

Кук сделал выбор, Кук поплыл на запад,—
И вот стихи в Австралии мы пишем.

(Перевод А. Сергеева)

Не только К. Слессор, автор этих слов, заимствованных из его большой поэмы «Пять образов капитана Кука», возвращается в стихах к тем «первым дням». Вспоминают о них и другие поэты (Р. Ингамеллс, Э. Уайт), воскрешающие образы капитана Л. Торреса, еще до Кука побывавшего в австралийских водах, или же моряка А. Селкирка, высаженного за неповиновение на один из островов Тихого океана и послужившего прототипом Робинзона Крузо. Неожиданным и глубоко поэтическим видением привлекает стихотворение поэтессы Р. Добсон «Ребенок с какаду» — своего рода притча о желтоголовом попугае, первом живом существе с далекого материка, случайно за сто лет до открытия Австралии попавшем в Европу и сумевшем сохранить свою тайну.

Долгое время Австралия служила английскому правосудию местом ссылки. По ее территории в постоянных стычках с аборигенами и друг с другом бродили беглые каторжники, сотни мелких и крупных банд промышляли разбоем на дорогах страны. К ним примыкали разорившиеся фермеры, доведенные до нищеты стригальщики овец, обманувшиеся в своих ожиданиях золотоискатели. Домом для всех этих людей становилась покрытая густым кустарником австралийская степь (буш), а сами они получили название бушрейнджеров (степных скитальцев). По вечерам у костров бушрейнджеры под банджо пели сложенные ими самими песни, рассказывавшие о тех, кто бродит по дорогам в поисках хлеба, о тех, кто любит риск и не дается в руки полиции. Бушрейнджеры умели ценить мужество и находчивость, справедливость и благородство.

А сам он был разбойником, грозой больших дорог.
Он рабство презирал всю жизнь, тюрьму
терпеть не мог.

СРЕДИ КНИГ

А звали его Донахью, именовался Джек,
И был он очень храбрый и хороший
человек.

(«Храбрец Джек Донахью». Перевод Р. Сефа)

Один из недавно изданных в Австралии сборников фольклора имеет характерный заголовок: «Передай, что я умер, не сдавшись...» Песни бушрейнджеров благодаря высокому духу независимости, который их отличает, близки к английским разбойничьим балладам Правда, австралийская народная традиция не выдвинула своего Робин Гуда. Но, как и в Англии, эти песни отражали социальные и нравственные идеалы народа, и потому они очень быстро стали всеобщим достоянием. Именно они были той основой, на которой во второй половине XIX века сформировалась национальная поэзия Австралии.

Из традиции буша вытекает овеянное романтической дымкой творчество первых австралийских поэтов А. Гордона и Г. Кендалла С нею теснейшим образом связана поэтическая деятельность Э. Б. Патерсона по прозвищу Банджо — самого даровитого из «поэтов буша», популярность которого в свое время была исключительной. Вольнолюбивый дух бушрейнджерских баллад нашел воплощение в проникнутых революционным пафосом борьбы стихах Генри Лоусона, о котором Фрэнк Харди сказал, что «он был главой целой школы, возникшей в восьмидесятых годах прошлого века и отметившей печатью зрелости новую литературу о новом народе — австралийцах».

Как безработный с узелком,
Бредет Свобода мирно.
Ее призыв нам всем знаком
В Австралии обширной.
Она зажжет костер большой
И, не считаясь с рангом,
Тиранов всех сметет долой
Могучим бумерангом!

(Перевод М. Зенкевича)

Традиция буша и сегодня продолжает питать австралийскую поэзию, хотя подчас бросаются в глаза элементы стилизаторства. Два видных поэта современной Австралии Р. Робинсон и Д. Стюарт известны как продолжатели этого жанра. Демократическая основа их творчества действительно ощутима: она проступает в интонации, в тематике и особенно в лексике их стихотворений. Однако даже те немногие вещи, которыми эти поэты представлены в данном сборнике, с очевидностью показывают, насколько отлично художественное мышление Робинсона и Стюарта от того более непосредственного взгляда на мир, который был свойствен безымянным авторам баллад и трудовых песен. Уже в начале XX века Австралия и в области экономики, и в области культуры могла соперничать со многими европейскими державами. Освоение страны сопровождалось беспрерывным наступлением на аборигенов, оттесненных в резервации. На девственных землях все чаще и чаще слышался шум грейдеров и бульдозеров, проникновение техники шло, нанося непоправимый ущерб уникальной австралийской фауне. Об этом процессе не без горечи рассказывает его очевидец и участник У.-Э. Харни в стихотворении «К западу от Элис-Спрингс»:

Дрожат эвкалипты и мульга, не в силах
сдержать свой страх.
Мелькнут змея или утконос и вмиг
исчезают в кустах.
Мы дерн сдираем, мы камни дробим, мы
вспарываем пласты.
И кто разберет — бандикут или крот
ныряют юрко в кусты.
Бегут термиты, а птицы печально зовут
тишину,
Но этот стучащий, гудящий враг всю
будоражит страну.
Шины шуршат по заросшей тропе, где
среди лесов и песков
Дети Австралии столько веков своих
почитали богов.

(Перевод Д. Маркиша)

В отношении австралийских поэтов к «детям Австралии» — коренным жителям их страны — всегда было нечто большее, чем филантропическое сострадание. Их всегда отличало стремление вывести аборигенов из того неравноправного состояния, в которое их поставили колонизаторы. Пример тому — общественная деятельность Мэри Гилмор. Вопреки официальной идеологии поэты говорят об аборигенах как о трудолюбивом и талантливом народе. Связь с жизнью и языком аборигенов во многом определяет специфику австралийской поэзии. В 30-е годы существовало направление «Джиндиворобак» (туземное слово, приблизительно означающее «союз»), представители которого требовали от отечественной литературы, чтобы она смелее использовала язык и фольклор аборигенов. На этот призыв было немало откликов (в данной антологии — стихотворения «Край деревьев бригалоу» Д. Райт, «Баньип» Д. Девени и др.). Ни один сборник австралийской поэзии не обходится без словаря австрализмов, большая часть которых принадлежит языку местного населения. Ориентация на культуру аборигенов особенно проявила себя в творчестве вождей «Джиндиворобака» И. Мьюди и Р. Ингамеллса. Стихотворение последнего «Лубра» («Женщина») — характерный образец поэзии, в которой обрядовая сторона жизни аборигенов приобрела особую значимость.

Упруги груди, мускулисты руки,
И только скорбь в глазах ее стара,
Когда, как паутинки, песен звуки
Дрожат в тревожных отсветах костра,
Она поет, припав к земле своей,
И подпевает ей сверчок визгливо,
И месяц виснет в зелени ветвей,
И ветер спит на зелени залива.

(Перевод А. Сендыка)

Есть в сборнике стихотворение, о котором хочется сказать особо. Это «Памятник лейтенанту Джону Лермонту» Д. Мэнифолда, в котором рассказывается о молодом австралийском лейтенанте, погибшем на Крите в боях с фашистами. Любопытно, что Мэнифолд как бы предполагает родство австралийского лейтенанта с М. Ю. Лермонтовым (основываясь на сходстве в именах и шотландском предке русского поэта). Вспоминая в этой связи о шотландском поэте Д. Хогге, Мэнифолд делает обобщение и говорит о глубоких кровных и духовных

связях австралийского народа с остальными нациями.

Но плоть Австралии кровоточит
(А ей сродни и Лермонтов и Хогг),
И эта кровь тебя омыла, Крит.

(Перевод А. Сергеева)

При всем своеобразии австралийский стих, однако, не оказался в стороне от путей развития мировой поэзии. Еще К. Бреннан в конце XIX века ориентировался в своем творчестве на европейскую традицию и получил известность как один из наиболее одаренных представителей поэзии символизма на английском языке. Его ближайшим последователем был Р. Фитцжералд. Под очень сильным влиянием У. Оуэна развивалось творчество «интеллектуального» К. Слессора, пытавшегося привить на австралийской почве новаторские приемы английского поэта.

Составители антологии в основном успешно разрешили стоявшую перед ними задачу: показать австралийскую поэзию за двести лет ее существования. Из девяноста трех поэтов, вошедших в антологию, семьдесят пять впервые переводятся на русский язык, а из остальных многие известны у нас лишь как авторы прозаических произведений. Жаль, однако, что сборник полностью лишен каких бы то ни было биографических и иных сведений о поэтах (если не считать дат рождения и смерти). В результате поэты различных убеждений, входившие в принципиально различные литературные группировки, следуют друг за другом в одном ряду, и история поэтического искусства страны неизбежно оказывается упрощенной. Ведь несколько стихотворений (а часто одно-два, которыми охарактеризованы многие поэты антологии) дают слишком малое представление о поэте.

Рецензируемая антология — лишь первая попытка познакомить наших читателей с поэзией пятого континента. Есть все основания полагать, что она положит начало длительному и более углубленному знакомству.

К. АЗАДОВСКИЙ

ЖИВЫЕ ЧЕРТЫ ВРЕМЕНИ

Сомадева. Повесть о царе Удаяне. Пять книг из «Океана сказаний». Перевод с санскрита П. А. Гринцера и И. Д. Серебрякова. Предисловие и примечания П. А. Гринцера. Москва, «Наука», 1967. 286 стр.

Повесть о браслете. Шилаппадикарам. Перевод с тамильского, предисловие и примечания Ю. Я. Глазова. Москва, «Наука», 1966. 223 стр.

Эти две древнеиндийские книги — блестящие образцы индийской эпической поэзии, насыщенные лирическими отступлениями и вставными историями, в которых реальные исторические события сменяются мифологическими картинами.

У нас давно известны «Рамаяна» и «Махабхарата», классические эпические поэмы древних индийцев. Но далеко не все знают, что наряду с ними существовали произведения не менее совершенные, которые либо не дошли до нашего времени, либо известны лишь в позднейших пересказах и переделках. Среди таких древнеиндийских поэм выделяется «Брихаткатха», или «Великий сказ», приписываемый традиционно поэту Гунадхье (ок. III—VII вв. н. э.). Эта поэма дала обильную пищу для целого мира древней литературы разнообразных жанров. Лучшей авторизованной переработкой ее, выполненной в начале второго тысячелетия, признается «Океан сказаний» кашмирского поэта Сомадевы. Пять первых книг этой поэмы и составляют представленную ныне на русском языке «Повесть о царе Удаяне» в прозаических переводах известных советских санскритологов П. Гринцера и И. Серебрякова.

Обширная увлекательная история о царевиче Нараваханадатте, сыне могущественного царя Удаяны из племени ватсов, который разыскивает похищенную у него невесту, излагается в десяти последующих книгах «Океана сказаний», еще не переведенных на русский язык. Сейчас на суд читателя отданы легенда о создании и создателе «Великого сказа» и повесть об Удаяне, отце главного героя, легендарном царе, образ которого неоднократно встречается и в других произведениях древнеиндийской литературы.

В отличие от героического Рамы из «Рамаяны», как отмечается в предисловии Гринцера, Удаяна — типаж негероический, человек «чувствительный и живой, влюбчивый и ветреный, поклонник искусств и поэзии». И повесть эта — не героический эпос. Походы и битвы чередуются с картинами мирной жизни: охота, дворцовые интриги, путешествия. Во вставных историях сосредоточена мудрость древних индийцев, их настоящая жизнь. Здесь и жертвы злословия, и целомудренные невесты, и неверные жены, и брахманы-обманщики. При всем своем явно дидактическом характере эти истории изящны по форме и весьма интересны по содержанию.

«Повесть о браслете», которая относится приблизительно к III—VII векам н. э.,— жемчужина древней тамильской поэзии. По своей древности, богатству тамильская литература следует непосредственно за санскритской. Но, к сожалению, и в Индии и за ее пределами до последнего времени древние и современные произведения этой литературы были известны довольно мало. Это один из первых переводов на русский древней тамильской словесности. В основу поэмы положено наиболее популярное предание тамильской древности. Воздаяние за добро и зло в нынешнем и «предыдущих» рождениях, торжество справедливости — вот основная идея поэмы тамилов. Согласно индуизму, за добрые дела в «прошлой» жизни в нынешней воздается еще большим добром.

«Вырвав у себя левую грудь» и «исторгнув пламенный огонь», красавица Каннахи испепелила город Мадуру, правитель которого по злобному навету приказал казнить ее мужа, молодого купца Ковалана. Совершив свой подвиг, она становится богиней по воле небес. Но эта эпическая поэма, в отличие от санскритской, в значительной степени рисует не царей и богов, а обыкновенных людей древнего Тамилнада. Это торговцы и ремесленники, брахманы и вайшьи, воины и пастушки, танцовщицы-ганики, родные сестры греческих гетер и римских куртизанок, и непорочные жены, старики и дети.

Имя Каннахи стало синонимом женской любви и верности у тамилов. Ее образ, исполненный обаяния и естественной красоты, ассоциируется с героиней «Рамаяны» Ситой. Ю. Глазов в предисловии справедливо ставит Каннахи выше образов других «карающих женщин» мировой классики — софокловской Электры и эврипидовской Гекубы. Сила и яркость ее характера столь велики, что Ковалан, как верно отмечает автор предисловия, предстает рядом с ней лишь «бледной тенью».

Реалистические картины жизни индийцев того периода перемежаются в поэмах с религиозно-философскими ассоциациями, мифологическими вставками. Сравнения, метафоры и эпитеты, нередко лишенные изящества в прозаическом переводе, могут показаться современному читателю выспренними и неестественными. Но в них суть эстетических представлений древних индийцев, специфика их обычаев и нравов, многие из которых сохранились и по сию пору. «Как в зеркале бывают отражены высокие горы, так в закончившейся повести отражены события обширной тамильской страны»,— говорит отшельник принц Иланго Адигаль, которого считают автором «Повести о браслете».

Нет сомнения в том, что перевод на русский язык этих эпических поэм древней Индии неизмеримо выиграл бы, будь он поэтическим. Будем надеяться, что и для него приспеет время.

В. МАКАРЕНКО

томе, точнее, об антологии стихов, написанных поэтом с 1959 по 1965 год.

Кто же такой Карлос Альварес? Он родился в 1933 году в знаменитом своими винами испанском городе Херес-де-ла-Фронтера. Ребенком он переехал с семьей в Мадрид, где впоследствии занимался правом, философией и литературой, но так и не успел закончить университетского курса.

Из авторского предисловия мы узнаем, что в 1958 году за политическую деятельность он был приговорен к семи месяцам заключения, из которых два месяца провел в совершенной изоляции, в одиночной камере. В 1961 году при обыске на квартире одного из друзей Альвареса полицейские обнаружили его неизданную рукопись, «за которую, — как с горькой иронией рассказывал поэт, — я получил свою первую литературную премию: десять тысяч песет... штрафа». Два года спустя его опять арестовывают, на этот раз приговор — два года и один месяц. В тюрьме, вернее в тюрьмах Карабанчеля и Касереса, он написал книгу «Записки, найденные заключенным».

Другой цикл стихов — «Монологи одинокого человека» — «я сочинил устно в январе 1965 года, — признается Альварес, — в одиночной камере, куда был заперт за объявление голодовки в последнюю неделю декабря 1964 года. Меня лишили возможности записывать стихи, отобрав нехитрые орудия производства — карандаш и бумагу».

Итак, перед нами мужественный человек, борец и поэт, чье творчество, сопряженное с опасностями — активное деяние на благо свободы.

А что являет собой Карлос Альварес как поэт?

Мы попытаемся рассказать об этом. Карлос Альварес один из самых молодых испанских поэтов, пишущий в русле реалистической традиции, которая проложила себе путь в начале пятидесятых годов и продолжает оставаться ведущим направлением в современной поэзии Испании. Человек, его жизнь, проблемы, возникающие перед ним, — вот постоянная тема представителей этой школы: Бласа де Отеро, Габриэля Силайи, Анхелы Фигеры.

Стихи Карлоса Альвареса просты, суровы,

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

СТИХИ ИЗ ТЮРЬМЫ

Carlos Alvarez. Escrito en las paredes. París, Colección Ebro. 1967.

На обложке книги Карлоса Альвареса заголовок «Написано на стенах», на гитульном листе — «Записки, найденные заключенным». В сущности, речь идет о двух книгах, объединенных в одном

ясны («Слова как удары бича» — назвал он один из циклов стихов, и это очень точное определение). Для многих его стихотворений характерен разговорный тон, который создает впечатление, будто автор беседует непосредственно с невидимым читателем. Этот интимный тон придает еще большую проникновенность и эмоциональность произведениям поэта.

В сборнике «Написано на стенах» преобладает одиннадцатисложный размер, которым Альварес владеет с завидной непринужденностью. Поэт использует ассонантную рифму, придающую стихотворению мягкую, как бы приглушенную мелодичность.

Книга Альвареса потрясает с первой страницы до последней строки. За вступительным словом, в котором рассказывается о скитаниях автора по тюрьмам и судам, следует посвящение: «Моему отцу, расстрелянному фашистами». Затем идет короткое стихотворение «Наша земля», по духу близкое стихам Отеро:

Земля, политая кровью,
устала от пролитой крови.
Край, удобренный злобой,—
это край печали и голода...
Земля, политая кровью,
не хочет, чтоб кровь проливали,
а хочет лишь одного:
хочет родить хлеба,
хочет матерью стать...

(Перев. Г. Павлова)

И еще одно стихотворение — «Марии на память»:

Твой муж в тюрьме, и твоя сестра в тюрьме,
а твоего отца из тюрьмы освободила
смерть...

(Перев. О. Савича)*

Однажды в новогоднюю ночь в одиночной тюремной камере Касереса он написал стихотворение друзьям из Бургосской тюрьмы. О том, что он им завидует, что они в эту ночь вместе,

...и может быть,
они поднимут тост,
нехитрый тост
без тонких рюмок,
тост в старых банках
из-под консервов,
которые с таким трудом
прислала сестра или невеста...
Дочь уже большая,
а отец так и не смог ни разу
ее поцеловать...

(Перев. Г. Павлова)

Необычайную силу и выразительность обретают его стихи в «Монологах одинокого человека», сочиненных, как уже говорилось, в карцере. Хватающие за душу стихи к матери кончаются следующими строками:

Всегда ты вожаком моим была,
всегда мои шаги ты направляла,
родная мать, ты мне обвила грудь
вьюнками ласки...
Ты якорь, притянувший мои крылья
к земным корням,
где я отведал сок земли,
где вслушиваюсь в голоса земли,
где нахожу во тьме мою тропинку.

(Перев. Г. Павлова)

* Переводы покойного О. Савича взяты из книги стихов Карлоса Альвареса, которая готовится к печати в издательстве «Прогресс».

В другом стихотворении поэт во время суда над ним вспоминает об отце. Ведь люди, которые, может быть, когда-то расстреляли его отца, или их друзья теперь собираются заточить в тюрьму и сына.

В стихах Альвареса звучит озабоченность судьбой Испании и испанцев, в них жажда свободы, желание погасить вражду, разъединяющую его соотечественников еще со времен гражданской войны:

Я об этом не знаю,
я — молодой человек, родившийся позже,
далекий от времен Брунете и Герники...
От ненависти уводит меня любовь к земле,
я друг земли, враг ненависти.

(«Урок истории». Перев. О. Савича)

Тяжело переживает поэт рану, нанесенную стране эмиграцией сотен тысяч испанцев, которые покинули родину в поисках куска хлеба:

Я клянусь вам:
вы нужны Испании —
пот ваш, льющийся в чужие бокалы
и орошающий чужую почву,
песни, украшающие пейзажи чужой
земли...

(«Маленькая поэма, обращенная к эмигрантам». Перев. О. Савича)

Карлос Альварес — преданный друг Советского Союза. В издающемся на испанском языке журнале «Советская литература» он переводит русских поэтов и поэтов братских республик. Свою давнюю любовь к Советскому Союзу он выразил в стихотворении «Приветствие Копачу», написанном в 1959 году во время международного фестиваля молодежи в Вене:

Копач, посланец Украины,
ты приехал, чтобы нам рассказать,
как нравится людям твоей земли,
позолоченной колосками пшеницы,
вечное юное лето...
Но ты не знаешь, Копач,
что там, на моей родине,
мы не можем петь,
как поешь ты,
не можем смеяться,
как ты,
не можем чувствовать,
как чувствуешь ты...

(Перев. Г. Павлова)

Но лучшее стихотворение сборника, на мой взгляд, это «Седьмое ноября», в котором совершенство формы сочетается с глубиной чувства и пламенной надеждой.

Что за чувство должно быть в тот день,
когда и в Мадриде (чтобы не ходить
далеко за примером)
улицы украшаются
чистой победой народа,
и, обнявшись, мы вспоминаем, поднимая
наш голос
в песне мира,
которая нас переполняет,
тот день семнадцатого года,
когда История началась сначала.

(Перев. О. Савича)

ХОСЕ САНТАКРЕУ

СРЕДИ КНИГ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Max Frisch. Biografie. Ein Spiel. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1967.

«Прошлое неприкосновенно. Не будем ничего повторять». В этих словах Пелегрина — лейтмотив первой пьесы Макса Фриша «Санта Крус», написанной четверть века назад. Эпиграфом к новой — десятой — пьесе популярный швейцарский драматург взял слова Вершинина из «Трех сестер» о том, что если бы ему была дана возможность начать жизнь снова, то он не стал бы повторять себя и уж во всяком случае не стал бы жениться...

Обе пьесы — как и некоторые другие произведения Фриша, прежде всего романы «Штиллер» и «Пусть мое имя будет Гантенбайн»,—обнаруживают немало схожих черт. Общий стержень поэтики этих произведений — допущения. Все они написаны как бы в сослагательном наклонении: а что было бы, если... Во всех герои расщепляют, разлагают свое «я» на «модели». Везде наличной действительности противопоставляется действительность возможная.

Постоянная тема Фриша — поиски единства, цельности в условиях всеобщей разъединенности и распада, поиски выхода из цивилизованных джунглей — механического существования омертвелых душ. Герой Фриша мечется в этих джунглях, словно раненый зверь; устремляется навстречу катастрофе, подстегиваемый запоздалым осознанием губительности нивелировки и замены души простой функцией (Homo Faber). Как Протей, меняет он способы и виды существования, маски и лики, мучаясь «абсурдностью нашего стремления быть другими, чем мы есть» (Штиллер). Как монах четки, перебирает он ситуации-стереотипы, «примеряет истории, как платья» (Гантенбайн).

И тут не просто неуемность воображения, не праздные муки рефлектирующего сознания. Выбор жизненного пути из числа многих возможных сопряжен с одной из важнейших проблем послевоенного искусства— проблемой ответственности человека за историю.

Выбор себя в новой пьесе Фриша максимально приближен к прямому значению этого выражения: речь в ней идет о выборе биографии. Пьеса так и называется — «Биография». Название вызывает — возможно, и предусмотренную самим Фришем — ассоциацию: ведь любимый жанр минувшего столетия — роман-биография. Чаще всего биография предпринимателя, собственника, завоевателя, чудака, художника, парвеню — но всегда характерной личности. В наш век, словно бы говорит Фриш, разрушение личности зашло настолько далеко, что даже рамки биографии перестали быть незыблемыми — они размыты тревожно-скептической рефлексией терпящего кризис индивидуума.

Профессору Кюрману, герою новой пьесы Фриша, предоставлена возможность реализовать мечту Вершинина: прожить годы жизни заново и — без жены. Биография без Антуанетты — вот цель его эксперимента. Способствует его осуществлению некто регистратор. В руках у регистратора досье, которое, словно свиток богини истории Клио, содержит подробную летопись личной жизни Кюрмана и событий века.

Регистратор всемогущ — он может вернуть время вспять и предложить переиграть любой эпизод заново. Нет, это не господь бог. В нем нет никакой мистики. Регистратор ничего не олицетворяет, разве что память Кюрмана. Он и не ментор восседающей в зале публики, к которой не обращается вовсе. Регистратор — поясняет в примечаниях к пьесе Фриш — попросту «инстанция театра, который позволяет то, чего не позволяет действительность: повторять, пробовать, изменять... Он ассистирует Кюрману, объективируя его». В регистраторе есть что-то гомункулообразное, он — точно прибор, измеряющий логику людских отношений, вносящий коррективы, фиксирующий промахи и ошибки. В то же время он не бесстрастен, его отношения к героям не лишены эмоции («Не кричите на меня», «Вы прямо как малые дети!» и т. д.).

На любом, даже многократном представлении этой пьесы зритель будет присутствовать на репетиции — репетируется биография Кюрмана Сцена, таким образом, идентична самой себе: в театре Фриша ни у кого нет иллюзий, что это не театр, а кусок действительности, подсмотренный сквозь проем сцены.

Итак, Кюрман хочет прожить без Антуанетты. Он просит вернуть время на семь лет назад, повторить тот роковой вечер, последствия которого привели к нежелательной теперь женитьбе.

Тот вечер ознаменовал вершину академической карьеры Кюрмана: его избрали профессором. Когда чествование и раут окончились и гости разошлись, у него на квартире остается Антуанетта: «Я только докурю сигарету». Памятуя о пресловутых последствиях, Кюрман всеми силами стремится избежать роковой интимной ситуации, заговаривает (типичный случай фришевской модели, проведенной пунктиром,— на этот раз модели умонастроений и интересов западной интеллигенции наших дней) о Витгенштейне, Шёнберге, Кьеркегоре, Адорно, марксизме-ленинизме, предлагает поиграть в шахматы (тоже символ — ведь само «опробирование» вариантов биографии походит на разбор шахматной партии), но все его усилия тщетны: трижды варьируется эпизод и трижды возникает роковой интим. Кюрман остается Кюрманом. И — с Антуанеттой.

По настоянию Кюрмана регистратору приходится вернуть время еще раз, потом другой, третий — постоянно «включая» его в разных местах биографии. От эпизода к эпизоду все четче вырисовывается довольно неприглядная биография интеллигентного западного мещанина. Родился в 1917 году в семье пьяницы-пекаря. В школе выбил снежком глаз товарищу, на семнадцатиле-

тие получил в подарок от отца велосипед («единственный случай в жизни, когда исполнились все желания»). Изучал психологию, в частности, в Штатах. Не захотел поехать оттуда к умирающей матери, боясь рисковать привязанностью девушки-мулатки. Призванный на военную службу, вернулся в 1940 году на родину (очевидно, в Швейцарию). Помог бежать группе евреев (в условиях, когда абсолютно ничем не рисковал). Женился на соседской дочке, не найдя в себе сил в решительный момент признаться, что не любит ее. Скандалы в семье, приведшие жену к самоубийству. Почти случайное открытие «рефлекса Кюрмана», много позже признанного несостоятельным. Избрание профессором. Вторая женитьба.

Вот то, что было. Заурядность того, что было, подчеркивает грозный и величественный фон: события мировой истории, которые регистратор зачитывает из досье, словно сводку последних известий. На этом фоне дано сплетение добра и зла — узлы и станции биографии Кюрмана, в которой так явственно перевешивает зло.

Но устранить его он не в силах, и препятствием здесь служит не временной барьер, а его, Кюрмана, внутренняя капитуляция. Жертва инерции, он слишком «привык к своей вине», чтобы что-нибудь изменить, и все в его биографии остается по-старому: и выбитый глаз товарища, и безутешная кончина матери, и самоубийство жены.

Его сил достает только для узкого диапазона вариации, сводящегося к преследованию эгоистической цели — биографии без Антуанетты. И ему удается, наконец, вторая версия биографии: он становится коммунистом. Кюрман надеется, что в этой версии встреча с Антуанеттой будет исключена. Ход его рассуждений прост и логичен. В этой логике — еще одна убийственно меткая модель нравов и негласных порядков в общественных институтах Запада. Вступив в коммунистическую партию, Кюрман навлечет на себя подозрение, что он «хочет переделать мир» (а не просто биографию), и будет неминуемо исключен из университета. А это значит, что он не станет профессором, то есть не будет раута — не будет Антуанетты.

Обстоятельства сложились, однако, несколько иначе, чем он ожидал. Партия вынуждает его к конспирации, и его все же избирают профессором. Из университета его исключают позднее, уже после свадьбы с Антуанеттой. Возникают всевозможные трудности, в том числе чисто материального характера. В семье трещина. Появляется некто третий, образуя тривиальный треугольник. В одной из версий Кюрман стреляет в Антуанетту. В другой — дает ей пощечину. В третьей — Антуанетта попадает в автомобильную катастрофу. Кюрману приходится выбрать самый безобидный вариант, в котором ему удается «стереть» только пощечину.

Финал всех версий один — Кюрман заболевает раком. Желание варьировать у него исчезает вовсе, он словно соглашается с Пелегрином: «Прошлое неприкосновенно. Не будем ничего повторять». Происходит это, с точки зрения интересов пьесы, вовремя: она еще не успела наскучить читателю и зрителю, бесконечные вариации не утратили еще над ним своей интригующей власти.

Развязка пьесы сделана мастерски. Регистратор передает право изменить свою судьбу самой Антуанетте. Роковой вечер переигран еще раз — Антуанетта уходит. Ее решение бесповоротно.

Зрителю предоставлено самому «проиграть» новый вариант биографии Кюрмана без Антуанетты.

Действие не закончено. Оно перенесено в воображение зрителя. Правила игры ему известны. У Фриша не только герой, но и зритель — homo ludens, «играющий человек». Он следует здесь за Музилем, сказавшим, что «человек — это игра возможностей». Задача человека заключается в отборе из огромного числа возможностей, в нем заложенных, лучших, творчески перспективных. Кюрман — говорящая фамилия, «кюрен» по-немецки значит «избирать». «Как вам будет угодно» — это фраза-константа, произносимая регистратором на протяжении всей пьесы.

Поиски утраченных возможностей, однако, ничего не дают Кюрману. Они лишь демонстрируют крах личности на склоне неправедной жизни.

«Биография» несомненно свидетельствует о том, что драматург, называющий себя учеником Брехта, не последовал пока за своим учителем до конца и не нашел выхода из тупика, в котором оказалось окружающее его общество. Тем не менее и в новой своей пьесе Фриш показал себя писателем-гуманистом, чья мысль обращена к актуальным проблемам времени.

В «Биографии», как и в предшествовавших ей пьесах, Фриш по-прежнему (на негативном примере) учит ответственности. За каждый свой поступок, из которых, как из кирпичей, складывается здание биографии. Вслед за Брехтом он восстает против рабской зависимости человека от обстоятельств, утверждая веру в изменяемость мира.

В интервью, данном по поводу пьесы журналу «Шпигель», Фриш, в частности, сказал: «Классическая драматургия... утверждает, что история могла развиваться только так и не иначе. Мой жизненный опыт подсказывает, однако, что в мире происходят многие вещи, которые не должны были бы происходить, и, напротив, не происходят вещи, которые могли бы произойти».

Судьбы мира, говорит Фриш, зависят от людей, из биографий которых складывается история.

Ю. АРХИПОВ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

„Книги Ленина и о Ленине» — под таким названием в Кракове была организована книжная выставка в ходе ежегодно проводимых в Польше «Дней просвещения, книги и печати». Среди экспонатов выставки были редкие издания ленинских книг, хранящиеся ныне в музеях Польши.

Мадридское издательство «Сиенсиа нуэва» выпустило роман Максима Горького «Мать». издательство «Агиляр» — «Дело Артамоновых».

Большим успехом у испанских зрителей пользуются пьесы Горького «Мещане» и «На дне». Последняя, как уже сообщала «Иностранная литература» (см. № 7, 1968), была недавно поставлена на сцене Национального театра им. Марии Герреро, где она не шла уже тридцать лет. Этому событию посвятил свою статью критик Мигель Бильбатуа в журнале «Куадернос пара эль диалого», назвавший постановку «На дне» «важнейшим событием нынешнего театрального сезона в Испании».

Театральная группа Общества иракско-советской дружбы в Багдаде готовит к постановке пьесу М. Горького «На дне».

Автобиографическая трилогия М. Горького «Детство. В людях. Мои университеты» выпущена в Чехословакии издательством «Одеон».

В издательстве «Млада фронта» вышел роман И. Ефремова «Туманность Андромеды», а в Государственном издательстве детской книги — стихи А. Барто под названием «Весело и серьезно».

Софийское издательство «Народна култура» выпустило «Театральный роман» М. Булгакова.

Роман М. Анчарова «Теория невероятности» и повесть того же автора «Золотой дождь» вышли в пловдивском издательстве «Хр. Данов».

Лондонское издательство «Макгиббон энд Ки» выпустило под редакцией С. Дж. Бирна сборник «Современные русские короткие рассказы». Среди авторов сборника — Н. Чуковский, Ю. Нагибин, В. Аксенов, Ю. Казаков, В. Тендряков и другие.

Превосходным произведением называет рецензент книжного бюллетеня «Тайекозтато» (Венгрия) вышедший в издательстве «Космос» роман Г. Белых и А. Пантилеева «Республика Шкид».

Театральная труппа дома культуры Кайена (Алжир) поставила «Баню» В. Маяковского. Эта пьеса — первое произведение советского поэта, с которым познакомилась широкая алжирская публика. Журнал «Революсьон африкен» опубликовал в связи с постановкой «Бани» в Алжире статью о жизни и творчестве Маяковского, в которой он назван «первым и самым великим социалистическим поэтом».

Недавно радио Белграда передало пьесу Л. Зорина «Варшавская мелодия» в постановке режиссера Боры Гриторовича, а центральное телевидение показало пьесу М. Булгакова «Бег» с участием популярных югославских актеров Мии Алексича и Любы Тадич в постановке режиссера Здравко Шотры.

В Австрии в «Театер дер югенд» поставлена пьеса В. Катаева «Квадратура круга».

Документальный роман А. Кузнецова «Бабий яр» вышел в ГДР в издательстве «Фольк унд вельт».

Повесть С. Антонова «Разорванный рубль» напечатана в двухнедельнике «Форум».

Книга Э. Межелайтиса «Человек» вышла в ГДР в издательстве «Культур унд фортшритт».

В ФРГ издательством «Поссев-ферлаг» (Франкфурт-на-Майне) выпущены «Алые паруса» А. Грина.

АВТОПОРТРЕТ В ТРЕХСТАХ БАГЕТАХ

Все началось еще в самолете. Он летел уже над Италией. Чем-то ее ландшафт был похож на Италию, какую мы запомнили по ивановским полотнам. Какой-то особой округлостью холмов. И округлостью пиний. И блеском зелени. И самим светом, который добела высветлил землю и напитал облака — этакие белые пинии, занесенные в поднебесье.

— В России думают, что я кинорежиссер, — сказал наш друг Чезаре Дзаваттини и так взвил ладонь, что человек, сидящий в самолетном кресле рядом, вздрогнул. — Поймите, что это заблуждение!.. Я — писатель... Именно как писатель я жду вас на Санта-Анджела Меричи, 40... Кстати, будете у меня, не забудьте взглянуть на новую церковь Санта-Анджела, это против моего дома.

С этим наш самолет и приземлился в Риме. А на другой день вечером я уже шел по улице Санта-Анджела Меричи, направляясь к Дзаваттини, и, разумеется, не минул новую церковку, стоящую в начале улицы, на холме. Наверно, с той далекой поры, как вечный город утвердился на Тибре, церковная архитектура не претерпела таких изменений, какие испытала она в последние пятнадцать лет. Это восприняла и римская церковь на холме Санта-Анджела. Островерхий шатер церкви похож на шестигранный фаберовский карандаш, толстый и тщательно оструганный. Впрочем, в этом сравнении нет иронии — архитектура церкви проста, необычна и по-своему эффектна. Я сказал об этом Дзаваттини, когда, перейдя улицу и спустившись с холма, очутился в его квартире.

— Как условились, сегодня мы будем говорить о литературе, кстати, я пригласил Биджаретти, автора «Конгресса», — осторожно прервал меня Дзаваттини и отложил большую колонковую кисть, которую держал. — Хочу сымпровизировать несколько этюдов на мотив трех цветов итальянского флага...— произнес он, заметив, что кисть в его руке обратила и мое внимание. — Когда на палитре все краски, легко быть мастером, а вот когда всего три...

— Способность ограничить себя это и есть умение?

— Способность малыми средствами достичь большого, — уточнил он.

На длинном столе, чем-то похожем на верстак, лежали только что написанные этюды. Вероятно, то, что я увидел, было плодом упорной импровизации — краски как бы множились под рукой художника, при этом не смешиваясь и не дробясь.

— Так это же и есть... самоограничение!— воскликнул Дзаваттини, и его рука описала полукруг и оказалась где-то на уровне плеч. — Впрочем, я могу подтвердить эту истину и более убедительно... Вот!

Сейчас мы стояли в комнате, сумеречной и небольшой, стены которой были выложены картинами, как прямоугольными плитами. Здесь было так мало света, а ряды картин и их размеры были настолько правильны, что комната была похожа больше на церковку, может ее алтарь, а может притвор.

— Заметьте, ни одна картина не превышает размеров почтовой открытки! — произнес Дзаваттини и включил свет. Включил и ощутимо затих. То, что я увидел, немало

заинтересовало меня. Я стоял посреди картинной галереи, посреди знаменитой галереи Дзаваттини. Собственно, галерея занимала две комнаты, а в них четыре стены, однако при желании ее можно было бы расположить во дворце, не меньшем, чем Вилла Боргезе. Точно проспект-альбом, умещающийся на ладони, галерея Дзаваттини собрала на своих четырех стенах первоклассные имена. Впрочем, сравнение с альбомом условно: даже хороший альбом мог быть всего лишь собранием репродукций, галерея Дзаваттини — оригиналов.

Однако, не голословно ли все сказанное? Что собой представляет коллекция, если говорить об ее реальных ценностях? В ней два раздела. В первом: жанровые сюжеты, пейзажи, абстрактные импровизации. Все того же размера почтовой открытки. Говорят, писатель, пишущий большую прозу, тренирует умение в работе над маленьким рассказом. Умение строить сюжет, расходовать слово. Так и здесь. Размер миниатюры не сковал мастера. Более того, этот размер как бы высвободил силы, которые в художнике были сокрыты. Здесь много прекрасных вещей, самостоятельных, цельных. Но все, что собрано здесь, как мне кажется, понимается лучше, если эти миниатюры соотнести с тем, что предстоит увидеть в соседней комнате.

Там — автопортреты. 300 автопортретов. Гуттузо, Манцу, Ривера, Леви, Сикейрос, Рене Клер... да возможно ли перечислить всех? И вот что интересно: среди тех трехсот, которые я видел, нет портретов-«отписок», портретов, сделанных наспех. Психологически это объяснимо. Дело не только в том, что почти все портреты писались специально для галереи Дзаваттини, и не могли быть написаны посредственно. Более существенно, что это были автопортреты, а у истинного художника это всегда итог труда и раздумий. Поэтому не случайно, что галерея портретов богата подлинными шедеврами. И еще одно, на мой взгляд, существенное. Есть такое мнение: «Ищи, но не уходи от суда природы». Наверно, нигде власть этого судьи не простирается так далеко, как в жанре портрета и еще в большей мере — автопортрета. Здесь природа— сам лик художника. Он, этот лик, требует точности много большей, чем все натурщики художника, вместе взятые. Как ни заманчива перспектива пренебречь этим правилом, галерея Дзаваттини свидетельствует, что даже в наш вольный век на это отваживаются не многие. Разумеется, в галерее Дзаваттини много формальных портретов, но это та разновидность современного модер-

Чезаре Дзаваттини

ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ

РЕНЕ КЛЕР

ДЖАКОМО МАНЦУ

ДАВИД АЛЬФАРО СИКЕЙРОС

ДИЕГО РИВЕРА

РЕНАТО ГУТТУЗО

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

СОЛ СТЕЙНБЕРГ

КАРЛО ЛЕВИ

РЕНЕ ПОРТОКАРРЕРО

ИВАН ГЕНЕРАЛИЧ

на, который пожелал остаться подданным природы. Наверно, интересно было соотнести автопортреты, написанные для галереи, с миниатюрами, хранящимися в соседней комнате. Выводы, которые при этом можно было сделать, поучительны и профессионально и человечески. Так или иначе, а галерея и в этом отношении является уникальной.

Кто-то из друзей Дзаваттини сказал, что коллекция может иметь «педагогическое значение» уже потому, что вынуждает зрителя не столько рассматривать миниатюры, сколько их пристально исследовать, читать. Да, это тот вид искусства, который чем-то напоминает философские стихи—одна строфа способна вызвать мир раздумий и чувств. Наверно, из того, что я видел, трудно выделить что-то одно. Любой выбор будет субъективен, но если его все-таки сделать, то я бы выделил портреты, сделанные Манцу, Сикейросом и Гуттузо, Солдати, Личабуэ.

Как сложилось это уникальное собрание и какое место эта коллекция занимает в жизни самого Дзаваттини?

— И в моей жизни был такой момент, когда я точно прозрел: «Почему я не родился художником?» Да, в момент, равный прозрению, я вдруг обнаружил, что мир полон красок и что зелень листвы, для обычного глаза просто зеленая, для художника таит бесконечное разнообразие оттенков. Я начал пробовать себя как художник — темпера, чернила, масло, лаки. И вот, когда минуло два года этого неистовства — иного слова я не найду — неистовства! — однажды ночью я взял «Вышивальщицу» Кампильи, которую незадолго до этого подарил мне Рафаэль Каррьери, принялся ее рассматривать, и мне захотелось ее прикрепить к стене... Я подумал: «Хорошо бы иметь оригинальную миниатюру». «А почему бы и не две?» — шепнул мне на ухо дьявол. Короче: в эту ночь я написал своим друзьям-художникам, длинный ряд которых начинался с Карра́, тридцать писем и лег спать под утро... Есть такое мнение: большое или «слишком большое» создало категорию монументальности. Маленькое в искусстве является своеобразной антитезой фальшивой риторике. Истинное — в маленьком... не так ли?

— Но есть и другое мнение: коллекция является тайным портретом ее собирателя... и подлинная история собрания — в этом, — возразил я.

Дзаваттини рассмеялся:

— Но это уже не моя задача...

Возможно, Дзаваттини и прав — не его. «Картина никогда не бывает продумана и решена заранее, — сказал как-то Пикассо.— В то время, как ее пишут, она следует за изменениями мысли, когда она закончена, она продолжает изменяться в соответствии с чувствами того, кто на нее смотрит. Картина живет своей собственной жизнью, как человек, она претерпевает те изменения, которым подвергает нас повседневная жизнь. И это естественно, потому что картина живет лишь через человека, который на нее смотрит».

Где-то здесь лежит большой смысл того, что сделал Дзаваттини, собрав коллекцию: в этой коллекции его представление о современнике, о дне нынешнем и, быть может, дне грядущем. Что-то здесь уже отлилось и завершилось и останется неизменным навсегда, а что-то — еще должно завершиться и обрести смысл. Пусть меня простит читатель за столь необычную ассоциацию, но большая стена галереи Дзаваттини с правильными квадратами картин-миниатюр чем-то мне напоминает таблицу Менделеева человек еще находился в поиске, чтобы открыть все ее элементы. Именно этот смысл имеет замечание Каррьери, друга Дзаваттини. По его словам, Дзаваттини пишет уже тысячное письмо, чтобы заполнить оставшиеся на его стенах пустоты, и в тысячный раз повторяет сантиметры длины и ширины картины, в которые должен уложиться художник.

Однако, если вернуться к мысли Пикассо то следует сказать, что коллекция собранных Дзаваттини автопортретов, в сущности, является портретом самого Дзаваттини. Да автопортретом в трехстах багетах. Дзаваттини сообщил своей коллекции нечто такое, что является его миропониманием и мировосприятием, а следовательно, его темпераментом, его вкусом, его характером, чему дал жизнь он и что помогает жить ему, художнику, мастеру кино, писателю.

Писателю?.. Да, разумеется. Быть может, самое время заговорить и о литературе — кстати, из соседней комнаты идет навстречу сам Дзаваттини вместе с другом своим Биджаретти.

Я смотрю на Дзаваттини и ловлю себя на мысли, что только что узнал о нем нечто такое, чего не знал прежде.

САВВА ДАНГУЛОВ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

БАЙРОНА... ПРИЗНАЛИ

Сто сорок четыре года назад погиб великий английский поэт лорд Байрон, отдавший свою жизнь за свободу Греции. С тех пор, то есть почти в течение полутора веков, Вестминстерское аббатство, где находится знаменитый Уголок поэтов, неизменно отказывало Байрону в памятнике и мемориальной доске. На протяжении этого времени выдающиеся писатели, поэты, общественные и политические деятели Англии хлопотали о достойном увековечении памяти автора «Чайльд Гарольда», «Дон-Жуана» и «Каина», но безрезультатно.

В 1924 году, когда отмечалось столетие со дня гибели поэта, эти попытки были возобновлены. Епископ Райл, занимавший тогда должность настоятеля Вестминстерского аббатства, ответил суровым отказом.

В ответ на это в газету «Таймс» было направлено письмо, в котором был выражен решительный протест; среди подписавших его были Редьярд Киплинг, Томас Харди и другие.

И лишь недавно, под давлением общественности, Вестминстер изменил свое решение. 19 апреля 1969 года, в сто сорок пятую годовщину со дня смерти Байрона, в Вестминстерском аббатстве будет открыт памятник великому поэту. Как сообщает печать, на нем, вероятно, будет надпись, которую Байрон когда-то увидел на одном итальянском кладбище; он сказал тогда, что такую же желал бы иметь на своей могиле: «Молю о мире».

АСПАЗИЯ ПАПАТАНАСИУ В ЛОНДОНЕ

Находившаяся на гастролях в Лондоне знаменитая греческая актриса, исполнительница классических ролей Аспазия Папатанасиу неоднократно выступала с публичными заявлениями, в которых обличала злодеяния фашистской хунты в Греции. Она покинула родину в знак протеста против военного переворота. В годы второй мировой войны Аспазия Папатанасиу была активной участницей Сопротивления.

На одной из пресс-конференций она заявила: «Мир еще не осознал опасности того, что произошло в нашей стране. Греция—первая жертва фашистского переворота в Европе со времени окончания второй мировой войны. Греческий народ стремился к подлинной демократии — вот почему полковники произвели путч. Они хотели заткнуть нам рты, отучить нас думать».

В программу выступлений на сцене лондонского «Артс

Аспазия Папатанасиу.

(Газета «Морнинг стар»)

тиэтр» греческая актриса включила помимо своих коронных ролей — Медеи, Антигоны и Электры — драматическую поэму «Эпитафии», написанную выдающимся греческим поэтом Яннисом Рицосом, ныне томящимся в заключении на острове Лерос. Поэма была создана им тридцать два года назад, в связи со столкновением бастующих рабочих в Салониках с полицией. «Эпитафии» — это плач матери, разыскивающей своего сына. Она долго ищет его и наконец находит мертвым.

Аспазия Папатанасиу заявила представителям печати, что заключительные слова «Эпитафии»: «Сын мой, я иду к твоим братьям: как и они, я полна гнева. Я взяла твою винтовку. Спи спокойно, мой сокол»,— по ее мнению, всецело отражают нынешние настроения широких масс греческого народа.

ВЕНГРИЯ

КНИГА О ЛЕНИНЕ И РЕВОЛЮЦИИ

Будапештское издательство художественной литературы выпустило в свет книгу Ласло Дюрко «Ленин, Октябрь», главы из которой ранее публиковались в литературном журнале «Кортарш» (одна из этих глав была напечатана в «Иностранной литературе» № 4, 1965). Эта книга — результат многолетнего писательского и исследовательского труда, анализа многочисленных документов и воспоминаний, связанных с Великой Октябрьской социалистической революцией, жизнью и деятельностью В. И. Ленина. Масштабы этого труда характеризует, в частности, тот факт, что автору пришлось прочесть почти 300 томов исследований и других работ о вожде мирового пролетариата, изучить материалы, хранящиеся в Литературном фонде и центральных библиотеках Венгрии, в ИМЭЛе при ЦК КПСС, в Государственном музее революции в Москве.

Жанр книги «Ленин, Октябрь», как отмечает венгерская критика, определить не просто. Это не биографическая повесть или очерк о периоде назревания и свершения революции, а своеобразное историческое эссе, в котором, как пишет рецензент журнала Венгерской социалистической рабочей партии «Таршадалми семле», «объективный и глубокий анализ документальных источников дополняется личными впечатлениями, приобретая особую выразительность благодаря искреннему волнению писателя-историка».

Ласло Дюрко поставил перед собой цель — показать живой образ Владимира Ильича, и ему это удалось, пишет далее рецензент. Революции Ленин отдал всю свою жизнь, его имя стало символом революции — эта мысль отражена в названии книги и красной нитью проходит через все ее главы. Дюрко освещает разные грани характера Владимира Ильича, рисуя образ профессионального революционера, основателя партии коммунистов, политического и государственного деятеля и просто «самого земного» человека.

В главах книги «Человек и революция», «Россия», «Рождение революции», «Октябрь» рассказывается о том, как назревал коренной перелом в судьбах человечества, какие силы, великие и малые, готовили его.

Автор доводит повествование книги «Ленин, Октябрь» до момента победы Великой Октябрьской социалистической революции. «Я не пишу в книге об экономических взглядах Ленина, о его борьбе за достижение мира, вообще о его идеях, которые связаны с проблемами, возникшими после завоевания власти,—пишет в послесловии Дюрко.— Все это—задача следующей книги, в которой эти идеи можно сопоставить с их практическим осуществлением».

Венгерская критика высоко оценила работу Ласло Дюрко. Как уже сообщала «Иностранная литература» (см. № 7, 1967), творчество писателя в целом отмечено литературной премией имени Аттилы Йожефа.

В издательстве «Магветё» вышел альбом репродукций скульптурных композиций известного венгерского ваятеля Аладара Фаркаша (о нем см. «Иностранную литературу» № 7, 1966) на тему борьбы вьетнамского народа против агрессии США.
Скульптурные портреты бойцов Народных вооруженных сил освобождения, сцены героической борьбы против американских агрессоров, страдания матерей, трудовые подвиги рабочих и крестьян — на полях и заводах под бомбами и снарядами — вот далеко не полный перечень тем, которым посвящены небольшие скульптуры и композиции Фаркаша, репродукции которых собраны ныне в альбоме «Вьетнам». Несколько скульптур отражают протест самих американцев против войны во Вьетнаме. Вступительная статья к репродукциям написана известным венгерским писателем Габором Годой.
На снимке: композиция «Стратегическая деревня».

(Еженедельник «Элет эш иродалом»)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ВОПРОСЫ КРИТИКИ

В течение нескольких месяцев на страницах венгерской печати проходило обсуждение состояния современной литературной критики. Эта тема была основной и на сессии Венгерского историко-литературного общества, где был как бы подведен итог общей дискуссии.

С основным докладом «Мысли о критике» на сессии выступил доктор филологических наук, критик и литературовед Петер Надь. Главным в докладе Петера Надя был вопрос о соотношении общественного мнения и критики. Некоторые ораторы посвятили свои выступления вопросу о функции литературной критики в общественной жизни.

Об ответственности критиков за творческое формирование молодых писателей говорил Миклош Саболчи. Он затронул также вопрос о «вредной тенденции ставить знак равенства между гуманизмом «абстрактным» и гуманизмом социалистическим».

Его мысль продолжил в своем выступлении Деже Тот, который считает, что есть и другая неверная тенденция: относить декадентские течения к разряду гуманистических.

«Данная дискуссия,— говорится в редакционной статье еженедельника «Элет эш иродалом»,— выявила, что основной задачей критики в настоящее время является выработка более точного «идеологического курса» литературы. Опыт показывает, что читатель предпочитает того критика, который в своей работе руководствуется не постоянно изменяющейся снобистской модой, а критериями диалектического и исторического материализма».

ГАИТИ

«ПАПА ДОК» ГНЕВАЕТСЯ

Фильм «Комедианты» по одноименному роману английского писателя Грэхема Грина (см. сообщения в «Иностранной литературе» № 7, 1967 и № 5, 1968), с успехом демонстрируемый ныне на экранах США, вызвал энергичные протесты со стороны гаитянского посольства в Вашингтоне. В ноте, направленной госдепартаменту США, выдержки из которой появились в американской прессе, говорится, что фильм — «возмутительная клевета на государственное устройство Гаити», а цель постановщиков фильма — «ввести в заблуждение общественность Соединенных Штатов».

Директор студии «Метро Голдвин Мейер», выпустившей фильм, Роберт О'Брайен в ответ на это заявил в беседе с корреспондентами: «В основе фильма «Комедианты» — глубокое знание автором современного политического положения на Гаити. Ситуация, описанная в романе, равно как и показанная в фильме, подтверждается многочисленными сообщениями, появившимися за последнее время и заслуживающими полного доверия». О'Брайен ознакомил представителей прессы с заявлением Грина, в котором сказано, что «гаитянский правитель, виновный в убийстве и ссылке тысяч своих сограждан, по сути дела, протестует по поводу своего собственного отражения в зеркале».

В печати было опубликовано и заявление Питера Глевелла, постановщика фильма: «Мне довелось побывать на Гаити менее двух лет назад, и я подтверждаю подлинность изображенной Грином в романе и в сценарии атмосферы террора и угнетения, которая царит на острове. Кроме того, я беседовал со многими видными деятелями Гаити, которые в настоящее время находятся в Нью-Йорке, в эмиграции. Они утверждают, что Грин очень точно отобразил современную политическую атмосферу на Гаити и что положение в этой стране со времени написания романа стало еще хуже».

ГВАТЕМАЛА

ПИСАТЬ О НАРОДЕ И ДЛЯ НАРОДА

Испанский журнал «Куадернос пара эль диалого» поместил интервью с лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 1967 год гватемальским писателем Мигелем Анхелем Астуриасом.

Говоря о том, в чем должна в настоящее время заключаться деятельность писателя, Астуриас заявил, что видит два аспекта этой деятельности: политический и литературный. По его мнению, все настойчивее становится необходимость гармонического сочетания этих двух аспектов, поскольку писатель должен не только осознавать стремления своего народа, но и отображать их в конкретных произведениях.

Говоря об основных проблемах Гватемалы, Астуриас подчеркнул, что это прежде всего аграрная реформа по принципу — земля тем, кто ее обрабатывает, при обязательной технической, финансовой и иной помощи крестьянам со стороны государства. И национализация основных средств производства, банков и т. д., которые находятся ныне в руках иностранных монополий и без перехода которых под контроль государства немыслима подлинная независимость страны. Мы должны, заявил писатель, вновь обрести то, что принадлежит нам, посредством экспроприации. В каждом конкретном случае можно будет рассматривать вопрос о справедливой компенсации.

В заключение Мигель Анхель Астуриас сказал о своем отношении к присуждению ему Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», а также Нобелевской премии. «Ленинская премия,— подчеркнул писатель,—была присуждена мне за борьбу в пользу мира, и я был горд и счастлив, получая по этому поводу многочисленные поздравления от рабочих и крестьян». Что

же касается Нобелевской премии, то, как полагает Астуриас, он получил ее в знак признания его творчества, посвященного народу Гватемалы.

ГДР

ПАМЯТИ БЕХЕРА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Десятой годовщине со дня смерти Иоганнеса Бехера посвятили кинематографисты ГДР свою новую работу. На студии ДЕФА снимается фильм по роману Бехера «Прощание». Фильм расскажет о впечатлениях юношеских лет Иоганнеса Бехера, об общественной жизни Германии перед первой мировой войной. Премьера фильма намечена на октябрь. Это будет одна из самых значительных работ студии ДЕФА в нынешнем году.

«АКТОВЫЙ ЗАЛ» НА СЦЕНЕ

Театр города Галле осуществил инсценировку романа Германа Канта «Актовый зал» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 1—3, 1968). «Одна из лучших книг, рассказавшая на примере целого поколения о росте нашего общества, нашла свой путь на сцену,— писал в связи с этим событием Райнер Кернdль в газете «Нейес Дейчланд».— Коллективу театра и его режиссеру Хорсту Шёнеману постановка удалась. Они сумели передать остроту романа, его оптимизм, юмор».

Рецензент газеты «Берлинер цейтунг» отметил успех премьеры. «Не часто удается на постановках современных пьес наблюдать такую реакцию зрителей, слышать такой искренний смех...»

Театр города Галле покажет свою новую работу в Берлине, во время X фестиваля пролетарского искусства ГДР.

ФРГ

БРЕХТ И ЗАПАДНОГЕРМАНСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Отмечавшееся в начале этого года семидесятилетие выдающегося немецкого драматурга Бертольта Брехта вновь подтвердило тот факт, что интерес к его творчеству не ослабевает.

Как сообщает печать, недавно в Оберхаузене — шахтерском городе в центре Рурской области — в городском театре состоялась премьера «Трехгрошовой оперы». Постановщик пьесы режиссер Гюнтер Бюх заявил представителям печати, что не случайно остановился на этой пьесе. Выбор «Трехгрошовой оперы» был обусловлен той обстановкой, которая сейчас царит в центре Рура: закрыты многие шахты, на улицах — толпы безработных, происходят многотысячные демонстрации.

«Трехгрошовая опера» в постановке Гюнтера Бюха звучит как протест. Режиссер максимально приблизил действие пьесы к реальным событиям из жизни горняков в Оберхаузене. На сцене перед зрителем — копры шахт, горняки, вышедшие на демонстрацию, как это было в самом Оберхаузене за год до постановки пьесы. Звучат революционные песни, поднимается огромное красное полотнище и транспарант со словами Маркса о том, что капитал — причина всех бед и страданий трудового народа.

Одновременно постановщик как бы заставляет зрителя задуматься над теми событиями, которые происходят ныне в мире. В глубине сцены появляются увеличенные фотографии — американские самолеты бомбят вьетнамские города и села, полицейские разгоняют демонстрантов, голодные люди бродят в трущобах и прожигают жизнь богачи...

В зале звучат сирены (в ФРГ практикуется проведение воздушных тревог), зрителей в упор освещают прожекторы, а на балконах появляются солдаты с автоматами — переодетые артисты театра. Режиссер как бы говорит западногерманскому обывателю: знай, в какой стране ты живешь. В финале пьесы звучит мелодия «Интернационала», которую подхватывают в зале...

В 50-е годы западногерманские власти пытались запретить Брехта. Позднее были предприняты попытки извратить его, выхолостить

Стенная живопись на здании издательства «Фрейхейт» в гор. Галле (на снимке) создана художником Вернером Нейбертом.

(Еженедельник «Зонntаг»)

Художник Арно Флейшер (ГДР) создал гравюру «Берлинский ансамбль», в которой использовал мотивы спектаклей по пьесам Бертольта Брехта: «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж», «Жизнь Галилея», «Мать», «Карьера Артуро Уи», «Кавказский меловой круг».

(Газета «Берлинер цейтунг»)

политическое содержание брехтовских пьес. Постановка «Трехгрошовой оперы» в Оберхаузене свидетельствует о том, что попытки противников Брехта терпят провал: его искусство необходимо людям.

НЕ УЗНАЛИ...

Несколько крупных издательств, а также тридцать известных литераторов, критиков и профессоров Западной Германии, Австрии и Швейцарии получили по почте отрывок из романа, как было сказано в сопроводительном письме, начинающего автора — с просьбой последнего дать отзыв на этот текст.

Ни одно издательство не заинтересовалось этим произведением, а специалисты раскритиковали его. В ответах, которые были направлены автору, говорилось, что его литературный опыт «граничит с халтурой», его упрекали в «фальшивой сентиментальности», «разочарованности» и т. д.

Каково же было всем этим «специалистам», когда выяснилось, что текст был взят из известного романа Роберта Музиля «Человек без свойств»! В тексте ничего не было изменено, кроме собственных имен.

Злую шутку с издателями и литераторами сыграли сотрудники сатирического журнала «Пардон» (ФРГ).

В обширных статьях, появившихся вслед за этим в прессе, говорилось о том, что трудно судить по отрывку, что нельзя прозу тридцатых годов воспринимать, как современную и т. д. Но авторы статей признали, что «случай с Музилем» очень компрометирует «специалистов». «Бо́льшая часть адресатов не только не узнала роман известного писателя, но и не признала за ним литературных достоинств»,— писал рецензент газеты «Франкфуртер альгемейне».

Любопытно, что резче всех, пожалуй, об этом «литературном опыте» отозвалось издательство «Ровольт», хотя отрывок был взят из текста романа, опубликованного именно этим издательством в 1952 году.

ДРВ

ПИСЬМО ИЗ ХАНОЯ

В газете «Юманите» напечатано письмо известной французской журналистки Мадлен Риффо из Ханоя, в котором говорится:

«Я снова в Ханое. Хожу по улицам и вижу следы ужасных бомбардировок, которым подверглась столица Демократической Республики Вьетнам за те восемнадцать месяцев, что я здесь не была. Ищу их на лицах людей, на камнях, на улицах, обсаженных вековыми деревьями.

Разрушенные кварталы приведены в порядок. Развалины разобраны. Кирпичи бережно сложены в штабеля, готовые служить для новых построек. На месте разрушенных домов посажены молодые сады. Что можно было восстановить, восстановлено немедленно. В отремонтированных домах идет нормальная жизнь. Обновлен фасад Дворца Национального собрания. Улицы заасфальтированы, как это и предполагал сделать муниципалитет в последнее мое посещение.

В мирной жизни, как и в военной, Ханой среди своих зеленых массивов — стоек, суров в труде, бдителен, хорошо вооружен. Авиации США каждый камень столицы ДРВ обходится дорого. Жители Ханоя умеют постоять за свой город.

На прошлой неделе улицы Ханоя, как и до начала ежедневных бомбежек, снова были полны детей. И хотя позади три года войны и лишений, они кажутся более упитанными: очевидный пример того, что, несмотря на бомбежки, заметно повысился жизненный уровень.

С юга веет ветер победы... Он ощущается во всем, по всей стране. Велика уверенность вьетнамцев в победе и в своей правоте. Однако несмотря на то, что честные люди во всем мире поддерживают Вьетнам и Джонсон согласился на встречу в Париже, американские самолеты постоянно вторгаются в воздушное пространство Вьетнама и проносятся над Ханоем. Хрупкие на вид женщины в форме милиционеров углубляют убежища возле отеля, где я живу. Они говорят: «Американцы готовятся к новым налетам, но мы тоже готовимся». Никогда еще я не видела, чтобы в Ханое рыли столько бомбоубежищ. Они готовятся, если это понадобится, к длительным и жестоким сражениям, чтобы добиться победы.

Героический Юг — в сердце каждого. Никто не забывает, что ограничение района бомбардировок привело к концентрации и усилению бомбардировок провинций между 17 и 20 параллелями. А там начался сбор урожая — и крестьяне работают под бомбами и напалмом. Вьетнамцы спрашивают: «О какой деэскалации говорят американцы? Ведь мы никогда не бомбили Нью-Йорк».

Иллюстрированный журнал «Вьетнам» опубликовал несколько рисунков, рассказывающих о героической борьбе и труде вьетнамского народа, отражающего агрессию США.
Два рисунка созданы художником Чан Конг До из Демократической Республики Вьетнам: «Смена идет» и «Девушка, несущая на фронт боеприпасы».
Художник из Южного Вьетнама Хюи Фыонг Донг посвятил свою работу бойцам Народных вооруженных сил освобождения: «Форсирование реки Хам Луонг» (нижний снимок).

ИТАЛИЯ

ПРИЗЫВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Накануне недавних выборов в парламент пристальное внимание общественности и всех избирателей привлек опубликованный прогрессивной печатью призыв многочисленной группы деятелей культуры — писателей, кинематографистов, художников, музыкантов, ученых и университетских профессоров под заголовком «За успех левых сил». Нет сомнения, что этот призыв, широко подхваченный творческими работниками и всей интеллигенцией, сыграл немалую роль в общем «сдвиге влево», происшедшем в расстановке политических сил после выборов в Италии. В начале этого довольно обширного документа говорится, что в нынешний момент пробуждения сознания и проявления протеста, которые наблюдаются во всем капиталистическом мире и направлены против материального и духовного порабощения личности, индифферентность, пассивность со стороны итальянских деятелей культуры означали бы сотрудничество с теми, кто осуществляет это порабощение... Деятели культуры могут занимать одну-единственную позицию: выдвинуть альтернативу коренного преобразования общества, выступая в качестве существеннейшего компонента самого широкого объединения сил, которые ставят целью преобразование во всех областях — экономической, политической и культурной. «Мы отрицаем,— говорится в призыве,— такое общество, которое пытается полностью подчинить человека, его личность законам капиталистической наживы... Мы отрицаем, что свобода и демократия могут существовать там, где есть миллионы эксплуатируемых и полуграмотных... Мы отрицаем культуру, которая прививает человеку эгоизм, алчность в погоне за успехом и материальным благополучием, подавляя в нем всякую потребность в подлинном братстве и человеческом прогрессе, каковой вообще не может быть достигнут в обществе, разделенном на классы эксплуатируемых и эксплуататоров... Деятель культуры должен занять свое место в едином строю передовых сил общества, все более решительно выступать как носитель новой культуры, свободной от мифов буржуазного общества,— говорится далее.— Такая позиция предполагает политический выбор по отношению к любой проблеме, как итальянской, так и международной». В заключение

документа его авторы призывают итальянскую интеллигенцию отдать свои голоса на выборах коммунистам и унитарным социалистам и подчеркивают, что данный призыв является не чем-то случайным, преходящим, связанным лишь с парламентскими выборами, а имеет целью последовательную и неустанную борьбу за новую культуру и создание условий, в которых она сможет восторжествовать.

Призыв подписали виднейшие писатели, деятели культуры и искусства: Альберто Моравиа, Карло Леви, Пьер Паоло Пазолини, Чезаре Дзаваттини, Эдоардо Сангвинети, Умберто Эко, Альфонсо Гатто, Уго Пирро, Франческо Рози, Джилло Понтекорво, Джанни Пуччини, Массимо Мида, Джузеппе Де Сантис, секретарь общества «Италия—СССР» историк Паоло Алатри и другие.

В последующие дни левые газеты начали публиковать списки деятелей культуры из разных итальянских городов, заявивших о своем присоединении к этому призыву, а также интервью, в которых писатели и художники, ученые и профессора объяснили, почему они голосуют за коммунистов. В числе поддержавших призыв — писатели Карло Бернари, Руджеро Дзангранди, Феличе Киланти, Джансиро Ферната, книгоиздатель Джулио Эйнауди, писатели Неаполя и Сардинии, большая группа кинематографистов, многие художники, архитекторы, критики и искусствоведы. Писатель Лючио Мастронарди, автор книги «Учитель из Виджевано», заявил: «Я голосую за Итальянскую коммунистическую партию потому, что вижу в ней подлинную, конкретно-активную силу оппозиции левоцентристскому правительству, а также силу, способную привести к единству весь левый лагерь». Композитор Луиджи Ноно сказал, что он голосует за ИКП не только в порядке партийной дисциплины, а потому что он видит в этом акте свой конкретный вклад в дело классовой борьбы и рабочего движения. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» скульптор Джакомо Манцу в своем большом заявлении сказал: «Я голосую за левых, потому что это означает, что я голосую за мир, против войны, в защиту труда и против его эксплуатации». Художник Ренато Гуттузо выразил свою позицию так: «Я отдаю свой голос коммунистам потому, что коммунистическая партия — главное орудие мира во всем мире, орудие достижения подлинного интернационализма и освобождения человека».

ТЕАТР И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

В Турине состоялась встреча драматургов, театральных режиссеров и актеров, а также зрителей, организованная туринским драматическим театром «Стабиле». В течение недели там шла дискуссия на тему: «Итальянский театр сегодня». Многие ораторы говорили о серьезном кризисе в театральной жизни страны. Большинство драматических театров и групп, отмечали выступавшие, влачат жалкое существование и держатся исключительно за счет энтузиазма актеров. В трудном положении не только периферийные театры, но и театральные коллективы крупных городов. Государство практически не оказывает им помощи. Это вызвало недавно общенациональную забастовку театральных работников. Актеры, режиссеры, писатели, художники, осветители—все участвовали в демонстрациях, прокатившихся по стране. Они потребовали от правительства улучшения условий труда, повышения заработной платы, более внимательного отношения к нуждам театров.

Участники дискуссии говорили также о том, что устарела и не соответствует современным требованиям структура театров. Редко ставятся талантливые пьесы молодых авторов, хотя такие пьесы есть: их не допускает к постановке государственная театральная ассоциация. Естественно, что многие коллективы стараются выйти из-под контроля этого органа и создают новые организации. На встрече было выдвинуто предложение объединить эти организации.

Участники встречи пришли к выводу, что у итальянского театра имеются возможности для дальнейшего развития, но чтобы использовать эти возможности, необходимо мобилизовать и сплотить силы всех прогрессивных театральных деятелей и общественности страны. В заключение встречи было показано несколько спектаклей молодых театральных коллективов. Большой успех выпал на долю драматической труппы из Флоренции, показавшей «Мистерию-буфф» В. Маяковского.

КАНДИДАТЫ ПРЕМИИ «СТРЕГА»

Продолжают поступать произведения на соискание премии «Стрега» этого года. Из тринадцати писателей, представивших свои новые книги, будет отобрано пять «финалистов», из числа которых жюри выберет победителя. Неожиданностью для многих явилось представление на соискание этой премии двух книг, имеющих, по мнению критики, большие шансы на победу. Это книга Чезаре Дзаваттини «Слова через край», содержащая его дневники и новую повесть (отрывки из этой книги были опубликованы в «Иностранной литературе» № 3, 1968), и новый роман Пьера Паоло Пазолини «Теорема». В последнее время все полагали, что писатель-режиссер отошел от литературной деятельности и полностью посвятил себя кино. Думали, что свой новый фильм «Теорема» он будет ставить по специально написанному им сценарию. Однако Пазолини неожиданно представил большой роман под этим названием и объяснил, что сперва им была написана эта книга, а потом он решил поставить по ней фильм. В то время как о задуманном Пазолини фильме «Теорема», ставящем проблемы современной итальянской жизни, говорили уже давно, о его романе никто не знал.

Недавно в римской галерее «Дуе монди» открылась выставка антивоенных картин итальянских художников, протестующих против злодеяний американских агрессоров во Вьетнаме. На снимке: экспонируемая на выставке картина Клаудио Чинтоли «Вьетнамская мать».

(Еженедельник «Ринашита»)

В нынешнем году исполнилось двадцать лет существования премии «Стрега» — одной из наиболее авторитетных в Италии. Вдохновительница и организатор этой премии Мария Беллончи объявила, что юбилей «Стреги» будет ознаменован выходом серии книг, удостоенных премии за эти годы. Под эгидой «Клуба книгоиздателей» (ассоциации крупнейших итальянских издательств) каждый месяц будет выходить новая книга — переиздание произведений Эннио Флайяно, Винченцо Кардарелли, Либеро Биджаретти, Чезаре Павезе, Гвидо Пьовене и других писателей, которым в свое время присуждалась премия «Стрега». Книги эти будут выходить в недорогом издании. Как отметила Беллончи, это первая инициатива такого рода после серии книг, удостоенных Нобелевской премии. Таких серий не выпускают ни организаторы Гонкуровской, ни Пулитцеровской премий.

КИТАЙ

ЦЗЯН ЦИН РВЕТСЯ В... ПИСАТЕЛИ

Как известно, в Китае Мао Цзэ-дун уподоблен Солнцу. Но чему уподобить Цзян Цин, супругу Мао? Может, ее надо сравнивать с Луной? Но нет, супруга Мао Цзэ-дуна не желает сиять отраженным светом. Она пожелала, чтобы ее уподобили... великому писателю и гуманисту Лу Синю.

Удовлетворить свое тщеславие ей, оказывается, не так уж трудно. Недавно в газете «Гуанмин жибао» появилась статья некоего Цзи Хун-сюя. Автор ее пытается доказать, что Лю Шао-ци — «преступный организатор травли Лу Синя». Зато Мао Цзэ-дун выдается за покровителя великого писателя, хотя Мао благоразумно впервые похвалил Лу Синя год спустя после кончины последнего.

Маоистский автор не пожалел громких слов, чтобы выдать Лу Синя за «своего». Но вот беда — цитировать писателя ему не удается: не более двух-трех слов, редко целая фраза,— слишком опасен подлинный голос писателя-гуманиста. Лу Синь всей душой служил делу революции, а не той или иной персоне. В сочинениях Лу Синя имя Мао Цзэ-дуна даже не гостит. Единственный раз «господином Мао Цзэ-дуном» назвал его Лу Синь в своей статье «Ответ на письмо троцкиста» (правда, авторство его оспаривается), и теперешние маоисты стесняются процитировать столь невежливое обращение к «великому вождю». Но было бы приказание — и Цзи Хун-сюй ничтоже сумняшеся объявляет Лу Синя «провозвестником культурной революции в Китае»...

До этого имя Цзян Цин в статье не упоминалось. Зато в конце вдруг сделаны «выводы», перехлестывающие все содержание. Они настолько расходятся со всем материалом, что невольно рождается подозрение: не сама ли Цзян Цин вписала их в статью?

Итак, цитируем: «Главным проводником пролетарского революционного курса председателя Мао в отношении литературы и искусства на культурном фронте в тридцатых годах был Лу Синь... В шестидесятых годах самым решительным, самым смелым, самым последовательным пролетарским революционером, проводящим пролетарский курс председателя Мао в отношении литературы и искусства на культурном фронте является наша горячо любимая тов. Цзян Цин».

Цзян Цин, оказывается, тоже причастна к творчеству. Она ведь участвовала в обсуждениях театральных постановок, и газета преспокойно заявляет: «Тов. Цзян Цин создала лучезарные, образцовые революци-

онные пьесы». Раньше эти поделки называли продуктом коллективного творчества, но теперь Цзян Цин бесцеремонно присваивает их себе...

Так с помощью лжи и демагогии прокладывает Цзян Цин себе дорогу к заветной цели — связать свое имя с именем Лу Синя. Сомнительно, однако, чтобы это кто-либо принял всерьез.

Кувейт

АНТОЛОГИЯ КУВЕЙТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Поэт и ученый Халид Сауд аз-Зейд — один из наиболее видных представителей современной литературы Кувейта, серьезно занимающийся изучением литературного и культурного наследия своей страны. Он — автор объемистой книги «Народные пословицы», в которой собраны пословицы и поговорки на народном диалекте Кувейта, даны их эквиваленты на литературном арабском языке, а также их сравнения с изречениями из Корана и других древних памятников.

В настоящее время Халид аз-Зейд приступил к изданию антологии кувейтской литературы под названием «Литераторы Кувейта за два века». Первый том антологии уже вышел из печати. Он открывается статьей, посвященной истории литературы Кувейта начиная с XVIII века. Далее следуют биографии кувейтских поэтов и писателей, приводятся образцы их творчества.

Нигерия

РОМАН О НИГЕРИЙСКОМ УЧЕНОМ

В переводе на английский язык вышел роман бывшего премьер-министра Нигерии Абубакара Тафавы Балевы «Шейху Умар». Это небольшое произведение, написанное на языке хауса, об ученом Шейху Умаре из Северной Нигерии. Действие романа происходит в конце прошлого столетия, в эпоху ослабления власти фульбе, в период гражданских войн, вооруженных набегов за рабами, когда жизнь простого народа находилась под постоянной угрозой. В образе Шейху Умара автор показал ученого-мусульманина, к которому в поисках совета отовсюду стекаются люди.

Рецензент журнала «Уэст Африка» пишет, что особенно интересны описания двора эмира и традиционной мусульманской системы образования. Автор показывает роль мусульманства и ученых в Северной Нигерии того времени. Один из наиболее ярких образов, по мнению рецензента, работорговец Араб Абдулькарим — характерная фигура той эпохи.

Польша

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ

В столичной газете «Жице Варшавы» выступил со статьей известный писатель Ежи Путрамент, в которой он дал оценку позиции некоторых литературных кругов во время недавних политических событий в Польше.

Прошло уже несколько месяцев после пресловутого чрезвычайного собрания варшавского отделения Союза польских писателей, пишет Ежи Путрамент. Теперь можно оценить положение спокойно и значительно более точно.

«Прежде всего: что произошло у писателей? Это была оппозиционная политическая демонстрация, поводом для которой послужили «Дзяды», а мишенью — наша культурная политика, более того, политика народной Польши вообще и даже само ее существование в нынешней форме. В среде писателей заявила о себе оппозиционная группа, пользующаяся любым случаем, чтобы устраивать демонстрации».

Возникает вопрос: почему так произошло? — пишет далее Путрамент и продолжает: «Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что вот уже 12 лет, со времени XX съезда КПСС, западная печать все крупные антикоммунистические кампании проводила под предлогом защиты того или иного писателя, например, в СССР, Чехословакии, Венгрии, Польше. На предыдущем этапе антикоммунистические кампании проводились совсем под другими предлогами.

Этот возросший интерес к писателям социалистических стран со стороны центров антикоммунистической диверсии, разумеется, вовсе не случаен. И он не вытекает из трудного положения писателей в наших странах, напротив, он — следствие их привилегированного положения.

Полностью оценивая огромную роль литературы в формировании социалистического сознания общества, наши страны, следуя примеру СССР, обеспечили своим союзам писателей материальные условия для деятельности, каких не имеет ни одно объединение писателей даже в очень богатых капиталистических странах, и одновременно предоставили им автономию.

Такое сочетание исключительно важно, оно дает ключ к пониманию как большого интереса диверсионных иностранных центров к союзам писателей в наших странах, так и особой политической активности некоторых писателей в рамках этих союзов.

Они сообразили, что этот исключительный вес литературы и позиция писателя в условиях нашего строя обеспечивают им исключительные возможности для деятельности».

Этому способствовала и терпимость к политической деятельности определенной окололитературной группы людей, для которых, по словам Путрамента, литература — это скорее средство, а цель — чистая (вернее, грязная) политика. Союз писателей показался им особенно благодатной платформой деятельности ввиду более широких, чем в других общественных организациях, возможностей для политического маневра. Здесь было легче организовать такие

эксцессы, какие были организованы по случаю «Дзядов».

АРХЕОЛОГИЯ XX ВЕКА

Под таким заголовком еженедельник «Фильм» опубликовал заметку о новом документальном фильме Анджея Бжозовского.

...Поросшая травой полянка, на ней в форме квадрата вырезан дёрн: квадрат разделен на четыре части. Здесь работают археологи, работают молча, слышно только, как они лопатами переворачивают землю; то и дело археологам попадаются какие-то предметы. Камера показывает их крупным планом с пояснительными надписями: зуб, домино, карандаш, трубка, заржавевший ключ, истлевшее письмо, пудреница, марки, значки, деньги. Камера меняет ракурс, и зритель видит местность, где производятся археологические раскопки. Появляется колючая изгородь лагеря и надпись: крематорий № 3, Освенцим—Бжезинка.

«Археология» Анджея Бжозовского — фильм необычайно простой, без всяких внешних эффектов,— пишет рецензент еженедельника.— Сила его — в самом замысле режиссера, который попросил группу археологов исследовать небольшой квадрат лагерной земли у крематория. При удивительной скупости изобразительных средств возник фильм огромной впечатляющей силы. Камера бесстрастно фиксирует находки в Освенциме, эти страшные свидетельства того времени, когда там совершались массовые убийства людей. Возможно, автора вдохновила на создание «Археологии» книга Зофьи Налковской «Медальоны», во всяком случае, этот скромный фильм впечатляет ничуть не меньше».

ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ

В Лодзи состоялся Третий всепольский фестиваль поэзии, на котором присутствовало около ста представителей литературной общественности Польши. По программе фестиваля прошли диспуты о современной польской поэзии, на промышленных предприятиях и в культурно-просветительных центрах состоялись авторские вечера известных польских поэтов.

Были присуждены традиционные премии за лучший поэтический сборник и лучшее критическое эссе о поэзии. В нынешнем году премии была удостоена краковская поэтесса Вислава Шимборская за поэтический сборник «Сто утех» и литературовед Ян Блонский — за эссе, посвященное польскому поэту XVI века Миколаю Семп-Шажинскому. Премии присуждены также поэтессе Уршуле Козёл из Вроцлава и варшавскому эссеисту Анджею Ламу.

Кадр из фильма «Археология».

(Еженедельник «Фильм»)

ПОРТУГАЛИЯ

«ГОРЯЩАЯ» ПРОБЛЕМА

Недавно мадридская газета «АВС» опубликовала статью о театрах Португалии. Во всех провинциях страны, подчеркивает автор статьи, театр практически не существует. Владельцы подходящих помещений предпочитают использовать их как кинотеатры. Что же касается столичных коллективов, которые изредка гастролируют по стране, то они редко дают более одного спектакля в каждой из провинций. Достаточно сказать, что во втором по величине городе Португалии— Опорто только недавно вошло в обиход понятие «театральный сезон». А еще года три назад сюда лишь изредка наведывались театральные коллективы из Лиссабона, которые оставались в городе не более двух месяцев.

Об уровне постановки театрального дела в Португалии свидетельствует состояние театров в ее столице — Лиссабоне. Так, по словам автора статьи, «Национальный театр Мариа II» давно пришлось закрыть, поскольку репертуар подолгу не обновлялся. Закрыт и старый театр «Авенида». Вопрос о его будущем специально рассматривался в суде, так как владелец здания театра хотел его снести и на этом месте построить жилое помещение. Неизвестно, чем бы закончилось рассмотрение дела в суде, если бы не пожар, уничтоживший театр и «облегчивший» тем

самым решение этой проблемы. Подлежит закрытию театр «АВС», поскольку его хозяин использовал под театр старое помещение для демонстрации фильмов под открытым небом без согласия городских властей. Публика не посещает и такие театры, как «Васко Сантана», который в зимние месяцы не отапливается, и «Мариа Викториа», где нет сносных удобств для зрителей и актеров.

Несколько лучше положение у театров «Монументаль» и «Виларет», а также «Вариедадес», которому, кстати, разрешить свои проблемы помог опять-таки пожар, после которого старое помещение театра было отремонтировано.

В заключение автор статьи в «АВС» подчеркивает, что как это ни парадоксально звучит, но именно пожары отчасти привлекли внимание португальских властей к проблемам театра.

СЕНЕГАЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КИНО

В стране создана Ассоциация сенегальских кинематографистов, председателем которой избран Сембен Усман. Ассоциация опубликовала в еженедельнике «Африк нувель» заявление, в котором затронуты острые проблемы молодого африканского кино. Сенегальские кинематографисты отмечают, что африканские творческие работники еще не нашли должного применения своим силам в кинематографе. Фильмы, сделанные в Африке, с трудом пробивают себе путь на экраны африканских стран из-за конкуренции западных кинофирм.

«А между тем за несколько последних лет африканские кинематографисты доказали, что способны создавать значительные кинопроизведения,— говорится далее в заявлении.— Они сумели доступным языком кинематографа воссоздать существенные явления африканской культуры, продемонстрировав одновременно свое техническое мастерство».

Авторы заявления призывают руководство страны поддержать их творческие поиски и создать Национальное управление кинематографии — государственное учреждение, ведающее вопросами производства и финансами,— которое помогало бы развитию молодого африканского кино.

США

МАРЛОН БРАНДО ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ

Как уже сообщала «Иностранная литература» (см. № 7, 1968), известный американский киноактер Марлон Брандо активно включился в борьбу за гражданские права негров в США.

Во время недавней поездки в Англию, по прибытии в лондонский аэропорт Хитроу, он подтвердил это свое решение, заявив журналистам, что после злодейского убийства доктора Мартина Лютера Кинга он не может стоять в стороне от борьбы за права человека и решил целиком посвятить себя делу борьбы за права угнетенных народов Америки — негров, индейцев, мексиканцев.

Марлон Брандо решил сниматься только в тех фильмах, которые будут помогать этой борьбе. Он принял предложение итальянского режиссера Джилло Понтекорво и будет сниматься в фильме «Сожженная», посвященном борьбе латиноамериканцев против иностранных захватчиков.

Марлон Брандо не одинок: многие известные американские актеры, такие как Грегори Пек, Пол Ньюмен, Ширли Маклейн, полностью поддерживают его взгляды и его борьбу; они оказывают финансовую поддержку борцам за гражданские права.

«КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» СТЭНЛИ КЮБРИКА

...По безбрежным просторам скользят седые лунные блики: в багровом молчании восходит над горизонтом Земли огромный круг Солнца; звучит какая-то неземная музыка, она наплывает со всех сторон. Перед зрителем разворачивается панорама жизни, которая существовала на Земле четыре миллиона лет назад...

Так начинается цветной широкоформатный фильм, производство которого стоило студии «Метро Голдвин Мейер» 10 миллионов долларов. Стэнли Кюбрик, постановщик таких известных картин, как «Пути славы» и «Доктор Стрейнджлав», назвал свою новую трехчасовую киноэпопею «2001-й год: космическая одиссея»; он напряженно работал над ней два года. Соавтором Кюбрика выступает известный английский физик Артур Кларк, автор научно-фантастических романов и рассказов.

«Космическая одиссея» — фильм-фантазия. В его прологе первобытные люди обнаруживают металлическую пластину, испускающую таинственные звуки, затем кинокамера переносит зрителя в 2001-й год. Действие развертывается на Луне, где люди обнаруживают такую же пластину-«радиопередатчик». Затем пятеро космонавтов отправляются на космическом корабле «Дискавери» в сторону Юпитера, куда, как предполагается, загадочный «радиопередатчик» посылает сигналы вот уже несколько миллионов лет. Трое из них погружены в искусственный сон, а двоим бодрствующим приходится выдержать схватку с бортовым роботом — электронным супермозгом. «Дискавери», в конце концов, с одним оставшимся в живых космонавтом достигает Юпитера...

В интервью газете «Нью-Йорк таймс» Кюбрик рассказал: «В моем фильме диалог длится в общей сложности 46 минут. 113 минут занимают сцены, в которых не произносится ни одного слова. Ведь в нас самих и в окружающей нас действительности возникает иногда нечто такое, что явно невозможно выразить словом. В таких случаях на помощь приходит музыка,

Один из кадров фильма Стэнли Кюбрика «Космическая одиссея».

(Газета «Морнинг стар»)

краски или другие неязыковые средства. Сами же слова оказываются порой смирительной рубашкой для наших эмоций».

«Космическую одиссею» Кюбрик, по его собственным словам, рассматривает как попытку отобразить извечное, неуемное стремление человека к чему-то новому, неведомому, к какой-то «более высокой форме жизни».

Большинство критиков дают фильму высокую оценку. Его замысел, как заметил американский кинокритик Джон Аллен, сводится к тому, чтобы пробудить в людях «чувство благоговейного трепета» перед теми открытиями в глубинах космоса, которые ожидают человечество уже в недалеком будущем.

ФРАНЦИЯ

РОЗЕНБЕРГИ И МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ

С горячим сочувствием встретила прогрессивная общественность Франции поставленную театром «Трето де Франс» пьесу Алена Деко «Розенберги не должны умереть».

«Драматическая напряженность действия этой пьесы порождена не только поэтическим воображением автора, но сопоставлением реальных исторических сил. — пишет в газете «Юманите» Роже Гароди.— Подобно «делу Дрейфуса», процесс Розенбергов не пример «судебной ошибки». Преступление, содеянное против них,— продукт всей американской системы, оно логически вытекает из нее, так же как убийство Мартина Лютера Кинга».

Между этими двумя преступлениями, подчеркивает Роже Гароди, существует лишь формальное различие. «Пресса может подавать розыски убийцы Кинга как полицейский роман, а президент Джонсон может притворно скорбеть о случившемся, но подлинный убийца — это американское правительство и система, которую оно воплощает. Мартин Лютер Кинг был обречен на смерть в тот день, когда в июне 1967 г. в церкви Риверсайд в Нью-Йорке он продемонстрировал глубокую внутреннюю связь между негритянской проблемой и войной во Вьетнаме, в огромной мере содействовав тому, чтобы борьба против этой войны охватила широкие массы. В одной только школе, где он преподавал, 75 призывников отказались отправиться во Вьетнам. Именно с этого момента Джонсон запретил ему доступ в Белый дом, и кем бы ни был убийца, он был лишь исполнителем смертного приговора, вынесенного системой, которая неизбежно порождает преступления против людей и против народов...»

Чудовищной истерии, развязанной маккартизмом с помощью двойного жупела — коммунизма и атомной бомбы, тайны которой «шпионы» якобы выдали Москве,— истерии, сравнимой лишь, как пишет Роже Гароди, с гитлеровским шабашем, и противостояли Этель и Юлиус Розенберг: они выражали собой героическое сопротивление тысяч и миллионов безоружных людей в Америке и во всем мире — людей, которым дорого будущее и которые борются за мир во имя жизни и нередко ценой своей жизни.

«Это противоборство сил смерти и сил жизни в масштабах нашего мира и нашего времени,— продолжает Гароди,— само по себе исполнено такого эпического величия, что не нуждается ни в какой декламации, ни в какой напыщенности. Нет надобности, чтобы слова были сильнее фактов.

Величайшая заслуга Алена Деко состоит в том, что он это понял: он создал одновременно эпопею и хронику, в которой слова полностью отвечают событиям, он не искал никакого внешнего «эффекта» и достиг драматической напряженности одной лишь правдивостью изображения этой неравной битвы».

Замыслу автора, отмечает Роже Гароди, полностью соответствует как постановка Жана-Мари Серро, так и великолепная игра актеров —Сильвии Монфор, создавшей в роли Этель образ «современной Антигоны», Бернара Русселе, исполнившего роль Юлиуса, Шарля Денне в роли адвоката, Франсуа Дарбона в роли прокурора и других.

Благодаря их совместным усилиям эта драма потрясает своей трагической актуальностью, пишет Гароди.

ПОТЕРЯНА ПОЛОВИНА КИНОЗРИТЕЛЕЙ

Газета «Юманите» опубликовала выступление директора Национального киноцентра на пресс-конференции, где он привел красноречивые цифры относи-

тельно проката фильмов в стране.

За последние десять лет французское кино потеряло половину своих зрителей. Процесс этот, начавшийся в 1958 году, медленно, но неуклонно продолжается: 411 млн. зрителей — в 1957 году, 210 млн. зрителей — в 1967 году. По мнению обозревателя газеты «Юманите», это можно объяснить не только и не столько распространением телевидения, сколько тем, что цены на билеты за эти годы повысились почти втрое. Покупка билета стала значительным расходом.

Приведенные газетой данные свидетельствуют о том, что французы охотнее смотрят французские, чем иностранные, фильмы. Так, в 1967 году смотрели французские фильмы 52 процента зрителей и лишь 28 процентов зрителей посетили сеансы с американскими фильмами. При этом надо учесть, что кинопрокат все больше захватывают в свои руки иностранные, преимущественно американские фирмы, демонстрирующие свою кинопродукцию.

Французские киностудии находятся в тяжелом положении. Вмешательство государства в дела кино значительно усилилось, но это лишь увеличило экономические и политические трудности французского кинематографа. За 1967 год выпущено только 47 целиком французских полнометражных фильмов, что на 34 меньше, чем в 1957 году. Правда, помимо этого поставлены были 73 полнометражных фильма совместного с другими странами производства...

Во Франции 637 кинорежиссеров-профессионалов, но только 84 из них работали в 1967 году. Причем 75 режиссеров поставили по одному фильму, 8 кинорежиссеров — по два фильма, и лишь один поставил четыре фильма.

Цифры неутешительны, хотя и достаточно красноречивы, говорится в комментарии газеты.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГОТВАЛЬДА

В нынешнем году Государственные премии имени Клемента Готвальда за выдающиеся творческие достижения в области литературы были присуждены двум известным писателям: чешскому поэту, заслуженному деятелю искусств Ярославу Сейферту и словацкому прозаику Ладиславу Тяжкому.

Ярослав Сейферт — поэт старшего поколения, поэзии его свойственна мелодичность, близость к народной песне. Премия ему присуждена за сборники стихотворений последних лет—«Концерт на острове», «Комета Галлея» и «Отливка колоколов».

Ладислав Тяжкий получил премию за роман «Аменмария» (1964), повествующий о годах второй мировой войны, о сложной судьбе словацких солдат на Восточном фронте.

Премии Клемента Готвальда присуждены также за лучшие работы в области художественной кинематографии, созданные чехословацкими режиссерами в содружестве с писателями. Это фильмы — «Поезда особого назначения» режиссера Иржи Менцела и писателя Богумила Грабала. «Романс для кларнета» режиссера Отакара Вавры и поэта Франтишека Грубина, а также «Маркета Лазарова», фильм режиссера Франтишека Влачила и драматурга Франтишека Павличека, поставленный ими по одноименному роману выдающегося чешского писателя Владислава Ванчуры, погибшего в 1942 году в застенках гестапо.

Фильмы, удостоенные премии, различны по жанру. Первый — трагикомедия, относящаяся ко времени протектората, второй — лирическая поэма, третий — роман-баллада из эпохи средневековья о любви, не боящейся преград.

ЮАР

«ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ»

Такое название носит новая пьеса драматурга Атола Фугарда, которого южноафриканские расисты преследуют за то, что он протестует своим творчеством против политики апартеида.

Герои пьесы «Там живут люди» — обитатели нищенского пансионата в одном из районов Иоганнесбурга, люди, вся жизнь у которых уже позади.

Фугард приложил немало усилий, чтобы его пьеса была принята к постановке в ЮАР, но куда бы он ни обращался, всюду получал отказ. Драматург фактически уже не может продолжать творческую работу у себя на родине. В то же самое время правительство чинит различные препятствия, чтобы не дать возможности Фугарду выезжать за границу. Так, когда в Англии была экранизирована первая пьеса Фугарда «Кровавый узел», и он был приглашен на премьеру фильма, власти ЮАР отказали ему в выдаче заграничного паспорта.

Недавно в английском городе Глазго состоялась премьера пьесы «Там живут люди» в постановке режиссера Роберта Мидглея. Зрители тепло приняли пьесу. Высокую оценку ей дали и театральные критики. Критик газеты «Скотсмен» назвал новое произведение Фугарда «одной из лучших пьес, пришедших из южного полушария». Критик газеты «Скоттиш дейли мейл» писал о мастерстве Фугарда, сумевшего мастерски изобразить беспросветное существование и страшное одиночество обитателей иоганнесбургского пансионата.

Авторы этого номера

СЕБАСТИАН САЛАСАР БОНДИ — SEBASTIÁN SALAZAR BONDY (1924—1965).

Перуанский поэт, новеллист, драматург и эссеист. Автор многих книг, в том числе поэтических сборников «Голос из бессонницы» («Voz desde la vigilia», 1943), «Три признания» («Tres confesiones», 1950), «Нить паука» («El hilo de la araña», 1965) и др., пьес «Любовь — огромный лабиринт» («Amor, gran laberinto», 1947), «Нет счастливого острова» («No hay isla felíz», 1954), «Флора Тристан» («Flora Tristán», 1959) и др., сборника рассказов «Потерпевшие кораблекрушение и выжившие» («Náufragos y sobrevivientes», 1954), эссе «Человеческая суть Сесара Вальехо» («Esencia humana de César Vallejo», 1960), «Лима ужасная» («Lima, la horrible», 1964).

Публикуемая в этом номере поэма Салансара Бонди «Все это моя страна» («Todo esto es mí país», 1965) — первое его произведение, переведенное на русский язык.

■

ВУ ТУ НАМ — видный вьетнамский прозаик (ДРВ). В литературу пришел после Августовской революции 1945 года, в годы Первого Сопротивления (1946—1954). Известен как автор многочисленных рассказов и сказок. Советские читатели знакомы с ним по сатирической сказке «Жизнеописание Рыцаря Черной Мантии, который не был ни уткой, ни гусем» (Издательство художественной литературы, 1965 г.).

Публикуемый в этом номере рассказ был напечатан в еженедельнике «Ван Нге» («Литература и искусство»).

ХОАЙ ВУ — молодой южновьетнамский поэт и прозаик.

Публикуемый рассказ «Шелест пальмовых листьев» взят из еженедельника «Ван Нге».

НГУЕН КИЕН — известный вьетнамский прозаик (ДРВ). Автор сборников рассказов «После избрания командира отряда» (1957), «Дни в командировке» (1956), «Листопад» (1962), «Майское поле» (1963), «Неснятый урожай» (1965), «В деревне» (1966). Популярен также как автор повестей и рассказов для детей: «Малыши-шалуны» (1958), «Глиняный мальчик» (1960) и др.

Предлагаемый вниманию читателей рассказ «Баллада о детях» взят из еженедельника «Ван Нге».

■

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — ERWIN STRITTMATTER (род. в 1912 г.).

Известный немецкий писатель (ГДР), книги которого неоднократно издавались в нашей стране. Его романы «Тинко», «Чудодей», «Оле Бинкоп» (№№ 7—10, 1965 «Иностранной литературы») хорошо знакомы советским читателям. В нашем журнале были также напечатаны поэтические миниатюры под названием «Листки календаря» (№ 10, 1967) из его книги «Шульценхофский календарь».

В этом номере Э. Штриттматтер представлен новыми рассказами: «На ферме в былое время» и «Зайцы прыгают через забор», которые были напечатаны в 1967 году в журнале «Нейе дейче литератур»; рассказ «На набережной Ялты» получен в рукописи.

■

НИКОЛА ИНДЖОВ (род. в 1935 г.)

Болгарский поэт, стихотворения которого составили несколько сборников. Наиболее известны: сборник «Предчувствие» («Предчувствие», 1959), поэма «Баллада о Камене Большевике» («Балада за Камен Болшевика», 1962), книга стихов «Дороги и любовь» («Пътища и любов», 1964) и др.

Напечатанные в этом номере стихи получены от автора в рукописи.

■

ЖОРЖ СИМЕНОН — GEORGES SIMENON (род. в 1903 г.).

Французский писатель, известный преимущественно как автор многочисленных детективных романов, повестей, рассказов, многие из которых экранизированы. Однако широкую популярность писателю завоевало не только мастерство остросюжетного повествования — в лучших его произведениях получают прямое или косвенное отражение социальные и нравственные проблемы современности.

На страницах советских периодических изданий публиковались многие рассказы Ж. Сименона. Отдельные сборники его рассказов и повестей в русском переводе вышли в 1960 и 1966 гг. «Иностранная литература» познакомила читателей с двумя его повестями: «Бедняков не убивают» (№ 8, 1964) и «Поезд из Венеции» (№ 8, 1967).

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей новый роман писателя «Тюрьма» («La prison», 1968). Этот роман Ж. Сименона получен редакцией в рукописи.

ФАЙЯД ХАМИС — FAYAD JAMIS (род. в 1930 г.).

Кубинский поэт, новеллист и художник. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Веки и пыль» («Los párpados y el polvo», 1951), «Мосты» («Los puentes», 1962), «За эту свободу» («Por esta libertad», 1962), «Бродяги зари» («Vagabundos del alba», 1966) и др.

Стихотворения Ф Хамиса неоднократно печатались в нашем журнале (см. № 12, 1960, № 4, 1964, № 1, 1966).

В этом номере опубликованы стихи, взятые из разных сборников.

■

СЕРДЖО ТУРОНЕ — SERGIO TURONE (род. в 1930 г.).

Итальянский журналист, новеллист. В 1966 году вышел сборник его рассказов, который он озаглавил «Свято-фантастические рассказы». («Racconti di Santascienza»), откуда и взят предлагаемый вниманию читателей рассказ.

■

УИЛЬЯМ ДЖ. КЭППИ — WILLAM J. CUPPY (1894—1949).

Американский писатель-сатирик и литературный критик. Автор нескольких сборников рассказов, в том числе «Как быть раком-отшельником» («How to be a Hermit», 1929), «Как отличить друзей от обезьян» («How to Tell Your Friends from the Apes», 1931), и др. В книжном обозрении еженедельника «Нью-Йорк геральд трибюн» он редактировал отдел детектива.

Публикуемый рассказ взят из сборника «Закат и падение практически всех» (The Decline and Fall of Practically Everybody»), вышедшего посмертно в 1950 году.

■

ДЖЕЙМС ГРОВЕР ТЭРБЕР — JAMES GROVER THURBER (1894—1961).

Известный американский писатель-юморист и карикатурист. Автор многочисленных сборников сатирических и юмористических рассказов, часто иллюстрированных им самим. Рассказы Д. Тэрбера неоднократно печатались в советских журналах и газетах.

Публикуемый рассказ взят из сборника «Фонари и шпаги» («Lanterns and Lances», 1954).

■

ПЕТЕР ВЕРЕШ — VERES PETER (род. в 1897 г.).

Венгерский писатель и общественный деятель, П. Вереш начал писать в 30-е годы, сотрудничал в левых журналах и газетах. Его перу принадлежит много произведений, посвященных венгерской деревне, жизнь которой он — сын и внук батрака — знает превосходно. Творчество П. Вереша дважды отмечено премией имени Кошута. Его произведения переведены на многие языки народов всего мира.

В нашей стране в русском переводе вышел сборник его рассказов «Испытание», в периодической печати неоднократно печатались новеллы.

Публикуемый с сокращениями в этом номере очерк «На краю Хортобади» был напечатан в журнале «Кортарш» (1967).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 33-51-47

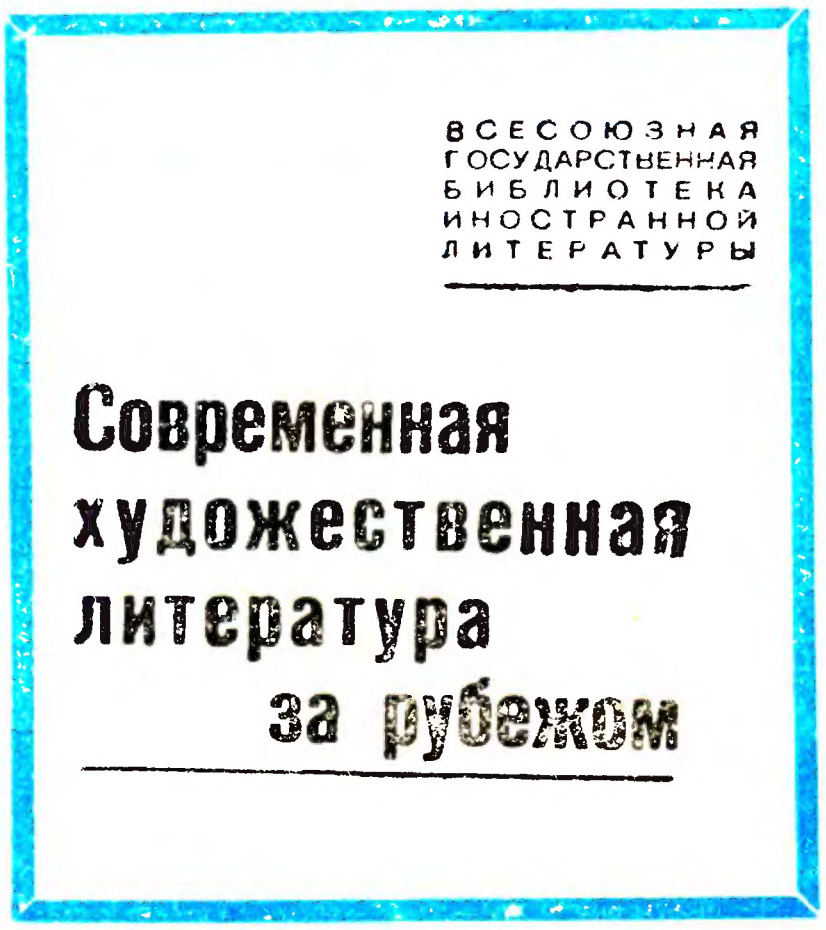
А 00838. Сдано в производство 4/VI-68 г. Подписано к печати 12/VII-68 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2). Уч.-изд. листов 35,14. Зак. 1738.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ВСЕСОЮЗНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОТКРЫЛА ПОДПИСКУ НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК **«СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ».**

Цена 80 коп.

Из рецензий, публикуемых в сборнике, все интересующиеся сегодняшней зарубежной литературой узнают о романах, сборниках рассказов и пьесах, только что изданных за рубежом, о новейших критических работах, посвященных самым различным литературным проблемам, познакомятся с последними произведениями для детей и юношества. Журналистам и научным работникам, переводчикам, студентам и библиотекарям сборник поможет ориентироваться в огромном потоке зарубежной художественной литературы, поступающей в библиотеки нашей страны, ее современных течениях и направлениях.



Сборник выходит 6 раз в год.
Стоимость одного выпуска — 32 коп.,
годовой подписки — 1 руб. 92 коп.
Бланк заказа на сборник высылается по требованию.

Наш адрес:
Москва Ж-240, Ульяновская ул., дом 1, ВГБИЛ,
группа подписки, Ходаковой В. Н.
Телефон для справок 97-60-07.

ИНДЕКС 70394